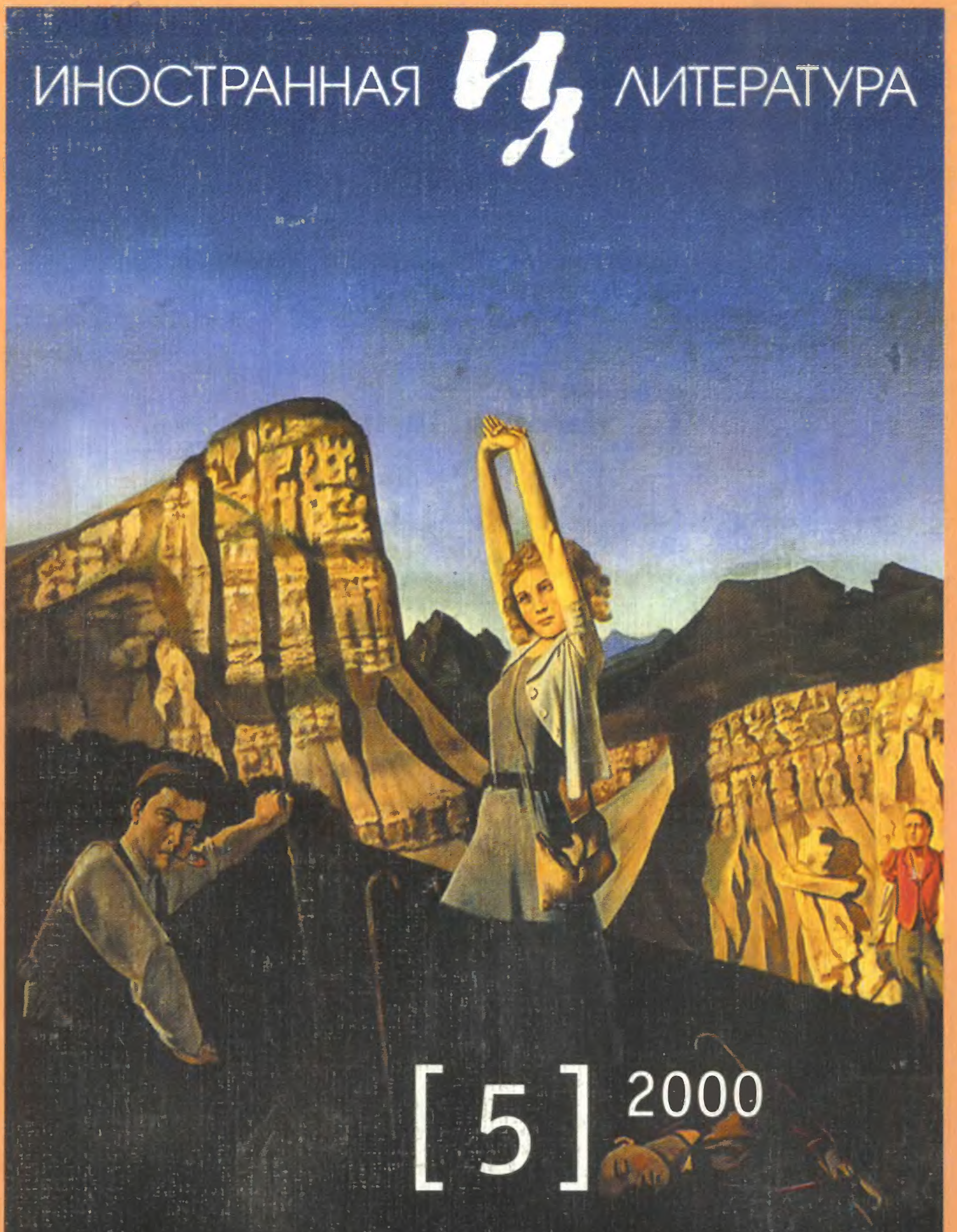
95+83

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[5] 2000

РОМАН ПАВЛА ХЮЛЛЕ “ВАЙЗЕР ДАВИДЕК” / ИОСИФ БРОДСКИЙ: “ПО КОМ ЗВОНИТ ОСЫПАЮЩАЯСЯ КОЛОКОЛЬНЯ” / ПОВЕСТЬ ПЬЕРА БОСТА “ГОСПОДИН ЛАДМИРАЛЬ СКОРО УМРЕТ” / ФРАГМЕНТЫ КНИГИ “СУМЕРКИ ЗАПАДА” КРИСТОФЕРА КОУКЕРА / НОБЕЛЕВСКАЯ РЕЧЬ ГЮНТЕРА ГРАССА / ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ФРАНКЛИНА РИВА “РОБЕРТ ФРОСТ В РОССИИ”

Основан в 1891 году

Премии *ИЛ* за 1999 год

[учредители — *ИЛ* и Конверсбанк]

25 мая состоится ежегодная церемония вручения литературных премий журнала "Иностранная литература"

На премию ***ИЛлюминатор***

[лучшее произведение минувшего года в области исследования и перевода зарубежной литературы]
выдвинуты:

Сергей Ильин — за перевод произведений, вошедших в Собрание сочинений Владимира Набокова в 5 тт. СПб., Симпозиум, 1999.

Елена Костюкович — за перевод романа Умберто Эко *Остров накануне.* СПб., Симпозиум, 1999.

Александр Ливергант — за сборник англоязычного юмора и пародии *Ничего смешного* [составление и перевод]. М., Новое литературное обозрение, 1999.

На премию ***Инолит***

[лучшая журнальная публикация *ИЛ* в 1999 году]
выдвинуты:

Геннадий Киселев — за перевод романа Алессандро Барикко *Шелк* [№ 6].

Леонид Мотылев — за перевод романа Арундати Рой *Бог Мелочей* [№ 7, 8].

Вера Феонова — за перевод романа Орхана Памука *Черная книга* [№ 6].

На премию ***Инолиттл***

[лучшая журнальная публикация *ИЛ* малой формы]
выдвинуты:

Наталья Астафьева — за переводы стихов Анны Каменьской [№ 2] и Адама Земянина [№ 7].

Наталья Ванханен — за переводы стихов Габриелы Мистраль [№ 4].

Илья Кормильцев — за статьи о Ежи Косинском [№ 3] и Габриеле Д'Аннунцио [№ 11] в Литературных гидах *Жизнь как роман.*

Наталья Мавлевич — за составление и перевод материалов Виртуального круглого стола *Французская литература выходит из чистилища* [№ 10] и подготовку рубрики Вглубь стихотворения — *Псалом* Пауля Целана [№ 12].

Елена Суриц — за перевод рассказов Дилана Томаса [№ 12].

Татьяна Толстая — за ответы на вопросы редакции *Анкета ИЛ* [№ 8].

[5]
2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Павел Хюлле. *Вайзер Давидек.* Роман. Перевод с польского Вадима Климовского

134 Чарльз Буковски. *Стихи.* Перевод с английского Г. Агафонова, К. Медведева. Вступление К. Медведева

150 Пьер Бост. *Господин Ладмиралъ скоро умрет.* Повесть. Перевод с французского А. Брагинского

186 Рассказы хорватских писателей. Давор Мойаш. *Чай из мяты.* Миленко Ергович. *Могила.* Анте Томич. *Пока смертъ не разлучит нас.* Станко Андрич. *Энциклопедия ничтожного.* Перевод с хорватского и вступление Л. Савельевой

Документальная проза 197 Франклин Рив. *Роберт Фрост в России.* Фрагменты книги. Перевод с английского Людмилы Мотылевой

Статьи, эссе 227 Гюнтер Грасс. *Продолжение следует...* Речь по случаю присуждения Нобелевской премии. Перевод с немецкого Наталии Тишковой

237 *Что может литература?* Беседа Хуана Гойтисоло и Гюнтера Грасса. Перевод с французского В. Иорданского

~~244~~ Иосиф Бродский. *По ком звонит осыпающаяся колокольня.* Перевод с английского Е. Касаткиной

251 Кристофер Коукер. *Сумерки Запада.* Главы из книги. Перевод с английского А. Арзуманова

Среди книг 261 С. Зенкин. *Частицы бытия.* Ирина Адельгейм. *"...мне хотелось, чтобы когда-нибудь меня назвали разумным человеком...".* Илья Кормильцев. Орфей спускается в рок

Курьер "ИЛ" 270

273 *Концерт № 2 для сводного хора читателей.* Обзор ответов на анкету, опубликованную в № 12, 1999

Авторы номера 283

© "Иностранная литература", 2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература".С 1955 года –
"Иностранная литература"

Из общего тиража
в 13 900 экземпляров
Институт "Открытое
общество" ежемесячно
выкупает и безвозмездно
направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
3 850 экземпляров.

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
(Акционерный банк Конверсии).

Главный
редактор

А.Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н.А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л.Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А.В. Михеев
ответственный секретарь

Г.Ш. Чхартишвили
заместитель главного редактора

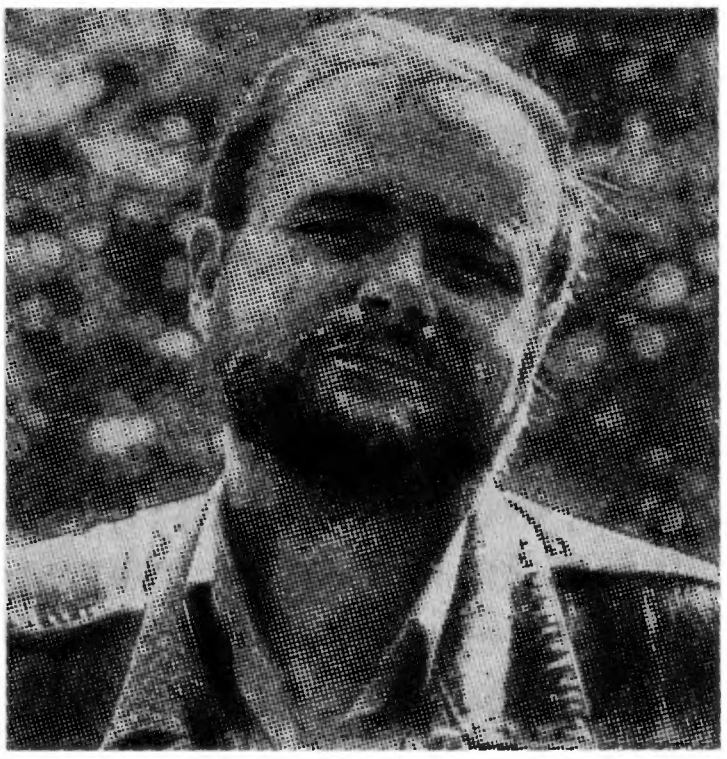
Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Малькольм Брэдбери
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С.С. Аверинцев
В.П. Аксенов
С.К. Апт
А.Г. Битов
П.Л. Вайль
М.Л. Гаспаров
Е.Ю. Гениева
А.А. Генис
В.П. Голышев
Т.П. Григорьева
Б.В. Дубин
А.Н. Ермонский
В.В. Ерофеев
Д.В. Затонский
А.М. Зверев
Вяч.Вс. Иванов
В.Б. Иорданский
Т.П. Карпова
А.С. Мулярчик
Д.Б. Рюриков
М.Л. Салганик
Е.М. Солонович
П.М. Топер
Н.Л. Трауберг
М.А. Федотов
Б.Н. Хлебников

Павел Хюлле



Вайзер Давидек

Роман

Перевод с польского Вадима Климовского

Юлиушу посвящается

КАК же так случилось, как произошло, что мы стояли втроем в кабинете директора школы, и уши у нас под завязку набиты были зловещими словами *протокол, допрос, присяга*, как могло случиться, что мы запросто, безо всяких превратились вдруг впервые из нормальных учеников и детей в обвиняемых, каким чудом навязали нам эту взрослость — до сих пор не знаю. Может, какая-то подготовка была проведена заранее, однако нам об этом не было известно. Единственное, что я тогда чувствовал, это боль в левой ноге, так как нам было приказано стоять все время, и при этом — бесконечно повторяющиеся вопросы, коварные усмешки, угрозы вперемежку с умильными просьбами "объяснить все еще раз, по порядку и без всяких выдумок".

Мужчина в форме вытирал со лба пот, тупо смотрел на нас взглядом загнанного зверя и то и дело грозил пальцем, бормоча под нос невнятные проклятия. Директор, расслабив узел галстука, барабанил пальцами по черной поверхности стола, а учитель естествознания М-ский входил каждую минуту, справляясь о ходе следствия. Мы смотрели, как лучи сентябрьского солнца, пробиваясь сквозь зашторенные окна, освещают пыльный ковер некогда бордового цвета, и нам было жаль прошедшего лета. А они всё спрашивали, без устали, по сто раз одно и то же, не в силах понять простейших вещей, ну словно это они были детьми. "Они запутывают следствие, за это положена статья уголовного кодекса!" — кричал мужчина в форме, а директор поддакивал, хватаясь ежеминутно за галстук: "Что мне с вами делать, ребята, что мне с вами делать", —

© by Paweł Huelle, 1987
© В. Климовский. Перевод, 2000

и теребил, расслабляя все больше, огромный треугольный узел, который издали можно было принять за бант якобинца. Только М-ский сохранял относительное спокойствие и уверенность, нашептывал на ухо тому, в форме, какую-то информацию, после чего оба поглядывали на нашу тройку с еще большим интересом, обычно предваряющим новую серию вопросов. "Каждый из вас говорит что-то свое, — кричал директор. — И всегда разное, как же так, почему вы не можете остановиться на одной версии?" А тот, что в форме, ему в тон: "Слишком важное дело для шуток, шутки кончились вчера, а сейчас пожалуйте всю голую правду на стол!"

Мы и в самом деле не знали, как выглядит голая правда, но ведь ни один из нас не врал, мы говорили только то, что они хотели услышать, и если М-ский спрашивал о снарядах, мы поддакивали: да, снаряды, — когда же человек в форме добавлял склад ржавых боеприпасов, никто из нас не возражал: да, где-то такой склад, наверное, был, а может, и сейчас есть, только неизвестно где, отчего у спрашивающего лицо шло красными пятнами и он закуривал новую сигарету. Наверное, это был какой-то неосознанный способ защиты, о который они разбивались не хуже мыльного пузыря; если бы, например, они спросили у нас, присутствовали ли мы при взрывах Вайзера, каждый подтвердил бы с готовностью: да, — однако никто не смог бы уточнить, в какую пору дня, и вдобавок один из нас промямлил бы сразу, что, собственно, Вайзер делал все это в одиночку, иногда приглашая только Эльку. Мы прекрасно чувствовали, что на вопросы, которые нам задают, нет правдивых ответов, и даже если бы спустя какое-то время оказалось, что все же есть, то и в этом случае все, что произошло в тот августовский день, останется для них абсолютно необъяснимым и непонятным. Вроде как для нас уравнения с двумя неизвестными.

Шимек и Петр стояли по бокам, а я в середке, со своей ноющей и опухшей от долгой неподвижности ногой. Они могли спасаться, уводя взгляды влево или вправо, я же оставался прямо перед глазами директора и оправленным в темную раму белым орлом над его головой. Моментами мне казалось, что орел шевелит одним из крыльев, собираясь вылететь во двор, и я ждал, что все мы услышим звон разбитого стекла и птица упорхнет, но ничего такого не произошло. Вместо ожидаемого полета все гуще сыпались вопросы, угрозы и просьбы, а мы все стояли, ни в чем не виноватые и напуганные: чем все это кончится, ибо все ведь *должно* иметь свой конец, так же как и лето, последние отголоски которого долетали до наших ушей через приоткрытое окно кабинета.

— Не может человек исчезнуть без следа! — кричал тот, что в форме. — А ты, Королевский, — обратился он к Шимеку, — утверждаешь, что Вайзер и ваша подружка (он никак не мог запомнить, как звали Эльку) вышли в тот день вместе из дому, направились в сторону Буковой горки и что ты их больше не видел, хотя вас видели втроем на железнодорожной насыпи вскоре после полудня.

— А кто видел? — робко спросил Шимек, переступая с ноги на ногу.

— Ты мне тут вопросов не задавай, твое дело отвечать! — Мужчина в форме грозно сверкнул глазами. — Дождетесь, это для всех для вас плохо кончится!

Шимек проглотил слюну, и его оттопыренные уши вспыхнули:

—Так ведь нас видели за два дня до того.

Директор нервно перелистал бумаги, где были записаны наши показания.

— Неправда! Ты опять бессовестно врешь, твои друзья сказали ясно, что вы шли втроем по старой железнодорожной насыпи в сторону Брентова, или, может — теперь он обратился к нам, — это не ваши слова, а?

Петр кивнул в знак согласия.

— Да, пан директор, но мы вовсе не говорили, что это было в тот последний день, это правда было на два дня раньше.

Директор распустил узел галстука, так что тот уже вовсе стал похож не на нормальный галстук, а скорее на шарфик, узкий и пестрый, повязанный под воротничком. Мужчина в форме зыркнул в показания и состроил гримасу, но на этот раз удержался от крика, чтобы следующим вопросом заехать совсем с другого боку, коварно и внезапно. Может быть, он хотел знать, откуда Вайзер брал взрывчатку для своих взрывов, а может, его интересовала совсем уж ерунда, например, в каком платье была Элька, когда мы видели ее в последний раз, или не грозился ли Вайзер перед исчезновением, что сотворит нечто необыкновенное, что еще что-то покажет. Все это неизбежно вертелось вокруг тех двоих, но мы отлично понимали, что допрашивающие никогда не нащупают правду, потому что след, по которому они шли, с самого начала был ложным.

Не знаю, сколько прошло времени до того момента, когда М-ский предложил новый способ ведения следствия, однако еще до того я подумал, что Вайзер и Элька конечно же, каким-то лишь им известным образом слышат сейчас нас, стоящих в кабинете директора и дающих показания под надзором грозного человека в форме. И, наверно, Вайзер прищелкивает языком с одобрением, когда слышит, как эти трое мучаются с нами, а Элька громко смеется, обнажая белые беличьи зубы. Петр и Шимек наверняка подумали то же самое, ни один из них даже не пикнул, когда М-ский приказал нам выйти в канцелярию и ожидать там индивидуального вызова. Это и был его новый замысел — допрашивать нас по одному, — от которого они ждали большего успеха.

В канцелярии нам наконец разрешили поесть, это было главное, к тому же минута отдыха от взглядов М-ского и криков человека в форме была прекрасна и неожиданна, и мы восприняли ее как явный знак провидения, что худшее уже позади. Та троица в кабинете дала нам немного времени, чтобы мы осмыслили безнадежность нашего положения и сделали соответствующие выводы, но нам не нужно было даже советоваться насчет дальнейших показаний. Мы знали, что каждый будет говорить как чувствует, только это давало нам наибольшие шансы выпутаться. Первым пошел Шимек, исчез в пасти кабинета покорно и тихо, и мы остались с Петром одни, впрочем, ненадолго. Через минуту прислали сторожа — следить за нами. С той минуты мы сидели в молчании, наполненном тиканьем стенных часов, прерывающимся только, когда они отбивали полный час.

Как же все-таки случилось, что мы подружились с Вайзером?

Раньше мы видели его часто, он ходил в ту же школу, что и мы, бегал в том же дворе и покупал в том же магазине Цирсона бутылки с лимонадом, которые взрослые называли почему-то *пузырями*. Однако он никогда не участвовал в наших играх, стоял в сторонке и явно не испытывал желания быть одним из нас. Когда мы играли в футбол на лугу у прусских казарм, он довольствовался молчаливым созерцанием, а когда встречали его на пляже в Елиткове, он говорил, что не умеет плавать, и быстро, словно стыдился этого, исчезал в толпе пляжников. Встречи эти

были беглыми и бессодержательными, что соответствовало его облику: небольшого роста, очень худой и слегка сутулый, причем кожа у него была болезненно белая, и единственным достойным внимания контрастом к ней были неестественно огромные, широко открытые и очень темные глаза. Наверное, поэтому он выглядел так, словно постоянно чего-то боялся, словно ждал кого-то или чего-то, что принесет ему дурную весть. Он жил со своим дедом в одиннадцатой квартире, на дверях которой виднелась желтая табличка с надписью "А. Вайзер. Портной." И это было в общем-то все, что мы могли о нем сказать, когда наступило то лето, возвещенное майскими хрущами и теплым ветром с юга. Так как же случилось, что мы сошлись с Вайзером?

Если все имеет свое начало, то в этом случае все началось с праздника Тела Господня, который тогда был позже обычного. В пыли и зное июньского утра мы шагали в процессии, отделенные от ксендза Дудака группой министрантов и новопричащенных третьеклашек, распевая вместе со всеми "Славься, Иисусе, Сын Девы Марии, Ты ж есть Бог истинный..." и следя с нескрываемым благоговением за движением кадильницы. Потому что самой главной являлась кадильница, а не облатка и не святые образа Божьей Матери и Бога, Сына Человеческого, не деревянные фигуры, которые несли члены Братства Розария на специальных носилках, на знамена и ленты в руках, затянутых в белые перчатки, но именно кадильница, качающаяся вправо и влево, вверх и вниз, дымящая серым облаком, кадильница из золоченой жести на толстой цепи того же цвета, и аромат ладана, раздражающий ноздри, но одновременно удивительно мягкий и приторный. В неподвижном воздухе клубы дыма удерживались, долго не меняя формы, и мы ускоряли шаг, наступая на пятки впереди идущим, чтобы схватить серые облачка, прежде чем они расплывутся в ничто.

Тогда-то мы и увидели Вайзера в роли для него не характерной, в роли, которую он сам выбрал и затем навязал всем нам, о чем, ясное дело, мы не могли знать. Здесь же, перед алтарем, который из года в год воздвигали рядом с нашим домом, ксендз Дудак усиленно замахал кадилом, выпустив великолепное облако дыма, которое мы ожидали с дрожью и напряжением. А когда серый дым рассеялся, мы увидели Вайзера, стоящего на небольшом бугорке слева от алтаря и наблюдающего за всем с нескрываемой гордостью. То была гордость генерала, принимающего парад. Да, Вайзер стоял на бугре и смотрел так, словно все песнопения, хоругви, образа, вся толпа, ленты были приготовлены специально для него, словно не было иной причины, по которой люди вышагивали по улицам нашего квартала с истовым пением на устах. Сегодня я знаю и нисколько в этом не сомневаюсь, что Вайзер был таким всегда, но в тот момент, когда рассеялся дым, он будто вышел из укрытия, показав нам впервые свое истинное лицо. Впрочем, это длилось недолго. Когда растаяла последняя ленточка ароматного кадильного дыма, и смолк писклявый голос ксендза Дудака, и толпа двинулась дальше к костелу, Вайзер исчез с бугорка и уже не сопровождал нас. Какой же генерал бежит за войсками по окончании смотра?

Оставшиеся до конца учебного года дни можно было сосчитать по пальцам, свирепствовал июньский зной, и каждое утро нас будили через открытые окна голоса птиц, возвещающие безраздельное господство лета. Вайзер снова превратился в робкого Вайзера, который только издали следил за нашими крикливыми играми. Но что-то уже изме-

нилось, теперь в его взгляде, пронзительном и жгучем, мы ощущали снисходительный интерес — как будто скрытый глаз изучал каждый наш шаг. Может быть, подсознательно нам невыносим был этот взгляд, кто знает, но так или иначе в день выдачи аттестатов по Закону Божьему мы увидели его снова — как и в день Тела Господня или, скорее, в подобной ситуации. Костел Воскресения расположен был, впрочем как и весь наш район, рядом с лесом, и когда уже ксендз Дудак закончил свои молитвы и наставления, раздал наиболее усердным образки и нам вручили аттестаты, красиво напечатанные на мелованной бумаге, начались бешеные гонки к лесу в первую же минуту настоящих каникул, ибо школу мы покинули еще накануне и теперь впереди не ждало нас ничего, кроме двух месяцев чудесной свободы. Мы мчались всей оравой, вопя и орудуя локтями. Ничто, казалось бы, не могло сдержать эту стихию — ничто, кроме холодного взгляда Вайзера, а он стоял, опершись о ствол лиственницы, словно ждал нас здесь специально. Может, несколько минут, а может, всегда. Этого мы не знали ни тогда, ни позже в кабинете директора и прилегающей к нему канцелярии, в ожидании очередного допроса, и даже теперь, когда я пишу эти слова и когда Шимек живет совсем в другом городе, Петр погиб в семидесятом[1] на улице, а Элька уехала в Германию и не написала оттуда ни одного письма. Ведь Вайзер мог ждать нас с самого начала, и это, пожалуй, главное в истории, которую я рассказываю без прикрас.

Итак, он стоял и смотрел, да, только и всего, казалось бы — только и всего. И однако он сдержал набегающую волну потных тел и орущих глоток, приняв ее на себя, и оттолкнул на миг, на тот краткий миг, в который стихия отступает, чтобы ударить с удвоенной силой. "Вайзер Давидек не ходит в костел!" — послышалось где-то сзади, и впереди подхватили этот лозунг в несколько измененном виде: "Давидек-Давид, Вайзер — жид!" И только теперь, когда это было произнесено, мы почувствовали к нему обыкновенную неприязнь, перерастающую в ненависть, за то, что он никогда не был с нами, не был одним из нас, а также за взгляд темных, слегка навыкате глаз, который наводил на простую мысль, что это мы отличаемся от него, а не он от нас. Шимек выскочил вперед и стал перед ним лицом к лицу. "Ты, Вайзер, а чего ты в самом деле не ходишь с нами на уроки Закона Божьего?" — и вопрос повис в воздухе между нами, требуя немедленного ответа. Он молчал, только улыбался, придурковато и нахально — как казалось нам тогда, — так что сзади начали бормотать, что надо сделать ему «макарончики». «Макарончики» заключались в том, что поверженному на траву противнику разминали спину кулаками и коленями, и мы уже увидели его белую голую спину, уже его рубашка порхала в воздухе, перелетая из рук в руки, когда неожиданно в круг палачей ворвалась Элька — со сверкающими глазами, раздавая направо и налево тумаки, она кричала: "Оставьте его в покое, оставьте его в покое!" А когда это не подействовало, она впилась в одного из экзекуторов ногтями, обозначив на его лице длинные извилины быстро краснеющих бороздок. Мы отступили от Вайзера, кто-то даже подал ему смятую рубашку, и он, не произнося ни слова, надевал ее, словно ничего не произошло. Только через минуту мы поняли,

1. Речь идет о забастовках и массовых демонстрациях на Балтийском побережье в декабре 1970 г., когда вмешательство сил порядка в Гданьске привело к трагическим последствиям: более 40 человек были убиты и более 1000 — ранены. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

что это не он, а мы вышли из потасовки униженными, он же остался самим собой, тем же неизменным Вайзером, и мог смотреть на нас, как в день Тела Господня, спокойно, холодно, бесстрастно и свысока. Трудно выдержать что-либо подобное, поэтому, как только он отдалился, шагая вдоль заросшей ограды костела, Шимек бросил первый камень, громко выкрикивая: "Давидек-Давид, Вайзер — жид!", и другие последовали его примеру, и кричали то же самое, и бросали камни. Но он не оглянулся и не ускорил шаг, унося таким образом свою гордость, а нам оставляя бессильный стыд. Элька побежала за ним, и мы перестали швырять камни. Это было первое близкое знакомство с Вайзером — его мертвенно белая спина, мятая клетчатая рубашка и, как я уже говорил, невыносимый взгляд, который мы впервые почувствовали на себе в праздник Тела Господня, когда развеялось облако ладана, выпущенное из золотой кадильницы ксендзом Дудаком.

Было ли то простой случайностью? Или Вайзер оказался перед костелом по собственной воле, так же, как в праздник на бугорке рядом с алтарем? Но какая же сила велела ему это сделать, зачем он решил предстать перед нами именно таким? Эти вопросы долго не давали мне спокойно спать, и по окончании следствия, и потом, много лет спустя, когда я стал уже совсем другим. И если есть какой-то ответ, то только тот, что именно из-за его отсутствия заполняю я линованный листок, ни в чем не будучи уверен. Письма, которые я посылаю из года в год в Мангейм в надежде выяснить еще какие-то подробности, связанные с теми событиями и личностью Вайзера, остаются без ответа. Сначала я думал, что Элька, с тех пор как стала немкой, не хочет никаких вестей отсюда, никаких воспоминаний, которые могли бы поколебать ее новое — немецкое — равновесие. Но теперь уже так не считаю, по крайней мере не так уж в этом уверен. Между ней и Вайзером было что-то, чего мы никогда не могли понять, что связывало их странным образом и что ни по каким меркам невозможно определить как детское тяготение к другому полу или иными подобными терминами, которых у современного психолога нашелся бы полный карман. Ее упорное молчание — нечто большее, чем неприязнь к миру детства.

А в тот день, когда рубашка Вайзера летала в воздухе из рук в руки, мы поехали в разболтанном трамвае четвертого маршрута на пляж в Елитково. Несмотря на то, что до конца рабочего дня было еще далеко, в обоих вагонах была порядочная давка, солнце еще здорово припекало, и внутри вагона стоял характерный запах разогретой жарой краски. Нам и в голову не приходило вспоминать о Вайзере и об утренней сцене на опушке. Как только трамвай с отвратительным скрежетом развернулся на кругу рядом с деревянным распятием, мы побежали, размахивая полотенцами, к пляжу, не оглядываясь на развешанные между домами рыбацкие сети и на пирамидки корзин, пахнущих рыбьим жиром и дегтем. Только здесь начинались настоящие каникулы и вместе с ними ныряние за горстью песка, гонки до красного буйка и пробежки аж до сопотского мола, где смельчаки, стараясь друг друга перещеголять, рискуя сломать голову, прыгали в воду. Да и Елитково так же не могло существовать без нас, как город не мог существовать без пляжа и залива. Это были сообщающиеся сосуды, и, хотя нынче все уже совсем не такое, память о том времени убить невозможно. Во главе галдящей толпы бежал Петр, демонстрируя свой коронный пляжный номер: обычно он стаскивал рубашку и штаны еще на бегу и с ходу прыгал в воду,

скрываясь в брызгах белой пены. Его босые ноги уже взметали песчаные фонтанчики, как вдруг он задержался у воды и крикнул, словно наступив на что-то острое: "Колюшка! Сюда! Сколько их!"

То, что мы увидели, было выше понимания злодейских возможностей природы. Тысячи колюшек, плывущих вверх брюшками, покачивались в ленивом ритме волн, образуя полосу мертвых тушек чуть ли не в несколько метров шириной. Достаточно было сунуть руку в воду, и чешуя, облеплявшая кожу, блестела словно кольчуга, но ощущение было не из приятных. Вместо ванны нам подсунули рыбный суп, в который хотелось только с отвращением плюнуть. Но то было — как оказалось — лишь начало. День ото дня "уха" густела, превращаясь в вонючее липкое месиво. В июньскую жару трупики гнили, лопались, как надутые рыбьи пузыри, и смрад разложения доносился даже до трамвайного круга. Пляжи опустели мгновенно, мертвая колюшка, казалось, прибывала, нашему отчаянию не было границ. Елитково отвергало нас. Над прибрежным месивом, которое постепенно меняло цвет от светло-зеленого до темно-коричневого, появились рои небывало огромных мух, питающихся падалью либо откладывающих там свои яйца. Море оказалось неприступным, несмотря на невероятную жару. Все без толку — безветренная погода, жара и голубое небо, обманывающее безупречной чистотой. Наконец городские власти постановили закрыть все пляжи от Стогов до самой Гдыни, что, собственно, явилось лишь формальным подтверждением реального положения дел.

Хуже с нами ничего не могло случиться, но когда я думал об этом, ожидая очередного вызова на допрос и решая, что же я скажу М-скому на этот раз, я уже допускал, что то не было случайностью. А если даже и случайность, то не такая уж простая. Если бы не этот "рыбный суп", нам бы никогда не пришло в голову выслеживать Вайзера, никогда не двинулись бы мы по его следам через Буковую горку и старое стрельбище и никогда бы он не впустил нас в свою жизнь. Но я опережаю события, тогда как история эта, как любое правдивое повествование, должна развиваться последовательно.

Дверь кабинета приоткрылась, и я увидел Шимека, которого вытолкнула рука М-ского. Прежде чем прозвучала фамилия Петра и сторож поднялся со своего стула, чтобы подвести его к двери, я увидел большое красное ухо Шимека, распухшее и неестественно вытянутое. Я почувствовал спазмы в желудке и в сердце, но ни о чем не мог спросить, так как в дверях показался М-ский и, пропуская Петра внутрь, приказал сторожу проследить, чтобы мы не обменялись ни словом. Шимек сел на складной стул, опустил голову и уставился на свои колени. С минуту я размышлял, будут ли меня тоже таскать за ухо, но оставил догадки, поскольку арсенал средств у М-ского был неограничен.

Да, участие М-ского во всей этой истории и поныне мною до конца не осмыслено, но если я не сделал этого до сих пор, то тогда, там, ожидая очередного допроса, мог ли я полностью отдавать себе отчет, кем был М-ский на самом деле или кем он на самом деле не был. Слишком я его тогда боялся, а последующие события отвлекли меня от размышлений на эту тему. Когда же дверь кабинета, обитая стеганым дерматином, бесшумно закрылась за Петром, я вспомнил очень важный случай. Ежегодно наша школа, как все другие школы, выходила строем, в белых рубашках и темных штанишках, на первомайскую демонстра-

цию. М-ский шел всегда во главе, нес транспарант и, улыбаясь начальству на трибуне, запевал, призывая нас подхватить, своим писклявым голосом: "Эту пес-ню за-пе-ва-ет моло-дежь, моло-дежь, моло-дежь..." И мы маршировали стройными рядами, улыбались, как все вокруг, и пели, как все вокруг, и знали — к тем, что не явились на праздник радости, молодости и всеобщего энтузиазма, именно к этим ученикам завтра же или в крайнем случае через два дня М-ский нанесет визит на дом и будет допрашивать их родителей, что случилось, серьезная ли это болезнь и чем он может помочь, чтобы через год в этот самый день ученик был здоровехонек. В прошлом году один-единственный ученик из нашей школы не пошел на первомайскую демонстрацию. Это был не кто иной, как Вайзер, но что самое удивительное, М-ский так и не пожаловал к нему домой, чтобы расспросить деда, почему внук не пришел маршировать вместе с нами. Тогда мы не придали этому значения, но теперь, дожидаясь очередного допроса, я подумал, что это очень важно.

Но какая же связь могла быть между М-ским и Вайзером? И сегодня утверждаю: никакой. Почему же М-ский не нанес визит в их дом? Не любил портных? А может, забыл? Нет, наверняка не забыл: как учитель естествознания и систематик, он был редкостным педантом, и все у него было записано в маленьком блокнотике, с которым он никогда не расставался. А если М-ский знал о Вайзере что-то, чего не знали мы и чего я уже никогда не узнаю? Если что-то такое существовало, то почему чудаковатый учитель не мог понять, куда исчез наш приятель? О да, М-ский был настоящий чудак, такие сейчас встречаются только в книгах, и то не во всяких. Летом, в каникулы, он, как и мы, не выезжал из города, и мы часто видели его на лугу возле брентовского леса или над рекой в Долине Радости, когда он гонялся за бабочками с сачком и атласом насекомых. А когда не охотился за порхающими созданьицами, то шел сгорбившись, уткнув глаза в землю, и каждую минуту останавливался, срывал какую-нибудь травку и шептал себе под нос: "Menyantes trifoliata!" или: "Виола трехцветная!" И вкладывал травку в картонную папку, которую нес вместо заштопанного сачка. М-ский работал над книгой о флоре и фауне лесов, которые тянулись вдоль южных границ города до самой Гдыни и в которых охотился некогда сам Фридрих Великий. Наверно, поэтому он хватал и коллекционировал все, что росло и двигалось в поле его зрения. К счастью, он был близорук, и благодаря этому множество трав, листьев, жуков, мух и прочей мелюзги спаслось от верной гибели.

Да, в то жаркое лето, когда Вайзер подпустил нас к своим тайнам или, вернее, впустил нас в свою жизнь — частично, конечно, и насколько хотел, — в то лето М-ский встречал нас не однажды в районе стрельбища, Буковой горки, брентовского кладбища или Долины Радости. Его выпученные рыбьи глаза, отрываясь от неба или земли, наблюдали за нами украдкой, и мы никогда не знали, не подцепит ли он и нас как необходимый образчик фауны для своего эпохального труда. Вне школы и первомайской демонстрации мы должны были быть для него, без сомнения, видом особо назойливых мух, о чем можно было догадаться по его холодному, пустому взгляду. Я боялся этого взгляда, именно его, а не "ощипывания гуся", "вытягивания хобота", "согревания лапки" или других, еще более болезненных и изощренных телесных наказаний, которые он применял на своих уроках. В какой-то момент, глядя на покрасневшее ухо Шимека, я даже подумал, что М-ский способен своим взглядом превратить кого захочет в муху, и уже представил себе, как обрас-

таю серо-зеленым хитиновым панцирем и как мои скрючившиеся пальцы расчленяются на огромное количество мохнатых щупальцев. Это было отвратительно, в сто раз ужаснее, чем страх перед болью, покрасневшее ухо Шимека и превратности следствия.

К первым числам июля густота "рыбного супа" в заливе, казалось, достигла апогея. На море надежд не осталось, и мы были вынуждены искать себе другие занятия. И это первая глава книги о Вайзере, которую ни один из нас не написал и никогда не напишет: ведь то, что я делаю сейчас, ни в коем случае не сочинение повести, а лишь заполнение белого пятна, затыкание дыры строчками в знак полной капитуляции. Да, первая глава этой ненаписанной книги начинается с "рыбного супа" в заливе и с наших игр на брентовском кладбище, куда мы стали ходить вместо пляжа и где в гуще орешника, ольхи, в тиши покосившихся надгробий и надтреснутых плит с немецкими надписями разыгрывали наши войны. Шимек командовал отрядом СС, а его оттопыренные уши прикрывала найденная в овраге ржавая вермахтовская каска, Петр возглавлял партизанский отряд, который — хоть и постоянно преследуемый и разгромленный на голову — всегда возрождался заново, чтобы готовить очередные засады. Когда Шимек со своими брал нас в плен, мы, так же, как в кино, поднимали вверх руки, так же, как в кино, маршировали с руками, сложенными на затылке, и так же точно, как в фильмах о настоящей войне, которые показывали в нашем кинотеатре "Трамвайщик", падали, расстрелянные автоматными очередями, в настоящий ров на краю кладбища, там, где начинался сосновый лес. И если я вспоминаю с некоторым удивлением, как охотно и с каким знанием дела мы падали в этот ров, с каким душевным подъемом ожидали момента, когда рука Шимека подаст знак к началу экзекуции, то понимаю, что всем этим мы были обязаны именно кинотеатру "Трамвайщик", который находился неподалеку от школы, рядом с депо, и в котором устраивались специальные сеансы, дабы знакомить молодежь с отечественной историей.

Не помню уже, в какой из дней, после какой из стычек, битв и нашего пленения стояли мы с поднятыми вверх руками перед дулами эсэсовских автоматов, ожидая, когда из-под ржавой каски Шимека раздастся команда "Feuer!"[1], и вдруг увидели Вайзера, сидящего на сосне, Вайзера, который, возможно, все эти дни наблюдал за нашими играми. Точнее, сначала мы услышали его окрик — окрик, адресованный Шимеку, чтобы тот отменил команду, — а уж потом увидели его на сосне. Он сидел, держа в руке старый, видавший виды "шмайсер", из которого целился куда-то далеко за башни кирпичного костела, и смотрел на нас, совершенно так же, как в праздник Тела Господня, когда вынырнул неожиданно из серого облака кадильного дыма. Под деревом стояла Элька, прислонившись к стволу. Она ничего не говорила, но видно было, что она с ним, а не с нами. Так что мы не услышали на этот раз пронзительного "ду-ду-ду-ду-ду", после которого полагалось падать на колени, а потом уже как попало — навзничь, на бок или на живот, лицом в траву, — потому что Вайзер спрыгнул с сосны и подошел к остолбеневшему Шимеку.

Сегодня, так же, как и в тот вечер, когда я сидел на складном стуле рядом с Шимеком, а потом с Петром, а потом опять с Шимеком, ожидая своей очереди на допрос, сегодня, так же, как и тогда, много бы я дал, чтобы вспомнить слова Вайзера на кладбище, потому что это были

1. "Огонь!" (*нем.*).

его первые слова, обращенные непосредственно к нам. Шимек, у которого я спросил об этом в письме, ничего не ответил: занятый своими делами в далеком городе, он явно избегает тем, связанных с воспоминаниями о Вайзере. Элька, которая должна помнить это лучше всех, превратилась в немку и не отвечает из Мангейма ни на один вопрос, а Петр в семидесятом вышел на улицу посмотреть, что там происходит, и угодил под самую настоящую пулю. Да, я уверен, что с тех слов должна бы начинаться ненаписанная книга о Вайзере...

Итак, он спрыгнул с сосны и, держа в руке ржавый, видавший виды "шмайсер", подошел к Шимеку со словами: "Оставь, я сделаю это лучше", или "Предоставь это мне", или еще короче: "Я это сделаю". Да только вот Вайзер ничего такого не говорил, не мог он ничего такого сказать, поскольку "шмайсер" перешел в руки Шимека, а сам он с Элькой ушел по тропинке вниз к разрушенным воротам кладбища, словно появился только для того, чтобы оставить нам автомат и удалиться к более важным делам. Казнь не состоялась. Мы окружили Шимека, и каждый хотел хоть с минуту подержать бесполезную железяку, которая, ничего не скажешь, все же производила впечатление. К тому моменту Вайзер еще не был для нас главным авторитетом, и мы спорили о том, чьей стороне должен принадлежать автомат. Я был в отряде Петра и, конечно, хотел, чтобы он был у нас, поскольку у противников была каска. В конце концов мы установили новый, более интересный порядок военной игры. С этого дня после каждого боя Петр менялся с Шимеком — автомат на каску, — и таким образом мы один раз, когда наш командир надевал каску, были немцами, а в следующий раз превращались в партизан и носились между заросшими надгробиями с автоматом в руках.

Думаю, у Вайзера с самого начала был план, как опутать нас своими замыслами, с самого начала он наверняка поджидал удобный момент, чтобы, как в праздник Тела Господня или как на брентовском кладбище, поразить нас окончательно. Потому что на первых порах, когда мы не знали ничего ни о подвале на старом кирпичном заводе, ни о взрывах в ложбине за стрельбищем, ни о его коллекции марок Генерал-губернаторства[1], в тот период, когда, ничего не зная, мы бегали между надгробиями брентовского кладбища, он появился и исчез, как исчезает тот, кто приснился нам случайно и кого мы после не можем забыть, хотя черты его лица, слова и манера поведения улетучились из нашей памяти. Он внедрил в нас память о себе совершенно незаметно, и в последующие дни, когда в пыли песчаной дороги мы возвращались домой через Буковую горку, чаще всего под вечер, в алых лучах заходящего солнца, именно тогда начали мы о нем говорить. Сначала случайно и без всякой связи с облаком кадильного дыма и ржавым автоматом, просто так, задавая вопросы громко и шутливо: а чем он вообще занимается, если не играет вместе с нами, или: зачем эта глупая Элька таскается за ним все время как собачка, а на нас смотрит свысока, как на банду сопляков, и зачем это он дал нам автомат, ведь никто из пацанов по своей воле ни за какие сокровища не расстался бы с такой находкой. Но это еще было совсем не то, что овладело нами позже, когда мысль о нем не давала нам заснуть и когда мы часами выслеживали его и Эльку. Тем временем "уха" в заливе воняла все сильнее, и кто-нибудь из нас через день ездил в Елитково, чтобы поглядеть, как там дела.

1. Генерал-губернаторство — часть оккупированных Германией во время второй мировой войны польских провинций, не включенных в состав империи.

Я посмотрел на Шимека. Его оттопыренное ухо уже не было таким ужасно красным, оно даже как будто вернулось к своим прежним размерам. Между нами сидел теперь сторож, а через открытое окно канцелярии слышались ленивые звуки сентябрьского вечера, шаги прохожих смешивались с криками детворы, а солнце освещало красную черепичную крышу дома на другой стороне улицы. Все дома в нашем районе были крыты красной черепицей, так что в такой вечер, как этот, на исходе лета, когда у солнца появляются особые свойства, на красные островерхие крыши, подумал я, наверно, интереснее всего глядеть с Буковой горки, откуда, кроме крыш, виден еще аэродром, расположенный за железной дорогой, и залив с белой полоской пляжа. Сколько раз стояли мы там, на горе, и город наш казался нам совершенно иным, чем тот, в котором мы жили каждый день. Тогда я не знал почему, но теперь, когда уже нет ни Буковой горки, ни Вайзера, ни того Елиткова, — теперь я думаю, что сверху просто не было видно грязных, замусоренных дворов, переполненных помоек и прочих мерзостей предместья, символом которых мог бы служить серый, насквозь пропыленный магазин Цирсона, в котором мы покупали лимонад в бутылках, именуемых взрослыми *пузырями*.

Вместо панорамы с Буковой горки теперь я видел крышу дома напротив, по которой лучи солнца скользили все более короткими зигзагами, и открытое окно чердака, в котором ветер ласково надувал занавески. Часы в канцелярии пробили пять, и через минуту я услышал хорошо мне знакомые звуки пианино — это учительница музыки аккомпанировала хору на вечерней репетиции. Сначала шло вступление, потом с первого этажа стали доноситься все более громкие фразы исторической массовой песни, или массовой исторической песни, или народной исторической песни — уж не помню, как тогда это называлось: "Хвала вам, паны-ы и магна-аты, за це-пи, за на-шу не-во-лю, хвала-а вам, епи-иско-пы, ба-ро-ны, пре-ла-ты, хвала вам за на-ашу кро-ва-авую до-лю!" Это был припев, многократно повторяемый, так же, как начало песни, столь же торжественное и патетическое: "Когда на-а-род с ору-жи-ем под-нялся в бой, паны о при-бы-лях ра-де-е-ли". Никогда не мог понять, ни на школьных праздниках, ни на уроке пения, где мы должны были повторять эту песню десятки раз до отвращения, что общего было у цепей и неволи с епископами и о каких прибылях шла речь, когда народ поднялся в бой, то есть что общего у прибылей с боем. И вообще, за что тут было винить панов, если панов уже давно нет, а если и есть, то наверняка не в нашем городе и не в нашей стране. Да, сегодня, к счастью, я не должен об этом думать, но вот мелодия крепко застряла в моей памяти, и если она и возвращается ко мне какими-то неведомыми путями, то никак не в связи с прелатами, школьными праздниками или учительницей пения, а лишь вместе с тусклым светом сентябрьских сумерек, когда я сидел в канцелярии нашей школы, ожидая своей очереди на допрос, вместе с видом занавески, колеблемой легким дуновением ветра, вместе с Вайзером и пятью часами пополудни — как раз столько пробил в стенных часах нежный гонг, напоминающий звон колокольчика ксендза во время вынесения Святых Даров.

Когда ухо Шимека стало совсем нормальным, дверь директорского кабинета открылась, М-ский выпустил оттуда Петра — и наступила моя очередь. Школьный запах навощенных полов, который я помню поныне, тяжелый и маслянистый как вечность, смешивался в директорском кабинете с табачным дымом и ароматом кофе, который пили трое

допрашивающих нас мужчин. Один М-ский не курил, а только теребил рукав своей рубашки.

— Значит, ты, Хеллер (так меня тогда называли), настаиваешь, — обратился ко мне тот, что в форме, — ты настаиваешь, что Вайзера и Эльку вы видели последний раз двадцать восьмого августа в ложбине за старым стрельбищем, верно?

— В общем-то, верно.

— Что значит — "в общем-то"?!

— Потому что после мы уже не видели их вблизи.

— Значит ли это, что вы видели их еще и на следующий день как-то иначе? Что значит — "вблизи"?!!

— Нет, на следующий день мы уже не видели их вовсе.

М-ский заерзал в кресле:

— Ну так расскажи нам подробно и по порядку, что случилось в тот день, только не привирай, от нас все равно ничего не скроешь!

Я говорил, стараясь не смотреть в глаза М-скому; говорил медленно и спокойно, уверенный, что не нападут они на настоящий след, так и будут топтаться на месте, пока, наконец, не оставят нас в покое: Вайзер приказал нам, как всегда, ждать возле лиственничной рощи и, когда убедился, что мы там стоим, пересек ложбину, а затем помахал нам рукою в знак, что уже пора ложиться, и сразу же земля вздрогнула от взрыва и на голову нам посыпались песок, гравий и щепки.

— А потом?

— Потом мы подняли головы, как всегда после взрыва, и ждали, когда он подаст следующий знак, то есть сигнал, что можно уже подойти к месту, где был заложен заряд, но такого сигнала на этот раз не было. Вдруг мы увидели, как они идут оба — совсем как взрослые, под руку, — Вайзер и Элька. Так вот, идут оба, но не к нам, а на другую сторону ложбины, туда, где растет старый дуб, и ни разу не обернулись, только взбираются все выше по крутому склону, поросшему буками, взбираются на самый верх и исчезают. А мы стоим теперь (мы успели уже подойти к месту взрыва) возле огромной воронки и видим: ничего себе, воронка огромная, как после авиабомбы. Стоим и восхищаемся, измеряем глубину ямы, радиус и, как всегда, вдыхаем запах сырой земли, полной ошалевших муравьев и разорванных червяков, и вдруг кто-то кричит, показывая на бугор: "Посмотрите туда!" — и мы видим Вайзера с Элькой. Мы видим их на вершине бугра и как они исчезают за деревьями, но не бросаемся вдогонку, и вот именно так, — говорил я, — мы видели их последний раз: издалека, в ложбине за стрельбищем, а потом, на другой день, начались поиски, и в подвалах заброшенного кирпичного завода нашли склад Вайзера, о котором даже мы не знали, Вайзер ревниво оберегал такие тайны. Ничего не знали о банках с тротилом, разобранных снарядах, патронах, потому что никогда не спрашивали у него, откуда он берет материал для своих мин, да если бы даже спросили, разве такой, как он, сказал бы хоть слово? Нет, только Элька могла знать об этом складе, и если был еще один, о чем мы, конечно, тоже понятия не имели, если был еще один склад, то единственной, кому Вайзер мог бы доверить эту тайну, была именно Элька, и, может, поэтому он забрал ее с собой.

Меня слушали с притворным равнодушием. Директор освободил узел галстука, который теперь напоминал компресс, какие кладут на горло при ангине, мужчина в форме прихлебывал остатки кофе из стакана в жестя-

ном подстаканнике, а М-ский барабанил пальцами по блестящей поверхности стола и смотрел вовсе не на меня, а куда-то выше, на стену.

— Это всё мы уже знаем, — вдруг закричал М-ский, — без вашей помощи, но почему один из вас врет, или вы врете все и каждый в отдельности?

— Да, — перебил его директор, — один из твоих приятелей признался, что днем позже вы еще играли вместе с ними на Стриже, за взорванным мостом; выходит, они провели всю ночь не дома, и вы знали об этом и знали, где их искать!!!

— Тут не до шуток, парень, — вмешался тот, что в форме, — если их разорвал снаряд, вы будете отвечать за соучастие в преступлении, и в исправиловке вас научат уму-разуму!!!

— На Стриже мы играли днем раньше, а не днем позже, — сказал я, чувствуя, что первая ложь, которую я им подсовываю, дается мне с легкостью. — Он, наверно, что-то напутал.

Теперь они кричали все вместе, угрожали, задавали вопросы, говорили, что мы не выйдем отсюда, пока все не выяснится, что нашим родителям уже сообщили о следствии, что нам не дадут ни пить, ни есть и мы будем здесь торчать, пока не откроем всю правду. Уверяли меня, что готовы сидеть здесь с нами до утра или еще дольше, а если кто-нибудь наткнется на этот второй склад (от которого они ждали чего-то значительно худшего) и случится какое-нибудь несчастье, то мы будем и за это отвечать, так что лучше признаться сразу. Я был уверен, что они ничего не поймут, и поэтому повторил то же самое, что говорил минуту назад. М-ский встал с кресла, подошел ко мне строевым шагом, словно на первомайской демонстрации, схватил мой вздернутый нос двумя пальцами и спросил, видел ли я Вайзера в ложбине дей-стви-тель-но в последний раз. Я отвечал утвердительно, чувствуя, как мой нос постепенно сплющивается в его толстых пальцах. Но это не было обычным "вытягиванием хобота", которое М-ский применял на уроках естествознания. Сегодня, когда я вспоминаю этот момент, мне хочется назвать это "вытягиванием хобота с дополнительным выкручиванием", потому что сначала я вынужден был слегка подняться на цыпочки, а потом подниматься все выше и стоять на самых кончиках пальцев, удивляясь, что еще не вишу в воздухе. Тем временем рука М-ского перемещала центр тяжести моего тела то вправо, то влево, так что мне приходилось на какую-то долю секунды опускаться на пол всей стопой, чтобы успеть за его дланью, и тогда нос болел ужасно и становился еще более вздернутым, чем был от рождения, а М-ский повторял свой вопрос медленно, по слогам: дей-стви-тель-но в по-след-ний раз? Наконец он отпустил меня, я отшатнулся к стене и вытер рукавом кровь, потому что нос у меня был нежный и не терпел насилия.

В кабинете устроили перерыв, так что мы снова сидели вместе, все трое, на складных стульях в канцелярии, и мне казалось, что я слышу хор, скандирующий стишок в адрес Вайзера, когда в день выдачи аттестатов по Закону Божьему, прежде чем взлетела его клетчатая рубашка и Элька выступила в его защиту, кто-то из задних рядов крикнул: "Вайзер Давидек не ходит в костел!" — а кто-то другой сразу же переиначил: "Давидек-Давид, Вайзер — жид!" И я тут же подумал, что если б не Элька, то никогда дело не дошло бы до нашего знакомства с Вайзером, потому что тогда же, там, рядом с костелом Воскресения, мы сделали бы ему "макарончики", и на том бы все и закончилось, обычно и банально. Вайзер

избегал бы нашей компании, и никогда бы ему не пришло в голову подсматривать за нашими играми на брентовском кладбище и подарить нам старый ржавый автомат фирмы "Шмайсер" сорок третьего года, и то лето не отличалось бы от других каникул прежде или потом. Да, когда Элька набросилась на нас с когтями, чтобы защитить Вайзера, у нее наверняка было какое-то предчувствие, я убежден в этом до сих пор, ведь она никогда не вмешивалась в наши баталии и разборки, порой более жестокие, чем даже у взрослых. А в тот раз бросилась, будто Вайзер ее младший брат, и эффект от ее порыва был поразительный: мы отпустили их без сопротивления, и вовсе не из страха перед ее когтями.

Любила ли она его?! Да, любила — так я думал, сидя в канцелярии с распухшим носом, когда в кабинете директора готовился следующий раунд допроса, так я предполагал тогда, представляя себе ее рано округлившиеся груди, длинные льняные волосы и красное платьице, которое она носила в жаркие дни. Сегодня я знаю, что был не прав, и еще труднее мне определить их отношения с момента, когда они ушли вдоль костельной ограды, подгоняемые нашими камнями. Прежде Элька относилась с явным презрением к тем, кто не мог доплыть до красного буйка, прыгнуть с верхнего помоста мола вниз головой или точно подать мяч, когда мы гоняли в футбол на лужайке возле прусских казарм, — и вдруг увидела в худом и сутулом Вайзере кого-то очень важного и бросилась на нас с когтями. Не могла она измениться за долю секунды. Должно быть, она почувствовала то, что почувствовали мы через пару недель, глядя на Вайзера в подвале заброшенного кирпичного завода, отчего бегали по спине мурашки и электрический ток пронизывал все тело.

Однако все по порядку. Нет, я не пишу книгу ни о Вайзере, ни о нас тех, прежних, ни о нашем городе тридцатилетней давности, ни о школе, и тем более не пишу книгу о М-ском или эпохе, когда он был самым главным после директора, — нет, это мне неинтересно, и если я решил все записать, вспомнить запах того лета, когда "рыбный суп" заполонил пляжи залива, то единственно в связи с Вайзером. Именно это вынудило меня съездить в Германию, именно это велит сейчас записать все с самого начала, не пропуская ничего, ни малейшей детали — в таких случаях мелочь оказывается иногда ключом, открывающим ворота, и всякий, кто хоть раз встретился с чем-то необъяснимым, хорошо это знает. Итак...

Шли первые дни июля, в жаре и духоте город, лишенный залива, казалось, еле дышал, а "рыбный суп" густел и густел, прибавляя городским властям новых хлопот. Сначала надеялись, что эта странная эпидемия пройдет сама, и ничего не делали, затем предприняли кое-какие шаги: на пляже с утра суетились мужчины с деревянными граблями, как для сена, и сгребали рыбьи трупы в кучи, которые затем вывозили грузовиками на городскую свалку, обливали бензином и сжигали. Действия эти, однако, имели эффект, обратный намерениям: дохлых колюшек, вздувающихся на жарком солнце, прибывало, а газеты сообщали о массовой гибели кошек и собак в районах, прилегающих к заливу. Вспоминали также: за два месяца, то есть с начала мая, не выпало ни капли дождя, что старые люди поспешили назвать карой Божьей. А мы тем временем носились по брентовскому кладбищу с каской и автоматом, подаренным нам Вайзером, попеременно — то как немцы, то как партизаны, — падали от пуль, совсем как в фильмах о войне, которые демонстрировались в "Трамвайщике". Только иногда нам приходило в голову спросить

себя, почему Элька не играет с нами, а также что она видит в тощем и хилом Вайзере, отчего шатается с ним целыми днями по городу. Кто-то видел их в Старом городе возле колодца Нептуна, другой давал руку на отсечение, что Вайзер и Элька чаще всего сидят на лугу за аэродромом, а то как-то раз Петр заметил их аж за Брентовом, они направлялись к взорванному мосту, где Стрижа протекает под железнодорожной насыпью, по которой со времен войны не прошел ни один поезд. Но на эти сведения мы не обращали особого внимания, каждое утро один из нас садился в трамвай и ехал в Елитково посмотреть, как выглядит "рыбный суп", не отступает ли, а потом искал нас на кладбище за Буковой горкой и докладывал, что вонь на пляже еще усилилась и рои огромных мух висят над месивом, как саранча. В тени кладбищенских деревьев было приятней, чем во дворе и на улице.

Однажды рядом со склепом с готической надписью мы увидели мужчину в пижаме и больничном халате, сидевшего на плите и бормотавшего что-то под нос, будто читая молитвы. Мы обступили его, но он не проявил беспокойства и жестом показал, откуда он здесь взялся — убежал из сумасшедшего дома, который красно-серой горой возвышался на холме по другую сторону шоссе, ведущего в город. Петр предложил пойти в больницу и рассказать, где прячется наверняка разыскиваемый беглец, но никто из нас не видел настоящего сумасшедшего, и мы хотели убедиться, правда ли то, что ксендз Дудак говорил в своих пламенных проповедях о безумцах, отринувших Бога. Потому что ксендз Дудак в нашем приходском костеле Воскресения, расположенном, как и брентовский кладбищенский, неподалеку от леса, ксендз Дудак, как и старые люди, говорил, что рыбное месиво в заливе и засуха — знамения, посланные Богом.

— Покайтесь, пока не поздно, — кричал он с амвона в последнее воскресенье. — Не отрекайтесь от Бога, маловерные, не поклоняйтесь лжепророкам и идолам, ибо Он отвернется от вас. Не уподобляйтесь безумцам, которые, веря лишь в свои силы, мир хотят выстроить заново. А я спрашиваю вас, что же это за мир, в котором исчезнет вера, что же это за мир, в котором не воздается Ему, Творцу и Искупителю, наивысшая хвала, спрашиваю я вас и остерегаю, не верьте безумцам, опомнитесь, пока есть время. Сами видите, что Бог подает вам знаки своего гнева, — и в таком пламенном стиле ксендз Дудак то угрожал, то взывал к своим прихожанам, и мы убеждались тогда, что есть безумцы, из-за которых мы не можем купаться этим летом в Елиткове, и хотели своими глазами увидеть, как выглядит такой безумец.

Коль скоро выпал такой случай, коль скоро случай послал на кладбище мужчину в больничном халате, мы заорали на Петра и не побежали в Сребжиско, чтобы донести на беглеца, а обступили его, с интересом разглядывая его сморщенное лицо и стоптанные шлепанцы, в которых он убежал из больницы на заброшенное кладбище. Но если это был безумец, то, верно, не из тех, о которых гремел с амвона ксендз Дудак. Он молчал, и Шимек, как самый храбрый, надел ему на голову ржавую каску. Тогда мужчина знаком показал, что хочет посмотреть наш ржавый автомат, а когда "шмайсер" оказался у него в руках, встал на надгробии и, подняв вверх дуло, обратился к нам красивым, звучным голосом:

— Братья! Слово Господне живет в ушах моих, так слушайте же слово, которое вам направляю, дабы удостоверились! И вот Господь обнажит землю, и изменит лице ее, и рассеет обитателей ее. И голой станет

земля и опустошенной, ибо Господь изрек слово свое. И плакать будет земля, и погибнет, захиреет, и низвергнется шар земной, изнемогут все народы земные. Ибо земля наша осквернена обитателями, преступлен закон, попраны обычаи, нарушен вечный завет!

Мы не очень-то понимали, о чем шла речь, однако слова эти были настолько захватывающи и возвышенны, что мы слушали мужчину в пижаме затаив дыхание, совершенно забыв, что это сумасшедший, сбежавший из психушки в Сребжиске. А он возносил руки вверх, потрясая нашим автоматом, подымался на цыпочках, будто хотел стать еще выше, и полы его грязного халата напоминали большие желтые крылья, на которых он мог бы взлететь над Буковой горкой или еще выше, если бы только захотел.

— И премного угнетен будет человек, — вещал дальше Желтокрылый, — и благородный муж унижен будет, и глаза возвышенных оскорблены будут. И потому проклятие поглотит землю, и сгинут обитатели ее, и потому сожжены будут обитатели земли, и мало людей уцелеет. Пока не снизойдет на нас дух с высоты и пока не обернется пустыня полем урожайным, а поле урожайное за лес почитаться не будет!

Когда я вспоминаю сегодня этот чистый, низкий голос, я нисколько не сомневаюсь, что единственный среди нас, который понял бы тогда слова Желтокрылого, — это Вайзер. Да только не было его тогда с нами, сидел, наверно, в тот момент с Элькой в подвале заброшенного завода или бродил где-нибудь по высохшим лугам, окружающим аэродром. Но где бы он ни был, мы слушали как завороженные, а тем временем крылья свернулись, мужчина спрыгнул с надгробья и, продолжая вещать, провел нас заросшей мохом тропинкой к прогнившей колокольне, которая, хоть и стояла на заброшенном кладбище, служила ксендзу брентовского костела по воскресеньям и праздникам.

— Стенайте, — голос Желтокрылого звучал с удвоенной силой, — ибо близится день Господень, и ниспошлет опустошение Всемогущий! Всеобщая погибель, говорю я, предназначенная Господом, Властелином сонмищ, свершится на всем пространстве земли этой. Что сделаете в день гнева и опустошения, которое издалека грядет? Тогда взглянем на землю, и вот мрак и угнетение, ибо и свет затмится при гибели!

Мы уже стояли у колокольни, а он положил автомат на поперечную балку и, отвязав веревку, потянул за нее. Вместе с первыми звуками меди услышали мы еще слова, намного прекраснее тех, что можно было услышать на проповедях ксендза Дудака: “И потому разверзла геенна зев свой и распахнула безмерно пасть свою”. И теперь, под ошеломляющий звон брентовских колоколов, ибо в отличие от нашего прихода было здесь три колокола, а не один, под восхитительный звон этих колоколов мужчина в халате повторял, будто припев песни: “Горе тем, кто творит законы неправедные, горе тем, кто творит законы неправедные”. А мы стояли рядом, и некоторые из нас даже качались в такт этой песни, ибо то была действительно песнь, только не церковная, ибо никогда мы не слышали ее в костеле, но и не массовая, ибо на уроках музыки мы пели только массовые песни, а этой среди них не было. Может, еще минута, и мы подхватили бы ее слова и пронзительную мелодию, и таким образом она стала бы, по крайней мере в каком-то смысле, массовой, но помешал такой метаморфозе хромой причетник, ковыляющий к нам. Он приближался пугающе быстро и грозил нам кулаком. “Безбожники! — кричал он. — Уже и святое место уважить не можете, проваливайте от-

сюда, а не то я сейчас...” – и ускорял шаги, а его стихарь все выразительней белел на фоне зарослей орешника. Вместе с Желтокрылым мы бросились наутек к Буковой горке, но причетник решил гнаться за нами дальше, аж до границы кладбища, которую обозначал бетонный фундамент давно не существующих столбиков. “Хулиганы! – кричал он еще громче. – Вандалы! – и грозил кулаком. – Нечего вам тут делать, – и ковылял еще быстрее, – только покойников тревожите!”

И когда мы были уже вне пределов кладбища, неожиданно, как из-под земли, вырос среди сосен М-ский с портфелем в одной руке и с каким-то растением в другой. Оторвавшись от своего занятия, он уставился на нас рыбьими глазами.

– В чем дело, мальчики? Видите этот цветочек? Красивый, правда? Скажи-ка, – обратился он ко мне, – какое это семейство? Не знаешь? – Обрадовался, как на уроке. – Это семейство Compositae, по-польски сложноцветные, подсемейство Liguliflorae – по-польски хоботкоцветные, да, это настоящая арника горная – Arnica montana, – растет на горных лугах, а я нашел ее здесь, невероятно, на севере в моренном окружении! Цветет в июне или июле, все совпадает.

Дальнейшие разглагольствования М-ского о необычайных открытиях прервал причетник, который, зная учителя естествознания, не поскупился на резкие упреки.

– Нечего вам, пан дарвинист, вместе с молодежью нарушать покой святых мест, – говорил он сопя, – так не годится, я в дирекцию школы письмо пошлю с вопросом, обязательно ли для науки устраивать балаган на кладбище.

– Я тут... это... послушайте... – забормотал М-ский. – Я тут сам по себе, а мальчики эти не со мной.

– Не с вами, – разозлился причетник, – как то есть не с вами, я сам видел, как вы вместе дергали колокола, и зачем такие дурацкие выходки? Разве ксендз приходит в школу звонить во время уроков? Нет! Так что попрошу от костела держаться подальше!

Это уж было слишком. М-ский побагровел и изверг из себя одним духом целый поток угроз и предостережений, в которых слова *провокация, духовенство, иезуитство, обскурантизм, косность* повторялись очень густо. Затем он сунул Arnica montana в портфель и ушел, пригрозив, что если увидит нас хотя бы рядом с кладбищем, то нам в будущем учебном году не поздоровится. Причетник тоже ушел, а мы только теперь заметили отсутствие Желтокрылого, который исчез, пользуясь суматохой. Самое скверное, что он забрал с собой вермахтовскую каску и ржавый “шмайсер”.

Да, в тот день не было с нами Эльки и Вайзера, и я, собственно, мог бы не записывать ничего, не вспоминать сумасшедшего в пижаме и желтом халате, не упоминать о трех колоколах брентовского кладбища и не вызывать из памяти горную арнику с мохнатым стебельком и желтым растопыренным соцветием. Однако в этой истории, кажется, больше, чем в других, некоторые подробности и моменты только с отдаленной перспективы приобретают особый смысл, увязываются между собой, и невозможно – если размышлять обо всем этом – трактовать их по отдельности. Естественно, если бы не Желтокрылый, если бы не брентовские колокола и угрозы М-ского в наш адрес, если бы не арника горная, наше внимание не сосредоточилось бы на Вайзере настолько, что он пожелал это заметить, – я полагаю, все это время Вайзер ждал, как опыт-

ный охотник, момента, когда дичь теряет ориентацию, потому что ветер дует с тыла, а не в ноздри. Он просто изучал только ему известными способами нашу готовность.

Так или иначе, на следующий день мы не пошли через Буковую горку в Брентово. С самого утра перед лавкой Цирсона выстроилась длинная очередь жаждущих лимонада. Бутылки с наклейками путешествовали из рук в руки, жена хозяина взвешивала яблоки и огурцы, а липучка, свисающая с магазинной лампы, напоминала мохнатую лапу паука. На дворе пани Коротек развешивала белье; мы знали, что ее муж, работающий на верфи, вернется вечером пьяный в лоск, ибо сегодня день получки. Впрочем, как и наши отцы, большинство которых работали на верфи и в день получки тоже возвращались к своим женам пьяными, а наши матери так же, как пани Коротек, заламывали руки, устраивали скандалы и так же, как она, швыряли в лицо Господу Богу свои муки и несчастья. Солнечный жар, однако, убивал всякую охоту жить, пани Коротек с пустой корзиной пересекала двор, приговаривая, что такая погода ничего хорошего сулить не может. Облезлый кот зализывал в тени каштана свои раны, и над всей округой разносился тошнотворный запах из колбасной фабрички, расположенной за лавкой Цирсона. Не чаще чем раз в час по булыжникам нашей улицы проезжала, тарахтя, какая-нибудь машина, поднимая облака медленно оседающей пыли. И вдруг мы увидели Вайзера с Элькой, выходящих из задней двери дома; они шли по рахитичному, выжженному солнцем садику между рядами пожухлой фасоли, которая в то лето не доросла даже до середины жердей. Они шли, и Вайзер что-то говорил Эльке, а та смеялась. Мы толкнули Шимека в бок, чтобы пойти за ними, но Шимек удержал меня. "Подожди", – сказал он и побежал домой за французским биноклем, который его дед добыл под Верденом во время Первой войны. Не знаю, сохранился ли он у Шимека, но помню, что то был артиллерийский бинокль, с градуировкой в обоих окулярах, помню также, что был он для нас предметом вожделения и зависти, и, наверно, поэтому Шимек выносил его из дому крайне редко, только в исключительных случаях, как, например, год назад, когда с чердака нашего дома мы наблюдали пожар китайского сухогруза, завернувшего в Новый порт с партией хлопка.

Элька и Вайзер миновали трамвайные рельсы возле круга двенадцатого номера, направляясь улицей Пилотов к виадуку над железнодорожными путями, с которого попадали на платформу. На виадуке они остановились и некоторое время смотрели в сторону аэродрома. Пока нам не потребовался бинокль, покоившийся в кожаном футляре, ибо те двое на виадуке были выше нас на два виража крутой в этом месте дороги. Мы стояли, скрытые забором бумажной фабрики, и видели, как Вайзер вынимает что-то из кармана и показывает Эльке, а она берет это в руки и внимательно разглядывает. Тень старых деревьев прятала нас надежно, и если что-нибудь в тот день было не так, как вылавливает это из прошлого моя память, то уж тень от больших кленов была совершенно точно. Клены, должно быть, росли в этом месте уже очень давно, и когда сооружали деревянные склады фабрики, прилегающие к улице Пилотов, деревья не вырубили, а только оставили дыры в навесах. Итак, мы стояли в тени деревьев, вырастающих прямо из крыши, и Шимек начал проявлять нетерпение. "Что они там делают?" – спросил он и уже хотел достать бинокль, когда они двинулись в сторону аэродрома. Желто-голубая электричка пронеслась где-то под нами, а мы уже с виадука

следили за Вайзером и Элькой, которые через дыру в заборе как раз пробирались на территорию аэродрома.

— Совсем не боятся охраны, — одобрительно сказал Шимек, вытаскивая из футляра бинокль. — А теперь посмотрим, чего они там ищут, — и он поднес к глазам темно-коричневые трубы.

Элька и Вайзер исчезли в густых зарослях дрока, кусты которого примыкали к взлетной полосе. Если я пишу "примыкали", то кто-нибудь может подумать, что этот дьявольски важный кустарник находился где-то на середине полосы или при одном из ее боковых ответвлений, предназначенных для выруливания. Так вот, это большая ошибка: от кустов дрока, в которых исчезли Элька и Вайзер, взлетная полоса только стартовала на южном конце аэродрома, убегая прямиком к морю в северном направлении.

— Куда они исчезли?! — нервничал Шимек. — Что за хреновина! Я вам говорю — они играют в доктора.

— Во что? — спросил я недоверчиво.

— В доктора, — повторил Шимек. — Он с нее снимает трусики и все, что нужно, осматривает! Но где же они? — Опершись на чугунную балюстраду виадука, он крутил настройку бинокля, целясь в кусты дрока.

Справа от нас виден был как на ладони старый Вжещ в его темном, багрово-кирпичном колорите, с башнями костелов, слева, очень далеко, маячили очертания Оливы, а напротив тянулся аэродром с маленьким зданием аэропорта, ангарами и неподвижно висящим рукавом в цветную полоску. Дальше, там, где кончалась взлетная полоса, виднелась белая нитка пляжа, залив и суда, ожидающие на рейде.

— Куда они могли исчезнуть? — повторял Шимек. — Ведь они не выходили из кустов, — и передал мне, чуть помедлив, бинокль: расставался он с ним всегда неохотно и ненадолго. Когда черные риски делений запрыгали у меня в окулярах на фоне кустов дрока, я почувствовал себя французским офицером-артиллеристом, убитым под Верденом. И в тот момент, когда я подправил резкость, за нашей спиной со стороны холмов глухо зарокотал самолет. Заросли дрока, ближайшие к бетонной полосе, зашевелились, и только тут я увидел их обоих — они лежали рядом, держась за руки, и нетерпеливо поднимали головы, высматривая подлетающий ИЛ. Но это не было игрой в доктора и пациента, они просто лежали навзничь с вытянутыми ногами, держась за руки, а свободной рукой каждый из них вцепился в корни дрока, которые в том месте были толстые и переплетенные. Самолет, снижаясь, миновал Буковую горку и приближался к виадуку и железнодорожным путям, а я нацелил бинокль на красное платье Эльки и ее голые колени, добившись наконец идеальной резкости: то, что я увидел через несколько секунд, когда огромный сверкающий фюзеляж самолета, казалось, вот-вот коснется брюхом зарослей дрока, я видел абсолютно четко. Машина уже в десяти, может, в пятнадцати метрах от земли; от зарослей дрока и от начала полосы ее отделяет расстояние небрежно брошенного камня. Элька приподнимает колени, и лицо ее искажает гримаса, кажется, будто она кричит от страха, рот у нее открыт. У Вайзера рот тоже открыт, но не искривлен, и он не подымает колен. Кусты дрока, словно подкошенные, ложатся от воздушной волны, Элька, не отрываясь от земли, поднимает колени еще выше, а с ними и бедра, и видно, как ее красное платье, задранное воздушной волной, открывает черную точку между ногами. Но это вовсе не трусики, вовсе не белье, это черное, слегка

приподнятое, вырвавшееся из-под красного платьица благодаря ревущему самолету нечто — удивительно мягкое, волнистое и трогательное; это нечто, совпадающее с нулевым делением артиллерийской шкалы в окуляре французского бинокля из-под Вердена, это нечто, напоминающее треугольник, быстро исчезает в складках красного платьица, опадающего на бедра и колени Эльки, как только шасси огромного ИЛа касается бетонной полосы в десяти или пятнадцати метрах за ними. И на этом, собственно, все заканчивается, оба вскакивают и мчатся к ограде, чтобы успеть скрыться от часового с винтовкой. Шимек вырывает у меня бинокль и, приложив его к глазам, кричит: "Видишь, они все же играли в доктора, их самолет спугнул!" Но я знал уже тогда, что это было не то, чего хотелось бы Шимеку. Все время, пока самолет приближался, рука Вайзера оставалась на месте, это не она задрала красное платье Эльки. Да, уже тогда я знал, что Элька с помощью Вайзера позволяет самолетам устраивать странные и возбуждающие игры. И не знаю, что меня удивило больше — то, что серебристый ИЛ-14 задирал красное платьице Эльки, или то, что между ног у нее было то черное треугольное нечто, такое же, как у моей матери или у старшей сестры Петра, о чем трудно не знать, когда в доме по одной ванной на этаж.

К вечеру жара немного спала, и через открытые окна квартир вырывались отголоски домашних скандалов. Возвращались последние недопившие, на обратной дороге заглянувшие еще и в бар "Лилипут", расположенный напротив евангелистской часовни, в которой собирались открыть новое кино. Евангелистская община в нашем районе состояла из истинно верующих, но их количество таяло из года в год, и они не смогли сохранить свой храм. Преимущественно то были пожилые гданьчане, которых пришлый народ называл немцами, что не всегда соответствовало истине. Пани Коротек кричала на своего мужа: "Ты, паразит, сволочь последняя", из радиоприемника неслись звуки задорного оберека[1], а все мальчишки уже наверняка знали от Шимека, что Вайзер ходит с Элькой на аэродром, чтобы ее *тискать*, хотя не все смогли бы объяснить, что означает это слово. И когда Элька проходила через двор, кто-то завопил, чтобы она дала *потискать* и нам, а не только тому еврейчику со второго этажа. Элька подошла к скамейке, на которой мы сидели, и глаза ее метали молнии.

— Дураки, — процедила она сквозь стиснутые зубы. — Глупые сопляки и вонючие засранцы, вот вы кто, только и умеете пинать мяч и выбивать друг другу зубы, и больше ничего!

— Ну и что! — прозвучало вызывающе.

— А вот то! — отрезала Элька. — Он может всё, понятно вам, щенки недоразвитые? Все, что захочет, может сделать. Его даже звери слушаются!

— Хо-хо-хо! — заржал Шимек. — Так, может, он сумеет остановить машину на ходу или самолет в небе?

Последнее замечание задело Эльку больнее всего, она бросилась с когтями на Шимека, и началась бы новая драка, началась бы, если бы не голос со второго этажа. Через открытое окно всю сцену наблюдал Вайзер, и когда ногти Эльки уже готовы были вонзиться в лицо Шимека, мы вдруг услышали: "Ладно, скажи им, пусть завтра в десять приходят к зоопарку, к главному входу". Вайзер обратился к ней, я хорошо это помню: "Скажи им", хотя все мы были перед ним как на ладони и с таким же успехом он мог сказать прямо нам: "Будьте завтра у входа в зоопарк в десять".

1. Польский народный танец.

Но он предпочел обратиться к ней, и так было и после, когда он приглашал нас на свои представления в ложбину за стрельбищем.

— Слыхали? Приходите в десять к воротам зоо, тогда увидите, — повторила Элька. Но она не сказала, что́ мы увидим, и пошла себе, а мы теперь слушали, как пан Коротек бьет свою жену ремнем, выдернутым из брюк, и как она взывает ко всем святым о помощи, по-видимому, неубедительно и без истинной веры, ибо через открытое окно то и дело доносились до нас смачные шлепки и отчаянные стоны. Вечером старики высыпали на лавки и посматривали на небо, отыскивая обещанную комету, а мы играли в футбол на высохшей траве возле прусских казарм. Петр, который в тот день наведался в Елитково, доложил, что "рыбный суп" приобрел цвет чернил и воняет хуже прежнего, а вход на пляж преграждают большие щиты с объявлениями, подписанными властями всех трех городов, примыкающих к заливу.

— Все, пора наконец с этим покончить. Почему эти мальчишки не были ни в лагере, ни в трудотряде, почему никто не подумал занять их чем-нибудь, чтобы они не шлялись по гиблым местам, где постоянно находят неразорвавшиеся снаряды и патроны? Вы за это также несете ответственность, — голос прокурора звучал теперь на высоких тонах, а директор уже не расслаблял галстук, так как тот был уже совсем развязан. — Почему ребята не уехали на каникулы, вы ведь знаете, — продолжал прокурор, — не хуже меня, что в этой среде (акцент он сделал на *этой)* родители из-за недостатка времени и педагогических способностей теряют влияние на подрастающих детей, и тут-то вы должны действовать, в этом ваша роль, роль школы, коллектива наконец, — неужели я должен вас учить? Только в прошлом году у нас в Польше произошло десятка полтора подобных случаев, и я убежден, что многих из них не было бы вообще, если бы должный надзор осуществлялся также (акцент на *также)* во время каникул!

Слова прокурора, а потом то, что говорили директор и М-ский, мы слушали затаив дыхание. Не все через приоткрытые двери кабинета, разумеется, было слышно в подробностях, но мы вполне могли сориентироваться, что они пока еще на ложном пути. Потому что М-ский, директор, мужчина в форме и прокурор, который появился в канцелярии школы в семь часов, — все они полагали, что Вайзер и Элька взлетели прямо в небо сотнями или тысячами кусочков после взрыва в ложбине за стрельбищем. Они думали, что это разорвался снаряд. Одно только у них не сходилось — во время поисков не было найдено ни одного клочка одежды или тела, и это их бесило, и они кричали на нас и угрожали, будто это была наша вина. Не верили, что там, в ложбине, мы видели Вайзера и Эльку, уходящих по дороге. Не подозревали, что наша последняя встреча состоялась действительно на следующий день на Стриже у взорванного моста, где речка протекала под железнодорожной насыпью в узком тоннеле. Они не могли разобраться в наших признаниях, считали, что со страху мы спрятали где-то останки тел, а сейчас врем, путаясь в объяснениях. Им даже не приходило в голову, что, если бы их разнесло в клочья, в конце концов мы бы рассказали, где закопаны обрывок рубахи Вайзера или лоскут красного платья Эльки.

— Немцы оставили после себя немало зарытых боеприпасов, —говорил прокурор, — и это сейчас самый трагический урожай войны (акцент на *самый трагический)*! Между тем ни один урок в вашей школе не был

посвящен этой проблеме (акцент на *вашей).* Скажите, товарищ директор, что вы сделали, чтобы предостеречь молодежь от подобной опасности? Вы уже знаете, сколько этого добра обнаружили на кирпичном заводе? У нас есть точные сведения — хватило бы, чтобы поднять в воздух не только это здание, но и все дома в округе.

Директор что-то путано объяснял, а потом М-ский рассказывал о растущей неприязни к массовым организациям, ослаблении бдительности и так далее и завершил политикой Ватикана и непримиримой позицией духовенства, с которым у него самого часто — да, да — случаются, конфликты. И рассказал прокурору о нашей встрече у брентовского кладбища — в доказательство, что говорит правду.

— Меня интересуют факты, — не дал себя сбить прокурор, — а не общие фразы. Мне нужно подробное описание ситуации в тот критический день. Вы, сержант (должно быть, он обратился к тому, в форме), к рапорту приложите план местности — надеюсь, я не должен вас инструктировать, как это делается. Работайте как угодно, но к понедельнику рапорт должен быть готов, без всяких недомолвок и неясностей! Кстати, — добавил он в заключение, — еще год назад эти мальчишки (это о нас) сидели бы на Окоповой как диверсионная группа и даже Матерь Божия им бы не помогла! Да, да, — повторил он, выходя из кабинета, — времена и нравы меняются, — и прошел через канцелярию, оставив за собой резкий приторный запах одеколона.

— Вот загвоздка, — через минуту произнес М-ский (и, наверно, указал своим толстым пальцем на бумаги, которыми был завален стол директора). — В этих показаниях ничего не сходится, ни складу ни ладу!

— Они (это снова о нас) бессовестно врут, — добавил сержант, — боятся, но лгут.

— Врут, потому что боятся, — вы не поняли, сержант? — подхватил тему директор, и добрых несколько минут они перебрасывались словесными мячиками, а я тем временем размышлял, почему дед Вайзера, который был портным и очень редко выходил из дому, умер, когда начались поиски. К нему в дверь стучали, но никто не открывал, тогда ее высадили, и оказалось, что пан Вайзер умер от сердечного приступа. Кажется, его нашли сидящим на стуле, с головой, упершейся в старую швейную машинку марки "Зингер", над незавершенной работой. Была это, как я узнал намного позже, жилетка от костюма, заказанного вдовой капитана, почему именно вдовой, этого я не знаю. Старого Вайзера я вспоминал с некоторым страхом; его смерть, такая неожиданная, не могла быть случайной, сейчас я понимаю это ясно. Потому что всегда молчаливый дед Вайзера был единственным, кто мог бы рассказать, каким образом Элька и Вайзер ушли от нас в тот солнечный день и как случилось, что мы сами не могли понять это до конца.

Чтобы понять до конца, нужно было сделать приблизительно то, что я делаю сейчас, через двадцать с лишним лет. Нужно было припомнить все важные подробности, упорядочить их и рассмотреть все вместе, как рассматривают муху, застывшую миллион лет назад в кусочке золотистого янтаря. Но тогда никто не был к этому готов, ни Шимек, ни Петр, ни я сам. Никто из нас не связал бы тогда "рыбный суп" с облачком дыма, выпущенным ксендзом Дудаком в праздник Тела Господня, когда мы пели "Да благословен будь", никто не подумал бы даже, что засуха в тот год не была обычной засухой, и никто не допускал, что взрывы Вайзера в ложбине за стрельбищем имели какую-то связь с тем, что он вытворял в

подвале бездействующего кирпичного завода, или со сверкающим корпусом ИЛ-14, который вздымал красное платье Эльки и сотрясал все ее тело в кустах дрока. Наконец, даже если бы мы рассказали подробно о том, что видели в последний день над Стрижей за взорванным мостом, ни М-ский, ни директор, ни тот, в форме, и никто на свете не отнесся бы к этому всерьез. "Это невозможно, — сказали бы они, протирая очки, прихлебывая кофе и теребя манжеты рубашек. — Это невозможно, — сказали бы они, — вы опять лжете, зловредные дети". И снова допросы крутились бы, как прежде, вокруг последнего взрыва, на котором — по их мнению — все закончилось. Мы были, вдобавок, связаны обещанием, а точнее — клятвой, данной Вайзеру. Но я решил не забегать вперед, так что пока еще я сидел в канцелярии между Шимеком и Петром, нога ныла у меня ужасно, а через открытое окно улетучивались остатки изысканного букета одеколона пана прокурора, который покинул школу ровно в половине восьмого.

— Войталь, — прозвучала в дверях кабинета фамилия Петра. — Теперь ты. — И Петр вошел внутрь вместе с последним ударом стенных часов.

Почему прокурор употребил слово "Окоповая"? Сказал, что всего год назад мы сидели бы там все трое как диверсионная группа. Сегодня я знаю очень хорошо, почему он так сказал, но в то время, когда Петр исчез за дверью кабинета и начался второй, впрочем, даже третий раунд допросов, слово, произнесенное прокурором, не давало мне покоя. Я вспоминал, как однажды днем, двумя годами раньше, у нашего дома остановилась грязно-зеленая машина и как из этой машины вышли двое в плащах, направились в квартиру пани Коротек и вывели оттуда ее мужа, пана Коротека, пьяного в лоск, хотя это был вовсе не день получки. Взрослые говорили тогда — шепотом и по углам, — что пана Коротека взяли *на Окоповую,* так как кто-то донес, что тот слушает Лондон. И пан Коротек вернулся, но только через три недели, с глазом как сочная слива, а когда наступил судный день очередной зарплаты, он стал посреди двора и снял рубаху, показывая каждому, кто хотел, свою спину, которая выглядела как полосатая зебра желто-красного цвета. Он выкрикивал страшные проклятия своей судьбе и оплакивал весь мир, которым правят курвы, воры и подлецы. Я стоял в воротах и видел, как женщины предусмотрительно закрывают окна, чтобы не слышать ужасных слов, а пан Коротек, пока жена не сбежала вниз и не уволокла его домой, воздевал руки к небу и угрожал Господу Богу за то, что тот с высоты смотрит на все это и ничего не предпринимает, а только сидит в своем кабинете нога на ногу, словно он какой-нибудь директор, а не рабочий. И когда Петр исчез за дверями кабинета и мы с Шимеком слушали ленивое тиканье часов, я испугался воспоминания о той спине и Окоповой улице, так как подумал, что ни самое страшное "вытягивание хобота", или "ощипывание гуся", или даже "согревание лапки" и никакие другие пытки М-ского не сравнятся со спиной пана Коротека, фантастически многоцветной, исчерченной бороздками, как ствол смолистой сосны.

На дворе все быстрее сгущались сумерки, когда директор вызвал сторожа в кабинет, и тот ушел, оставив дверь полуоткрытой. Шепотом я обратился к Шимеку с предложением изменить показания: чем мы, в конце концов, навредим Вайзеру или Эльке, если расскажем, что случилось над Стрижей на следующий день после взрыва в ложбине? Где-нибудь поблизости все равно их не найдут, это уж точно, а если найдут где-

то в другом месте — тем более мы им не навредим. Но Шимек не согласился. Всегда, всю школу он твердо гнул свою линию, а на допросах решил держаться еще тверже. Стиснул зубы, я видел это четко, и отрицательно помотал головой. Так же он отвечал, когда я навестил его в далеком городе и выспрашивал еще раз о тех каникулах, когда в заливе образовался "рыбный суп" и Вайзер с Элькой вместе ходили на аэродром. Он не желал возвращаться к школьным годам и ничем не хотел мне помочь, не помнил или не хотел помнить серое облачко из золотой кадильницы ксендза Дудака, а по поводу Вайзера проронил несколько банальных, плоских фраз. То была его новая, взрослая твердость, за что, впрочем, я его не осуждаю, так как Шимек единственный из нас добился чего-то в жизни. Тем временем сторож вышел из кабинета с фаянсовым кофейником в руках и велел мне сбегать в туалет за водой. Я шел пустым коридором и думал, что нет ничего печальней опустевшего школьного коридора, ведущего неизвестно куда, меланхолически-пустого и словно совсем не того, в котором несколько часов назад галдела сотня мальцов и старшеклассников. Я жалел, что у меня нет яда молниеносного действия. Но я наплевал в кофейник, видя перед собой вылупленные глаза М-ского, и белую пену размешал пальцем, чтобы она растворилась. Когда я вернулся в канцелярию, Шимек был уже в кабинете, а Петр сидел на складном стуле, как и раньше, слева от меня. Сторож принес из сторожки кипятильник и начал греть воду тут же, чтобы не выпускать нас из виду. Вода лениво урчала, тихо тикали часы, сделалось сонно и тепло.

Мы с Вайзером договорились о встрече на следующий день у главных ворот оливского зоопарка. Было ли это запланировано или получалось из-за того, что рассвирепевшая Элька едва не вспахала физиономию Шимека ногтями? Ни в чем у меня нет уверенности. А впрочем, разве можно сказать "договорились"? Он попросту нам эту встречу назначил, как суверен вассалам, устами герольда. Тогда, ясное дело, я ничего такого не почувствовал, но уже в канцелярии на складном стуле, когда шумела, закипая, вода для кофе и тикали стенные часы, уже тогда у меня появилось смутное ощущение, что Вайзер стал с той минуты нашим сувереном, и ничто этого изменить не могло. Теперь я вижу, что первую часть ненаписанной книги о нем я должен бы начать со слов "Ладно, скажи им, пусть завтра в десять приходят к зоопарку, к главному входу", которые Вайзер произнес из окна на втором этаже, откуда долетало до нас знакомое стрекотание швейной машинки. Об этом, впрочем, я уже говорил, и если я повторяю кое-что и не вымарываю, как в школьном сочинении, то лишь потому, что сейчас я пишу вовсе не книгу. Быть может, вместе с Элькой, Шимеком и Петром мы бы могли написать такую книгу, но — впрочем, и об этом уже говорилось — Шимек предпочитает ничего не помнить, Элька не отвечает на письма даже после моего визита в Германию, а Петр погиб на улице в декабре семидесятого года и лежит на пятой аллее кладбища в Сребжиске.

На уроках естествознания М-ский не раз подчеркивал, что такого зоологического сада, как в Оливе, не постыдился бы любой европейский город. Не знаю, что он имел в виду — что мы живем не в Европе или что кроме зоологического сада нам есть чего стыдиться. Но зоопарк действительно был прекрасно расположен, вдали от города, в глубокой долине Оливского потока, который спускался в этом месте с семи хол-

мов, заросших смешанным сосново-буковым лесом. Косули резвились здесь на лесных полянах, освещенных солнцем, лоси обитали в темных, мрачных болотах, волки — в норах, вырытых в откосах, а кенгуру прыгали по целине, заросшей розовым клевером и щавелем. Только хищные звери, в частности привезенные из тропических стран, содержались в тенистых вольерах на какой-нибудь полусотне квадратных метров за железными решетками. Тогда это ускользало от нашего внимания, но сегодня, когда я вообще не посещаю зоопарки, фраза М-ского о самом прекрасном зоопарке в Европе звучит очень смешно и глупо. Как если бы мы, бродя по чужому городу, вдруг услышали от гида: "Обратите внимание, господа, вот самая лучшая тюрьма, которая когда-либо была выстроена в нашем городе, а может быть, и во всей Европе".

Нынешние туристы или жители города отправляются в зоопарк на автобусе от трамвайного круга в Оливе. Но тогда автобусов было, кажется, поменьше, и путь от круга вдоль аббатства цистерцианцев надо было проделать пешком. Мы миновали тенистые склоны Пахолека, где еще стоял обелиск с немецкой надписью, прошли вдоль прудов старой усадьбы, теперь заросших и заболоченных, вдыхая горячую пыль, смешанную с запахом цветущих лип, которыми обсажена была дорога, и наконец, уже немного уставшие, увидели холмы, обрамляющие Долину Радости, — в их правое крыло упирался зоопарк. Наконец увидели прислонившегося к воротам Вайзера, который в тот день был одет в зеленые брюки и светло-голубую рубашку покроя русской косоворотки, что выглядело неестественно и смешно, словно одежка со старшего брата. Первой к Вайзеру подошла наша троица, потом Янек Липский, сын путейца из Лиды, родившийся в железнодорожном вагоне, потом Кшисек Барский, сын варшавского повстанца и гданьской лавочницы, за ним к воротам зоопарка приблизился Лешек Жвирелло, который всегда носил чистые рубашки и, в отличие от нас, говорил "простите" и "благодарю", по-видимому, по причине шляхетского происхождения его отца, а хоровод замыкала в тот день тихая, как мышка, Бася Шевчик. Ее отец бросил после войны работу в шахте и приехал сюда искать счастья и мачеху для своей дочки. Мы окружили Вайзера.

— Ну так что? — спросил Шимек. — Что ты нам теперь покажешь?

Он подвел нас к боковой калитке, через которую мы вошли без билетов, а потом провел вдоль вольеров, задерживаясь подольше там, где хотел. Останавливаясь, он опирался на ограду, и мы не знали, зачем он так долго разглядывает ленивую ламу или что он видит в тюленях, которые в такую жару почти не высовывались из воды. У клеток с птицами ждала Элька; помню, она с восхищением смотрела на огромных аргентинских сипов. Их черные крылья в солнечных лучах отливали синеватым блеском, головы медленно покачивались, будто птицы дремали. Потом мы миновали террариум, но Вайзер туда не вошел, так что мы двинулись за ним к клеткам с павианами и шимпанзе. Тут столпилось много весело гомонящих людей. Обалдевший шимпанзе то и дело швырял в публику горсть песка, и та не оставалась в долгу — люди свистели, топали и бросали огрызки в сетку клетки. Обезьяна время от времени задирала голову и скребла шерсть на макушке, точно как М-ский, когда забывал что-то важное. Но то была обезьянья хитрость, подвох: через минуту шимпанзе наклонял голову ниже пупка, сикал себе в пасть, и внезапно узкая струя прыскала сквозь сжатые губы, как из пожарного шланга, в стоящих поблизости людей. Каждый раз шимпанзе опережал

своих противников, и зрители из первых рядов вынуждены были стирать желтую вонючую пену с лица и с одежды. Забава нам очень понравилась, и мы совсем позабыли о Вайзере, который, однако, не смеялся над этим состязанием. Наконец шимпанзе спрятался в глубине клетки, толпа разошлась, а мы выжидающе смотрели на Вайзера, ведь если он хотел нам показать только это — как предполагали некоторые, — то это просто липа и издевательство. Но Вайзер, испытывая наше терпение, постоял там еще с минуту, а потом направился к хищникам. Их клетки даже сегодня, когда я это пишу, должно быть, источают особый, не такой, как у других животных, запах, отличающийся от запаха обезьян, слона, от запаха всех рогатых и безрогих, потому что таким он был тогда и таким я помню его поныне — сладковатый, тошнотворный, поднимающийся узкими струйками в вязком воздухе июля, резкий запах заплесневелого логова африканских львов, бенгальского тигра и черной пантеры, которая возлежала на высохшем голом суку.

Вайзер остановился перед ней. Элька приложила палец к губам и жестом велела нам отступить назад, чтобы ему не мешать. Вайзер неподвижно стоял к нам спиной, стоял несколько долгих минут, пока от клетки не отошли другие люди, и тогда мы увидели, что дремавшая пантера — видно, было время ее полуденной сиесты — медленно поднимает голову. Ее губы с длинными иглами усов слегка шевельнулись, словно пантера икнула, но то было только начало. Губы, подрагивая, раскрывались все больше, и под черным бархатом теперь показался ряд белых острых зубов. Мы услышали первый неясный звук, который сразу же превратился в глубокое глухое урчание. Пантера неторопливым, мягким движением соскользнула с сука и, ощетинившись, приблизилась к решетке, ее хвост незаметно дрогнул, после чего стал сильно и ритмично, как маятник часов, хлестать по лоснящимся бокам. Теперь зверь, касаясь мордой железных прутьев, стоял напротив Вайзера, а то, что недавно было урчанием, превратилось вдруг в гортанное бульканье, в котором бой походного барабана смешивался с гулом бурного потока, а осенний вихрь — с голосами пасхальных колоколов. Пантера неистовствовала у решетки, била лапой в цементный пол, то опускала, то снова задирала морду и наконец поднялась на задние лапы, передними упершись в прутья, и мы увидели, как она выпускает толстые кривые когти. Но и это было еще не все. Вайзер перелез через барьерчик, отделяющий его от клетки, и стоял теперь так близко от железных прутьев, что мог бы, наклонившись чуть-чуть, коснуться лбом когтей кошки. Пантера застыла. И вдруг гортанное бульканье перешло в сдавленное рычание, и зверь, все еще с вздыбленной шерстью и бьющим по бокам хвостом, стал отступать назад, не отрывая глаз от Вайзера. Это было невероятно. Пантера отползала вглубь клетки, очень медленно, брюхом шаркая по бетонному полу; своими раскосыми прищуренными глазами, сверкающими, как неподвижные зеркальца, она вперилась в Вайзера. Когда ее хвост коснулся задней стены вольера, она села съежившись в угол и наконец опустила глаза, дрожа всем телом. Каждая мышца под натянувшейся шкурой дрожала, как от холода, и огромная кошка напоминала теперь собачонку-крысоловку пани Коротек, которая удирала в дальний конец двора, стоило топнуть ногой. Мы стояли молча. Вайзер подошел к нам, Элька подала ему платок, и он стал вытирать капли пота со лба, как после тяжелой работы. Но на этом не кончился день, проведенный с Вайзером, так же, как и не закончилась история того лета, когда в водах

залива варилась "уха" и люди в костелах молились о прекращении засухи и дожде.

Вайзер показал нам другую дорогу домой, не ту, по которой мы пришли к оливскому зоопарку. Не было ни трамвайного круга, ни разболтанного трамвая номер два, который, курсируя тогда между Угольным базаром и Оливой, проезжал мимо депо, нашей школы и нашего дома. Зато была дорога в Долине Радости, в горку, мимо бездействующей кузницы цистерцианцев у речки, была высокая, выше колен, трава на холме, откуда, как с Буковой горки, видно было море, были глубокие овраги и расщелины в тени буковых листьев и была узкая песчаная дорога через старую сосновую посадку, которая местами смешивалась с березовыми рощицами и густым орешником. Сейчас это звучит как лирическое хныканье по утраченному раю, но когда Вайзер показал нам место рядом с источником, где Фридрих Великий отдыхал во время охоты, или когда на пронизанной солнцем поляне затопотали вспугнутые косули, или когда мы собирали полными горстями сладкую малину, тогда это был для нас рай обретенный, далекий от города и заманчиво притягательный, как сумрачная прохлада собора в жаркий день. Вайзер шел впереди и обращался вроде бы к Эльке, но на самом деле к нам: вот сюда зимой приходят кабаны; или: о, вот дорога на Матемблево; либо: вон там самый большой муравейник красных муравьев с заячьими головами. С особым удовольствием показывал он места, где лес был иссечен окопами, остатками последней войны, и в таком же духе пояснял: это воронка от мины; или: это окоп для самоходки, — и мы слушали его затаив дыхание. Но наконец он вывел нас ложбиной за стрельбищем на край морены, откуда мы увидели башенку кирпичного костела в Брентове и хорошо знакомые очертания кладбища. И хотя этой самой дорогой я ходил позже туда и обратно, сам либо с приятелями, летом пешком или на велосипеде, зимой на лыжах, и хотя называл эту дорогу, насчитывающую шесть с половиной километров, дорогой Вайзера, никогда, даже сейчас, когда она всего лишь синяя ниточка в заповедном парке, описанная в путеводителе, — никогда я не мог припомнить, показывал ли Вайзер, ведя нас обратно домой, все это нам просто рукой или держал в руке суковатую палку, на которую он мог опираться как на жезл. Ведь мы возвращались домой, и он нас вел, будто мы с того дня были его народом.

А вечером мы сидели на лавке под каштаном, и Петр рассуждал, что бы было, если бы черную пантеру не отделяла от Вайзера железная решетка. "Было бы как в цирке, — утверждал Шимек, — там дикие звери тоже слушаются человека и даже едят с руки". Но я говорил, что Вайзер не дрессировщик, у него нет ни высоких блестящих сапог, ни бича, ни белой рубашки с бабочкой, да и не дрессирует он черную пантеру каждый день. Нужно сказать, с этим мы согласились без споров и надумали еще раз испытать Вайзера, может, на другом звере и не обязательно в зоопарке. Не знали мы только, что в последующие дни Вайзер снова будет ходить своими путями, и сомнения наши не имеют для такого, как он, ни малейшего значения. Из подъезда вышла мать Эльки и задержалась на минуту. "Что сидите, мальчики, — сказала она с упреком. — Пошли бы лучше в костел, сегодня ксендз отправляет службу, а?" И сразу же направилась мощенной булыжником улицей к костелу Воскресения, успев еще нам сказать, что вчера над заливом видели огромную комету и ничего хорошего ожидать не приходится.

Тем временем сторож сварил кофе и понес кофейник в кабинет директора. Зазвонил телефон, и, когда я услышал усталый голос М-ского, который снял трубку, я застыл. "Да, пан Хеллер, — говорил М-ский, — ваш сын здесь, с нами, да, передаю трубку товарищу директору". И дальше уже говорил директор, собственно, не говорил, а только отвечал на вопросы моего отца. "Вовсе нет, — объяснял он вежливо, — ваш сын ни в чем не обвиняется, его только допрашивает наша комиссия, мы действуем по приказу прокурора, нет, нет, мы не обвиняем вашего сына в том, что случилось, следствие однозначно указывает на этого Вайзера, мы должны только выяснить все обстоятельства трагедии, поймите, все обстоятельства!" Но отец, очевидно, не сдавался, так как директор повысил голос: "Не нужно нервничать, я не вижу причин подавать жалобы. Это не беззаконное задержание. Лучше задумайтесь, пан Хеллер, почему он ходил туда не спросясь, в конце концов, вашему ребенку грозила большая опасность, а вы как отец ничего не сделали, чтобы..." — тут директор надолго умолк, и я догадался, что причиной тому был один из холерических взрывов отца, который, обычно спокойный, если уж впадал в гнев, то не считался ни с чем и ни с кем. Я даже пожалел, что его нет с нами, так как увидел вдруг М-ского вылетающим в окно, директора — висящим на своем галстуке под потолком, а этого, в форме, — расплющенным на двери кабинета, и как-то удивительно хорошо стало у меня на душе, когда я обо всем этом подумал. А отец все еще продолжал говорить, поскольку директор только покашливал в трубку и, наверно, вертелся в своем кресле и свободной рукой поправлял, должно быть, узел своего галстука, пока наконец не прервал резко: "Нет, это исключено, школа заперта до завершения нашей работы, — и еще сказал (помню это хорошо): — прощайте, пан Хеллер". Совсем как в кино или в романе: прощайте, пан Хеллер, — и трубка плюхнулась на рычаг.

На улице было уже темно, горели фонари. Их свет проникал в канцелярию, и, пока сторож не повернул выключатель, мы сидели в бледно-желтом снопе света, как святоши в костеле после давно завершенной службы. А я размышлял, почему у Вайзера не было родителей и он жил только со своим дедом. Я так и не узнал, ни тогда, ни потом, кто были его отец и мать. Возможно, человек, который жил в одиннадцатой квартире и занимался шитьем, был только его названым дедом, даже не обязательно родственником. Да только никто не мог этого прояснить ни тогда, ни позднее, когда спустя много лет мне не без хитрости удалось заглянуть в школьные бумаги Вайзера и когда я добрался до соответствующих документов в городском архиве. Старые классные журналы были уже в то время ликвидированы, но остались ведомости с отметками, где выцветшими чернилами было записано: "фамилия — Вайзер", "имя — Давид", "род. — 10.09.45". Рубрика "место рождения", поделенная на две графы — воеводскую и районную, — была не заполнена, и только внизу кто-то написал чернильным карандашом: "Броды", а в скобках значилось еще: "СССР". В рубриках "отец", "мать" та же рука поставила сначала чернилами горизонтальные черточки, а позже дописала, тоже чернильным карандашом: "сирота". И дальше тем же почерком внесена информация: "законный опекун — А. Вайзер, проживающий" — и тут вписан был наш адрес, то есть адрес нашего дома с номером квартиры Вайзера. Сегодня, когда все это я вылавливаю из памяти, как крошки янтаря из мутной воды залива, родители Вайзера возникают в виде двух горизонтальных черточек, проведенных чернилами в ведомости. Отдел учета населения

в городском управлении никакими другими сведениями не располагал. В окошечко, напоминающее кассу захудалого вокзала, рука служащей протянула мне маленькую карточку, из которой я узнал следующее: "Авраам Вайзер, национальность – еврей, гражданство – польское, родился в Кривом Роге (СССР) в 1879 году, прибыл в Гданьск в 1946 году как репатриант". В том году ничего не упоминалось о детях, которые бы ему сопутствовали. Только в сорок восьмом, то есть через два года, Авраам Вайзер заявил, что под его опекой находится мальчик, по национальности поляк, гражданство – польское, родившийся в Бродах 10.09.45 года. Примечания о родителях отсутствуют, нет также никаких копий свидетельства о рождении ребенка. Авраам Вайзер утверждал, что ребенок является его внуком, но в рубриках "родители" не записано каких-либо данных о матери или об отце мальчика. Почему так случилось, никто не в состоянии объяснить. Так же как не выяснены до сих пор причины исчезновения двенадцатилетнего Давида Вайзера, который, вероятно, погиб в брентовском лесу в августе 1957 года от взрыва старого снаряда. Что касается смерти Авраама Вайзера, тут нет никаких сомнений – о ней свидетельствует акт, составленный врачом воеводской больницы, который тогда дежурил. "Желаете получить номер этого акта?" – спросила служащая, наблюдая, как я продолжаю стоять у окошка и как мимо меня снуют по темному мрачному коридору молчаливые люди, но у меня уже не было вопросов, по крайней мере к ней и ни к кому из этих людей, носивших взад-вперед карточки, формуляры, прошения, резолюции, выписки, копии, приказы, повестки, свидетельства и прочую макулатуру, которой обрастает жизнь, даже после смерти. Не было у меня уже никаких вопросов, а точнее, оставался все тот же вопрос: кем же, в конце концов, был Вайзер, если не внуком Авраама Вайзера, и если не был он его внуком, то почему носил ту же фамилию и была ли то его настоящая фамилия, а также почему Авраам Вайзер, заявляя в анкете учета населения о мальчике и выдавая его за своего внука, не указал, кем были его родители? Ведь если то был его настоящий внук, кровь от крови, плоть от плоти, то отец Давида был сыном Авраама Вайзера либо его зятем, мать Давида была дочерью Авраама Вайзера либо его невесткой, так что он должен был знать имена дочки и зятя либо сына и невестки, и даже если их прикрыл слой песка или они умерли от мороза или от тифа, он должен был это знать, но не хотел заявить либо хотел заявить, но не знал ничего или мало. Но тогда Давид Вайзер вовсе не был бы Давидом, не был бы его внуком, не был бы евреем и не родился бы в Бродах и даже не обязательно в сорок пятом году. Да, тогда, после войны, когда тысячи людей устремлялись с востока на запад, с юга на север и с запада на восток, тогда пропадали бумаги и можно было заявить разное, так как не все удавалось проверить. Исчезновения и чудесные воскресения были, похоже, тогда хлебом насущным для чиновников отдела учета населения, и Авраам Вайзер мог с успехом утверждать, что мальчик – его внук, что зовут его Давид и он носит ту самую фамилию, что и дед, и даже мог заявить, что он поляк по национальности, но это, может быть, лишь потому, что тот народ перестал существовать вовсе. Попросту, когда Авраам Вайзер заполнял формуляр, его народ исчез из Европы, и поэтому он записал или велел записать мальчика поляком, ведь гражданство – вещь второстепенная в таких эпохах, как та, которую он пережил где-то на юго-востоке среди украинцев, немцев, русских, поляков, евреев, армян и бог весть кого там

еще, думал я, выходя из темного здания управления, и увидел еще раз две горизонтальные черточки в ведомости оценок Вайзера, две линии, прочерченные бледнеющими год от года чернилами. И теперь, когда я это пишу, я их тоже вижу, хотя чернила, может быть, выцвели совершенно и рубрики "отец", "мать" выглядят так, будто там никогда ничего не было написано.

Все, вместо того чтобы проясниться, еще больше усложнилось, но тогда, в канцелярии, после звонка моего отца, пришедшего в ярость и обругавшего директора и все школы на свете, я допускал, что неожиданная смерть пана Вайзера, этот внезапный сердечный приступ — все это сотворил сам Вайзер. Если он мог укротить дикого зверя, если делал на заброшенном кирпичном заводе нечто такое, от чего волосы у нас вставали дыбом, о чем ниже я еще напишу, — если Вайзер мог творить такое, то почему не мог бы он замедлить вдруг ритм сердца своего деда? — думал я. Почему не мог бы освободить его от швейной машинки, иголок, мела, выкроек, подкладки и пуговиц, над которыми тот корпел, сгорбившись, целыми днями, — почему бы он не мог это сделать, чтобы уж никто ни о чем у старика не спрашивал? Вайзер убрал свидетеля, и сегодня я должен признать, что когда Петр погиб в семидесятом на улице, а Элька уехала в Германию, я думал так же — что Вайзер просто убирает их отсюда разными способами, поскольку отъезд Шимека в далекий город тоже был своего рода устранением его за пределы чего-то, что мне было непонятно, но для Вайзера определенно важно. А тогда, в приемной, я сильно испугался, что все следствие может быть испытанием, которому подверг нас Вайзер, и если что-то пойдет не так, то он замедлит ритм наших сердец так же, как проделал это с сердцем своего деда. Тем временем в кабинете подозрительно долго задерживали Шимека, а я вспоминал день, в который не пошел играть в футбол на стадион у прусских казарм, благодаря чему Вайзер и Элька взяли меня на прогулку, и оказалась она весьма необычной. Но все по порядку.

На следующий день после зоопарка утром мать послала меня в магазин Цирсона за зеленью. Я любил туда ходить, в прохладном помещении пахло овощами, ящики ломились от яблок, а к стеклянной витрине притягивали взор коробочки леденцов и разноцветные мышки из крахмала по двадцать пять грошей за штуку. Жена хозяина, обслуживающая покупателей за деревянным прилавком, обладательница огромных, как глиняные горшки, грудей и очень веселого нрава, живо передвигалась, подавая товар, груди ее летали под ситцевым платьем и грязным фартуком, как пружинистые половинки арбуза. И если от покупок оставался злотый лишку, можно было на него купить горсть леденцов или четыре крахмальные мышки разного цвета либо выпить лимонаду из бутылки с фаянсовой крышечкой на пружинке из толстой проволоки. Это и были те самые *пузыри*, как называли их взрослые, я и поныне не знаю почему, ибо то были никакие не пузыри, а всего лишь бутылки с лимонадом, и с открыванием бутылки, когда она ставилась на бетонный пристенок у входа в магазин, связаны были определенные эмоции. Если закупорка была плотной и газ не вышел маленькими пузырьками, бутылку встряхивали, и крышечка, стоило ее чуть-чуть поддеть, легко отскакивала, в воздух вместе со звуком выстрела поднималось пахучее облачко, и все покупатели поворачивались в твою сторону, а ты стоял у пристенка и опрокидывал бутылку в глотку, в точности как отец или пан Коротек в баре "Лилипут" опрокидывали бутылки с пивом. Но откупорка лимона-

да была двойной лотереей. Неожиданностью — наряду со взрывом пробки — был также его цвет. В то время лимонад делали двух цветов: чаще он бывал желтым, но случался и красный, на редкость красивого оттенка, и даже сегодня я дал бы голову на отсечение, что у красного аромат был сильнее и пузырился он больше.

Итак, я стоял у бетонного пристенка перед магазином Цирсона и, глядя в темно-зеленое стекло бутылки, пытался угадать, какой это окажется лимонад — желтый или красный, — когда в пыли улицы увидел ребят, направляющихся в сторону прусских казарм. Во главе маршировал Петр с настоящим мячом под мышкой, и я вспомнил, что сегодня мы как раз должны были опробовать этот мяч, который вчера Петр получил от богатого дядюшки. Кожаный мяч — это уже не пустяк, до сих пор мы играли резиновым, который не выдерживал больше месяца, а теперь благодаря дядюшке Петра мы могли почувствовать себя настоящими профессионалами. Они подошли, я уже издалека слышал их крики: красный! — желтый! — красный! — желтый! — говорю тебе, красный! — да нет, желтый! — и когда я поддел пальцем пружинку и подскочила фаянсовая крышечка с резиновой прокладкой, все заорали: красный, красный! — и мы пили красный лимонад, каждый по глотку, как всегда, когда кому-то из нас удавалось продать бутылки или оставалась сдача от денег на покупки. Ребята пошли на стадион, а я должен был занести матери зелень, и когда, скатившись вниз по лестнице, уже выбегал из подъезда, я увидел Вайзера и Эльку, идущих по тротуару в сторону Оливы. Что-то стукнуло меня, как тогда, в тот день, когда с Шимеком и французским биноклем мы следили за ними с виадука возле аэродрома, и хотя рядом не было ни Шимека, ни его бинокля, я решил пойти за ними. Наша улица, как и теперь, бежала длинной дугой параллельно трамвайной линии на расстоянии каких-то двухсот метров от нее и только возле стены депо круто сворачивала влево, рядом с одним из взорванных мостов несуществующей железной дороги. Мысленно я подавал мяч на левый фланг Шимеку, и он мчался как ураган, обходя защитников слева и справа, но старался не терять из виду Вайзера и Эльку, которые скрылись за разрушенным быком как раз в момент удара по воротам. Я ускорил шаг, чтобы поспеть к возможному решающему пасу и чтобы не упустить тех двоих, но вместо гола был угловой, а Вайзер с Элькой ждали меня именно за той мостовой опорой. "Тебе вовсе не обязательно за нами шпионить, — сказала Элька, поглядывая то на меня, то на Вайзера. — Если хочешь, пойдем с нами, он согласен", — и снова повернула голову в его сторону. Я принял предложение, хотя Шимек в этот момент наверняка всаживал очередной гол, однако я вообразил Вайзера один на один с диким ягуаром безо всякой клетки или всю нашу троицу под сверкающим корпусом ИЛа на краю взлетной полосы — от такой картинки меня пробрала дрожь.

Но Вайзер никогда не повторялся, по крайней мере если его мог увидеть кто-нибудь из нас. Возможно, с Элькой было иначе, даже наверняка, но ведь с Элькой Вайзер был все время, а с нами — когда хотел. И в тот день захотел, не знаю, конечно, почему, чтобы я пошел вместе с ним и Элькой, хотя не было ни диких зверей, ни ревущего самолета. Было обычное посещение разных мест, поначалу даже немного скучноватое, потому что не все, что тогда Вайзер говорил, а обращался он, собственно, только к Эльке, не все было мне до конца ясно и понятно. На улице Полянки он остановился перед одним из тех старых домов, о

которых говорили, что тут жили богатые немцы. И такой состоялся между ним и Элькой разговор:

— Вот видишь, тут жил когда-то Шопенгауэр и под этими каштанами осенью прогуливался.

— А кто такой Шопенгауэр? — спрашивает Элька.

— Это был великий немецкий философ, очень знаменитый.

— Ой, как интересно, но чем, вообще-то, занимается философ, ну что он делает, из-за чего такой знаменитый?

— Не всякий философ так знаменит, как он, — отвечает Вайзер.

— Но что такой философ делает? — теряет терпение Элька. — Знаменитый или нет, но должен он чем-то заниматься, верно?

— Философ все знает о жизни, понимаешь? И знает, какая она, жизнь, то есть хорошая или плохая. Он также знает, почему звезды не падают на Землю, а реки текут вниз. И если хочет, пишет об этом в книгах, и люди могут это читать.

— И всё? — спрашивает недоверчиво Элька.

— Всё, — отвечает Вайзер. — О смерти тоже философ знает очень много.

— О смерти?

— Ну, как умирают, — заключает Вайзер, — философ обязан об этом думать, даже когда гуляет под каштанами.

И когда мы были уже возле следующего дома, похожего на усадьбу и задвинутого от улицы метров на тридцать вглубь, в сторону леса, и когда поравнялись с поваленными воротами перед ведущей к нему липовой аллеей, Элька еще спросила:

— А ты — философ, да?

— Нет, — ответил Вайзер, — с чего бы?

— Так откуда же ты все это знаешь? — добавила она быстро.

— Знаю от дедушки, — так же быстро объяснил Вайзер. — Мой дедушка — величайший в мире философ, но не пишет книг.

Так, помнится, завершил ту беседу Вайзер, кажется, я ничего не упустил, ничего, что сегодня мне бы казалось существенным, но когда я вспоминаю его ответы, то чувствую, как мурашки бегут по спине, так же, как в тот день, когда ИЛ задирал красное платье Эльки в кустах дрока, или когда Вайзер укротил черную пантеру, или когда в подвале заброшенного кирпичного завода сделал то, от чего волосы у нас встали дыбом. Я не знал, занимался ли дед Вайзера, кроме шитья на машинке, еще чем-нибудь, и в частности философией. Так что же было дальше?

В оливском соборе Вайзер показал нам готические своды и большой орган, объяснил, для чего служат ангелам медные трубы, немного смахивающие на сабли, такие же кривые и длинные. А когда мы остановились на мостике в парке, чтобы посмотреть, как отражаются в уходящей из-под наших ног воде башни собора, Элька спросила у него, может ли окунь, шныряющий между водорослями, что-нибудь сказать. Вопрос был глупый, как раз в стиле Эльки: с чего это окунь станет говорить, ведь почти на каждом уроке естествознания М-ский твердил, что мы должны сидеть тихо как рыбы, а если даже так, то с кем бы этому окуню, поблескивающему на солнце, разговаривать — с нами или со своими рыбьими родичами? — так я тогда подумал, но Вайзер отвечал вполне серьезно. Скорее рассказывал, а не отвечал, и снова речь пошла о дедушке, величайше́м философе, который до войны вовсе не портняжил, а ездил по деревням как бродячий стекольщик, а когда зарабатывал достаточ-

но денег, уходил в горы и разговаривал там со всем, что сотворил Бог, — с птицей, с камнем, с водой, с рыбой, облаком, деревом и цветком. Так оно было, по словам Вайзера, а я стоял, опершись о сучковатые перила моста, раззявив, как говорится, рот, стоял и смотрел то на него, то снова на виднеющиеся за башнями собора склоны Пахолека; никогда раньше я не был в настоящих горах, и когда Вайзер говорил, что его дед не раз проводил в горах по полгода, то мне казалось, что я вижу пана Вайзера среди буковых деревьев именно на склоне Пахолека, без проволочных очков и сантиметра, висящего на шее, с ухом, прижатым к земле. Да. Сегодня я ни в чем не уверен, может быть, Вайзер эту историю с дедом выдумал от начала до конца, но даже если он врал с известной только ему целью, то образ этот, образ пана Вайзера с ухом, прижатым к земле на горе Пахолек за собором, — один из прекраснейших, дарованных мне жизнью.

А позже на "двойке" мы поехали во Вжещ, и Вайзер высадил нас специально затем, чтобы показать Эльке еще один дом, на этот раз не философа, а Шихау, который до войны, когда этот район города назывался Лангфур, был владельцем верфи и, наверно, был очень богат, потому что дом действительно огромный, с несколькими входами и круглыми башенками, которые Эльке понравились больше всего. "Совсем как в сказке, — со смехом сказала она Вайзеру, показывая пальцем на башенку с окном. — Я бы хотела там жить и чтоб меня охранял дракон, а ты бы пришел и освободил меня из рук злого чернокнижника, или нет, лучше бы ты был Мерлином и мучил меня ужасно, превращал в лягушку, или жабу, или паука, а я бы страшно плакала и никто бы меня не освободил", — и Элька продолжала свои тары-бары, Вайзер ничего не говорил, а я размышлял: зачем этот Шихау и ему подобные богачи строили такие странные дома? Зачем им эти непрактичные башенки, эти выкрутасы, завитушки, эти остроконечные крыши, балкончики и балюстрады, и я подумал тогда, что это, верно, от скуки, потому что, когда М-ский на уроках естествознания рассказывал нам об эксплуатации и классовой борьбе, то именно так он выражался о богачах — мол, от скуки они делали самые ужасные вещи, стреляли в рабочих, отбирали у них жен и дочерей и вообще были дегенеративными и аморальными, потому что им нечего было делать. К счастью, мне не нужно сегодня вспоминать, что́ М-ский считал хорошим и моральным, но тогда я представлял себе Шихау, как он сидит в своем кабинете, толстый, жирный, обливаясь потом, курит сигару, а за окном по Ясековой долине — именно так невинно эта улица домов с башенками называется, — так вот, за окном маршируют наши отцы и поют "Когда народ поднялся в бой", и господин Шихау снимает пальцами, толстыми, как сардельки, трубку золотого телефона и вызывает полицию, он, господин Шихау, уже сыт по горло криками за окном его виллы, и пора уже навести тут порядок. Наши отцы, правда, никогда не маршировали перед домом господина Шихау по Ясековой долине и не пели "Когда народ поднялся в бой", но в семидесятом году люди шли мимо комитета партии и пели "Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов". И Петр вышел на улицу посмотреть, что происходит, и получил пулю в голову. Но то другая история, никак уже с Вайзером не связанная.

От дома Шихау мы вернулись на трамвайную остановку, и Вайзер повез нас в Гданьск. Поныне не знаю, был ли у них запланирован этот маршрут или они в связи с моим присутствием что-то изменили? А мо-

жет, вообще не было никакого маршрута, никакого плана, и Вайзер в тот день таскал за собой Эльку просто так, чтобы ей что-то показать, чтобы провести время? Не очень я в это верю, но и разумного ответа у меня нет. Так же не знаю я, откуда Вайзер черпал свои познания, которые тогда казались мне чрезвычайно глубокими. Когда он показывал нам здание Польской почты, я прямо-таки восхищался: откуда он все это знает? "Вот здесь стоял немецкий броневик, — показывал он рукой. — А отсюда солдаты стреляли из огнеметов, а там подальше стояли "цекаэмы" — станковые пулеметы, — а там, вон в том месте, с крыши свалился немецкий солдат, один с почты попал ему прямо в голову, а отсюда их выводили", — и говорил он все это очень свободно, будто сам был там и видел своими глазами броневик, огнеметы и "цекаэмы". А когда мы были на Длинном базаре, он рассказал нам, в каком месте стоял партайгеноссе гауляйтер Форстер, когда объявил о присоединении нашего города к Тысячелетнему рейху. Этого ведь он не мог узнать ни от деда, ни из учебника истории: историки, даже наиболее скрупулезные, не занимаются такими мелочами. И ни один из них и словом не вспоминает, в каком месте Фридрих Великий, охотясь в оливских лесах, остановился на отдых. Уже тогда, сидя в школьной канцелярии, я знал, что Вайзер с особым пристрастием разыскивал немецкие следы, но по какой причине, не мог постичь ни тогда, ни теперь, когда вспоминаю его коллекцию марок или склад боеприпасов на заброшенном кирпичном заводе и взрывы в ложбине за стрельбищем. Ржавый "шмайсер", который он подарил нам на брентовском кладбище, когда Шимек собирался начать экзекуцию, и о потере которого мы долго горевали после бегства сумасшедшего в желтом халате, — тот "шмайсер" был всего лишь жалким отбросом его коллекции, как оказалось позже, когда мы выследили Вайзера и Эльку в их тайнике.

Но пока что с Длинного базара мы вернулись к трамваю, и когда тряский вагон уносил нас к Вжещу, я опять думал о новом мяче Петра, о пасах Шимека и о том, что еще в этот день мы будем играть после обеда на лужайке у прусских казарм. И действительно, мы играли в тот же день, только то был не обычный матч, если бы он был обычный, такой как все, и если бы не был связан с Вайзером, я не вспоминал бы о нем. Но все по порядку. Пока я шатался с Элькой и Вайзером, ребята играли на траве у прусских казарм, наслаждаясь ударами по настоящему кожаному мячу. Но именно с него начались несчастья того дня, еще раз повторю, чтобы не было сомнений: несчастья того дня, а не несчастья вообще. На стадион где-то через час игры пришли армейские. Ясно, что не солдаты в мундирах, а всего-навсего мальчишки, жившие в новых корпусах за казармами — их отцы были военными. Они были чуть старше нас и лучше одеты и страшно важничали. Наверно, потому, что у их матерей были стиральные машины и собственные ванные, не то что у нас — у нас, как я уже упоминал, была одна ванная на этаж, а стиральная машина — только у отца Лешека Жвирелло. Так что те страшно задавались, но такого мяча, как у нас, у них не было, и глаза у них жадно заблестели. Сначала они стояли сбоку и смотрели, как мы гоняли мяч, и каждую минуту мешали, бросали камешки или громко смеялись, зачем, мол, нам такой мяч, раз мы не умеем играть, покрикивали, что лучше дадут нам обыкновенный тряпичный, хорошего для нас жалко. Это разозлило Шимека, он подошел к их главарю и сказал, чтобы сыграли с нами, тогда и посмотрим. Но те были хитрые. "Идет, — сказали они, — но если

проиграете – мяч наш". Наши согласились, и Петр тоже согласился, речь тут шла не о мяче, а о чести, как на войне.

Разбились на команды по шестеро плюс вратарь и решили, что матч будет настоящим, то есть в двух таймах, один с утра, а другой после обеда, когда чуть-чуть посвежеет. И хотя Шимек двоился и троился, Петр превзошел самого себя, а Стась Остапюк пасовал Кшисеку точно как никогда, армейские выиграли первый тайм четыре–один. И как раз когда я, возвращаясь домой, проходил мимо бетонной тумбы, на которой месяцами болтались обрывки одних и тех же афиш, я увидел, как они плелись, унылые, не надеясь на победу во втором тайме. Шимек рассказал мне, в чем дело. И после обеда мы вернулись на лужайку, где паслась корова, поедая пучки высохшей травы. Противники пришли чуть позже, уверенные, что мяч у них в кармане. Начали играть. Петр послал длинный пас на левый фланг Лешеку, тот обвел двух армейских и ворвался в их штрафную площадку, но тут защитник отобрал у него мяч и сильным ударом отправил на нашу половину, где у нас остались только Кшисек, наш вратарь, и четверо ихних. Те обвели Кшисека и уже гнали к нашим воротам, и уже через секунду счет стал пять–один. Шимек ничего не говорил, а у Петра слезы блестели в глазах, помимо чести, он терял – и это было почти неизбежно – свой мяч, который получил от богатого дядюшки. И тогда произошло нечто неожиданное – то, что, собственно говоря, произойти не могло никак. С маленького холма к нам спустился Вайзер, которого мы увидели только теперь, и сказал, что мы выиграем этот мяч, если возьмем его в команду и если будем без споров выполнять его приказы. Шимек был капитаном и заколебался, но времени на размышления не было – армейские стали нас торопить.

Тут началось великолепное зрелище, и хотя у нас не было ни ста тысяч болельщиков, ни даже одинаковых футболок, а Кшисек и я играли босиком, но любой тренер пришел бы в абсолютный восторг. Ибо то не была обычная игра, обычные удары, подачи, пасы, обводки, то была настоящая поэма с пятью актерами в главных ролях и всеведущим автором, которым оказался Вайзер. Прежде всего, он расставил нас с толком, и мы уже не бегали за мячом гурьбой. На левом фланге – Шимек, на правом я, в центре Вайзер и в нескольких метрах позади него – Петр. В защите на нашей половине остались Кшисек Барский и Лешек Жвирелло, а на воротах, как всегда, стоял Янек Липский, в длинноватой отцовской майке. С края поля кисло наблюдал за нами Стась Остапюк, ему пришлось уступить место Вайзеру, но дулся он только несколько минут, до первой штуки, которую вколотил армейским Шимек, когда я с правого фланга послал мяч Вайзеру. Тот обвел двоих ихних и, вместо того чтобы идти сразу на вратаря, обманул, откинув пяткой мяч назад; Шимек тотчас же понял и отлично выполнил его задумку. Счет стал пять–два. Но это было только начало. Вайзер, к нашему удивлению, играл прекрасно, а еще лучше руководил нами на поле и ничего не упускал из виду. Входя на половину армейских, он сначала медлил и тянул время, дожидаясь, пока воодушевленные его мнимой растерянностью противники его окружат. И тогда, как бы забавляясь, подбивал мяч подъемом ноги, а потом головой посылал на левый или на правый фланг и кричал Шимеку или мне: сразу! сразу! – а мы только и ждали этой возможности, чтобы тут же врезать армейским очередной гол. Третью штуку влепил я, именно с такой подачи, а четвертую – Петр, когда Вай-

зер сначала подал Шимеку, тот обратно ему, а Вайзер так же, как перед вторым голом, мчась к воротам, перекинул мяч назад, на этот раз Петру, который не упустил случая. Пятая, сравнивающая счет штука влетела со свободного удара, и тут Вайзер показал, что он умеет: мяч поднялся буквально на сантиметр над головами стенки армейских и влетел между деревянными колышками ворот на глазах беспомощного вратаря. Элька неистовствовала, вопя и размахивая руками, а Стась Остапюк отплясывал рядом с ней дикий танец болельщика и показывал нам задранный вверх большой палец. До конца матча оставалось еще пять минут, но Вайзер успокоил нас движением руки. Он явно ждал своего часа, ждал возможности показать свой коронный номер, и хотя играл с нами один-единственный раз, мы долго еще потом говорили об этом номере. В чем была его суть? Петр, который неожиданно очутился на левом фланге рядом с Шимеком, выбил мяч из-под ног армейского и дал свечу, только чуть-чуть переборщил, и Вайзер никаким спринтом не поспел бы к мячу, ибо ему не хватало целых полметра. Но он пригнулся, напружился и на бегу сделал сальто, когда же оказался в вертикальном положении, то есть когда руки его почти касались травы, а ноги торчали вверх, как жерди для фасоли, он ударил изо всех сил одной жердью по мячу и мягко спланировал на траву, и то был наш шестой, победный, гол. Элька выла со своего места, а армейские до конца матча боялись нашего мяча.

А когда вышло время и ничто уже не могло их спасти, к нам подошел их главный, самый длинный, и сказал: “Все равно вы говнюки, слышите, все равно вы банда вонючих засранцев”. А мы искали Вайзера, чтобы пронести его вокруг поля. Но он потерял к нам интерес, будто и в самом деле футбол для него был пустой забавой, надел штаны и пошел с Элькой в сторону дома. Вожак армейских тем временем схватил сокровище Петра и отскочил с ним к кусту, где у них была сложена одежда. Мгновенно достал из рюкзака нож, продырявил наш мяч и бросил нам, крикнув: “Вот ваше говно!” И его дружки ржали, просто рычали от смеха и повторяли “говно” и “говнюки”, словно уже ничего другого не могли придумать. Мы стояли растерянные, ведь их с болельщиками было вдвое больше, да и невооруженным глазом было видно, что ели они посытнее нашего. Я смотрел туда, где должен был быть Вайзер, и все тоже повернули головы в ту сторону, так как мы вдруг поняли, что единственный, кто мог бы чем-нибудь нам помочь, был только он, тощий, сутулый Вайзер, который никогда не играл с нами в футбол и не плавал в Елиткове. Но он исчез за казармами — что ему наши счеты? Он завершил выступление и, как настоящий артист, пренебрег аплодисментами толпы. Ушел со сцены, оставив нам горькие крохи своей славы. Таким я его вижу сегодня: играл он вовсе не из-за мяча Петра и тем более не чтоб спасти нашу честь, он играл, чтобы показать нам, что может делать это лучше и что во всем он лучше нас. И было это не простое бахвальство, похоже, он нам заявил: ну что, вы говорили, я не умею играть в футбол, потому что никогда не гонял с вами по стадиону, — вот вы и посмотрели. А если бы кто из нас спросил, будет ли он играть с нами еще, наверняка он ответил бы: это меня совершенно не интересует. Я подозреваю, что в таком заявлении, которое ему приписываю, и выразилось бы главное в его натуре.

Сидя на складном стуле в школьной канцелярии, когда Шимека задерживали в кабинете подозрительно долго, я размышлял, почему Вай-

зер все эти годы предпочитал выглядеть в наших глазах недотепой, не сыграв хотя бы разок в футбол или не доплыв с нами до красного буйка в Елиткове. И уже когда мы возвращались со стадиона у прусских казарм с продырявленным мячом Петра, но ужасно счастливые, — уже тогда в наших душах шевельнулось что-то вроде беспокойства. Ведь если Вайзер скрывал от нас свои способности, если никогда не показывал, как он может обвести сразу трех игроков или поднять мяч с земли носком ботинка, взять его на подъем, потом поддать коленом вверх и отправить лбом на правый или левый фланг, если он никогда не показывал нам этого и часто сидел на краю поля, глядя, как мы делаем это намного хуже, чем он, у него должны были быть для этого какие-то причины, которых мы не знали. Ну и почему Вайзер решил сыграть с нами, решил открыться именно в этот раз? Шимек повторил фразу Эльки, что Вайзер все может, и теперь уже никто над этим не смеялся, мы помнили вчерашний зоопарк и черную пантеру, а я еще и знал, что Вайзер с Элькой не играли в доктора и пациента на краю взлетной полосы, хотя и не очень-то понимал, в чем там было дело. Только когда стенные часы пробили девять, меня осенила очень простая мысль, а именно: Вайзер задирал Элькино красное платье с помощью сверкающего корпуса самолета, поскольку не хотел делать это сам, видимо, это было для него слишком просто, а может, слишком вульгарно. И когда двери кабинета открылись и появился наконец Шимек, я еще раз увидел серебристую тушу ИЛа над кустами дрока, поднятые колени Эльки, ее поднимающиеся и опускающиеся бедра, между которыми мелькала треугольная мягкая чернота, и вспомнил ее лицо с открытым ртом, словно она старалась перекричать страшный рев приземляющейся машины. Я не говорил, кажется, до сих пор, что Элька потом нашлась и долго жила среди нас, пока не уехала навсегда в Германию. Но ни тогда, ни позже, когда я писал ей письма, ни даже когда поехал в Германию только затем, чтобы с ней увидеться, так вот — никогда она ничего не говорила о Вайзере и о том, что случилось в последний день над Стрижей. Она молчала, а врачи объясняли ее упорство психическим шоком, частичной амнезией и так далее, и только я знал и знаю, что это неправда. Потому что одна Элька знает, кем был или продолжает быть Вайзер. Ее молчание и сейчас, когда я снова пишу письма в Мангейм, позабыв, что произошло между нами во время моего визита, ее упорное молчание свидетельствует о том ясней ясного. Да, когда я вспоминаю Вайзера в подвале заброшенного кирпичного завода, даже сегодня волосы у меня поднимаются дыбом. Мы были там только однажды, Элька же ассистировала ему наверняка много раз. И все взрывы в ложбине за стрельбищем устраивались, кажется, тоже для нее. Но я не пишу книгу о Вайзере, которая могла бы начаться со сцены на заброшенном заводе. Я не делаю этого. Я только выясняю факты и обстоятельства, и поэтому Шимек сидит сейчас на складном стуле рядом со мной, и я слышу свою фамилию: “Хеллер, теперь ты”, — и медленно встаю, припадая на затекшую ногу, иду к двери, обитой стеганым дерматином, иду и боюсь М-ского, точнее истязаний, которые он применит на этой стадии допроса.

Мужчина в форме расстегнул две пуговицы синей гимнастерки, и я увидел, что под ней у него сетчатая майка, из-под которой вылезают густые черные волосы. Мне сразу вспомнился шимпанзе из оливского зоопарка, у которого на груди были такие же лохмы, и я подумал, что забавно было бы увидеть на его месте сержанта милиции, увидеть, как

он швыряет песком в публику, злится и время от времени мочится в первые ряды веселящейся публики. И я улыбнулся ему, а он принял это за чистую монету и ответил мне тоже улыбкой и, указав рукой на стул, сказал: "Можешь сесть". М-ский подозрительно косился в мою сторону, директор же манипулировал своим галстуком, который теперь не напоминал ни якобинскую кокарду, ни шарфик, а только мокрую тряпку, не слишком усердно выжатую.

— Мы хотим все знать о взрывах за стрельбищем, — начал М-ский. — Сколько их было и в какие дни? Где ваш дружок взял взрывчатку? Что это было — тротил? Порох? Откуда он это доставал — из гильз? Из неразорвавшихся снарядов? И мы хотим, чтобы ты еще раз рассказал нам о последнем взрыве, когда Вайзер и ваша подружка погибли. Ничего не бойся, расскажи правду. Может, вы нашли кусок рубашки или тела где-то поблизости? А может, на каком-нибудь дереве?

Все эти вопросы М-ский задавал быстро, и звучали они, как темы в увертюре — сразу, один за другим. Да это и понятно: допрос только еще начинался.

— Да, — вздохнул мужчина в форме. — Ну так скажи нам, когда был первый взрыв, когда это было?

— Где-то в начале августа, — с готовностью ответил я.

— А точней? — вмешался директор.

— Точней не помню, но наверняка в начале августа, когда ксендз начинал богослужения.

— При чем тут богослужения?! — подскочил как ошпаренный М-ский. — При чем тут богослужения? Вы слышите, товарищ директор? Они никогда не оставят своего. — И снова повернулся ко мне: — Что за богослужения?

— Молитвы о благополучии крестьян и рыбаков, пан учитель, — отвечал я вежливо. — А именно о дожде, чтобы он очистил залив и оросил поля, ведь была жуткая засуха, и ксендз Дудак говорил, что это Божья кара за грехи.

— Чьи грехи? — вставил тот, что в форме.

— Ну, за людские грехи. — Я не очень знал, что ответить. — Ксендз говорил, что люди отступаются от Бога и от святой католической веры, так вот Бог наслал эту засуху как знамение, чтобы люди исправились, а если нет...

— Ну-ну, — подхватил директор, все больше перекручивая галстук. — Если нет — тогда что?

— Если не исправятся, то Бог сделает с нами то же самое, что в Содоме и Гоморре, сожжет города и людей и...

— Хватит! — рявкнул М-ский. — Достаточно. Вы слышите, сержант? Это еще хуже, чем в Средневековье, они не щадят даже детей, а мы должны в таких условиях работать, да? Жаль, что этого не слышал прокурор, это, пожалуй, подпадает под какую-нибудь статью!

Мужчина в форме остановил его жестом:

— Мы должны работать спокойно, товарищ М-ский, эмоции — наихудший советчик в таких делах. — Он снова повернулся ко мне: — Так ты говоришь, приятель, что это было в начале августа, да?

— Да, это было в начале августа, — подтвердил я.

— Хорошо, а откуда вы узнали, что Вайзер будет что-то такое делать?

— Он сам нам сказал.

— Как это было?

— Мы играли в Брентове, а он пришел и сказал, если мы хотим увидеть кое-что классное, можем пойти с ним, и привел нас в ту ложбину за стрельбищем.

— А Вишневская, — вспомнил он фамилию Эльки. — Вишневская тогда с вами была?

— Да, была, она с ним всюду была.

— Всюду, значит, где еще?

— Ну так, вообще, ходила с ним повсюду, я не знаю, куда еще, но они ходили всегда вместе.

Я увидел, что сержант расстегивает очередную пуговицу своей гимнастерки, и волосы еще больше полезли сквозь сетчатую майку.

— Хорошо, — сказал он, — значит, вы просто пошли с ним, точнее с ними, так как Вишневская была с Вайзером, и что же было дальше?

— Мы пришли, и Вайзер сказал, что будет взрыв и чтобы мы его во всем слушались, иначе может произойти какое-нибудь несчастье. Он приказал нам залечь в окопе, а потом стал что-то делать с проводами от... от...

— От генератора, — вставил тот, что в форме.

— Да, от генератора, а потом сказал: "Внимание" — и покрутил ручку, и вдруг грохнуло, и мы почувствовали, как нам на голову сыплется песок с пучками травы.

— И это все?

— Да. Вайзер спрятал куда-то генератор и сказал, что мы уже можем идти домой.

— Погоди, из того, что ты говоришь, следует, что, когда вы шли на место взрыва, у Вайзера не было с собой заряда? Так?

— Да. Каждый раз, когда мы ходили смотреть взрыв, эта мина уже была закопана в землю, а при нас он только подсоединял провода к генератору, — значит, все было приготовлено заранее.

— То есть он закладывал заряд и провода без вас, понимаю. Скажи мне теперь, как долго лежала мина от закапывания до взрыва — час, два, целый день?

— Не знаю, — ответил я. — Этого не знал никто, Вайзер ничего не объяснял и на взрыв приводил нас всегда в последнюю минуту.

Человек в форме почесал в затылке и посмотрел на директора, потом на М-ского.

— Ну хорошо, а не подмывало вас пойти туда без него и посмотреть, не приготовлен ли очередной заряд?

Я учуял, как изо рта сержанта, который с последними словами наклонился ко мне очень близко, выплывает тоненькой струйкой запах чеснока, такой же, как от соленых огурчиков, хотя в то лето было их мало, как и укропа и чеснока в огороде возле нашего дома.

— Нет, Вайзер запретил нам ходить туда без него и сказал, что вся ложбина заминирована.

— И вы ему поверили?

— Он никогда не врал, да и взрывы происходили всегда в разных местах, и мы боялись на такую мину наступить...

Директор резким движением, вместо того чтобы ослабить галстук, крепче его затянул.

— Узнаешь это? — Сержант показал мне фотографию черного ящика с рукояткой и рычажком, который напоминал кое-как приделанную к ящику держалку от штопора.

— Да, узнаю, это тот генератор, который Вайзер всегда куда-то прятал после взрыва.

— А где он его взял? — быстро спросил М-ский.

— Не знаю, может, нашел вместе со всем остальным на кирпичном заводе.

— Кстати, а что у него было там, на заводе, что он вам показывал, когда вы туда ходили?

— Мы туда не ходили, на заводе мы встретились с Вайзером только один раз.

— А как это было? — подхватил сержант.

— Где-то после второго или третьего взрыва Элька пришла к нам и сказала, если мы хотим заиметь настоящий автомат, то есть настоящий автомат для игры, то можем пойти с ней. Она не сказала куда и повела нас на старый кирпичный завод, где ждал Вайзер, и он дал нам ржавый автомат и немецкую каску — мы тогда все время играли в партизан; и Вайзер сказал, что это для нас. И ничего больше нам не показывал.

— Так-так, это в какой же части завода вы тогда были?

— Возле печей, там, где вагонетки и рельсы.

— И вы не видели ни подвала, ни боеприпасов, которые он там прятал?

— Нет, только когда начались поиски и милиция нашла этот заваленный подвал, только тогда мы узнали, что́ там Вайзер держал.

— А раньше ни о чем не догадывались? Откуда, например, он взял генератор и порох для зарядов? Не спрашивали у него? Ни разу?

— Спрашивали, но Вайзер сказал, что каска и автомат — награда за то, что мы умеем держать язык за зубами, и когда он проникнется к нам доверием — он именно так и сказал: проникнется к нам доверием, — то мы получим что-то классное, но не раньше. Мы и не спрашивали.

— Ну, хорошо, — сержант был явно разочарован. — А Вайзер в партизан с вами не играл?

— Нет, когда нельзя было купаться, мы ходили на кладбище в Брентово, и он приходил иногда, но в войну никогда с нами не играл.

— Войну он сам себе устраивал, но в другом месте, — вставил М-ский, и директор кивнул, но ничего не сказал.

— А вам не приходило в голову, что обо всем этом надо было рассказать кому-нибудь из взрослых? — продолжал сержант. — Что это может для всех вас плохо кончиться?

Я молчал: что я мог ему, человеку в гимнастерке и сетчатой майке, волосатому, как Тарзан, на такой вопрос ответить? И наконец выдавил из себя то, чего он ждал:

— Да, сейчас я думаю, что мы должны были это сделать.

— Вот именно, только сейчас, — вмешался М-ский, но сержант прервал его:

— Как вам пришло в голову этот старый автомат и каску дать в руки сбежавшему из больницы пациенту? Разве вы не знали, что он психически болен? Бегал по округе и пугал людей — ну, кто до этого додумался?

— Это было не так. Каску и автомат после игры, когда уже возвращались домой, мы всегда прятали в пустом склепе, в самом углу кладбища. А один раз пришли — и нет ни каски, ни автомата. И только потом нам кто-то сказал, что этот псих носится по Брентову в нашей каске и с нашим автоматом, но его самого мы не видели.

— Если бы только это, — вздохнул директор, распуская галстук, кото-

рый теперь напоминал цветастую косынку пани Коротек. — Если бы только это, мальчики!.. Господи, что мне с вами... — но он не договорил, так как М-ский посмотрел на него грозно, и директор замолчал, как по мановению волшебной палочки, а сержант продолжал спрашивать:

— А теперь скажи, сколько было всего взрывов и чем они отличались один от другого?

— Сейчас, — подсчитывал я в уме, — взрывов было шесть, каждый раз по одному. Все были похожи, и только последний, о котором я уже говорил в прошлый раз, только тот, последний, был очень сильный, то есть сильнее всех остальных.

— Таааак, — протянул сержант. — Ну хорошо, а теперь, приятель, еще раз опиши подробно, что произошло в ложбине в этот последний раз.

Я говорил то же, что прежде, когда М-ский сделал мне "хобот", говорил медленно, чтоб не ошибиться, и все слушали внимательно, будто слова, вылетающие из моего рта, были червячками и каждого из них они, взяв под лупу, разглядывали со всех сторон. А когда я закончил на том, как Элька и Вайзер исчезли за горой, М-ский не выдержал и рявкнул:

— Как вы могли их видеть, ведь они тогда уже погибли. Или ты хочешь нас убедить, что вы видели две души, улетающие на небо, а?

И он наклонился ко мне угрожающе близко, но сержант придержал его и велел мне подойти к столу, где он разложил военную карту, на которой ложбина была обозначена черными горизонтальными линиями.

— Вы стояли здесь, возле ямы, да?

— Да, совершенно верно, — подтвердил я.

— А гора, о которой ты говоришь, это склон ложбины, да?

— Да, — я кивнул.

— Но вас отделяло от подножья ровно сто метров, как же ты можешь утверждать со всей уверенностью, что это были Вайзер и Вишневская? А может, вам только казалось, что вы их видите, а? Может, вы боялись подумать, что они взлетели на воздух, кто-то, кажется, Королевский, сказал: "О, вон они идут там, в гору", — и со страху вы их увидели, так как очень хотели увидеть, верно? Ну признайся же наконец.

Я молчал, сбитый с толку картой и дотошностью сержанта. Это выглядело так, будто я признавал его правоту, и он сразу же завершил:

— Из того, что ты говорил, следует, что ты не знаешь точно, где находились Вайзер и ваша подружка в момент взрыва. Ты сказал: "Вайзер велел нам ждать у лиственниц, а когда увидел, что мы там, пересек ложбину и помахал нам рукой, чтобы мы легли, и сразу после этого земля задрожала от взрыва и на голову нам посыпался песок", — так ты говорил, да?

Я кивнул. Запах чеснока усилился, и мне захотелось соленого огурчика.

— Ну-ка, посмотри сюда, — сержант ткнул карандашом в карту. — Посмотри внимательно. Вы стоите у лиственниц, вот здесь. Вайзер видит вас, и стоит он в каких-нибудь двадцати метрах, вот здесь. Потом направляется к мине — "пересек ложбину", как сказал ты, — значит, отдаляется от вас в сторону заряда. Вишневскую в это время вы не видите, так как она идет вот здесь, за кустами орешника. А теперь смотри внимательно, это самое важное. Вайзер вот отсюда дает вам знак рукой, и вы лежите, не поднимая головы, стало быть, не можете видеть, что в эту самую минуту к нему подходит ваша подружка. И что происходит?

Сразу же после знака происходит взрыв. А откуда Вайзер махал рукой? Да, этот красный кружок обозначает место взрыва — там, где яма. Вайзер махал вам именно оттуда, с того места, где была заложена мина. Было так: Вайзер сперва помахал рукой, а когда вы уже лежали лицом в землю, наклонился над зарядом, чтобы проверить провода. Потом он должен был вместе с Вишневской подойти к генератору, который находился вот здесь, именно здесь мы его нашли, но на этот раз заряд взорвался сам, без прокрутки ручкой и без нажатия рычага. Возможно, это был снаряд, а не мина, сконструированная вашим приятелем. При прежних взрывах — вы сами говорили — от сигнала Вайзера до детонации проходило обычно две минуты. Примерно столько времени требовалось, чтобы отойти от заряда в безопасное место, где был спрятан генератор. Ведь Вайзер каждый раз, хоть заряды были заложены в разных местах, делал одно и то же. Сначала подавал знак, чтобы вы залегли тут, или тут, или тут, потом проверял в последний раз подсоединение проводов к запалу бомбы — все ли в порядке, — после этого шел к генератору туда, или туда, или туда и тогда только крутил ручку генератора и нажимал на рычаг. На этот же раз он проверил провода — после знака рукой могло пройти не больше пятнадцати секунд — и пошел к генератору, вот сюда, но не дошел, так как заряд взорвался сам. Он взлетел на воздух вместе с Вишневской, а вы очень хотели их увидеть, ну и увидели, но только якобы. И поверили, что они идут вот здесь в гору, когда уже подошли к яме, хотя она в ста метрах от того места. Разве не так было?

Я стоял у стола и удивлялся, что все в его рассказе так складно сходится. Слишком складно, чтобы быть правдой. Но я не говорил ничего, ведь человек в форме не знал, что на следующий день над Стрижей мы встретились опять, теперь уж действительно в последний раз. Не знал ничего он и о черной пантере, о нашем матче с армейскими на лужайке у прусских казарм, не видел Вайзера в подвале старого завода, и волосы не поднимались у него на голове дыбом, а если и поднимались, то не от того. Он вздохнул, и я снова почувствовал струйку чесночного запаха, а М-ский сказал:

— Все сходится, и ты даже не знаешь, кто подтвердил, что над Стрижей вас видели днем раньше, а? — Я молчал, и М-ский закончил: — Видел вас причетник брентовского костела. — Впервые в этот день М-ский торжествующе улыбнулся, а вздохнул на этот раз я, так как улика была серьезная. Видно, когда у причетника спрашивали, он перепутал числа. Тем лучше, подумал я, раз у них все начинает так складываться. Но до конца допроса было еще далеко. Сержант снова сел в кресло, а М-ский подошел ко мне.

— Еще одно мы должны выяснить — где вы спрятали останки Вайзера и Вишневской? Говори!

Я молчал.

— Это уголовное дело, — добавил директор. — Вы не заявили ни о том, что случилось, ни об этом кошмарном подвале, — голос его набухал угрозой. — Как вы могли так поступить?! Это отвратительно. Это... это хуже каннибализма, — выпалил он. — Совести у вас, что ли, нет, чему вас, в конце концов, учат на уроках Закона Божьего?

— Говори сейчас же, что с этими... этими... останками, — вмешался сержант. — Должны же вы были найти кусок тела или одежды, а?

Я стоял, опустив голову, и представлял себе, как держу на ладони глаз Вайзера, а у Шимека в руке — лоскут от платья, и мы складываем все в

нашу ямку, а Петр тянет: "Господи, упокой их душу..." — потом мы засыпаем ямку, утаптываем ее каблуками, но глаз Вайзера подмигивает нам из-под земли, и будет мигать до конца света и усмирять нас, как черную пантеру за решеткой оливского зоопарка. Это было страшно. Я дрожал всем телом. М-ский схватил меня за волосы у самого уха, в том месте, где сейчас начинается щетина, и слегка потянул вверх, но короткие волоски выскользнули у него из пальцев, он схватил еще раз, чуть повыше, и началось "ощипывание гуся".

— Где-вы-это-за-ко-па-ли! — скандировал он и при каждом слоге тянул все сильнее, и я поднимался все выше, пока наконец не встал на самые кончики пальцев, качаясь, как пингвин, а М-ский тянул еще сильнее, собственно, уже выдергивал волосы. — Где-вы-это-за-ко-па-ли! Ска-жи-на-конец! или! оторвать! тебе! голову! что ли?!

И я бы наверняка в этот момент закричал благим матом и, может, выкричал бы, как было на самом деле, если бы не зазвонил телефон на столе директора. М-ский отпустил мои бачки и посмотрел в ту сторону, а директор, сняв трубку, сказал сержанту:

— Это вас.

На минуту повисло молчание, я чувствовал, как в голове у меня разгорается пожар — от "ощипывания гусей" болело все: голова, щека, и лоб, и виски, а сержант кивал и произносил только: "Да-да, хорошо, да-да, разумеется, да, хорошо, конечно, ну конечно, хорошо, хорошо". Хотя я до сих пор не знаю, кто тогда разговаривал с сержантом в девять вечера, но испытываю к этому неизвестному огромную благодарность. Ведь это благодаря ему М-ский перестал меня мучить. И когда сержант положил трубку, оказалось, что им надо посоветоваться, и меня отослали обратно в канцелярию на складной стул, рейки которого ужасно впивались в зад. И мы снова сидели втроем под присмотром сторожа, и я смотрел на часы, и мне казалось, что медный кружок на конце маятника такого же цвета, как кадило ксендза Дудака, из которого он выпускал клубы седого дыма, когда мы пели "Да благословен будь святой Хлеб вечной жизни".

Такие же часы с маятником, заканчивающимся медным диском, я видел в Мангейме в квартире Эльки, когда много лет спустя поехал в Германию, чтобы с ней встретиться. Разумеется, я ей не сказал, какова цель моего путешествия. Услышав мой голос в телефонной трубке, вернее, услышав мою фамилию, она ничего не ответила. Возможно, у нее встали перед глазами все письма, которые я посылал в Мангейм и которые она бросала в корзину. Этого я не знаю, но молчала она добрую минуту, после чего я услышал совершенно трезвый вопрос:

— А откуда ты звонишь?

— С вокзала, — закричал я в трубку. — С вокзала, и хотел бы с тобой увидеться!

Она снова помолчала с минуту.

— Ну хорошо, я весь день дома, — ответила так, будто мы виделись только вчера. — Знаешь, как доехать?

Конечно я знал, как доехать, потому что все к этой встрече у меня было приготовлено, все запланировано и предусмотрено до мелочей: перечень вопросов, темы разговора, фотография могилы Петра, — и все это коварно было направлено, вернее, должно было быть направлено на особу Вайзера. Такси, в котором я ехал по городу, вел усатый турок.

Почуяв, что я не немец, он рвался поговорить, но я мыслями был уже с Элькой и вспоминал сентябрьское утро семьдесят пятого года, когда я провожал ее на морской вокзал в Гдыню, откуда она отплывала в Гамбург.

— Элька, — спросил я в последний раз, — так ты правда не помнишь, что тогда произошло? Правда не знаешь, как это все было? Ведь Вайзер вел тебя за руку. Ты что-то скрываешь, все время скрывала. Скажи хотя бы сейчас, я тебя очень прошу, скажи, раз уж ты уезжаешь навсегда, что именно случилось в тот день над Стрижей? — И мой голос поднимался до крика, пока Элька подходила все ближе к таможенной стойке, и наконец она сказала:

— Не кричи, люди смотрят.

Это были ее последние слова, никаких "до свиданья", "держитесь" — только "не кричи, люди смотрят"! А потом не отвечала на мои письма, так же, как не желала разговаривать о Вайзере перед отъездом. Так что теперь, когда я ехал на такси через центр Мангейма, я думал, что второй раз не сделаю такой ошибки, и когда машина остановилась у светофора, я уже знал, что начну совершенно иначе и долго буду кружить, долго ждать подходящего момента, чтобы наконец припереть ее к стенке, вынуждая к признаниям.

Эльке первые полтора года жилось здесь нелегко. Работала она у тетки, дальней родственницы, отвратительно злобной старухи, прислугой. Та называла Эльку коммунисткой и попрекала на каждом шагу, но Элька стискивала зубы, так как тетка была богата и должна была оставить ей немного денег. Когда вскрыли завещание, Эльке пришлось еще хуже — тетка не оставила ей ни копейки. Она надрывалась в две смены, по утрам прибирала частные квартиры, а вечерами мыла полы в ресторане, владельцем которого был теткин знакомый. И там она познакомилась с Хорстом — он потерял жену в автомобильной аварии где-то в Гессене и теперь, вместо того чтобы заниматься делами своей фирмы, пил до самого закрытия ресторана, до поздней ночи. Она вышла за него без всяких колебаний, он не был ни старым, ни уродливым, а главное — торговал лошадьми, владел собственной фирмой, и Элька уже могла не мыть полы в ресторане и в частных квартирах. Хорст часто уезжает, и Элька тогда сидит целыми днями одна, у Хорста, кроме нее, нет никаких родных, и сама она не любит наносить визиты и принимать гостей. Иногда она ездит с Хорстом, когда он не слишком занят делами, отпуск они проводят на юге в горах. Но обо всем этом я узнал несколькими минутами позже, когда такси выехало уже из центра, когда мы с усатым турком миновали несколько перекрестков и когда я сидел напротив Эльки, прихлебывая кофе, а она показывала мне фотографии Хорста из последнего отпуска, который они провели в Баварии. На стенах просторной комнаты висели акварели, изображающие всадников и лошадей, в центре же — часы, такие точно, как в канцелярии нашей школы, с длинным стержнем маятника с медным диском на конце. Этого Элька, естественно, не могла помнить. Я показал ей фотографию надгробия Петра. Элька была на могиле несколько раз, но плиты, конечно, не видела, и я рассказал ей, какие с ней были проблемы: ни один каменщик не соглашался выдолбить надпись "убитый", и в конце концов написали "трагически погиб". Все знакомые сбросились на эту плиту, и то был, собственно, наш общий памятник Петру, хотя Петр не участвовал в демонстрации и стычках, просто вышел на улицу посмотреть, что проис-

ходит. Но об этом мы вспоминали уже за гренками, которые Элька делала прекрасно — с кетчупом, листьями салата, перьями лука, кружочками помидоров, тмином, со сладким и острым перцем и уж не знаю с чем еще, — горячими, прямо из духовки. Гренки, правда, смешали мои планы, но я поныне помню их вкус. И вдруг Элька сказала неожиданно:

— Я не отвечала на твои письма, как и на все другие. Понимаешь, если ты здесь, — объяснила она, — то невозможно быть одновременно и там. Я не умею быть тут и там.

Я уже хотел что-то вставить, вроде бы мимоходом, чтобы она продолжала, но она быстро сменила тему, да так ловко, что я вынужден был рассказывать о себе, точнее, о своей нынешней жизни, в которой не было ничего интересного и прекрасного. Так что рассказ мой оказался серым и нудным, однако Элька не показывала, что она об этом думает, даже прерывала иногда, спрашивая о какой-нибудь детали, или о человеке, или случае. Я чувствовал, что делает она это из вежливости. Поинтересовалась в конце, чем я занимаюсь в Германии, и спросила, должен ли я уже сегодня возвращаться в Мюнхен, откуда приехал, чтобы ее навестить. Да, действительно, две недели я провел в Мюнхене и собирался побыть там еще несколько дней у родственника, который из лагеря военнопленных в Польшу не вернулся, так как, по его мнению, это была не Польша, а бутафория, да еще из плохого театра. Я не объяснял Эльке этих сложностей, только сказал, что не должен — и я действительно не должен был, но главное, что наш разговор о Вайзере не вошел даже в стадию предварительных замечаний о погоде.

— Вот и прекрасно, — на этот раз она обрадовалась искренне. — Если захочешь остаться на несколько дней — ради бога, и Хорст будет рад, когда вернется, — сказала она, — сейчас он в отъезде.

И хотя я не очень понимал, чему должен радоваться ее муж, согласился остаться до следующего дня. К счастью, у меня были деньги, и когда мы поехали в город, я мог не считать каждую марку. Но пока Элька выводила машину из гаража, я осмотрел их дом — как все дома в этом районе, прямоугольный, с маленьким садиком, тремя комнатами наверху, столовой и кухней на первом этаже. И я подумал, что после двух лет мытья полов это очень много, но для всей жизни, пожалуй, маловато, хотя газон перед входом была пушистый, как ковер, а мебель, обои и панели, как мне показалось, хорошего вкуса и качества.

Так вот, когда же, собственно, началась игра между мной и Элькой, игра вокруг Вайзера, в которой мы оба подходили друг к другу на цыпочках, затаив дыхание, всегда против ветра, никогда по ветру, когда началась наша игра, которая в известном смысле продолжается по сей день? Сейчас я знаю, что Элька играла с самого начала, с момента, когда я позвонил с вокзала, — она уже тогда поняла, что мне надо, и уже тогда наверняка составила план или его общие контуры. Но в Мангейме позволил провести себя, не задумался даже, зачем она хочет меня задержать, не сориентировался сразу, что Элька видит меня насквозь, и хотя я думал, что поймаю ее в сеть ассоциаций, вопросов, вроде бы ничего не значащих утверждений, на самом деле она коварно поймала меня в еще более искусно расставленную ловушку. Таким образом, мы играли с самого начала. Потому что Элька, когда я уже завершил осмотр дома и сада, сказала:

— Подожди, для такого случая нужно надеть что-нибудь особенное, — и через минуту я увидел ее в красном платье, разумеется, не в ситце-

вом, как то, а в хорошо скроенном и из дорогой ткани, и все же не мог отделаться от впечатления, что это то же самое платье, в котором я видел ее тогда над Стрижей, где она течет в узком туннеле под насыпью не существующей со времен войны железнодорожной линии.

Да, садясь в машину, Элька знала, что́ я чувствовал, а когда уже за городом мы миновали фабричные склады "Даймлер-Бенц верке", спросила, не хочу ли я проехаться вдоль Рейна, она хотела бы посмотреть на воду. Мы стояли потом на одном из бетонных выступов дамбы, и Элька бросала вниз прутики, а у меня в голове все время вертелось: была ли эта история с амнезией, о которой говорили врачи, от начала и до конца замыслом Вайзера или Элька додумалась сама. Обедать она повезла меня в ресторан, из окон которого мы видели стены Фридрихсбурга, и до десерта успела рассказать историю города, вычитанную когда-то из путеводителя, чего не скрывала. За мороженым разговор перешел неизвестно почему на животных.

— Я терпеть не могу одной вещи, — сказала она, облизывая ложечку. — В местных зоопарках существует отвратительный обычай — так называемое кормление львов. В каждом городе, где только есть зоо, люди сбегаются в определенный час и глазеют, как сторожа швыряют зверям истекающие кровью куски мяса, и самая большая радость — когда львы вырывают эти куски друг у друга. — И сразу же добавила: — У вас это не практикуется, верно?

— У нас это не практикуется, — сказал я. — А помнишь наш поход в зоопарк в Оливе?

Элька кивнула.

— Да, кажется, зоопарк в лесу, и мы возвращались тогда вроде лесом.

— А помнишь клетку с пантерой? — не отступался я.

— Да, — ответила она быстро, — пантера разозлилась, это я помню, сторож подошел тогда к нам и сказал, чтобы мы отошли от клетки.

— Нет, было не так, не было вообще никакого сторожа, — я отложил свою ложечку, — было не так, ведь Вайзер, тот Вайзер, из-за которого было столько шуму...

Она прервала меня:

— Все время ты о нем спрашиваешь, ох, как это мучительно, зачем без конца копаться в мелочах?

— Это не мелочь! — запротестовал я. — Ведь ты нашлась, не знаю как, но нашлась, — а он?

Элька меланхолично улыбнулась.

— Я упала с насыпи и разбила голову. Раз ты так хорошо все помнишь, то знаешь ведь, что я два месяца пролежала в больнице, верно?

— Да-да, знаю, но ведь ты не падала с насыпи, — горячо возразил я.

В ответ Элька, подзывая официанта, пояснила — собственно, не пояснила, а только запутала все еще больше:

— Ну да, ты, кажется, из тех людей, которые все знают лучше, но чем же я могу помочь?

И так было до вечера, постоянно одно и то же: когда я заговаривал об аэродроме — конечно, она запускала там змея, может, и с Вайзером, если я так утверждаю, но и с другими мальчишками тоже, это точно; когда же я вспомнил о матче с армейскими — так ведь в футбол мы играли беспрерывно, как все мальчишки на свете, может ли она помнить именно этот матч? И только при упоминании старого кирпичного завода она не сказала ничего, а по поводу взрывов согласилась, что это

было потрясающе. По мнению Эльки, Вайзер, должно быть, взлетел на воздух, а она свалилась на другой день с насыпи, когда мы играли над Стрижей. Но это она сказала уже позже, не в ресторане, а дома, когда мы вместе приготовили ужин и допивали вторую бутылку вина, сначала мы пили красное, а потом белый вермут, и я почувствовал, что во мне поднимается гнев и агрессия, ведь я понимал, что она водит меня за нос и мой приезд в Мангейм был бессмысленным, как и письма, которые я до сих пор еще посылаю с упорством, достойным лучшего применения. Я пошел наверх, где Элька приготовила мне постель, улегся на голубое белье и услышал, как она кричит мне что-то снизу, извиняясь, что, кажется, о чем-то забыла. И только когда я подошел к лестнице и глянул вниз, меня обуял страх. Элька сыграла со мной злую шутку. Диван, стоявший в столовой у окна, теперь был передвинут в центр комнаты и выглядел как продолжение лестницы. А сама она лежала на диване — одна подушка под головой, другая на уровне поясницы, — слегка раздвинув ноги, и красное платье колыхалось в ритме всего тела. Никакая сила не могла меня удержать от шага вперед, то есть от шага вниз, ведь я стоял на верхней ступени лестницы. И на этом был основан сатанинский замысел Эльки. Ибо с каждым шагом мои ноги оказывали все меньшее сопротивление, как бы отрывались от земли; где-то на середине пути я понял наконец, что мое тело плывет вниз и это уже не мое тело, а сверкающий в лучах солнца корпус самолета, а мои руки уже вовсе не руки, а каждая из них — серебристое крыло, и я не видел уже дивана, а только начало взлетной полосы, миновал холмы на южной окраине города, пролетел низко над красными крышами домов, промчался над рельсами у виадука и теперь видел уже только раздвинутые бедра Эльки, ее вздымающееся платье и в волнующемся дыхании воздуха обнаженную черноту и мягкость, к которой я приближался с гулом и дрожью. Но серебристый корпус в этот раз не на бетонные плиты полосы опустился — он входил в кущи мощно, с размаху, со свистом рассекая воздух, входил в эту непорочную мягкость, и она принимала его холод упругим колыханием и криком, который тонул в грохоте машины и воздуха. Да, Элька спровоцировала авиакатастрофу и, одержимая безумством разрушения, заставляла меня, когда я уже возвращался наверх, снова превратив тело в сверкающий фюзеляж, повторить приземление, и не один раз, но в конце концов конструкция стальной птицы не выдержала повторяющихся взлетов и падений между небом и землей и свалилась, разбитая, со сломанными крыльями, в кущи дрока, который пах миндалем. Элька вцепилась пальцами в мои волосы, а мне казалось, что я слышу голос Желтокрылого, вещающий о гибели мира и обитателей его, и сразу вслед за этим почувствовал кислое дыхание ксендза Дудака из-за решетки исповедальни, когда он не отпускал мне грехи. Но это всё были страх и фантазии, соперничавшие друг с другом, — единственным голосом был голос Эльки, шепчущей не мое имя, а единственным запахом был запах ее тела, в котором смешались ветер, соль и миндальный крем. Игра вокруг Вайзера была закончена, и я не вышел из нее ни чистым, ни победившим.

На следующий день я поехал в Мюнхен, где мне тоже пришлось играть, на этот раз со своим дядюшкой, и была та игра сугубо политической. Дядя, когда я уже помыл его машину и постриг газон перед его домом, сел напротив меня и сказал: "Как вы можете там жить?" А я отвечал: "Дядя, ущипни меня за ухо", — и он ущипнул, развеселившись. А я

говорил: "Вот видишь, вроде ты и прав, однако вовсе не прав". "Это как же, почему?" — спрашивал он с любопытством, а я в ответ — что, мол, если я действительно существую, в чем он мог убедиться, ущипнув меня минуту назад, то не могу быть каким-то муляжом или бутафорией. А коль скоро я являюсь частью целого, то и всё там тоже не муляж, Польша — не муляж, и вообще, хотя мир больше напоминает бордель, нежели театр, дядя не прав. Да, дорогой дядюшка, сейчас ты уже покоишься в земле и не знаешь, что я тогда приезжал в Германию и к тебе вовсе не на заработки, как тысячи турок, югославов, поляков, приезжал не ради того, чтобы заработать на машину, и не ради прочих прелестей, и единственной моей целью было встретиться с Элькой и выпытать у нее про Вайзера, а если при случае — в определенном смысле обманывая тебя — я и заработал немного марок, ты, наверно, простишь это своему племяннику.

Что было дальше? М-ский вышел из кабинета, держа в руках большие листы канцелярской бумаги. Дал нам по двойному листу и сказал, что теперь мы должны записать все, что рассказывали, простыми словами и подробно. Должны описать все взрывы Вайзера, включая последний, ничего не пропуская, без всяких выдумок и прикрас. Сторож включил дополнительный свет, и нас рассадили подальше друг от друга, будто мы писали контрольную. Я только жалел, что с нашим творчеством не познакомится пани Регина, единственная учительница в школе, которую мы любили бескорыстно. Пани Регина учила нас польскому языку, никогда не говорила об эксплуатации, не кричала на нас и читала стихи так прекрасно, что мы слушали затаив дыхание, как Ордон взрывал редут вместе с собой и штурмующими москалями или как генерал Совинский погибал, защищаясь шпагой от врагов Отчизны. Да, пани Регина, похоже, не слишком заботилась об учебной программе, и сейчас я ей за это благодарен. Но то другая история. Тогда, в школьной канцелярии, я не очень-то знал, как и что писать. Несколько раз начинал предложение и зачеркивал, сознавая полное свое бессилие и отсутствие изобретательности. Каждому, кто хоть раз в жизни находился под следствием, известно такое состояние духа. Потому что одно дело — давать показания устно и совсем другое — писать собственной рукой то, что они хотят узнать. Как написать, чтобы ничего не сказать? Или — как писать, чтобы сказать только то, что можно? Нужно взвешивать каждое слово, каждую запятую и точку, ведь они возьмут это под лупу и будут читать каждое предложение два или три раза.

Когда, отвечая на вопрос М-ского, я сказал: "Я видел Вайзера", — я мог сразу же добавить: "Но смутно". А когда тот нахмурил брови, тут же можно было поправиться: "Нет, это в другой раз я видел его смутно, а тогда, в тот день, о котором вы спрашиваете, я видел его как вас, очень ясно". Но лист бумаги в клеточку — нечто совершенно иное. В чем я мог признаться в такой ситуации, а что должен был утаить? Не много я мог рассказать. Не много — мог ли я описать им изысканность взрывов, каждый из которых не был похож на предыдущие? Мог ли я рассказать, каким образом Вайзер увлек нас своими идеями? И даже если мог, то заслуживали ли они этого?

Я тронул распухший нос и место на щеке, где сейчас начинается щетина. И там и там было довольно-таки больно. Я подумал, что хотя ни за что не расскажу, что случилось над Стрижей в последний день, но все же что-то сказать, что-то написать на огромном листе должен, чтобы не

вызвать у них гнев и злобу. Помню первое предложение: "Давид не играл с нами в войну, потому что его дед не разрешал ему такие игры". Разве не с такой именно фразы должна начинаться книга о Вайзере? Ведь его первый взрыв, который мы наблюдали в ложбине за стрельбищем, не был игрой в войну. Не знаю до сих пор, зачем Вайзер устраивал эти взрывы, зачем они ему были нужны, но когда я увидел брызнувший в небо голубой фонтан пыли, уже тогда почувствовал, что никакая война здесь ни при чем. Вайзер к каждому заряду добавлял красящее вещество, и когда детонация содрогала землю, в воздух летел цветной поток. В первый раз взрыв был голубой. Когда на землю уже попадали последние комья глины и сучья, мы увидели, что синеватая дымка еще висит в воздухе; голубое облачко кружило над нашими головами, постепенно поднимаясь все выше и меняя очертания, пока совсем не исчезло из поля зрения. Мы были в абсолютном восторге, и только Вайзер качал головой, словно у него что-то не получилось. Я допускаю, что он все время экспериментировал на наших глазах, а мы были кучкой профанов, допущенных в полную реторт, тиглей и пылающих горелок мастерскую алхимика. Я не утверждаю, что Вайзер интересовался алхимией, этого я не знаю, но именно так все выглядело, и прежде чем мы оправились от первого впечатления, он приказал нам ждать на том же месте, заложил новый заряд, соединил его проводами с черным ящиком, и снова воздух тряхнуло от гулкого взрыва.

Эффект был еще поразительней: облако, которое повисло в воздухе после взрыва, было отчетливо двухцветным: его нижняя часть переливалась на солнце всеми оттенками фиолетового, а венец вертящегося столба представлял собой красный помпон. На этот раз Вайзер, кажется, остался доволен. Облако долго плавало над ложбиной и только минуты через две или три расплылось в ничто, превратившись перед тем в болотно-зеленый шар. Было это зрелище более захватывающим, чем серые облака дыма, которые выпускал ксендз Дудак из золотой кадильницы, мы это отчетливо ощутили, но на этом Вайзер завершил работу, спрятал куда-то черный ящик генератора и сказал, что мы можем идти домой. Сегодня я знаю, что в таких штучках ничего сложного нет, даже татары в свое время выпускали на христианских рыцарей цветные облака, от чего вставали на дыбы кони, а люди цепенели от страха, но тогда мы считали Вайзера чудотворцем. После того как мы побывали на бездействующем кирпичном заводе, на который наткнулись, выслеживая Эльку, ничто не могло поколебать нашей уверенности в том, что Вайзер, если б только захотел, мог сделать все. Но о том, что мы видели в сыром подвале, я еще расскажу. К этому я должен подготовиться лучше, чем к пасхальной исповеди, когда в страхе перед гневом Божьим и самим ксендзом Дудаком я записывал грехи и заучивал их наизусть, как артист перед генеральной репетицией.

Следующий взрыв, вернее, следующее выступление Вайзера состоялось примерно через неделю и совершенно отличалось от первого. В воздух взлетел столб сверкающих чешуек, которые опускались на землю очень медленно. Самым красивым на этот раз было падение: облако не уплывало вверх, как в прошлый раз, а медленно планировало вниз, оседая на траву и на папоротник, которым ложбина заросла очень густо. На его листья осела серая пыль, и я не мог понять, почему вверху все выглядело так потрясающе, а тут, внизу, сверкающие минуту назад крупинки напоминали обыкновенную июльскую пыль, которая в то лето покрывала все липким, грязным слоем.

Вайзера не устраивали составы простые и незамысловатые, с каждым разом он стремился ко все более утонченным эффектам, и хотя я понимаю это только теперь, через столько лет, так оно, безусловно, и было. В следующий раз, когда земля вздрогнула от взрыва, мы увидели картину, которая превзошла самые смелые ожидания. Чтó это было? Если я скажу, что французский флаг, я не совру, но не скажу и правду. Если напишу, что напоминало это три вращающихся вокруг своей оси столба разных цветов, это тоже не будет слишком точным и передающим самую суть. Да можно ли вообще передать суть чего-либо? Боюсь, что нельзя, и потому не пишу книгу, хотя думаю, что ее следовало бы написать давно. Так же, как книгу о Петре и о том декабре, когда над городом летали вертолеты, или о наших отцах, которые чуть ли не все напивались в день зарплаты и, как пан Коротек, поносили Господа Бога за то, что тот все это безобразие допускает. А тогда, в ложбине, Шимек ткнул меня в бок и сказал: "Господи, как красиво, — и сразу добавил: — Как он это делает, жиденок чертов?" Но теперь это не звучало оскорбительно, а было чем-то вроде грубоватого комплимента, с таким же успехом Шимек мог сказать "прохвост чертов" — и это было бы то же самое, я был уверен в этом тогда, уставясь в небо, на фоне которого вертелись три столба дыма или, вернее, три вытянутых вертикально облака. Одно белое, как полотно, второе синее, а третье красное, как плащ матадора, которым тот заманивает ошалелого быка прямо на смертоносную шпагу. Цветные плоскости на этот раз не смешивались между собой, а только поднимались выше и выше, пока не исчезли за вершинами сосен.

В тот день, когда мы возвращались глубоким оврагом, ведущим к Брентову, и Шимек спорил с Петром, чтó это было: ленты от шляпы или французский флаг, мы встретили М-ского. Сначала в конце глинистого ущелья замаячил знакомый сачок для бабочек, а потом мы увидели учителя естествознания, он бегом преодолевал крутизну в этом месте откоса, цепляясь руками за плаун. Бабочка, за которой гнался М-ский, упорхнула в траву, так что учитель вытянул шею как мог вперед и чуть ли не уткнулся носом в плаун. Когда М-ский был уже на середине склона, бабочка изменила намерения и, сделав над его головой вибрирующее сальто, полетела вниз, мельтеша цветными крылышками. М-ский бросился за ней, однако, сбегая по крутизне, не смог притормозить и свалился почти нам под ноги, и мы услышали треск палки, к которой был приделан сачок. Но М-ский не заметил ни нас, ни сломанной палки, так как в сетке трепыхалась огромная бабочка.

— Тихо, тихо, малышка, — шептал М-ский и, продолжая лежать, вынул из рюкзака склянку, после чего ловким движением поместил в нее бабочку. — Наконец-то ты моя, — говорил он ей ласково. — Получишь самую красивую булавочку, прелесть моя, — а когда уже увидел нас, поднимаясь с колен, вовсе не смутился, наоборот, улыбнулся. — Ну как, мальчики, — сказал он, — знаете, что это такое? Нет, к сожалению, это не Parnassius mnemosyne, это было бы чудо, но и так будет что описать. Не знаете, что это за экземпляр? Это, дорогие мои, Parnassius apollo, сам Parnassius apollo, здесь, на севере, в послеледниковой морене! Совсем пропал в Судетах, живет в Апеннинах и Татрах, да-да, мальчики, ни один ученый не поверил бы, что сам аполлон водится и здесь! А я его нашел. И напишу об этом во "Вселенную"! Гусеница аполлона кормится заячьей капустой, а вы хоть знаете, как называется на латыни заячья капус-

та? Отряд Succulentae, а называется Sedum acre, запомните, мальчики, Sedum acre, что означает капуста заячья острая!

Мы стояли, разинув рты и глядя на склянку, которая напоминала маленький цилиндр, и видели, как бабочка пытается махать крыльями, но у нее слишком мало места в стеклянной ловушке, и она бьется совершенно как рыба в аквариуме, не понимая, в какую беду попала. Разумеется, М-ский, который пошел своей дорогой, не имел ничего общего с трехцветным взрывом Вайзера. Но выводя очередную фразу моего сочинения на канцелярской бумаге в клеточку, выводя не спеша, обдумывая каждое слово, я думал о том, что Вайзер иногда напоминал такую бабочку, например когда у него что-то не получалось и он нервничал, прикрывая растерянность излишней жестикуляцией. Да, четвертый взрыв получился неудачным, это было ясно, потому что, когда мы услышали взрыв, нашим глазам явилась обыкновенная серая туча пыли, которая быстро осела, и это было все. Вайзер побежал к месту, где был заложен заряд, и, размахивая руками, как Parnassius apollo крыльями, вернулся к нам явно обескураженный. "Еще раз", — сказал он Эльке. И снова мы услышали скрип рычага, сухой щелчок, но на этот раз взрыва не произошло вообще. "Может, провода порвались", — робко предположил Петр, но Вайзер размахался еще больше. "Этого не может быть, — пояснил он, глядя в небо. — Это абсолютно невозможно, попробуем еще", — и он снова побежал к заряду, и его руки трепыхались не останавливаясь. На этот раз взрыв произошел, но кроме желтоватого облачка, которое поднялось ненадолго над фонтаном песка, не было ничего. В тот день Вайзер возвращался домой с нами, и я помню, что он не сказал ни слова даже Эльке.

Я не утверждаю, что у него было что-то общее с бабочками, но сравнение это, когда часы в приемной пробили десять, а я дописывал только первую страницу, — сравнение это показалось мне намного удачнее, чем сегодня, когда воображение мое ни в чем не схоже с тем, каким оно было много лет назад. Но бабочку и трехцветное облако я тогда сохранил для себя, так же, как Шимек и Петр. Я не написал ни слова ни об экспериментах Вайзера, ни о том, как действительно выглядел последний взрыв. Я писал просто, чего и требовали те трое, укрывшиеся сейчас за дверью, обитой стеганым дерматином. Писал, что каждый раз Вайзер шел к генератору на другую сторону ложбины, что во время взрывов мы прижимали головы к самой земле и что взрывы, собственно, ничем не отличались один от другого, за исключением силы детонации. А когда сторож вышел на минуту, Шимек поднял голову от своего листа и шепнул: "Я это напишу, — и мы с Петром уже знали что, прежде чем Шимек добавил еще тише: — Напишу, что мы нашли обрывок красного платья Эльки и что я выбросил его на помойку, и все... или нет, — поправился он тут же, — что мы сожгли его на костре". Я знал, так же как Шимек и Петр, что это их устроит, поскольку у них была своя картина случившегося и от нас они добивались единственно ее запечатления. Сторож вернулся из уборной, а я думал, как описать последний взрыв, за день до того, что случилось над Стрижей, взрыв, который для Вайзера должен был иметь особое значение, в чем я убежден и сегодня. В тот раз речь шла не о цветовом эффекте, а о чем-то более замысловатом.

Как обычно в таких случаях, мне не хватает шкалы сравнений. На что это было похоже? Если бы я попытался определить это тогда, я сказал бы, что на воронку, через которую моя мать вливала в бутылку мали-

новый сок, — туча пыли, поднявшаяся после взрыва, была совершенно черная, узкая внизу, расширяясь кверху, она вращалась вокруг своей оси. Хотя, конечно, это была вовсе не воронка, а мощный, крутящийся смерч из черных крупиц. Он предстал перед нашими глазами сразу после взрыва и, вертясь, вырастал над ложбиной добрую минуту, прежде чем исчез, расплывшись в воздухе. Только спустя годы мне пришло на ум сравнение Вайзеровой воронки с Архангелом, борющимся со змием. Я не сомневался, что фантастические складки одеяния святого, его распростертые крылья и весь сонм небесных воителей — все это вмещалось в черную вертящуюся тучу, хотя, естественно, Вайзер не мог видеть гравюру, да и мы тогда не очень-то себе представляли. что такое искусство. "Такой смерч все может засосать, — уверенно сказал Шимек, — хоть целого человека". А Элька, как обычно склонная к преувеличениям, добавила: "Ты что, не только человека, он может засосать целый дом и перенести его далеко-далеко". И когда я закончил эту последнюю фразу в моих письменных показаниях, я подумал, что Вайзер ведь мог бы наслать такой смерч, чтобы он сорвал с места нашу школу и перенес ее куда-нибудь за Буковую горку, в район старого кладбища, или еще лучше — в ложбину за стрельбищем, и только тогда М-ский, директор и человек в форме поняли бы, что тут произошло нечто другое, а не простой несчастный случай со снарядом. Но Вайзер из своего, только ему известного места не торопился с помощью, так что я поставил точку и ждал, что будет дальше. Сторож собрал наши сочинения. А я снова подумал о пани Регине, которая учила нас польскому языку и прекрасно читала стихи. Особенно стихотворение о преступной женщине, которая убила своего мужа, застряло в моей памяти: едва пани Регина доходила до схватки двух братьев, когда в костеле появляется дух в доспехах и взывает голосом как из подземелья и когда костел с грохотом проваливается, в классе наступала редкостная тишина, никто не разговаривал, никто не проливал чернил, и было еще праздничней, чем во время причащения, когда ксендз Дудак поднимал вверх круглую, как солнце, облатку и пел на латыни. Если бы пани Регина приказала нам написать сочинение о Вайзере, оно было бы совершенно не таким, как то, которое я отдал сторожу. Может быть, я не написал бы всего, но наверняка рядом с черной пантерой оказался бы замечательный матч, а над рыбным месивом в заливе завертелся бы смерч, засасывая всю эту гадость в мощную воронку, и на другой день мы могли бы купаться, как каждый год.

Тем временем мы продолжали сидеть на складных стульях, рейки которых впивались в зад, а сторож, не прикрыв за собой дверь, исчез в бездне кабинета. "Теперь вы должны подождать, — объявил он нам, вернувшись через минуту. — Если все будет в порядке, подпишете показания и пойдете по домам. Но разговаривать еще нельзя", — добавил он, грозно поглядев на Петра, который наклонился ко мне. Так что мы и не разговаривали, как и все то время, которое прошло с момента, когда нас привели сюда, и я слышал, что в желудке у Шимека, так же, как у меня и у Петра, бурчит все сильнее, поскольку они, конечно, ничего не дали нам поесть. Сторож включил радио, и из деревянного ящичка тихонько журчала народная музыка. "Сейчас будут новости", — сказал он сам себе и принялся уплетать очередной бутерброд. Действительно, музыка прекратилась, и диктор объявил, что сейчас будут фрагменты из выступления Владислава Гомулки, лысина которого засияла в последнее время на портретах во всех классах. Смешной, немного писклявый го-

лос говорил что-то о порядке в нашем общем доме, а я удивлялся, почему взрослые произносят имя этого человека с таким благоговением, если он говорит скучно, скучнее даже ксендза Дудака на воскресной обедне. Кто, однако, постигнет тайны политических меандров? Сегодня, когда я уже знаю, почему люди восхищались Владиславом Гомулкой (по крайней мере, могу это понять), я вспоминаю тех самых взрослых, которые восторгались словами его преемника, в частности тем, что он говорил на верфи, когда еще свежа была земля на могиле Петра, — он тоже говорил о порядке и об общем доме. Да, сегодня я считаюсь взрослым и, хотя не интересуюсь политикой, никогда не впадаю в энтузиазм по отношению к вождю, который начинает с общего дома и порядка. Но хватит об этом, ведь не о том я хотел рассказать. Речь идет о Вайзере. Только о нем. И пока еще очень далеко до ясности. Игра не закончена. Игра? Не могу придумать другого определения. Допускаю, что так же, как тогда, когда мы сидели втроем, ожидая завершения следствия, так же точно теперь Вайзер играет со мной и наблюдает за моими действиями черными глазами. Но об этом рассказ впереди.

Что было после памятного матча с армейскими? Самым важным была погода. Солнце яростно жгло город и залив, листья на деревьях пожухли, как в начале осени, а птицы вообще уже почти не пели, замученные жаром, льющимся с неба. Как-то раз мы поехали в Елитково проверить состояние "рыбного супа", и то, что мы увидели, превосходило самые мрачные ожидания. Кроме колюшки, в стоящей без движения воде были сотни полудохлых камбал, угрей, сельдей и другой рыбы, названия которой не знаю до сих пор. Все это, полусгнившее и страшно вонючее, шевелилось в конвульсиях. Угри, самые сильные из рыб, умирали дольше всех, их извивающиеся тела остались у меня в памяти как символ того лета. Рыбаки вылезали из своих хибар и целые дни просиживали перед ними на лавках, дымя сигаретами и проклиная свою судьбу. Один из них окликнул нас, когда мы шли между пустыми ящиками:

— Зачем вы сюда ходите, пацаны, — проговорил он меланхолично, — нечего вам тут делать. — И сразу же, никем не спрошенный, разговорился: — Это иприт, все из-за этого проклятого иприта, говорю вам, пацаны, чертов прусский подарок. — А когда понял, что мы не очень-то смекаем, о чем речь, объяснил: — Вы что, не слышали про иприт с немецкой подлодки? Эта лодка затонула в последние дни войны недалеко от Хеля и вся была начинена ипритом, как бочка сельдью, ну и вот, получили теперь, помойка, а не залив!

— Ну-ну, Игнац, — услыхали мы из окна, — не морочь ребятишкам голову, все знают, подлодка тут ни при чем, это русские проводили маневры на святого Иоанна, ну и напустили в воду дряни какой-то, от нее и посдыхаем все, как рыба!

Рыбак разозлился не на шутку:

— Кончай, старуха, не плети ерунду, — рявкнул он на жену и, обращаясь к нам, повторил: — Подлодка, вот и все, проржавела, и из банок потекла эта гадость, проклятые гитлерюги, мало нам бед натворили, так еще и это теперь!

Мы сразу разделились на два лагеря, и пока в ожидании трамвая возле круга кипел громкий спор между сторонниками подлодки и советских маневров, я смотрел в небо, раскаленное добела, смотрел на шар солнца и знал, что не подлодка и не советские маневры в заливе всему

этому причина. Если бы, однако, кто-нибудь спросил меня тогда или теперь, что было причиной "рыбного супа", я не смог бы и не смогу дать ясный ответ. Наверно, не грехи человеческие и не гнев Божий, как считал ксендз Дудак, а за ним многие жильцы нашего дома. Они собирались по вечерам во дворе и разговаривали, понизив голос, будто боялись накликать более страшные беды. И странные вещи можно было от них услышать: и что над водами залива рыбаки из Хеля видели оранжевый шар, похожий на шаровую молнию, и что Матерь Божия из Матемблева явилась одной женщине, когда та шла лесом в Брентово, и что моряки видели собственными глазами парусник без матросов, плывущий ночью между пароходами на рейде. Были и такие, что видели комету в форме лошадиной головы, как она кружила над городом, и те, кто ее видел, клялись, что комета вернется, облетев Землю, и обрушится на нас со страшной силой.

Тем временем каждый следующий день казался жарче предыдущего, и мы не играли даже в футбол у прусских казарм из-за жары и облаков едкой пыли, которые вздымались от сгоревшей травы. Что было делать? Несмотря на угрозы М-ского, мы ходили на брентовское кладбище. В тени старых буков было прохладней. Только у нас уже не было каски и ржавого "шмайсера", а Желтокрылого и след простыл. Мы предполагали, что его поймали где-то поблизости и наше оружие было конфисковано. Игра в немцев и партизан без этих атрибутов казалась нам скучной, и тоска все прочнее поселялась в наших сердцах. Если бы Вайзер захотел прийти сюда как тогда, думали мы, может, принес бы с собой что-то интересное, что-нибудь, что позволило бы нам вернуться к своим войнам с еще большим запалом. Но Вайзер и не думал приходить. Его выступление в матче было последним знаком, который он нам дал, и теперь ждал, что мы придем к нему. Постепенно мы дозревали до этой мысли, но не слишком быстро. Как-то раз Петр, лежа в тени орешника, сказал: "Пляж закрыт, стадион на хрен годится, чего нам тут делать?" Неизвестно, что он имел в виду — кладбище или вообще город, задыхающийся под раскаленным шаром солнца, но именно с этой фразы, которая не была адресована ни одному из нас и которая повисла в воздухе, — с этой именно фразы началось наше приключение с Вайзером. С минуту помолчав, как обычно, Шимек выплюнул пережеванную травинку и сказал: "Вайзер бы что-нибудь придумал". И все мы поддакнули: о да, Вайзер наверняка что-нибудь придумал бы, Вайзер — это не кто-нибудь, в этом были мы уже уверены, вот только как бы к нему подкатиться, чтобы не показаться дурачками, которые сами уже ничего не способны придумать. С другой стороны, Вайзер придумщик и мог бы с нами чем-нибудь поделиться, ясно, что не игрой в чижика или лапту, то были вещи обычные и будничные, а жара усилила нашу естественную неприязнь к вещам обычным и будничным. Да, мы жаждали перемен, и кто знает, не было ли то подсознательным стремлением бросить вызов судьбе, которое чаще всего возникает у мальчишек, разглядывающих карту или читающих "Графа Монте-Кристо". Тяга к переменам жгла наши души, удрученные смертельной скукой. Вдруг мы поняли, что перемен можно ждать только от Вайзера. "Нужно пару раз за ними пойти ", — предложил Шимек. А Петр сообщил, что Элька с Вайзером ходят теперь не на аэродром, а куда-то за Брентово и там исчезают, часто на полдня. В общем, порешили на том, что завтра мы с самого утра затаимся за углом нашего дома и выследим, чем они занимаются, куда ходят, а также почему избегают нашей компании.

Но оказалось это не так просто, как мы думали. Уже с самого начала трудности множились, точно грибы после дождя. Во-первых, Шимек забыл свой французский бинокль и вынужден был вернуться за ним в тот момент, когда Вайзер уже выходил с Элькой из подъезда. Во-вторых, они словно специально изменили в тот день свои планы и вместо того, чтобы пойти — как мы думали — по улице прямо в направлении Буковой горки, свернули на дорожку между изгородями и пошли в сторону аэродрома. В-третьих, следить сразу большой группой неудобно, а в тот день нас было пятеро или шестеро. Каждую минуту приходилось останавливаться и кого-то утихомиривать, и тогда мы теряли их из виду. Около трамвайного круга нас догнал Шимек. "Я говорил! Они идут на аэродром!" И никто почему-то не сказал ему, что ведь ничего такого он не говорил. С минуту я дрожал в надежде увидеть еще раз игру с самолетом, но только с минуту, потому что Элька с Вайзером спустились по лестнице вниз, на станцию электрички, которая тогда называлась Гданьск-Аэродром. И прежде чем мы успели сориентироваться, уехали в желто-голубом вагоне в сторону Сопота, и в тот день это было, собственно, все. "Одурачили нас как маленьких, — подытожил Петр, — можно идти домой". Мы стояли на мосту, поджидая, чтоб нас осенила какая-нибудь идея, но идеи не было. Вместо нее мы увидели в небе биплан, который поднимался ввысь с натужным хрипом мотора.

— О, биплан, — сказал Петр.

— Какой там биплан, просто кукурузник, — поправил Шимек и вытащил из футляра свой французский бинокль. — Посмотрим чуть-чуть!

Мы выстроились в очередь к биноклю вдоль железных перил моста; самолет тем временем, подымаясь все выше, удалялся от нас в направлении залива. Шимек, хотя и неохотно, пустил бинокль по кругу. Кукурузник, набрав соответствующую высоту, развернулся к городу; он летел с выключенным двигателем и постреливал свободным пропеллером: ттрах — трах-трах — трах-тррах. Вдруг, когда грязно-зеленый корпус миновал кладбище на Заспе, с моста казавшееся просто купой деревьев, из самолета выпорхнул грибок парашюта. Один, и через несколько секунд еще один, и еще один, а за ними еще два — всего пять парашютистов спускались теперь вниз, прямо на траву аэродрома. Самолет пролетел над нашими головами, повернул, выровнял курс и приземлился рядом с ангарами. В этом не было ничего необычайного, каждую весну и лето раз или два раза в неделю здесь тренировались парашютисты, и рокот бипланов над нашим районом я помню с тех времен как закадровую музыку к фильму. Но тогда выбора у нас не было, и парашютисты нам очень понравились, мы стояли на мосту, биплан взлетал и приземлялся, белые купола расцветали в небе, а за спиной у нас каждые шесть минут грохотала желто-голубая электричка, вагоны которой наш город унаследовал от берлинского метро.

Я написал "унаследовал" — разве это плохо? Не написал бы так, если бы все это складывалось в книгу о Вайзере, а если в книгу, то, значит, для издательства, там сразу подчеркивают такие выражения и спрашивают: "Как это — унаследовал?! Ханс Юрген Хупка, Гоншорек, Чайя, они ждут таких формулировок и потирают руки. "Это наше, — говорят они, — это все наше, немецкое!" — и ответственный редактор немедленно вычеркивает это слово: зачем лить воду на мельницу реваншистов? И я уже вижу, как на моем манускрипте рука редактора пишет: "Заменить другой формулировкой". А за нашей спиной каждые шесть минут про-

носились желто-голубые вагоны электрички, которые попали в наш прекрасный древний город благодаря братству по оружию героической польской и непобедимой советской армий, в совместном штурме разгромивших берлинского гада. Ну, может, я немного переборщил, сегодня ни один редактор так бы не написал, и вместо зачеркнутого "унаследовал" я бы обнаружил "получил как военную репарацию". Но я не сочиняю книгу о Вайзере. "Живу для того, чтобы писать, и считаю, что невзирая на обстоятельства нужно посвятить жизнь изучению хаоса, равно как и порядка". Не помню уже, кто это сказал. И хотя первая часть этой фразы грешит безвкусицей и я вовсе не живу, чтобы писать, но вторая часть кажется важной сейчас, когда я исписываю листы бумаги в надежде, что наконец пойму то, чего понять не могу, что наконец увижу то, чего раньше не замечал. Что отделю порядок от хаоса или в хаосе проявится какой-то иной, совершенно незнакомый порядок. Да, именно об этом речь. Поэтому тут столько запутанных нитей. Поэтому также я не заменю уже написанное слово никаким другим, даже лучше звучащим.

Итак, мы стояли на мосту и наблюдали за прыжками парашютистов. Имело ли это какое-нибудь отношение к Вайзеру? И да и нет. Если я вспоминаю ту минуту жаркого лета, то прежде всего потому, что вернулся однажды к ней в разговоре с Петром. Каждый год я прихожу к нему на кладбище, и когда уже оттуда уйдут все люди, все взрослые люди, которые верят в Бога, но не верят в духов, когда они оставят на могилах цветы, венки, черные ленты и зажженные свечи, я сажусь на каменную плиту и разговариваю с Петром, иногда мы даже ссоримся из-за мелочей, словно все еще ходим в ту самую школу в Верхнем Вжеще. Однажды я присел на краешек плиты, разгреб засохшие листья, и Петр спросил у меня сразу:

— Ну, что новенького в городе?

И я ответил ему, что, собственно, ничего особенного, только с сообщением беда.

— Как — беда?

— Ну да, ты ведь отсюда никуда не ездишь, — говорю я примирительно. — Электрички меняют.

— Как это меняют?

— Обыкновенно, — отвечаю, — старые вагоны, те, из берлинского метро, пойдут на переплавку, а вместо них будут курсировать новые, такие же, как во всей Польше — под Варшавой, Лодзью или Краковом; это тоже электричка, но на три тысячи вольт, а та была на девятьсот.

— Девятьсот? — говорит недоверчиво Петр. — Та электричка была не на девятьсот, а на восемьсот вольт.

— Нет, — говорю я Петру, — ты забыл, точно не восемьсот, а девятьсот!

"Восемьсот" — Петр, "девятьсот" — я, "точно восемьсот" — снова Петр, "нет, точно девятьсот, — снова я, — ведь заменяют всю тягу, чтобы соединить этот участок непосредственно с Быдгощем", на что Петр: "Это не аргумент, тягу так или иначе должны переделать, но я тебе говорю, та старая была на восемьсот!" И так мы спорим, как два хороших друга, а последние старые составы еще курсируют между Гданьском и Вейхеровом с нерегулярными интервалами, так как работы не прекращаются даже в такие, как сегодня, праздничные дни. А когда я уже спускался по крутой аллейке кладбища вниз, теперь уже в целом море огней, в облаке запаха тысяч свечей, я вспоминал тот день, когда мы стояли,

мы стояли, опершись о железные перила моста, наблюдая за тренировкой парашютистов, когда мы уже почти забыли о Вайзере и за спиной у нас проносились желто-голубые вагоны электрички из берлинского метро. Память у Петра оказалась лучше: у той электрички тяга действительно была восемьсот вольт.

Тем временем кукурузник приземлился на траву в последний раз, парашютисты исчезли в глубинах ангара, и бинокль из-под Вердена нырнул из рук Петра прямо в кожаный футляр. Шимек смачно сплюнул. "Нечего нам тут делать, — сказал он решительно, — пошли домой!" И снова разговор вернулся к Вайзеру. Только о чем и как мы говорили? Уже не помню. Но точно о нем, уже только о нем, страстно и горячо вели мы споры, как к нему подкатиться, чем его удивить, как заставить что-нибудь с нами сделать.

Прошло еще два дня, страшно скучные и бесплодные. Вайзер каждый раз ускользал от нашего бдительного ока, однажды исчез где-то рядом с костелом Воскресения, а в другой раз мы потеряли его из виду на вершине Буковой горки. Тогда мы решили подстеречь его у старой насыпи, так как если он действительно ходит с Элькой аж за Брентово, то должен изрядный кусок дороги проходить именно там. С утра мы сидели на кладбище, в том месте, где оно одним из своих углов упирается в старую железнодорожную линию.

Сегодня, когда я силюсь восстановить течение того дня, остается много белых пятен, однако с картографической точностью выплывает из тумана та железнодорожная линия, которой, собственно, и не было. Ее трасса изгибалась дугой в юго-западном направлении. Отходя на уровне станции Гданьск-Аэродром от главной артерии города, она пересекала опорами взорванных мостов улицы Грюнвальдскую, Вита Ствоша, Полянки, затем бежала вдоль леса мимо костела Воскресения, проходя через туннель в глубоком овраге, дальше, миновав брентовское кладбище, снова перепрыгивала по взорванным опорам виадука шоссе, ведущее в Рембехов, и меньше чем через полкилометра, на уровне дурдома, ныряла в еще более глубокий овраг сразу за тем местом, где Стрижа текла под насыпью в узком туннеле. Оттуда она убегала в незнакомые нам дали, мы только знали, что и там взорванные мосты сопровождают ее неизменно с непостижимым упорством. Трудно было понять, почему среди стольких взорванных мостов уцелели лишь те, которые сегодня совершенно бесполезны, как тот, например, что между костелом ксендза Дудака и брентовским кладбищем, фантастически высокий, связывающий берега откосов, заросших травой, дроком и дикой малиной.

Но тогда не это было самой важной проблемой. Мы поджидали Вайзера в пустом склепе, скрытом в зарослях крапивы и папоротника и служившем отличным тайником. Шимек не отрывал глаз от бинокля, а мы лежали на животе, жевали травинки и время от времени обменивались ленивыми замечаниями среди жужжания ос и шмелей. Жара потихоньку проникала и сюда, внутрь склепа, так что запах прелой гнили и холодного цемента все больше смешивался с удушливым ароматом цветов. Солнце поднималось все выше, и где-то около полудня Шимек, отложив бинокль, сказал, что мы лежим тут неизвестно зачем, потому что если Вайзер не появился до сих пор, то наверняка уже не придет. А может, он вообще пошел другой дорогой. Может, он обошел это место через каменоломню и гору, которую мы называли вулканом за ее куполообразную форму и вогнутую вершину? А может, он сидит сейчас в кустах дро-

ка на аэродроме и ждет с Элькой приземляющийся самолет? Все было возможно. Наверно, поэтому я подумал тогда, что через минуту мы услышим из-за бугра стук стальных колес, протяжный гудок, и в клубах пара с шипеньем и грохотом появится перед нами паровоз, который ведет Вайзер в железнодорожной фуражке. Он остановит машину, спрыгнет с крутых ступенек железной лесенки, помашет нам рукой, чтобы мы садились, и сейчас же поедет дальше. Поршни загремят в ускоренном ритме, пар зашипит в клапанах, и мы двинемся вперед, аж за Стрижу и за последний взорванный мост из красного кирпича, — туда, где появятся наконец настоящие рельсы и стрелки. Я верил тогда, что насыпь ведет к такому месту, и представлял себе, как мы едем с Вайзером, минуя заброшенные полустанки, ржавые семафоры и заросшие бурьяном будки стрелочников, и Вайзер, как капитан корабля, назначает меня дозорным, чтобы я следил за коварными и незаметными в буйной траве разъездами, от которых предательски ответвляются тупиковые пути. Все это я рассказывал вслух, не знаю сам почему, но никто не смеялся и не считал, что это глупо. В конце концов — что такое взорванные мосты и отсутствие рельсов по сравнению с возможностями Вайзера? Его локомотив мог бы с успехом завернуть сюда в клубах пара и умчать нас в неизвестность. Но Вайзер не приходил, и время тянулось ужасно медленно.

Не помню уже, кого мы послали за лимонадом в магазин Цирсона, а кого — принести булки или утащить чего-нибудь поесть из дому. Не могу также вспомнить, сколько было бутылок лимонада и изо всех ли уже вышел маленькими пузырьками газ. Моя придумка с Вайзером, или, точнее, с паровозом Вайзера, очень понравилась, меня заставили еще раз повторить все с начала, и каждый из слушателей добавлял что-то от себя, и так родилось повествование о необычном паровозе мертвой железнодорожной линии. Когда последние капли лимонада высыхали на липких зеленых бутылках, а крошки от булок на наших глазах растаскивали красные муравьи, мы придумывали дополнительные детали этой истории, прекрасные, как нам представлялось, и исключительно возвышенные. Так, паровоз с удивительным машинистом появлялся всегда при полной луне. С зажженными огнями, рассыпая снопы искр, он медленно двигался со стороны Вжеща, проскакивая взорванные мосты легко и свободно. На маленьком мостике возле костела Воскресения он на минуту останавливался, и тогда можно было увидеть, как из ризницы выбегает крадучись человечек в куцем фраке. Человечек подходил к сопящей машине и передавал машинисту кошелек со звонкими монетами. Паровоз трогался, попрощавшись с человечком коротким свистком, а тот убегал рысцой в темный еловый лес на другой стороне насыпи. За что уплачено машинисту? Все имеет свои причины — паровоз, въезжая теперь в глубокий овраг, сильно разгонялся, быстро проносился под сводом каменного моста и вот уже скрежетал, тормозя, у края кладбища, где мы теперь сидели, все это придумывая. Вайзер дергал рычаг и пронзительно свистел три раза. И вдруг при бледном свете луны открывались заросшие склепы, отодвигались потрескавшиеся плиты, и мертвецы, постукивая костями, вылезали из могил и роем спешили к паровозу. Когда уже все были готовы в путь, машинист впускал их на платформу и отправлялся дальше, пролетая следующие взорванные мосты и невидимые стрелки. Так бывало каждый месяц, в каждое полнолуние, независимо от времени года. Машинист возвращался под утро, усталые

путешественники расходились по склепам, а паровоз исчезал где-то в районе станции Аэродром, где старая насыпь подходила к настоящим рельсам. Некоторые жители отдаленных предместий видели все это и, трясясь от страха, рассказывали надежным людям. Находилось, конечно, несколько смельчаков, желавших проникнуть в тайну, но за любопытство надо дорого платить. Однажды брат причетника вскочил на платформу и вместе с мертвецами поехал к Стриже. И никому уже не рассказал о том, что видел, ибо. когда паровоз вернулся обратно и остановился возле кладбища, скелеты подхватили его под руки и забрали с собой в один из склепов. Оттуда слышно в безветренные ночи, как наполовину живой, наполовину мертвый брат причетника взывает: "Выпустите меня отсюда! Выпустите меня!" — но неизвестно, где спрятали его мертвецы, да и крик такой страшный, что никто не отважился бы искать похищенного.

Может быть, не все детали этой истории я повторяю в точности, но сейчас, так же, как в школьной канцелярии, когда мы ожидали результатов наших письменных показаний, я думаю, что это, в общем-то, повесть не хуже той, которую читала нам пани Регина на уроке польского. В конце концов, там тоже все происходит ночью, и мертвец встает из могилы и обращается к живым. И хотя мы не слишком боялись кладбища и был полдень, но когда все уже было придумано и рассказано хором перебивающих друг друга голосов, когда вся эта история прозвучала в тишине заброшенного склепа, нам стало не по себе. Как будто в самом деле то, что было рассказано, могло стать реальностью, вопреки здравому смыслу и мудрым рассуждениям.

Но Вайзер все не появлялся в поле нашего зрения. В ложбине напротив кладбища, по другую сторону насыпи брентовский крестьянин косил траву. Распряженная лошадь щипала клевер, а ее хозяин время от времени прерывал свое занятие, распрямлял плечи, доставал из кармана оселок и точил косу. Металлический звон лениво расплывался в разогретом воздухе, а нас становилось все меньше, так как многие усомнились, стоит ли ждать, и каждую минуту кто-нибудь отправлялся домой по дороге через Буковую горку, покидая склеп и надежду.

— Взыскуйте и обрящете, — поучительно сказал Шимек, подражая голосу ксендза Дудака.

— Как это, — удивился Петр, — разве Господь Бог занимается такими делами?

— Какими делами? — спросил я.

— Ну, разве он сделает так, чтобы Вайзер появился здесь, даже если мы очень попросим, — пояснил Петр, но Шимек быстро развеял его сомнения:

— Думаешь, у Господа Бога нет более важных занятий? И вообще, чего тут думать, Вайзер — еврей, и это совсем другая песня!

— Иисус Христос тоже был евреем, — не сдавался Петр, — а так как он был сыном Господа Бога, значит Господь Бог тоже еврей, правильно? Если твой отец поляк, — повернулся он к Шимеку, — то и ты родился поляком, а если бы он был немцем, и ты родился бы немцем, верно?

— Если бы да кабы во рту росли грибы, — буркнул Шимек неохотно и больше не говорил на эту тему.

Где-то далеко за холмами Медвежатника загудел самолет. Мы, уже оставшись втроем, долго молчали, никому не хотелось без толку молоть языком. Я так же, как они, думал, что Вайзер сегодня не придет, и в об-

щем-то можно идти домой, и если поспешим, то мы еще успеем сдать бутылки из-под лимонада до закрытия магазина Цирсона. Солнце стояло уже низко, и длинные тени сосен пересекали насыпь, как балки, переброшенные через ручей. Освещенные стволы выглядели неестественно красными, как на картине ярмарочного художника. За насыпью мужик закончил сгребать скошенную траву в маленькие копенки, после чего запряг лошадь и поехал в сторону построек. Мы почувствовали запах сена, смешанный с запахом конского пота, воздух застыл в неподвижности, незыблемой с тех пор, как "рыбный суп" заполнил залив. "А может, придем сюда ночью?" — прервал молчание Петр. "Это еще зачем?" — спросил Шимек. И тогда Петр сказал, что стоило бы проверить, действительно ли в двенадцать ночи мертвецы встают из могил или, по меньшей мере, разговаривают между собой. Люди так говорят, и неизвестно, сколько в этом правды. Может, говорят, потому что знают, а может, потому что попросту боятся и сами никогда не проверяли. Так мы могли бы проверить. "Ну хорошо, — согласился Шимек. — Но кто пойдет? На кладбище ночью нужно идти одному, покойники чуют, когда ты не один, совсем как звери, — говорил он, — и тогда все впустую". Решили тянуть жребий: пойдем мы, конечно, втроем, но перед кладбищем тот, на кого выпадет, перекрестится и дальше пойдет один. И будет не меньше пятнадцати минут ждать в самом центре кладбища возле каменных ангелов с обломанными крыльями. Но жребий не бросили.

— Смотрите, — зашептал Шимек, выползая из склепа, — идут, вон там!

Действительно, по насыпи шел Вайзер, а на полшага сзади с каким-то свертком в руках топала Элька, подпрыгивая, как маленькая девочка. Мы быстро вышли из склепа, прячась за густыми кустами боярышника, который рос не больше чем в пяти метрах от насыпи. Они прошли мимо нас и свернули на проселочную дорогу, направляясь к стрельбищу. Когда они исчезли в устье глинистого оврага, мы двинулись за ними. Это был тот самый овраг, в котором мы потом встретили М-ского с сачком для бабочек, когда он ловил своего аполлона. Мы были как псы, спущенные после долгого ожидания с поводка, псы, учуявшие зверя и рвущиеся вперед, чтобы не потерять след. Там, где кончается овраг, дорога слегка поднимается вверх. Мы притаились у этого подъема, наблюдая, как Вайзер с Элькой взбираются теперь краем морены на плато. Мы подкрадывались к ним с соблюдением всех правил военного искусства, и это была непростая задача — они ведь находились выше нас. Лежа за разросшимися кустами дрока, мы следили за каждым их шагом и жестом. Но они держались необычайно спокойно. Усевшись в наивысшей точке плато лицом к морю, они разговаривали о чем-то, похоже, серьезном, судя по выражению Элькиного лица. Тогда мы думали, что Элька с Вайзером ждут какого-то знака, чего-то важного, что вырвет их и нас из ленивого оцепенения, но сегодня я знаю, что они просто ждали захода солнца. Ибо то, что случилось чуть позже, могло произойти только после заката. Оранжевый шар исчез наконец за лесом, по небу разлилось краснеющее зарево, на фоне которого мелькали с головокружительной скоростью черные точечки насекомых, и тогда Вайзер встал, подал Эльке руку, и они пошли дальше, к стрельбищу. Мы крались за ними, как духи, — быстро и бесшумно. Шли старой посадкой, дальше вдоль ложбины за стрельбищем, откуда по узкой тропке взобрались в гору среди мрачных буков и орешника, потом путь наш пересекло рембеховское шоссе, и дальше, уже без перерыва, дорога вела нас лесом в

неизвестном направлении, удаляясь от построек Брентова. В разогретом воздухе слышался запах смолы и сухой коры, который не развеивал никакой, даже самый слабый порыв ветра. В темную безлунную ночь, когда только звезды смотрели на нас молча, здание бездействующего кирпичного завода, неожиданно выросшего перед нами, показалось огромным — с высоченной башней трубы, черными провалами окон и покатой крышей, страшные обнаженные стропила которой напоминали ребра громадного зверя.

Мы робко стояли на краю леса, и только гулкий голос Вайзера вернул нас к действительности. Он говорил что-то Эльке, и она отвечала ему отрывисто. Слова доносились откуда-то из глубины, усиленные эхом, гулявшим в пустых стенах. Было ясно, что они где-то внизу, похоже, в подвале. На цыпочках мы прошли мимо чугунных вагонеток и устья печи для обжига кирпича. В той части цеха, откуда слышались голоса, пол был деревянным и вдобавок трухлявым. Взяв ботинки в руки, мы, стараясь ступать как можно тише, подошли к открытому люку, откуда вниз спускалась лестница. Вдруг под нами сверкнул огонек спички, а потом свечи, которую Элька поставила у стены. Мы прильнули к доскам, щели, к счастью, были настолько широки, что мы видели все как на ладони. Элька уселась по-турецки у стены рядом со свечой. Посреди подвала тоже на полу сидел Вайзер, как-то съежившись, будто молился. Они молчали, а я глотал слюну и чувствовал, что сейчас случится что-то страшное. Я слышал, как кровь Ниагарой шумела в каждой моей жилке.

Элька развернула сверток. В мерцающем свете свечи я увидел у нее в руках странный музыкальный инструмент — вроде как несколько соединенных между собой свистулек разной длины, — который она приложила к губам, ожидая знака Вайзера. Наконец, когда он поднял голову, мы услышали первые звуки, странно далекие, как будто кто-то играл на вершине горы медленную и полную тоски мелодию. Тембр инструмента был мягкий и ровный. Вайзер встал. Поднял руки, с минуту постоял в такой позе. Мелодия становилась все живее, фразы то и дело обрывались, возвращаясь, однако, к главной теме. А Вайзер, тот самый Вайзер, которого мы увидели в праздник Тела Господня в облаке кадильного дыма, тот самый Вайзер с аэродрома и из зоопарка в Оливе, Вайзер, который выиграл матч с армейскими, танцевал теперь при свече под звуки мелодии, лившейся из смешных дудок. Танцевал в подвале разрушенного завода, поднимая тучи пыли, выбрасывая руки вверх и в стороны, то туда, то сюда наклоняя голову. Танцевал все быстрее и резче, словно мелодия, ускоряющаяся с каждым тактом до невероятности, держала его в своей власти. Танцевал, будто им овладели демоны выкрутасов и скачков, танцевал с полузакрытыми глазами, будто изрядно выпивший свадебный гость, танцевал, как одержимый, как безумный, не знающий меры и предела усталости, он танцевал, а наши зрачки расширялись все больше и больше, потому что мы увидели вдруг кого-то совершенно незнакомого. Это был уже не Вайзер, наш школьный приятель из одиннадцатой квартиры на втором этаже, внук Авраама Вайзера, портного. Это был кто-то пугающе-незнакомый, тревожаще-чужой, кто-то, лишь по случайному стечению обстоятельств принявший человеческий облик, который явно ограничивал его движения, стремящиеся к освобождению от невидимых пут тела.

Неожиданно музыка стихла. Было это еще страшнее, чем если бы, заглушая звук пищалок, вдруг загудел орган или охотничий рог. Вайзер

упал на пол. Красноватое облако взметнулось вокруг него, и при свете свечи я увидел вращающиеся полосы пыли того же цвета. Не успел я подумать, что это тишина звучит так ужасно и зловеще, как Вайзер открыл рот, будто хотел перевести дыхание, и мы услышали низкий голос мужчины, произносящий на непонятном языке какие-то обрывки фраз. Казалось, чья-то рука касается моей спины — так мне показалось, конечно, от страха, потому что голос, совершенно чужой и суровый, исходил из горла Вайзера, будто он говорил, сам не зная о том. Глаза у него были закрыты. Его стиснутые кулаки сжимались и разжимались при каждом слове. Он был похож на измученного человека, который проталкивает звуки через опухшее горло с неимоверными усилиями и против воли. Только когда он умолк — а вид у него теперь был как у мертвеца, — я посмотрел на Эльку. Она неподвижно сидела у стены и была уже не Элька, а деревянная кукла. Ее глаза, вперенные в Вайзера, напоминали стеклянные бусинки марионеток из детского театра. Мы не пошевелились и даже не вздрогнули, когда Вайзер наконец поднялся на колени и переставил свечу ближе к центру подвала. И тогда это произошло. Вайзер поднялся на ноги, растопырил руки как для полета и стоял так, глядя в пламя свечи, очень долго. Не знаю, в какой момент, но некоторое время спустя я заметил, что его ноги уже не касаются глиняного пола. Сначала я воспринял это как мираж, но стопы Вайзера все явственнее поднимались над полом. Да, все тело его висело теперь в воздухе сначала в тридцати, может быть, сорока сантиметрах от земли и медленно поднималось еще выше, покачиваемое невидимой рукой. "Господи Иисусе, — услышал я шепот Шимека, — Господи Иисусе, что он делает?" Вайзер парил в воздухе над грязным полом, и его тело уже не было напряжено. Пальцы Петра стиснули мое плечо.

Итак, что же это было на самом деле? Могло ли то, что мы видели в подвале кирпичного завода, быть только миражом? Могло ли нам только казаться, что Вайзер поднимается над полом, или он действительно левитировал при свете мерцающей свечи? Через двадцать три года тот же вопрос я задавал Шимеку, когда мы сидели друг против друга в его солнечной квартире, в совершенно другом городе и — что необходимо подчеркнуть — совершенно иной эпохе. Под нашими окнами шла демонстрация. На транспарантах виднелись новые или почти новые лозунги. "Требуем регистрации" — прочитал я на одном из них. "Пресса лжет" — значилось на другом. "Да здравствует Гданьск"[1] — заметил я также где-то в толпе, рядом с большим портретом Папы, который несла молодая девушка. Шимек, понятное дело, уже не был тем Шимеком с французским биноклем из-под Вердена, но все же я не ожидал такой уж перемены, большей, чем расстояние в двадцать три года и разделяющие наши города километры. Он интересовался текущими событиями и настойчиво выпытывал у меня подробности о Гданьске. Я долго объяснял ему, как это все выглядело у нас, и еще дольше мне пришлось рассказывать, как выглядели в те дни ворота верфи и деревянный крест, к которому люди прикрепляли изображения Черной Мадонны и приносили цветы.

— На этот раз не стреляли, — как ребенок радовался он, — но что будет дальше?

Я не знал, что будет дальше, никто, в конце концов, не мог этого

1. Речь идет о событиях августа-сентября 1980 г., когда по стране прокатилось мощное забастовочное движение, приведшее к переговорам между властями и независимым профсоюзом "Солидарность"; основные события разворачивались в Гданьске.

предвидеть — от Татр до пляжа в Елиткове, — и только злился, что мои вопросы о Вайзере остаются без ответа, как и проблемы большой политики, над которыми ломали себе головы корреспонденты всех газет мира.

— В конце концов, разве теперь это так уж важно, — говорил Шимек, — после стольких лет и именно сейчас, когда такое творится?

Я не мог его убедить, что, конечно, для меня это самое важное.

— Так как же все-таки было на самом деле, — не сдавался я, — Вайзер левитировал или мы поддались массовому психозу?

Шимек открывал бутылки пива, которое на юге вкуснее, и с сомнением качал головой. Говорил он, как всегда, спокойно.

— Если ты читаешь в книге, что ее автору явился Бог в образе огненного столпа и в шуме крыльев, то ведь ты не знаешь, было так на самом деле или автору это только казалось. Разумеется, — добавил он, поднося к губам стакан, — мы должны исключить вариант явной мистификации.

— А там, в подвале, — спрашивал я, — там Вайзер поднимался в воздух или только казалось, что поднимается?

Шимек закурил сигарету.

— Не знаю, — произнес он через минуту. — Может, он действительно левитировал, а может, мы только поддались массовому психозу, это, в конце концов, случается чаще, чем порхание над землей, ты не считаешь?

И так было на протяжении всего визита к нему, единственного, впрочем, за все те годы. У Шимека не было определенного мнения насчет Вайзера, и все вопросы, поставленные мной, он решал одинаково: "Могло быть так, а могло быть и иначе", — отвечал он каждый раз. Столько лет прошло, а наша память ведь так ненадежна. А когда он узнал, что три года назад я был в Мюнхене у Эльки, то спросил, какая у нее машина и как у нее дела. Нет-нет, он не догадался, зачем я к ней ездил, и не интересовался, сказала ли мне Элька что-нибудь насчет Вайзера. Шимек одно помнил очень хорошо — инструмент, на котором она аккомпанировала Вайзеру, когда он танцевал в подвале старого завода. "Флейта Пана — это действительно необычный звук, удивительная музыка, — сказал он мне оживленно, — откуда у нее взялся этот инструмент?"

Я, конечно, знал откуда, поскольку исследовал дело очень подробно в тот самый год, когда просматривал школьные бумаги Вайзера, и разговаривал даже с нашей неутомимой учительницей музыки. Она подтвердила, что из коллекции народных инструментов пропала в тот год флейта Пана, и она так не смогла себе объяснить, как это случилось — почему из школьной витрины, гордости ее кабинета, где рядом с ксилофоном можно было увидеть укулеле, балалайку, скандинавскую скрипку и кучу других экспонатов, пропала именно флейта Пана. "Кому это понадобилось? — пожимала она плечами, уже чуть сгорбленными от постоянного дирижирования на репетициях хора. — Кто на ней сумел бы сыграть?" Но обо всем этом я не говорил Шимеку. А когда мы допивали последнюю бутылку пива и через открытое окно доносился уже обычный уличный шум и пение птиц и когда жена Шимека внесла огромное, как поднос, блюдо тартинок, я спросил наконец, что он думает о том дне над Стрижей, когда Вайзер последний раз разговаривал с нами, и почему Элька обнаружилась через несколько дней, а Вайзер — нет. И что, собственно, могла означать ее амнезия, которая давала о себе знать всякий раз, когда речь заходила о Вайзере? Шимек, прежде чем ответить,

заменил стаканы, поскольку вместо пива на столе появилось домашнее вино.

Да, он тоже задумывался над этим уже много лет спустя, никому в этом не признаваясь. Все указывало на то, что у Вайзера были какие-то скрытые гипнотические способности, о которых мы можем иметь лишь туманное представление. Подтверждение тому — его номер с пантерой; он безусловно мог это использовать и по отношению к людям. Зачем ему нужна была Элька? Это ясно: он использовал ее для экспериментов, поскольку сам тогда только начинал открывать свои не до конца осознанные возможности. Там, в заводском подвале, он проводил над ней разные опыты, и даже мы подчинились необычайной силе внушения. Так что, скорее всего, он не левитировал. Делал вид, что левитирует, а Эльку и нас заставил поверить, что поднимается в воздух. Психологии известны такие случаи, и она объясняет их довольно простыми механизмами внушения. Взрывы? Да, это трудно объяснить, впрочем, у Вайзера, который рос практически один под присмотром чудаковатого старика, могли быть и другие странности, похуже — например, мания преследования. Вайзер был пироман, тут нет сомнений. Визуальные эффекты? Прочел пару книжек — вот тебе и весь секрет его познаний. Зачем они ложились с Элькой вблизи посадочной полосы аэродрома? Он так ее тренировал, чтобы она ничего не боялась: тот, кто хоть раз полежит под брюхом приземляющегося самолета, не будет испытывать страха перед гипнозом и погружением в состояние транса. Над Стрижей в последний день каникул Эльку просто унесла вода, что, должно быть, ускользнуло от нашего внимания. Когда Вайзер понял, что случилось, он спрятался где-то поблизости и ждал, пока мы уйдем, а потом начал поиски самостоятельно. Только он переоценил свои возможности и, когда искал ее тело в ближайшем пруде, через который протекает Стрижа, просто-напросто утонул, а его труп вода унесла в подземный канал, в котором река течет дальше под городской застройкой. Другого варианта нет. Но Элька чудом не утонула, течение прибило ее к прибрежным камышам, и она пролежала там в полусознательном состоянии, пока ее не нашли милиционеры с собаками. Вайзер заплатил за свою опрометчивость. Ведь он не умел плавать, никогда не купался с нами в Елиткове. Каким образом Элька выжила, три дня пролежав в камышах? Это поистине загадка, но скорее из области биологии. В общем, это вполне правдоподобно, такие случаи неоднократно описывались. Да, если бы не опека этого чудаковатого портного, скорее полное отсутствие опеки с его стороны, Вайзер был бы сегодня кем-то вроде артиста эстрады, может, даже выступал бы в цирке, где его талант был бы награжден овациями и признанием. Так или иначе, он в каком-то смысле — жертва войны, сиротство, должно быть, спровоцировало серьезные изменения в его психике. Думал ли он когда-нибудь о своих родителях? Без сомнения, но что он мог думать? Кто знает, что рассказывал ему старый Вайзер. Он был похож на угрюмого чудака, который взглядом обвиняет всех людей только за то, что они живы. Такой взгляд не сулит ничего хорошего. Давид явно зациклился на всем немецком, и тот арсенал, который он нашел, а потом спрятал в развалинах завода, — лучшее тому доказательство. Он жаждал убивать немцев, и все, что он проделывал с оружием, было, по-видимому, только подготовкой. В конце концов, в кого или, скорее, во что он целился, когда мы — уже потом — приходили на кирпичный завод? Макеты не оставляют ни малейших сомнений. Буйная

фантазия, небывалая смекалка, детская наивность в сочетании с гипнотическими способностями, которых он, впрочем, должен был опасаться больше, чем Элька, — из всего этого складывалась личность Вайзера.

На третьем стаканчике вина Шимек прервал свой монолог. Мне хотелось выспросить у него кое-какие подробности. Например, откуда у него такая уверенность, что Вайзер не умел плавать? Может, тут было то же, что с игрой в футбол? И откуда уверенность, что Эльку унесла вода и что это ускользнуло от нашего внимания? Ведь оба они исчезли одновременно, и то, что утверждал Шимек, не складывалось в целое. Кроме того, тело Вайзера, даже если бы он и вправду утонул, не могло попасть в подземный канал, поскольку вход в него в конце пруда был забран железной решеткой... Но Шимек с женой выспрашивали у меня гданьские новости. Памятник, который должны были поставить у ворот верфи, в том самом месте, где упали сраженные пулями люди, — этот памятник интересовал их больше всего. Они спрашивали, будет ли на нем имя Петра. Я не мог ответить; после того, что пережили его родители, после ночных похорон с бригадой вооруженных могильщиков, когда тело Петра в пластиковом мешке бросили в земляную яму, — после всего этого я сомневался, что огромный, замечательный монумент хоть как-то вознаградит их за ту зиму. "Да не о том ведь речь", — нетерпеливо перебил меня Шимек. "Да, конечно не о том", — ответил я машинально и вспомнил, что Петр, по свидетельству его матери, не в силах вынести вида вертолетов, в тот день круживших над городом, пошел пешком в Гданьск (трамваи уже не ходили), чтобы посмотреть, что там происходит. "Его убили с этого вертолета", — упорно твердила мать; а когда очевидцы рассказывали ей, что Петр оказался случайно между толпой и отрядом солдат и пуля попала ему прямо в голову, слева, навылет, она махала рукой и говорила, что это неправда, что наверняка стреляли с вертолета, и злилась, когда упоминали о солдатах. Для нее это были переодетые милиционеры. Итак, я говорил о памятнике, а Шимек и его жена внимательно меня слушали.

А Вайзер? Вайзер улетучился из нашей беседы, будто его никогда и не было, и когда я уже сидел в вагоне, равномерно покачивающемся на шпалах и стрелках, мне казалось, что я еду по несуществующей железнодорожной линии через десять взорванных мостов и минуя брентовское кладбище с маленьким кирпичным костелом, скрытым в тиши деревьев, а паровоз ведет Вайзер в путейской фуражке, окутанный облаком кадильного дыма, пахнущего как вечность.

Тем временем в кабинет директора вызвали сторожа. "Так не может продолжаться, — услышал я голос М-ского, — нельзя допускать, чтобы эти сопляки водили нас за нос! Я говорил вам, товарищ директор, здесь нужны были сразу жесткие меры, о, я их знаю, без этого никуда! А вы, — повернулся он к сторожу, — должны посидеть тут с нами, это еще немного продлится!" Сторож проворчал что-то под нос — что именно, из канцелярии было трудно расслышать, но тогда я бы голову дал на отсечение, что это была его знаменитая присказка: "Ну надо так надо" — и, выйдя из кабинета, вызвал Петра. Что-то не сходится в наших показаниях, и наверно М-ский поэтому так злится, подумал я. Ну да, конечно, дело в том платье, точнее в лоскуте от платья, красного платья Эльки, о котором Шимек ради их же святого покоя написал, что мы сожгли его после последнего взрыва. Да, они не обнаружили этого ни в моем признании, ни у Петра, а значит, будут спрашивать, как было с этим платьем. Кто

его нашел, где, когда мы сожгли лоскут материи, который остался от нашей подружки. Мы совершили ошибку, надо было сговориться насчет подробностей, когда сторожа не было в канцелярии, и теперь каждый рассказывал бы одно и то же, и они закончили бы следствие в уверенности, что было как мы придумали. Но сторож удобно развалился на своем стуле и не думал оставлять нас одних ни на минуту. По радио уже давно закончили передавать речь Владислава Гомулки, награжденную бурными аплодисментами, переходящими в овацию. Теперь из приемника доносились звуки опереточной музыки, невыносимо тонкий голос певицы тянул ох лю-ууу-блю-ууу те-еее-бя-ааа, мне покоя не давала деревенеющая нога и боль в левой ступне. Этой болью я был обязан — и в определенном смысле обязан до сих пор — Вайзеру. Всегда, когда собирается дождь, я смотрю на маленький шрам пониже щиколотки и знаю, что в сырую погоду буду прихрамывать. Но не предваряя событий, я возвращаюсь к заброшенному кирпичному заводу, поскольку не все еще выяснено.

— Господи Иисусе, — шепотом сказал Шимек, — что он делает?

Петр стиснул пальцами мое плечо, и через минуту мы услышали ужасный треск ломающихся досок. Вместе с полом и деревянными подпорками мы с громом и грохотом полетели вниз, прямо на Вайзера и Эльку. Свеча погасла, я слышал только, что они где-то между нами, очень близко, но не говорят ничего и ждут, пока мы отзовемся первыми. Наконец Петр, который раньше нас выбрался из груды досок, сказал робко:

— Элька, не сердись, мы просто так, — и слова застряли у него в горле, так как между досками что-то зашевелилось.

— Есть у вас какой-нибудь огонь? — голос Вайзера не выражал ни гнева, ни раздражения. — Если есть, посветите!

Шимек достал из кармана бензиновую зажигалку, украденную у старшего брата еще в начале каникул, и тусклый огонек высветлил внутренность подвала. Деревянные ступени были в середине сломаны, и, чтобы выбраться отсюда, потребовалось приставить к стене наскоро сколоченную стремянку. Работой командовал Вайзер, и когда мы были уже наверху, он посмотрел на нас и спросил:

— Умеете держать язык за зубами?

Вместо ответа мы дружно кивнули.

— Ну хорошо, — сказал он, выждав с минуту, — тогда приходите сюда завтра в шесть, но только втроем, ясно?

Вот так неожиданным образом добились мы своей цели — Вайзер назначил нам встречу. Но удивительно: когда мы возвращались той же дорогой через Брентово, ни одному из нас не хотелось говорить о том, что мы видели в подвале. Сегодня я понимаю, что нам было просто страшно. Не важны уже были кадильное облако, "рыбный суп", приземляющийся самолет, черная пантера, выигранный матч, не важна моя прогулка с Вайзером, во время которой впервые в жизни я услышал о некоем Шопенгауэре и увидел, где стоял немецкий броневик перед зданием Польской почты. Не важно было все то, чего мы тогда еще не соединяли в одну цепь, ведущую к Вайзеру, — достаточно, что мы увидели его над полом подвала, и вдруг оказалось, что Вайзер, сначала всеми высмеиваемый Давидек, потом странноватый заклинатель животных и гениальный футболист, вроде бы хорошо знакомый, уже не был, однако, тем самым Вайзером. Я затрудняюсь передать то чувство, которое

овладело тогда нашими душами. Нет, то не был, как я написал минуту назад, просто страх. Все же нет. Временами, когда я выпью лишнего или погружаюсь в недобрую мглу, меня мучает странный сон. Я в кухне в квартире моей матери. Стою у окна, а за спиной Петр ставит на плиту закопченный чайник. Вдруг я оборачиваюсь к плите и вижу, что за мной стоит кто-то совершенно чужой, а вовсе не Петр. Я подхожу к нему, требуя объяснений, а незнакомый мужчина ничего не говорит, только улыбается снисходительно. Хуже всего, что в его улыбке я узнаю что-то знакомое — вздернутую верхнюю губу Петра — и не могу себе этого объяснить. Так вот, тогда мы чувствовали нечто подобное. Вайзер стал для нас кем-то еще более чужим, чем в прежние школьные годы и в дни каникул, после того, как мы весьма своеобразным способом познакомились с ним в день Тела Господня, а точнее, в день выдачи аттестатов по Закону Божьему. Будучи Вайзером, он одновременно не был им. Но кем он становился, когда наступала та минута, в которую он переставал быть собою? А может, вообще не было такой особой минуты, может, он все время только притворялся обыкновенным мальчишкой? И откуда мы могли все это знать, если даже сегодня я не могу толком в этом разобраться.

Мы шли в полном молчании, страшась, что он вдруг вырастет перед нами в свете звезд, на фоне черной стены леса, вырастет так же, как в старом подвале, в метре или больше от земли, и этот страх затыкал нам рты и отбивал всякую охоту разговаривать. С края морены мы спустились в овраг. Было тут еще темнее, чем на открытом пространстве. На фоне черной башни брентовского костела, который виднелся уже на вылете оврага, замаячили золотые точечки.

— Господи Иисусе! — второй раз воскликнул Шимек. — Звезды падают!

Но то не были звезды. Туча светлячков повисла над нами, как дождь из золотых капель, и было так тихо, что мы слышали собственное дыхание.

— Я думал, — добавил Шимек, — что они светятся только в июне.

И действительно, было в этом что-то странное. Никогда — ни прежде, ни потом — я не видел в наших краях такой массы светлячков в июльскую ночь.

— Это души мертвых, — шепнул совершенно серьезно Петр, — потому и светятся.

— Души мертвых в летающих жучках?! — возмутился Шимек. — Кто тебе об этом сказал?

Однако Петр не спешил с ответом. Только на железнодорожной насыпи вблизи костела он объяснил примерно так: неприкаянные души, когда им удается войти в тело насекомого, начинают светиться. Но жучки долго не выдерживают и умирают, поэтому светлячков можно видеть только короткое время, в начале лета.

— Эти души, — сказал Петр, — должно быть, принадлежат великим грешникам и светятся дольше обычного.

Шимек был возмущен, словно речь шла о его бинокле или о футбольных правилах.

— Глупый ты, — возразил он громко, — душу нельзя увидеть, потому что она невидима! Что говорил ксендз Дудак на религии? Ну что?

— Что душа бессмертна, — защищался Петр, — но он совсем не говорил, что ее невозможно увидеть!

— А вот и нет, он говорил: бессмертная и невидимая, и то и другое одинаково важно, да? — С этим вопросом Шимек неожиданно обратился ко мне, призывая меня в свидетели. Я не очень-то знал, что ответить, так же, как и сегодня не знаю, можно ли увидеть душу. Если можно, то, наверно, когда человек умирает, — но в какой форме? Главное, надо ее увидеть, когда она покидает мертвое тело, которое через день или два положат в могилу. Может, она предстанет глазам в образе облачка пара, а может быть, мягкого света, который поднимется вверх, не рассеявшись по дороге. Не знаю. И тогда тоже не знал. Хуже всего, что я должен был рассудить спор, будто я был теолог или Папа Римский.

— Ксендз Дудак тоже этого не знает, — сказал я, — а говорит так, потому что...

— Почему? Ну-ну, почему он так говорит? — прерывали они меня нетерпеливо.

— Он так говорит, — объяснял я дальше, — потому что так его научили в семинарии и так велит говорить епископ, а ксендз во всем обязан слушать епископа, у них как в армии.

— Как это? — разозлились оба. — Как это ксендз может не знать?

— Этого никто не знает, — утверждал я уверенно, — только когда умрешь, сможешь это проверить.

Мы смотрели на кладбище по правую руку от нас. Обломки статуй и разбитые надгробия выглядели сейчас как склоненные в молитве люди.

— Это ужасно, — вздохнул Шимек. — Умереть, чтобы в чем-то наверняка убедиться, а?

Мы кивнули с пониманием.

В этот самый момент чья-то рука раскачала брентовские колокола, и по лесу в ночи как бьющий тревогу набат разнесся мощный глас.

— Господи Иисусе! — сказал, вернее закричал в третий раз Шимек. — Там на кладбище кто-то есть!

Нет, я не напишу сейчас, что сердца у нас сжались от ужаса, или что душа ушла в пятки, или еще лучше — сердце подскочило к горлу. Не напишу, потому что такие слова хороши в книгах, такие слова и такие сцены наилучшим образом подходят для нравоучительного романа. В первый момент я подумал, что это Вайзер забавы ради проверяет, не рванем ли мы случайно через Буковую горку домой. Сократив путь, он мог оказаться здесь минут на пятнадцать раньше нас. Однако мне сразу же пришла в голову другая мысль, более трезвая: это не в стиле Вайзера, этот ночной сполох колоколов, просачивающийся между соснами, гудящий под искрящимся куполом неба, безобразно громкий и раздирающий тишину горячего воздуха. И действительно, это не был замысел Вайзера, и не его рука дергала все три каната между трухлявыми балками колокольни. Это был Желтокрылый. Как только мы, притаившись за кустами орешника, узнали его, прозвучало предложение вернуться домой.

— Однажды нам уже из-за него досталось, — припомнил Шимек. — Сейчас сюда примчится кто-нибудь из приходского дома и наткнется на нас.

Я не был в этом так уж уверен:

— Среди ночи? Сейчас?

Но Петр указал рукой на дом, примыкающий к костелу:

— Гляньте-ка!

В самом деле, между ветками вдали блеснул свет, сначала в одном, а потом и в другом окне. Тем временем Желтокрылый подскакивал, раскачивался из стороны в сторону, приседал на корточки, и все это в рит-

ме все более громких ударов колоколов. Он был похож на привязанный к веревкам манекен, немного смешной, немного страшный. На нем уже не было больничного халата, и его костюм состоял из украденных, наверно, где-то тиковых штанов и такой же куртки. Мы не могли оторвать от него глаз: каждый раз, потянув за веревки, он что-то говорил, но слова пропадали в металлическом трехголосии. Может, именно из-за этого звона мы не сдвинулись ни на шаг с места, даже когда увидели двух подбегающих мужчин — причетника и ксендза здешнего костела, который ничем не напоминал нашего ксендза Дудака. Может быть, это и нужно было Желтокрылому — выманить их из дому и обратить на себя внимание; он подождал, пока те подбегут поближе, после чего отпустил веревки и, нырнув в ближайшие заросли, побежал в сторону Брентова.

— Отец, — громко сопя, проговорил причетник, — возвращайтесь в приход и звоните в милицию, а я побегу за ним!

Мужчины разделились — причетник, сопя еще громче, двинулся за беглецом, ксендз затрусил обратно. Теперь, ясное дело, мы не могли отступить. Нужно было дождаться конца этой истории, и хотя на Желтокрылого нам было, собственно, наплевать, очень хотелось узнать, чем кончится облава.

Мы двинулись вслед за причетником едва видной тропкой, которая терялась в разросшейся крапиве и папоротнике. У Желтокрылого было метров тридцать форы, и он лучше ориентировался на местности. Он скакал от дерева к дереву, прятался между склепами, а когда нам казалось, что он исчез в одном из них, выскакивал вдруг как из-под земли и мчался вперед. Он явно играл с причетником. Наконец он достиг края кладбища, стал на треснувшую плиту и закричал в сторону преследователя: "Эээээээээээ — ээээээээээ — эге — ээээээээээ!!!" Причетник прибавил шагу. Но Желтокрылый был уже далеко. Он бежал в сторону первых строений Брентова, где разбуженные люди высовывались из открытых окон, высматривая причину ночной суматохи. "Люди! Людиииии! — кричал причетник. — Хватайте его, хватайте психа, держите его!" И все больше окон освещалось, словно вспыхнул пожар или началась война.

Желтокрылый добежал до первого дома и по громоотводу вскарабкался на крутую крышу. Теперь он стоял на остром коньке, широко раскинув руки, точно приветствуя народ, который начал собираться перед домом. Мужчины, в пижамах, в стоптанных тапочках, а то и босиком, некоторые в куцых кальсонах, показывали на него пальцами.

— Люди! — причетник наконец добежал до толпы. — Это он, тот самый, что пугает на кладбище ваших жен и детей, он удрал из психушки и не дает вам покоя, нужно его поймать, сейчас приедет милиция, возьмите лестницу и схватите его, только быстро, а то он снова убежит, ловите его, чего вы ждете?!?

Мужчины, однако, не слишком рвались ловить сумасшедшего, к тому же на крыше. Стояли в нерешительности, переступая с ноги на ногу, поглядывая один на другого. Несколько женщин подобрались поближе. Гомон — разговоры, шепот, отрывочный смех — все усиливался, когда Желтокрылый вдруг подал голос.

Собственно, то был не голос, а звук, звук музыкальный, потому что все, что теперь звучало, было мелодией, распевом, который нарастал, взрывался и стихал в промежутках между отдельными фразами.

— Горе вам, жители края приморского! Горе вам! Слово Господне вошло в мое ухо и глаголет устами моими! Близок великий день Госпо-

день, близок и очень скор глас дня Господня, тогда и владыка горько стенать будет! — Произнося это, Желтокрылый поднимался на цыпочки и простирал руки вверх, а его длинные спутанные волосы похожи были на бороду Моисея — эту бороду я хорошо помнил по картинке, которую ксендз Дудак на уроке Закона Божьего показывал нам, рассказывая про переход через Красное море.

"Упадет — не упадет — пожалуй что свалится", — шептались внизу, но последующие сентенции Желтокрылого заткнули рты зевакам.

— И тогда нашлет Он страх на людей, и ходить они будут подобно слепцам!!! — Его рука показывала теперь на головы столпившихся внизу. — И кровь их будет разбрызгана как прах, и внутренности их разбросаны как грязь!!! И ни серебро, ни золото не спасет вас в день гнева Божия, ибо огонь гнева Его поглотит всю землю!!! Воистину страшный конец и гибель уготовит Он всем обитателям земли!!!

Это последнее "земли!!!" звучало особенно долго и пронзительно. Я увидел, что некоторые из женщин испуганно крестятся, а мужчины стоят, задрав головы, словно увидели в небе комету.

— Я наслал также сушь на почву и на горы — на все, что земля родит, на все труды рук людских, — голос становился все мощнее и звучал громче, чем все три брентовские колокола вместе. — Горе вам, обитатели края приморского! Вот уж небо удержало свои росы над вами, и земля отказывается давать свой урожай вам!

Причетник беспомощно разводил руками наподобие Понтия Пилата, но наконец, побелев от ярости, закричал как оглашенный, едва отзвучала надрывная мелодия очередной фразы:

— Люди! Христиане! Не слушайте его! Это живой антихрист, еретик, безумец, сумасшедший, говорю вам — смертный грех слушать такие речи! Лучше схватите его, ну, вперед, живо!!!

Но никто не сделал даже полшага вперед. Желтокрылый торжествовал.

— Время ли, — обратился он к людям внизу еще громче, — время ли вам жить в домах, выложенных изразцами, когда дом Господень лежит в руинах? Вы надеялись на большее, но получили мало, а когда внесли это малое в дом, я и то развеял. Почему? Говорит Господь Всемогущий: "Из-за дома моего, что лежит в руинах, когда каждый из вас ревностно хлопочет вокруг своего дома!!!"

Вдруг мы услышали со стороны города слабый вой сирены, а минутой позже на рембеховском шоссе замаячили огни машины.

— Милиция едет! — закричал обрадованный причетник. — Окружите дом, чтобы он не убежал!

Но и на этот раз никто не спешил сдвинуться с места. Желтокрылый простер руки навстречу приближающимся огням.

— Горе тому, — голос его стал еще грознее, чем минуту назад, — кто сбирает много того, что ему не принадлежит! Сердце разорвется, колено о колено биться будет, и хворь поразит все бедра, и лица у всех почернеют!

Из машины выскочили четыре милиционера, вооруженные дубинками и пистолетами. Командиром патруля был темноволосый поручик.

— Разойтись! — бросил он коротко и энергично. — Не мешайте, граждане!!

Однако Желтокрылый, у которого пока была еще возможность удрать, учитывая темноту и доскональное знание местности, ощутил но-

вый подъем духа. Наклонившись в сторону поручика, он певуче выкрикнул:

— Горе тому, кто на крови строит город и укрепляет его беззаконием! В день жертвы Господней настигну всех, которые облачатся в одежды чужеземные! Горе кровавому городу! Всё в нем ложь, и полон он чужого добра, и нет в нем конца грабежам!

Милиционеры сбились тесной кучкой вокруг поручика, а тот отдавал распоряжения. Потом командир поднял голову к крыше, откуда Желтокрылый метал все более страшные проклятия, на этот раз непосредственно на головы людей в мундирах:

— Твоих щенят пожрет меч! Я положу конец твоему разбою в стране, не будут больше слышны голоса посланцев твоих!!! Самые худшие из народов я приведу, дабы они овладели вашими домами, и положу конец вашему надменному могуществу!!! Когда придет беда, станете искать мира, но не обрящете его! Поступлю с вами как вы поступаете с другими и осужу вас согласно вашим законам!

— Слезай сейчас же, — прервал его резкий голос поручика, — слезай, не то я буду вынужден применить силу!

— Служители твои словно саранча, — звучал в ответ напев Желтокрылого, — неизлечимы раны твои, все, кто о тебе услышит, будут бить в ладоши, ибо кого же миновала неустанная жестокость твоя?!! Как ты обобрал множество народов, так и тебя ограбят другие из-за пролитой крови человеческой и насилия, совершенного над страной!!!

Мы увидели, что два милиционера обходят дом с тыла, а поручик вынимает из кобуры пистолет.

— Слезай! — повторил он приказ. — Слезай, или буду стрелять!!!

— И забросаю тебя мерзостью, — загремел в ответ Желтокрылый, — и опозорю тебя, и сделаю тебя посмешищем, и любой, кто тебя узрит, отвергнет тебя!!! Поглотит тебя огонь, пронзит тебя меч, пожрет, как саранча!!!

Последнее слово, точнее, его последняя гласная звучала долго и совпала со звуком выстрела. Поручик пальнул для устрашения в воздух, люди, столпившиеся в подворотне соседнего дома и высунувшиеся из окон, невольно втянули головы в плечи, а два милиционера, зашедшие Желтокрылому в тыл, вскочили на карниз и быстро взбирались наверх. Секунды его свободы казались считанными. Еще раз воздел он руки к небу, как бы призывая звезды в свидетели своей невиновности, и с криком "Господь Всемогущий есть сила моя!" ринулся навстречу милиционерам, которые были уже на крыше. Их белые дубинки, занесенные для удара, грозно выделялись на фоне черного неба. Желтокрылый, однако, не обладал духом Христа, и вместо того чтобы поддаться людям в мундирах и спокойно принять на себя удары, спихнул обоих милиционеров с крыши одним решительным движением локтей. Звон падающих на землю черепиц, крики милиционеров и новый напев Желтокрылого слились теперь воедино. "Господь Всемогущий есть сила моя! — повторил он радостно. — Он делает ноги мои подобными ногам лани и по местам высоким проводит меня!!!" Произнося это, Желтокрылый спрыгнул с крыши на мягкую землю палисадника и быстро помчался к кладбищу. Милиционеры, хоть и расшиблись, побежали за ним. "Стой! — кричал поручик. — Стой, стрелять буду!" Но Желтокрылый и не думал останавливаться. Воздух разодрали очередные выстрелы, такие же, как первый, — вверх, для устрашения.

И на этом все бы закончилось, если б не то, что беглец и преследователи бежали прямо на нас. Мы удирали во всю прыть, но Желтокрылый бежал быстрее, и через секунду мы уже чувствовали на затылках его дыхание. Он ни о чем не спросил и, видя, что мы, как и он, убегаем, показал рукой, чтобы мы разделились. Однако это было невозможно. Со стороны Буковой горки, с противоположного края кладбища бежали к нам фигуры в белых развевающихся одеждах. По сей день не знаю, кто вызвал санитаров из больницы, а главное, почему они появились с той стороны, отрезая нам и Желтокрылому путь к отступлению. Может быть, ксендз брентовского костела, вызвав милицию, позвонил еще на всякий случай в больницу, и сейчас у нас за спиной были милиционеры, сумасшедший и люди в белых халатах. Впервые я почувствовал себя как зверь, загнанный в западню, и лихорадочно пытался придумать, как же мы будем оправдываться. В голове мелькали бессвязные обрывки фраз. Арестуют ли нас? А если да, то посчитают ли соучастниками Желтокрылого? Кольцо облавы сжималось, и уже казалось, ничто нас не спасет, когда Петр схватил меня за руку. "Склеп! Там нас не найдут!" Это была замечательная идея. Мы и за нами Желтокрылый бросились к насыпи, где находилось наше укрытие. Лаз, как обычно, был чуть-чуть приоткрыт, и мы могли заползти внутрь без шума.

Да, в тот вечер, а точнее, в ту ночь не все еще закончилось, моя память спустя столько лет подсказывает мне, что когда преследователи разошлись и когда мы с Шимеком и Петром поспешно покинули склеп, оставив там Желтокрылого, когда я миновал уже Буковую горку и Кметью улицу, которая вела от леса к нашему дому, когда постучал в дверь нашей квартиры, — открыл мне отец, в пижаме, с ремнем в руке, без единого слова положил меня к себе на колено, и количество ударов, павших на мои ягодицы, достигло астрономической цифры. Когда у отца уставала рука, он делал перерыв и вздыхал: "Бью тебя не за то, что не был дома, а за то, что мать уже четыре часа слезы по тебе льет, сопляк!" И была это, пожалуй, самая трогательная фраза из тех, что я слыхал от отца, потому что именно она крепко застряла в моей памяти. Но тогда я думал, что это ерунда, так же, как удары, от которых у меня распух зад: у нас ведь был Вайзер, скорее, мы были с той ночи в его власти, хотя я не знал тогда, что это ненадолго. Зачем я написал о Желтокрылом? Почему не закончил на провалившемся настиле или на светлячках? Написал, словно это имело какую-то связь с Вайзером, — и вправду, на следующий день, когда выяснилось, что не только у меня багровые полосы на седалище и не только мой отец оказался таким ласковым педагогом, так вот, на следующий день, как только мы трое встретились, Петр предложил отправиться в склеп и проверить, нет ли там Желтокрылого, а Шимек тут же добавил, что обо всем нужно рассказать Вайзеру и даже спросить у него, что он думает о психах и о Желтокрылом в частности. Странно, что когда Вайзер выходил из подъезда, никто из нас не подошел к нему, будто бы назначенный им час — шесть — был сроком аудиенции, который нельзя нарушить. Не стали мы следить и за Элькой, которая выбежала за ним. Вчерашние приключения связали нас нитью некоего сговора, но соглашение было односторонним, и по-своему мы эту специфику ощущали. В конце концов, это Вайзер соизволил условиться с нами, а не наоборот. И нужно было отнестись к этому с уважением. Так же как и к тому, что мы видели на заброшенном заводе. И когда Элька исчезла за афишной тумбой, к нам подошел Янек Липс-

кий, тот самый, который был с нами в зоопарке и играл в знаменитом матче с армейскими, и спросил:

– Ну что, дождались их тогда или нет? – Янек был последним, не считая нас троих, который ушел из склепа, не став дожидаться Вайзера.

– Иии, где там, – спас положение Шимек. – А что? – Короткое молчание сопровождалось взглядами, полными недоверия.

– Ну так что вы видели?

– Ничего особенного, не стоило и ждать, – врал как по нотам Шимек, – они ловили рыбу в прудах.

– Свистишь.

– Иииии, ну так лети быстро за ними, Фома неверный, а нам уже неохота.

Этот аргумент перевесил. И мы даже не заметили, как возникло между нами с этим первым враньем тайное взаимопонимание в том, что касалось Вайзера. Пока у нас была другая забота.

Желтокрылый, которого мы застали в склепе, не покидал своего укрытия со вчерашнего дня. Можно было об этом догадаться по тому, как жадно поедал он кусок рогалика, который ему дал Петр. Герой прошлой ночи дрожал всем телом от страха, и мы не могли понять, как этот необычный человек, который произносил прекрасные речи и сбрасывал милиционеров с крыши, как этот человек переменился за неполные двенадцать часов. Когда он увидел нас, вторгшихся в его беспокойный сон, он заслонил лицо, словно ожидая удара. Объяснялся он с нами с помощью коротких слогов: ээ – аа – угм, – и если бы не его вчерашнее выступление и то предыдущее, когда мы встретили М-ского с Arnica montana, если бы не те возвышенные, пеньем срывающиеся с его уст фразы, можно было подумать, что этот небритый мужчина в рваной одежке – немой бродяга, ищущий в нашем склепе кратковременного укрытия. Нынче я догадываюсь, в чем тут секрет, и, хотя это всего лишь предположение, знаю, что Желтокрылый мог возглашать только те страшные фразы, угрожающие карами, кровью и гибелью. В этом были его болезнь и величие одновременно.

Петр спросил, не хочет ли он остаться здесь. Тот кивнул. Шимек предложил доставлять ему еду. Он улыбнулся, и из горла вместо ответа или благодарности вырвался неартикулированный звук, означающий согласие. Итак, обязанности были распределены. Петр должен был организовать еду, Шимек – какую-нибудь одежду, а я – курево, поскольку Желтокрылый жестом показал, что очень в нем нуждается. Мы отправились через Буковую горку по своим домам, то есть в один и тот же дом, только в разные квартиры, и нам даже в голову не пришло, что то, что мы собираемся делать, в чем-то противоречит закону. Чем-то этот так называемый закон оскорбляет и заслуживает наказания. Не хочу сказать, что закону мы противопоставили дух Христов, о котором столько раз вспоминал ксендз Дудак, нет, такого сказать я не могу, поскольку это не соответствовало бы истине. Должен, однако, пояснить, что, если бы в ту минуту нас посетило сомнение и мы бы пришли к выводу, что помогаем не просто опасному безумцу, а человеку, который атаковал милиционеров, – все равно Петр стянул бы из кладовки буханку хлеба, сыр и кусок сала, Шимек принес бы перелицованные брюки и фланелевую клетчатую рубаху, а я схимичил бы сигареты “Грюнвальд”, те же, что курил мой отец и которые я покупал для него в магазине Цирсона, так

как и киоски "Руха"[1] в нашем районе тогда никому еще и не снились. Итак, был хлеб, были сало, сыр, перелицованные штаны, фланелевая клетчатая рубаха, и были сигареты "Грюнвальд"; была также пламенная улыбка Желтокрылого, когда мы вернулись в склеп с полными руками. Он ел и курил наперегонки. А когда под конец Петр вытащил из холщового мешка по одной бутылке лимонада для нас и две для Желтокрылого и мы пили этот пузырящийся нектар, наше знакомство с чудаком упрочилось. Я помню, что только в моей бутылке оказался красный лимонад, и помню также, что я не спросил у Петра, откуда он взял столько денег. Ведь пять бутылок лимонада — это пять злотых, а пять злотых не такая уж маленькая сумма. Никогда, однако, я не спрашивал у Петра, откуда он взял столько монет, никогда, пока мы учились в одной школе, и позже, когда наши пути разошлись, и даже когда я приходил на его могилу поболтать о разных разностях, поскольку если кто по ту сторону, то не следует приставать к нему с такими вещами. Итак, мы пили сладкий пенящийся напиток, размазывая с наслаждением его капли по нёбу, а Желтокрылый удовлетворено причмокивал и улыбался нам, словно мы были его лучшими друзьями.

Который это мог быть час? Который час на часах и который час следствия? Когда Петр еще страдал за дверьми директорского кабинета, а я вспоминал вкус освежающего лимонада, который мы потягивали в склепе как амброзию, именно тогда начали бить настенные часы, возвещая, что все проходит, как время, отмеряемое медным механизмом. Однако я был слишком голоден, испуган и слишком хотел пить, чтобы смотреть, который час показывают стрелки. В конце концов, не это было важно: мрак, разлившийся за окнами, говорил, что уже очень поздно. Так именно я подумал: уже очень поздно, а те трое, должно быть, здорово устали. И хотя я не знаю, что они там говорят, следствие скоро закончится. Даже если они не добьются своей цели, если картина событий, которую они старались сконструировать, не будет исчерпывающей, все равно они перенесут допросы на следующий день. А завтра воскресенье, так что даже не на следующий день, а на понедельник. Ясно, что нас не запрут здесь, а отпустят домой, и тогда... Тогда мы договоримся обо всем до последней мелочи, установим точно, где мы сожгли лоскут красного платья, который остался от Эльки. И хотя ни Вайзер, ни Элька не были разорваны снарядом, мы это подтвердим во имя святого покоя. Все будут довольны: директор, человек в форме, М-ский, прокурор и больше всех Вайзер, который наверняка одобрительно следит за нашими хитростями на допросах. Вдруг под полузакрытыми веками я увидел, как подмигивает мне треугольное око Бога, маячащее в тучах. Как на картинке, которую показывал ксендз Дудак. "Помните, — говорил он, поднимая палец вверх, — оно обо всем знает и все видит, когда вы обманываете родителей, когда отбираете у приятеля карандаш или забываете перекреститься, проходя мимо распятия или часовенки. Ничего не забывает, обо всем помнит, о каждом грехе и каждом благородном поступке. А когда ваши души предстанут пред Господом, Он припомнит вам то, что делали вы на земле". Да, ксендз Дудак обладал несомненным педагогическим талантом, так как часто, когда из-за какой-нибудь чепухи я

1. "Рух" — система распространения прессы, созданная в 1950 г.; располагает сетью киосков, в которых кроме газет продаются табачные изделия, автобусные билеты, мыло, зубная паста, жвачка и т.д.

врал матери или оставлял себе сдачу с покупок, треугольное око не давало мне покоя. И сейчас я вспомнил о его существовании, тем более что показания наши не были мелким враньем, это была целая система, выстроенная нами, целое здание лжи ради выгоды, вот ради чьей выгоды, в этом я не был уверен, и это меня тревожило. Кому была адресована эта ложь? Кому она была нужна — тем, сидящим за дверью, обитой стеганым дерматином? Нам самим? Или Вайзеру, который приказал нам поклясться, что мы никогда ничего никому не расскажем? Но если так, если это вранье предназначено было прежде всего Вайзеру, то как быть с треугольным оком, взирающим на каждый жест и слушающим каждое слово со своих небесных вышин? На чьей стороне в этом случае Господь Бог? — думал я. Если на нашей, и прежде всего Вайзера, то Он должен нам простить грех. А что, если на другой? Что, если Вайзер коварно связал нас клятвой? И тут я испугался не на шутку, так как мне впервые почудилось, что Вайзер мог оказаться нечистой силой, которая, опутав сетью соблазнов, подвергла нас испытанию.

Теперь я вспоминаю, что́ ксендз Дудак рассказывал о дьяволе: “О да, не всегда он выглядит грозно. Иногда приятель говорит тебе, чтобы ты не шел в костел, и это нашептывание дьявола, который обольщает тебя картиной фальшивых удовольствий. Иногда, вместо того чтобы помочь родителям, ты идешь на пляж, ибо какой-то голос подсказал тебе, что это интересней. Да, — ксендз делал драматическую паузу, как во время проповеди, — таким способом дьявол искушает даже детей, но помните, мои милые, ничто не укроется пред лицем Господа, и кара за грехи может оказаться страшной. Посмотрите только, — ксендз начинал почти кричать, доставая следующую картинку, — какие мучения ждут грешников, которые не послушались голоса справедливости, которые не опомнились вовремя, посмотрите только, как они будут страдать, и не сто, двести или пятьсот лет, а целую вечность!!!” И нашему взору представала сотворенная рукой художника картина адской бездны, куда косматые черти швыряли голых грешников, осужденных на вечные муки. Их тела, падающие вниз, скрюченные, исколотые вилами, исцарапанные когтями, лизало пламя, которое доставало до них с самого дна преисподней. Когда ксендз прятал репродукцию, у нас не оставалось сомнений, что ад выглядит именно так. И теперь, сидя рядом с Шимеком на складном стуле, я вовсе не был уверен, не припомнит ли треугольное око нам наше вранье, когда мы предстанем перед ним один на один и когда уже ничего невозможно будет скрыть, как прежде от М-ского или человека в форме.

Сегодня я знаю, что эти размышления свидетельствовали об упадке духа, и с того момента следствие стало для меня еще более тягостным. Я раздумывал, не рассказать ли честно о событиях последнего дня над Стрижей. Ну и что, если они не поверят, ну и что, думал я. В конце концов, это дело Вайзера и Эльки и больше ничье. А правда была бы спасена, правда, которую и так никто не захотел бы принять. Конечно, я не собирался выдавать все тайны Вайзера, к которым мы были допущены. Достаточно последовательно, минута за минутой, рассказать, что делали Вайзер и Элька, когда мы стояли по щиколотку в воде под ярким солнцем и когда Вайзер сказал, чтобы мы теперь их подождали. А может, Вайзер имел в виду какое-то другое ожидание, совершенно не похожее на то, когда ждешь прибытия поезда, или открытия магазина, или начала каникул? Этого я знать не мог. Из кабинета сквозь закрытую дверь до

нас долетел крик М-ского, а минутой позже — Петра. Должно быть, они применили к нему что-то сверхмощное, может, это было "вытягивание хобота", объединенное с "ощипыванием гуся", а может, сделали что-то совсем другое, чего даже нельзя было предположить? Шимек пошевелился на стуле, а я почувствовал, как нога у меня немеет еще больше. Не знаю почему, я вспомнил ту самую песнь, которую мы пели в тот год в праздник Тела Господня, вышагивая вслед за ксендзом Дудаком и дароносицей: "Слава Иису-су, Сы-ну Ма-ри-и, Ты истинный Бог, пребывающий в Пресвятой Евхаристии". И даже не эти слова, которым я не придавал тогда особого значения, а только мелодию, медленную, приятную мелодию, тянущуюся тонкой струйкой памяти, словно облачко кадильного дыма, и та ностальгическая мелодия подействовала на меня успокоительно. Что было дальше?

До шести у нас оставалось еще много времени. Желтокрылый был обеспечен, а в компании он не нуждался. От скуки в наших головах рождались странные идеи, все, конечно, связанные с Вайзером. Что он нам покажет? А может — что с нами сделает? Может, научит нас летать над землей, а может, превратит бабочку в лягушку или наоборот? А что, если спросить у него, зачем это он плясал в подвале заброшенного завода? Петр согласился, что это было бы интересно, но не лучше ли попросить у него еще один ржавый "шмайсер"? Если ему знаком весь лес аж до Оливы или еще дальше, он мог немало выгрести из немецких окопов. А может, Вайзер захочет сыграть с нами в настоящую военную игру? Зачем бы он присматривался к нашим играм тогда, на брентовском кладбище? Уже после обеда, сидя на прогнившей скамье между веревками с бельем, мы вспоминали каждый его жест, каждое слово. Почему он не ходил с нами в костел? Зачем ему Элька? Кто его научил укрощать зверей? Наши рассуждения прервала на минуту пани Коротек, которая из окна вышвыривала вещи своего мужа. "Паршивец этакий, пьяница, — кричала она, — убирайся сейчас же и больше не возвращайся! Чтоб глаза мои тебя не видели, чтоб уши мои тебя не слышали!" На землю уже спланировала рубашка, пара штанов, ботинки, и вдруг из подъезда вышел пан Коротек. Неуверенными шагами подошел он к кучке своих вещей и как ни в чем не бывало начал одеваться, поскольку гнев жены выгнал его из дому в одних трусах и босиком. "Эй! — крикнул он наверх. — А носки чего зажала?" Пани Коротек не знала жалости, она захлопнула окно, и мы наблюдали, как пан Коротек, сидя теперь на земле, надевал ботинки на босые ноги и как правая нога у него попадает в левый ботинок и наоборот. Наконец, управившись с обуванием, он покинул двор матросской походкой, при этом распевая, в общем-то недурно: "Адье, моя любимая, адье, моя мулатка дорогая!!!" Пани Коротек, однако, не была мулаткой, и, по-видимому, ее муж пел просто так, для поднятия духа. Хорошо — но где Вайзер научился играть в футбол, да еще так классно? Наш разговор крутился вокруг одного и того же. Если в матче с армейскими он показал такой класс, то почему никогда прежде мы не видели в нем футболиста, почему он всегда стоял в стороне, когда учитель физкультуры делил нас на две команды и велел играть? С какой целью он утаивал свои способности? И еще: умел ли он еще что-нибудь, что-то, о чем мы даже понятия не имели? От таких вопросов мурашки бежали по коже, но тем охотнее мы их задавали.

Над крышей дома мелькали ласточки с характерным звуком — не то

писком, не то свистом; небо, как и в любой другой день того лета, напоминало выцветший кусок лазури, пан Коротек уже успел вернуться из бара "Лилипут", надравшись до предела человеческих возможностей, а мы все продолжали разговор, в котором условное наклонение и вопросительный знак были главными элементами. Через несколько дней июль кончался — значит, половина каникул позади, однако ни это, ни "уха" в заливе, ни даже выходки пана Коротека не могли отвлечь нашего внимания от основного дела.

Ровно в шесть мы были на краю леса, там, где когда-то начинались склады разрушенного кирпичного завода. Его здание, которое ночью напоминало старый замок, теперь выглядело невинно, как развалюха, каких полно было в предместьях Вжеща и Оливы. Ко входу мы пробирались через заросшую пыреем, лебедой и другим быльем площадку, на которую давно уже не складывали кирпичи. Внутри царила приятная прохлада, но, к нашему удивлению, там никого не было. Груды ржавого металлолома, перевернутые вагонетки и разобранная на три четверти печь — это было все. На полу валялись банки из-под краски, обрывки мешков и листы полусгнившего, воняющего плесенью картона. Прошло пять минут, долгих, как пять часов, на протяжении которых Петр пинал банки, Шимек заглядывал в печь, а я пытался сдвинуть одну из вагонеток. Я начинал сомневаться, ждет ли нас тут что-нибудь интересное, когда у входа за нашими спинами раздался голос Вайзера:

— Первое условие выполнили — пришли одни. Хорошо. А теперь второе. Идите за мной.

Без слова мы двинулись вниз, по тем самым ступенькам, которые обвалились вместе с деревянным полом прошлой ночью. Но напрасно было бы искать следы катастрофы — все было в порядке: люк, ступени и пол починены. Ни на одной доске не заметно свежих следов рубанка, ни одна ступенька не сколочена из новой балки. Мы спустились на глиняный пол подвала.

— Теперь надо поклясться. Вы готовы?

Разумеется, мы не были готовы, но разве Вайзеру можно было возражать?

— А на чем будем клясться? — спросил Шимек. — Если на распятии, то, наверно, и взаправду дело важное.

— Ты думаешь, что не важное? — спросил Вайзер, и ответом на его вопрос было тягостное молчание: мы ведь не знали, какой еще сюрприз припас Вайзер, и испугались.

— Так на чем будем клясться? — повторил Шимек.

— Зачем спрашивать на чем, не лучше ли спросить — зачем? — сказал Вайзер.

— Ну, известно, — встрял Петр, — чтобы не выдать тайну. Для того всегда и клянутся.

— Хорошо, — ответил Вайзер, — чтобы не выдать тайну. Тогда скажите, вы верите в загробную жизнь?

Мы оторопели — никто не спрашивал у нас об этом так прямо. Действительность, когда ее пригвоздят таким вопросом, может показаться сомнительной даже опытному человеку, а что уж говорить о нас тогда, в подвале заброшенного завода, когда наше ожидание было вроде лихорадки, сжигающей сердце и воображение.

— Вообще-то да, — ответил я за всех, — почему бы не верить?

— Вот и хорошо, — заключил Вайзер, — так поклянитесь загробной

жизнью: ни о чем из того, что я вам покажу здесь или где-нибудь еще, вы не протреплетесь, и только про то, что я разрешу, сможете рассказать, если спросят! А если проговоритесь, умрете и не будет у вас загробной жизни — в наказание за раскрытие тайны. Поняли?

Мы в сосредоточенном молчании кивнули. Вайзер приказал нам положить правую ладонь на свою левую руку и, когда мы это сделали, каждому по отдельности велел сказать: "Клянусь!"

После этого он подошел к одной из стен и легонько ее толкнул: нашим глазам открылся узкий проход, ведущий в просторное помещение. Был это длинный зал, получившийся из трех или четырех пивных погребов, после того как были убраны разделяющие их стены, от которых остались торчащие из пола обломки кирпичей и камней. Сразу у входа по левую сторону стояли два ящика, возле которых мы увидели Эльку. Помещение освещалось двумя яркими лампами, свисающими с потолка прямо на изолированных проводах. Тогда я не обратил на это никакого внимания, но сегодня уверен, что Вайзер подключил всю проводку сам, протянув провода от дороги на Матемблево, что требовало немалого опыта и сноровки. Кто бы, однако, обращал внимание на такие пустяки, если Элька открыла первый ящик и мы увидели в нем настоящее оружие? Да, это было самое настоящее оружие: три немецких "шмайсера", русский ППШ, два парабеллума и два нагана, которыми пользовались советские офицеры наряду с чаще встречавшимися пистолетами ТТ. Шимек восхищенно свистнул, а Петр взял в руки парабеллум и попробовал вынуть магазин.

— Не так! — Элька забрала у него пистолет и показала: — Вот так. А так заряжают и снимают с предохранителя.

Мы стояли как малые дети перед витриной с игрушками, и, хотя были детьми постарше, наше изумление и желание коснуться всего этого собственными руками было таким же нетерпеливым и жадным. Когда же мы стали дотрагиваться до всех этих чудес, восхищаясь отполированными стволами, сверкающими оливковым блеском прикладами, проверяя курки и бойки, когда мы с головой погрузились в это занятие, Вайзер достал из другого ящика коробки с патронами и из правого угла, на который мы до этого момента не обращали внимания, притащил картонные макеты.

Элька ткнула в меня пальцем:

— Будешь стрелять первым. Оставьте один парабеллум, остальные заверните в тряпки и положите в ящик.

Мы выполнили приказ безропотно. Элька зарядила пистолет, приказала всем стать у меня за спиной и, когда Вайзер вернулся от дальней стены, где он устанавливал макеты, вручила мне готовый к стрельбе парабеллум.

— Можешь стрелять, — сказала она, и прозвучало это как очередной приказ.

Если бы не военные фильмы, увиденные в кинотеатре "Трамвайщик", я бы не знал, какую принять позу, что делать с левой рукой и как смотреть сквозь прорезь на кончик мушки. Но я знал все это — по крайней мере теоретически — и хотел справиться со своей задачей как можно лучше, однако, когда направил дуло в сторону макета, рука и ноги у меня задрожали от страха, а на шее и висках я почувствовал капли пота. Во всех фильмах цель была ясно обозначена: подпольщик стрелял в агента гестапо, эсэсовец — в еврея, партизан — в жандарма, советский сол-

дат — в немецкого и наоборот; а тут я увидел нечто, чего не мог определить, нечто, испугавшее меня не на шутку, словно я должен был стрелять в живого человека. Макет, который я увидел сквозь прорезь прицела, изображал бюст М-ского, нарисованный акварелью. Но то не был обыкновенный М-ский, то есть такой, каким мы видели его в школе, на демонстрациях или на одной из полян оливского леса. У картонного М-ского были дорисованы пышные усы, а выразительные дуги бровей и расположение глаз не оставляли сомнений в том, на кого он похож. Да, хотя с некоторых пор огромные, как простыни, портреты исчезли с улиц и витрин нашего города, я почувствовал жуткий страх. Вдобавок, будто этого было мало, на голове мужчины, в которого мне предстояло выстрелить, была фуражка офицера вермахта. Такое придумать мог только Вайзер.

— Ты стреляешь или нет? — слова Эльки звучали издевательски.

И я выстрелил — раз, другой, третий, четвертый, пока не опустошил магазин, и все пули попали в стену выше или сбоку от макета, только одна, последняя, просверлила дырку точнехонько в том месте, где на фуражке с высокой тульей виднелся немецкий орел со свастикой.

— В краба попал, в краба! — кричал Петр, а Вайзер, словно не поверив, подошел к М-скому и сунул палец в дырку от выстрела.

— Попал рядышком, орел не тронут, — сказал он, возвращаясь к нам.

Я тем временем расправлял пальцы, судорожно сжимавшие рукоятку, дергавшуюся при каждом выстреле. Парабеллум, впрочем как любой настоящий пистолет, был тяжеловат для наших мальчишеских рук, так что выстрелы Петра и Шимека были ненамного точнее моих. Первый попал только два раза в лоб, второй отстрелил кусочек левого уса и поцеловал М-ского в правую щеку.

Надо ли подчеркивать, что один только Вайзер показал высший класс? Не знаю, сколько ему понадобилось тренироваться здесь или где-нибудь в лесу, не знаю, сколько гильз упало на землю, прежде чем он достиг такого совершенства. Вайзер сделал шесть выстрелов, один за другим, и мы увидели на лице М-ского вершины двух равносторонних треугольников, сложенных так, что образовывали нечто вроде звезды. Элька заменила макет. На этот раз перед нами был тоже М-ский, но в мундире американского генерала времен второй мировой войны. Одна только деталь соответствовала крабу с предыдущей фуражки: у М-ского-американца под воротничком рубашки, там, где у каждого солдата узел галстука, висел железный крест, такой же, какой мы видели во многих военных фильмах. Стреляли мы по очереди — и снова не лучшим образом, и Вайзер, как и раньше, нас превзошел. На этот раз он выбил на лице макета две буквы — US, разделенные носом М-ского. Вылавливая из памяти тот вечер, ощущаю на нёбе вкус кирпичной пыли и слышу в ушах гром выстрелов, слышу звяканье падающих на глиняный пол гильз, но так и не понимаю толком, какая была у Вайзера политическая ориентация. И интересовался ли он политикой вообще. Ничто, кроме макетов, на это не указывает. Ибо что может объединять М-ского, Сталина и генерала Эйзенхауэра в одном лице? Нет в этом никакой логики. И, скорее всего, не было. Кроме краба и железного креста, разумеется.

Но то было не все. Когда Элька убрала макеты, Вайзер достал из ящика с патронами кляссер — самый настоящий кляссер в твердой обложке, с картонными листами, пересеченными, словно полосками света, ленточками целлофановых кармашков. Всякий, кто, как Петр в те

годы, собирал марки, при виде такого сокровища широко раскрыл бы глаза. Внутри почти на всех страницах лежали ровными рядами марки Генерал-губернаторства двух родов: одни изображали Гитлера, другие — двор Вавельского замка, где в годы оккупации находилась резиденция Ханса Франка[1]. Марки были без штемпеля, и рука Вайзера разложила их по цвету: сначала шли красно-коричневые, дальше — зеленовато-бурые, потом — зеленые и в конце коллекции — серо-голубые. Марок с Гитлером было значительно больше, почти со всех страниц, размноженная в ровных шеренгах, как на параде, смотрела на нас мрачная усатая физиономия.

— За "адольфов", — прошептал Петр, — в магазине дают за штуку два злотых!

Действительно, такие марки скупал филателистический магазин в Старом городе, а на языке коллекционеров они назывались просто "адольфами".

Но коллекция Вайзера не была обычной коллекцией марок. Когда мы уже просмотрели весь альбом, он вынул пять красно-коричневых изображений канцлера, закрыл кляссер и подошел к противоположной стене, где приклеил марки к кирпичам, послюнив перед тем каждую.

— Хорошая работа, — сказала Элька, когда Вайзер вернулся. — Клей держит как новый!

Вайзер тем временем проверил магазин и встал расставив ноги, совсем как на соревнованиях. При каждом выстреле он прицеливался не дольше трех секунд, так что вся операция продолжалась от силы двадцать секунд, считая по одному выстрелу на марку. Помню, когда мы подошли к стене, потребовалось немало усилий, чтобы отыскать места, где приклеен был канцлер третьего рейха. Пуля, попадая в марку, разрывала ее напрочь, и только кое-где оставался одиночный зубчик или кусочек цветной бумаги не больше спичечной головки. Из пяти "адольфов" не уцелел ни один.

— Он мог бы выступать на олимпиаде, — с гордостью сказала Элька.

Вайзер положил парабеллум в ящик и приказал нам возвращаться домой.

— Через несколько дней дам вам знать, тогда придете сюда, а пока возьмите вот это, — и он вручил Шимеку какую-то книжечку, — и вот это, — и протянул мне парабеллум.

Еще не дойдя до леса, мы осмотрели пистолет и книжечку. То была довоенная инструкция для стрелка из короткоствольного оружия. В парабеллуме отсутствовали магазин и курок. Да, Вайзер не сказал: "Учитесь стрелять и делайте это так, чтобы никто не видел". Он взял с нас клятву, дал инструкцию и обезвреженный пистолет. Кто себя ведет таким образом? Я не мог этого знать в канцелярии директора школы, но сегодня думаю, что он тем самым бросал тень на свою истинную деятельность. Ибо в тот день, когда мы увидели, как он танцует под звуки флейты Пана и как поднимается в воздух, когда мы стали свидетелями его транса, тогда он не ожидал нас, не хотел иметь никаких свидетелей, кроме Эльки. Что ему еще оставалось сделать в той ситуации? Он дал нам игрушку, а потом еще другие игрушки и время от времени проверял, научились ли мы заводить их механизм.

Но я ведь предполагал, что он все время ждал нашего появления, а

1. Ханс Франк (1900—1946) — с 1939 по 1945 г. генерал-губернатор; Вавельский замок — королевский дворец в Кракове.

значит, и не могло быть иначе! Возможно, однако, он не ожидал, что мы выследим его так быстро, возможно, это должно было произойти позднее, совсем в других обстоятельствах. А так он разоружил наше любопытство и направил его совсем по другому пути. Фактически мы никогда не спрашивали у него, а тем более у Эльки, о той ночи и о безумном танце. Нам не пришло в голову, что, давая нам пистолет, показывая свое стрельбище, он отстраняет нас от самого главного. Ибо чем, по сравнению с вещанием чужим голосом на непонятном языке, чем, по сравнению с левитацией, была его демонстрация меткой стрельбы? Да, мы могли считать с тех пор Вайзера своим командиром, могли надеяться, что станем его партизанами, могли даже допустить, что все закончится восстанием, только нам нельзя было задумываться, как человеку удается левитировать в полуметре от земли. Вайзер впустил нас в преддверие своего святилища — употребим здесь такое сравнение — и занавеску показал как глухую стену.

Только что́ он хотел нам показать или в чем убедить нас, ни в чем не сведущих? Эту тему не стоило обсуждать с Шимеком или с Элькой, оставался только Петр, с которым мы никогда не говорили о Вайзере. Только два года назад, а точнее два года и один месяц (так как сейчас, когда я пишу, кончается октябрь), так вот, двадцать пять месяцев назад я решился завести такой разговор. Всегда, приходя к Петру, я сажусь на край надгробной плиты и с минуту храню молчание. Каждый из нас привыкает тогда к присутствию другого. Так же было и в тот сентябрьский день — сначала я сгреб с цемента листья, песок и сосновые иглы и только через минуту спросил:

— Ты там?

— Да, а что — уже День всех святых?

— Нет.

— Зачем же ты пришел? И ничего не говоришь...

— Шимека арестовали!

— Что случилось?

— Он печатал листовки и сидит. Почему ты ничего не отвечаешь? Тебе все равно?

— Тот, кто занимается политикой, должен учитывать такой поворот дел.

— Ты говоришь как чужой.

— А я и есть чужой.

— Говоришь, будто тебя ничто не волнует.

— Здесь мало что может взволновать.

— Не верю.

— Сам когда-нибудь убедишься.

— Не пугай меня.

— Я вовсе не пугаю, это очевидные вещи.

— Для меня не такие уж очевидные.

Мы помолчали. Над кладбищем где-то очень высоко гудел самолет, издалека доносились звуки похоронного пения, и ветер нес между рядами каменных надгробий сухую траву и листья.

— Почему мы молчим, Петр?

— Может, потому, что ты не о Шимеке поговорить пришел.

— Ты прав. Не только о нем.

— Ну так что?

— Я должен спросить о Вайзере!

— Должен? Почему?

— Это не дает мне покоя, уж сколько лет, все больше и больше. Для чего мы были ему нужны? Зачем он втянул нас в свои дела? Неужели только затем, чтобы оставить несколько нелепых предположений и вопросов? Чтобы загадать нам загадку на добрый десяток лет? Почему ты не отвечаешь, Петр? Почему притворяешься, что тебя здесь нет?

— Ты должен был приходить только раз в год и не задавать никаких вопросов, или забыл?

— Не забыл, Петр, но для меня...

— Обойдемся без исключений, а теперь ступай уже, я устал.

Да. Двадцать пять месяцев назад я услыхал от Петра: "...а теперь ступай уже, я устал". И был то последний разговор о Вайзере, который я вел, точнее, пытался вести. Позднее я начал писать, поскольку не было иного способа, который помог бы все прояснить.

Итак, у нас была инструкция и парабеллум без магазина и без курка, а также много добрых намерений и еще лучших предположений. Вайзер перестал быть чудотворцем. С легкостью и свободой, типичными для юного возраста, наши мысли о нем свернули скорее в сторону Робина Гуда или майора Хубаля[1], а вовсе не халдейского мага либо ярмарочного фокусника. И ничего с этим не поделаешь.

Тренировки, однако, были отложены. На другой день начиналась неделя молитв за благополучие земледельцев — так назывались богослужения об установлении гармонии в природе, то есть о дожде. Сначала матери во всех домах мыли и наряжали своих детей. Потом мужья надевали белые рубахи, а некоторые невзирая на жару повязывали еще и галстуки и натягивали черные выходные костюмы. Наконец, обрызгавшись одеколоном, который при тридцати двух градусах все равно не забивал запаха пота, они выводили свои семьи на улицу, и все верующие пешком или на трамвае направлялись к оливскому кафедральному собору. Присутствовать на первом торжественном богослужении пообещал сам епископ, и всем было интересно, с какими словами обратится он к измученным людям. Последующие службы должны были проходить в отдельных приходах ежедневно в шесть вечера. Все это я узнал от матери, пребывавшей с самого утра в большом волнении. Она не позволила мне даже отлучиться больше чем на полчаса, наверно опасаясь, чтобы я куда-нибудь не запропастился. Прежде чем мы вошли в собор, я услышал молитвенное пение тысячи голосов. А потом, когда я уже стоял в длинном и узком, как ладья викингов, нефе, пение, молитвы, гудение органа, запах людского пота, одеколона и кадильного дыма смешались в одно громогласное моление о дожде и предотвращении неурожая в полях и мора в заливе. Делегация земледельцев и рыбаков стояла на коленях в первом ряду. Все взгляды были обращены на них, словно их молитвы имели самую большую силу.

— Во времена языческие, — говорил епископ, утопавший где-то далеко в золотых гирляндах амвона, — когда наступала засуха, наши предки приносили кровавую жертву, чтобы умилостивить своих богов и выпросить у них дождь! Но мы, на которых Бог излил свою милость и любовь в лице Девы Марии и Ее Сына, мы, которые исповедуем Еванге-

1. Хубаль (настоящее имя Генрик Добжанский; 1896—1940) — майор, бывший призер Олимпийских игр по конному спорту, после окончания военной кампании 1939 г. отказался сложить оружие и возглавил кавалерийский отряд, партизанивший в горах оккупированной Польши; пал в бою.

лие, свободны от предрассудков и ложной веры. Христос, который за нас пролил кровь, принес жертву великую и всеобъемлющую, Христос выслушает наши покорные просьбы о благополучии земледельцев, рыбаков и нас всех!!!

Загудел орган. "Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!" – вырвалось из тысячи глоток. Пели все, и я уверен, что епископы, прелаты и вельможи с больших портретов, которые висели на стенах, пели тогда вместе с нами. "Возлюбленные во Христе, – продолжал епископ, – грех часто приводит нас на дурной путь и уводит от Бога. И тогда Бог испытывает нас, чтобы мы опомнились, вернулись на стезю добродетели и любви, чтобы мы отбросили лжепророков и всяческие искушения!!!" "От глада, войны и нежданной смерти избавь нас, Господи!" – зазвучало под высокими, как небо, сводами. "А сейчас, – говорил епископ, – задумаемся все вместе, сколько зла, греха и беззакония нашли приют в наших сердцах и как сильно разгневало это Господа, который нас испытывает! Сколько из нас стали поклоняться мамоне, разврату, фальшивым идолам, сколько из нас в своем упорстве и глупости отринули веру и Бога ради легкой – как надеялись – жизни? Сколько из вас –спрашиваю я?!?!?! – В соборе наступила глухая тишина. Опущенные головы покорно принимали горькие слова пастыря. – Я отвечу: многие из вас, мои милые, многие из вас грешили против заветов Господа, многие из вас на дурную сошли дорогу! Потому мы молим, с раскаянием и сожалением в сердцах, молим Деву Марию, чтобы выпросила нам прощение у Сына и Отца, просим об обильных милостях небесных, с которыми и земных благ будет предостаточно, аминь!"

После слов пастыря еще мощней, с удвоенной силой зазвучал орган, и храм наполнился до краев молитвенным "Слушай, Иисусе, как молит тебя народ, слушай, слушай и сотвори с нами чудо!" Люди украдкой утирали слезы, а я смотрел назад, где ангелы с кривыми, как сабли, трубами, среди огромных вращающихся звезд, с толстощекими, как у купидонов, лицами дули в свистульки, раздували волынки, звонили в колокольчики, гремели треугольниками и тарелками, где все это золотое, серебряное, мраморное и деревянное звучало, двигалось и играло во славу вечную.

Вечером над городом пронеслась гроза, первая в то лето, и все усматривали в этом знак Божий, а также знак особой святости его преосвященства епископа. "Если бы не он, – говорили, – не упало бы ни капли дождя". Но ливень не продлился и получаса, и сразу же после него распогодилось, и все осталось как прежде – смрад от "рыбного супа" в заливе, духота в воздухе и засуха на земле. На другой день утром я стоял в магазине Цирсона, куда мать послала меня за картошкой, и слушал, что говорят женщины в очереди.

– Да-да, моя золотая, – доказывала одна, – если бы все приняли причастие, лило бы три дня и три ночи.

– Да разве можно людям верить? Одни вроде и в костел ходят, будто даже молятся Пресвятой Деве, – раскипятилась другая, – а дома и на работе обо всем забывают. Возьми такого: после получки напьется как свинья, а когда секретарь спросит насчет убеждений, сразу отвечает, что только в Маркса верит, будто бы для рабочего люда эта вера надежнее, чем Евангелие!

– И это называется католик? – вмешалась третья женщина. – И с таким очутиться в раю – нетушки!!!

— Посмóтрите, мука подорожает, и яйца, и картошка, — доказывала первая, — от такой засухи хорошего не жди!

— Еще и война начнется, — ужаснулась вторая, — раз цены поползли вверх, это наверняка к войне.

Я перестал прислушиваться к этим откровениям, так как думал теперь, что в соборе вместо епископа среди золотых гирлянд амвона должен бы стоять Желтокрылый и вместо слов надежды и любви лучше бы верующие выслушали жуткие предсказания безумца. Если бы епископ, как Желтокрылый, развернул перед собравшимися грозную картину разрухи и гнева Господня, если бы, как тот, говорил о крови, трупах и каре за безбожие, думал я, наверняка больше бы людей пало на колени и, бия себя в грудь, признались бы: “Моя вина, моя вина, моя величайшая вина!!!” Только от чьего имени говорил епископ и от чьего — Желтокрылый? Вместо ответа расскажу, что было дальше.

Накануне Петр спрятал парабеллум в своем подвале, а ключ от замка положил на комод в прихожей. На беду, его отец, уходя на работу, забрал ключ с собой, скорее всего по ошибке. И теперь мы вынуждены были ждать возвращения его папаши, изводясь от скуки в высохшем подчистую садике рядом с домом. Где-то около двух я увидел пани Коротек с корзиной, полной белья. “Ой-ой, — говорила она, — что теперь будет, наказание божье с этими мужиками. — Тут она поставила корзину на землю, достала из-за пазухи деревянные прищепки и стала развешивать трусы, рубахи и тряпки на веревке. — Наказание божье, — повторила она, — снова нахлещется как свинья и не принесет получку!” И вдруг мы впервые почувствовали солидарность с пани Коротек и со всеми матерями и женами нашего дома —это ведь был день зарплаты!

— Не вернется он в четыре, — заметил Петр. — А если потеряет ключ? В прошлый раз, — объяснил он, — потерял бумажник и все документы!

— А другого ключа у вас нет?

— Был бы второй ключ от подвала, глупая голова, — возмутился Петр, — сидел бы я тут с утра?

Не нужно было ничего объяснять, мы знали, что отец Петра, так же, как мой или пан Коротек, воротиться домой может равно как в шесть, так и в двенадцать ночи.

— Весь день пропал, — сказал я, — что будем делать?

Неожиданная помощь пришла к нам от пани Коротек. Возвращаясь с пустой корзиной, она остановилась возле нас и спросила:

— Что вы тут делаете, ребята?

— Да ничего, просто сидим.

— А обедали уже?

— Да-да, пани Коротек.

— И вам нечего сейчас делать?

— Не-а, нечего!

— А попозже?

— Попозже это когда?

— Ну, часа в три, полчетвертого.

— Да вроде нечего.

— Поможете мне, ребята, а?

— Хорошо, только что надо сделать?

— Да ничего, пустяк, схóдите в “Лилипут”, знаете, где пивом торгуют, и увидите моего, он всегда там сидит. Подойдете к нему и скажете,

лучше в сторонке, что я заболела и что приехала "скорая", чтобы забрать меня в больницу, хорошо? Сделаете, сорванцы?

— Сделаем, пани Коротек.

— Так что вы должны сказать моему?

— Что вы заболели, и что "скорая", и что вас забирают в больницу, и чтобы пан Коротек побыстрее шел домой.

— Во-во, именно, золотые вы ребятки, — она широко улыбнулась. — Так не забудете, а?

— Не забудем, пани Коротек, обязательно сходим, — а мысленно мы уже составляли план, как добыть у Петрова отца ключ от подвала, чтобы он ничего не заподозрил. В том, что он будет вместе с паном Коротеком, не было никаких сомнений.

Бар "Лилипут" помещался напротив прусских казарм, там, где примыкала к ним когда-то гарнизонная, а после войны уже только евангелическая часовня, которую в то лето закрыли и переделывали в новый, большой кинотеатр. Каждый день с утра, особенно в жаркие дни, в баре и небольшом садике при нем собирались любители пива, а в такой день, как этот, гомон был слышен уже издалека. Бар "Лилипут" принадлежал к той категории заведений, куда женщины обычно не ходят. В "Лилипуте" водку не подавали — клиенты сами приносили ее в портфелях, в карманах пиджаков, за поясом брюк, чтобы, заказав пару кружек пенистого пива, подкрепить его соответственно прозрачной жидкостью. Все мужчины, проживающие в нашей части Верхнего Вжеща, заходили сюда после работы, по крайней мере раз в месяц и за короткое время освобождались от забот повседневного существования, мыслей о будущем и неприятных воспоминаний. Те, что работали на верфи, в "Лилипут" попадали уже в подпитии. По дороге, сразу же за вторыми воротами, ждал их бар "Под каштанами", и только оттуда они приезжали сюда, трамваем номер два или электричкой.

Когда в двадцать минут четвертого нашим глазам предстала поблекшая желтая вывеска бара, ограда из проволочной сетки была выгнута, как стенка бочки, по причине столпившихся около нее гомонящих и жестикулирующих личностей. В самом углу под кустом бузины стоял пан Коротек, а рядом с ним отец Петра, мой и еще двое мужчин, каждый с кружкой в руке.

— Ни хрена! — кричал пан Коротек. — Ни хрена они мне не сделают! Пусть бригадир занимается дележкой премии, а не сидит на собраниях!

— Точно! — поддакивал ему один из незнакомцев. — Что верно, то верно!

Все чокнулись кружками и выпили. Мой отец достал из портфеля бутылку и подлил в каждую кружку немного водки.

— Пока он не упьется, — предложил Шимек, — послушаем, о чем они говорят.

Мы подошли к кусту бузины со стороны улицы и, стоя в тени листвы, ловили их слова. Но тема, видно, была исчерпана, так как пан Коротек повернулся к нам лицом, расстегнул ширинку и поливал куст бузины мощной желтой струей. Потом он снова повернулся к компаньонам, но ширинку не застегнул. Мы не могли этого видеть, только то, что произошло позднее, продемонстрировало нам, каковы могут быть последствия небрежности в одежде и манерах. Кто-то из каменщиков, тех самых, которые занимались перестройкой евангелической часовни в кинотеатр, крикнул пану Коротеку:

— Эй, застегни воротничок пониже пояса, не то птичка вылетит! — и группа стоящих вокруг мужчин радостно заржала.

Пан Коротек опрокинул содержимое кружки до конца, вытер губы рукавом рубахи и ответил:

— А у тебя, говнюк, рука отсохнет!

— Это почему же?

— Потому что у того, кто крест снимает с освященного места, рука рано или поздно должна отсохнуть!

Дальнейший обмен репликами, дополненный другими голосами, развивался в бешеном темпе.

— Это лютеранская часовня, немецкая!

— Лютеранская не лютеранская, крест всегда один.

— Ты тоже делаешь что приказывают!

— Гляньте на него, философ!

— Если платят, то делаешь!

— Ты за деньги собственное говно съел бы, а что уж там крест снять!

— Но-но, осторожней на поворотах!

— А то что?

— А то, товарищ, что у тебя елдак отпадет!

— А, так это мы, оказывается, с *товарищем* калякаем, глядите, как наш *товарищ* выражается!

— А что, не нравится?!

— Это в партии вас учат так к старшим обращаться?!

— А что ты имеешь против партии?

— Имею или не имею, сопляк, а вежливости могу тебя научить!

— Попробуй только!

— Захочу и попробую!

— Нашелся сраный защитник веры, ха-ха!

— Повтори еще раз!

— А то что?

— Забудешь, курва, как тебя мамочка называла, и Дева Мария тебе не поможет!!!

— Сраный защитник Девы... — но закончить каменщик уже не смог, так как пан Коротек запустил в него пустой кружкой, которая пролетела над головой противника и попала в кого-то безвинного.

На долю секунды шум голосов утих. И — закипело. Приятели пострадавшего бросились на каменщиков, поскольку те стояли ближе. Каменщики, защищая своего, вмазали не тому, кому следовало. Грудь касалась груди, кулак сталкивался с кулаком, кружка обрушивалась на голову, нога пинала ногу. Солдаты из ближних казарм сняли свои тяжелые ремни и шпарили кого ни попадя. Через минуту драка разгорелась и внутри бара, о чем свидетельствовали вылетающие вместе с рамами и дверным косяком обломки стола. Недоумевающие прохожие замедляли шаг, обмениваясь вопросительными взглядами, но даже дерущиеся не смогли бы объяснить, почему дерутся и зачем. Груда тел перла теперь на ограду, и ржавая сетка лопнула словно бумажная. Десятка полтора мужчин упали на тротуар. "Милиция! Милиция едет! — крикнул кто-то предостерегающе. — Спасайся кто может!" И когда со стороны Грюнвальдской уже явственно донесся вой сирены, мы увидели, как из-под кучи пьяных тел выползают по очереди пан Коротек, отец Петра и мой и как они быстро ретируются в сторону дома, только бы не быть застигнутыми на месте преступления. Благодаря расстегнутой ширинке пан Коротек вернул-

ся домой раньше четырех, хотя и с подбитым глазом и в окровавленной рубашке, а мы через полчаса получили свой парабеллум, и наши тренировки могли начаться.

Так что же было вначале? Было облачко кадильного дыма, из которого неожиданно вынырнул Вайзер. Почему, вместо того чтобы рассказывать дальше, я отступаю, возвращаюсь, повторяюсь? Иногда бывает, что какие-то суждения или просто фразы, вроде бы понятные и очевидные, в минуту внимания кажутся вдруг полными неясностей, дьявольски сложными, а в конце концов и вовсе непонятными, — например, принадлежащие разным лицам высказывания, которые мы вспоминаем неожиданно и которые не дают нам тогда покоя. Что значит, допустим, фраза: "Царство мое не от мира сего"? Не один раз объяснял ее ксендз Дудак, не один раз слыхал я ее позднее и от людей поумнее, чем он. Пускай эту фразу снабдили множеством мудрых комментариев, пускай все, в ней содержащееся, объяснено надлежащим образом — ну и что? Когда я читаю ее громко или тихо, шевеля беззвучно губами, когда я думаю о ней в очередной — и не последний — раз, меня охватывает страх, ужас и в итоге — отчаяние. Вовсе эта фраза не однозначная и вовсе не ясная, и чем больше о ней думаешь, тем больше возникает сомнений, и перед тобой открывается черная дыра без дна. То же самое было — а собственно, и до сих пор так — с Вайзером: его кратковременное появление и уход я могу сравнить единственно с такой фразой — на вид однозначной и легкой для понимания. Разумеется, это не прямая аналогия, Вайзер никогда не высказывался в нашем присутствии на религиозные темы, а что уж говорить о его внутреннем мире, в который никто, пожалуй, не имел доступа. Если, однако, приравнять его жизнь к такой фразе, нужно повторять ее неустанно, в надежде, что непонятное однажды станет поразительно простым.

Так на чем я остановился? Да, через полчаса у нас был парабеллум, и мы могли начать тренировку. Но — вопреки нашим намерениям — не было нам дано в тот день ни разу открыть инструкцию стрелка, а также прицелиться или совместить прорезь с мушкой. В самом начале пятого, когда мы собирались отправиться в сторону Буковой горки, из окна третьего этажа раздался, задержав нас, голос матери Петра: "Куда это вы, мальчики? А ну марш домой, умыться и переодеться, в шесть служба, забыли?" Ничего не поделаешь, пришлось подчиниться матери Петра, так как, известное дело, говорила она как мать любого из нас. Ведь существовало и существует нечто вроде интернационала всех матерей под солнцем, так же, как интернационал отцов, напивающихся в день получки. Не буду подробно рассказывать о службе ксендза Дудака. У всего на этом свете, кажется, есть свой прототип, и ксендз выступил в тот день как зеркальное отражение его преосвященства епископа. Когда закончились молитвы и песнопения и когда прозвучал уже последний всхлип старенькой фисгармонии разом с хриплым фальцетом органиста, мы вышли из костела на песчаную дорогу, выбегающую здесь прямо из леса. И тут от толпы отделилась и подошла к нам Элька.

— Ну что? — спросила она. — Как развлекаетесь?

Неизвестно, что она имела в виду — наши упражнения с пистолетом, которые не состоялись ни разу, или службу в костеле, которая с минуту как закончилась.

— А тебе что?

— Есть кое-что для вас, — она улыбнулась лукаво.

— Если есть, давай и исчезни, нам некогда, — нагло ответил Петр.

Элька засмеялась, показав два ряда ослепительно белых беличьих зубов.

— Ох и дураки же вы! У меня сообщение!

— От Вайзера?

Она кивнула.

— Завтра в пять будьте в ложбине за стрельбищем, а это, — она сложила пальцы в виде пистолета, — принесете с собой, ясно?

Все было тогда ясно, кроме того, что покажет нам Вайзер или что прикажет делать. Мы знали только, что первый месяц каникул у нас уже за спиной, и никто даже не предполагал, что до конца нашего знакомства осталось ненамного больше дней.

На следующий день мы не застали Желтокрылого на кладбище. "Пошел куда-то — или его поймали — но не тут, никаких следов нет", — обменялись мы предположениями. "Тогда за работу", — скомандовал Шимек. И через минуту можно было услышать профессиональные замечания: "Как стоишь? Не так. Выше руку. Не подпирать, говорю тебе, не подпирать! Теперь прицел и мушка, жми на курок, хорошо, еще раз, слишком долго целишься, нужно нажимать сразу, как увидишь цель на линии выстрела, вот так, хорошо. Теперь я!" Солнце давно миновало свою наивысшую точку, а мы без устали повторяли одно и то же, бесконечно принимая правильные позы, готовясь к выстрелу и нажимая неподвижный курок видавшего виды парабеллума. Время от времени Шимек залезал на склеп и осматривал окрестности через французский бинокль, ведь все, что мы делали, было конспирацией и подготовкой к настоящему бою. Потом мы упражнялись в выстрелах с колена, с бедра и лежа, в точности как учила довоенная инструкция. "Теперь мы могли бы ограбить банк, — заявил Петр, — только б заиметь настоящий пистолет". Шимек был другого мнения — партизаны и повстанцы не грабят банки, но я напомнил им о фильме, в котором подпольщики опорожняют сейфы с оружием в руках, добывая деньги для организации. "Так ведь тогда была оккупация, и все отбирали у немцев, а сейчас, — не сдавался Шимек, — сейчас что?" Его вопрос остался без ответа. Окончательное решение мог принять Вайзер, и ему мы оставили планы на будущее. После обеда мы снова пришли на кладбище, поскольку до пяти часов оставалось еще порядочно времени.

Но недолго мы упражнялись. По насыпи в сторону Брентова шел М-ский, без сачка для бабочек и без коробки для растений. Если бы не отсутствие его постоянного снаряжения, мы не пошли бы за ним, но пустые руки и быстрый шаг очень нас заинтриговали. М-ский прошел по насыпи до самого взорванного моста, где мертвая железнодорожная линия пересекается с рембеховским шоссе. Перейдя асфальтовую полосу, он не взобрался обратно на высокую в этом месте насыпь, а пошел дальше тропинкой, бегущей на уровне середины ее высоты. Наконец он достиг места, где Стрижа протекает под железной дорогой в узком тунеле, и двинулся вверх по течению, не оглядываясь назад. "О! — показал рукой Шимек. — Кто-то его ждет!" Действительно, через какие-то триста метров, на маленькой полянке среди густого орешника и ольхи, которыми поросли берега реки, М-ский остановился возле какой-то фигуры. Мы подошли ближе, последние двадцать метров проползли на животе. М-ский сидел на траве рядом с темноволосой женщиной, похожей на домохозяйку, которую минуту назад оторвали от готовки или глажки. Рука учителя нырнула ей под фартук.

— Нет, — сказала женщина, — сейчас нет, говорила тебе, чтобы больше не приходил сюда! Лучше встречаться где-нибудь в другом месте!

— Так зачем сама пришла? — М-ский уже снял с нее фартук, и его рука гладила бедро женщины, как щетка автомобильного дворника, туда-сюда, туда-сюда. — Еще раз, — просил он, — еще один раз.

— Ох, нет, нет, — сказала женщина, но расстегнула М-скому брюки. — Как всегда? — спросила, понизив голос.

— Как всегда, — отвечал М-ский, и тогда женщина поднялась, и М-ский тоже встал, женщина сняла платье, М-ский — смешные белые кальсоны, которые оказались у него под брюками, и женщина изо всех сил ударила М-ского по лицу, раз и другой, наотмашь.

— Ох, — услышали мы стон, — еще! — Женщина била теперь М-ского по лицу без устали, и мы видели, как его крапленные веснушками плечи подымались и опускались при каждом ударе. — Еще, еще немного! — сопел М-ский; женщина сменила руку и продолжала хлестать учителя по лицу. Вдруг М-ский выпрямился как струна, по его телу пробежала дрожь, и мы увидели, как задрожали у него ягодицы. — Ох! — вздохнул учитель.

— Все, — сказала женщина и надела платье, потом фартук, а М-ский стоя натягивал спущенные кальсоны и брюки, из которых вынул затем сложенную банкноту и вручил женщине, как вручают кондуктору билет.

— В следующий раз, — сказала женщина, — не ищи меня здесь.

— А где? — умильно спросил М-ский.

— Там, где в прошлый раз.

— Хорошо, но ты придешь?

— Приду, приду, — отвечала женщина и пошла вверх по реке, откуда, по-видимому, пришла, М-ский же, поправив рубашку и брюки, не попрощавшись двинулся в обратный путь.

— Вот так потеха! — сказал Шимек, когда мы быстро шагали в сторону Брентова. — Что он — нормально лапать ее не мог? Что-то тут не то, ведь он даже не лег на нее!

— Лег или нет, — возмутился Петр, — но это мерзость!

— Чепуха, — протянул Шимек. — Видели б вы, что сестра Янека вытворяла со своим парнем у нас на чердаке, — вот тогда бы поняли, как это делается по-настоящему!!!

— А почему они не пошли в лес, — спросил я, — а занимались этим на чердаке?

— А зима была, кочерыжка ты глупая! — Шимек ткнул меня в бок. — А теперь летим, скоро пять!

Мы бежали в гору по мореновому склону наискось, и только высокая трава, достигающая колен, замедляла наше движение. Слева далеко внизу маячили контуры армейского стрельбища, справа за стеной леса виднелось голубое, как на картинке, море. "Топаете, как стадо слонов, — зло бросила Элька вместо приветствия, — мы вас ждем уже четверть часа!" Никто, однако, не объяснил, что́ было причиной нашего опоздания. "А теперь, — сказала Элька, — теперь вы увидите то, что должно научить вас уважению!" — и больше ничего говорить не стала. Вайзер покрутил ручку генератора, и тогда, лежа на краю ложбины, увидели мы первый взрыв, о котором я уже писал: он напоминал облако в форме вертикально вращающегося столба голубого цвета. Да, это был первый взрыв Вайзера, который он нам продемонстрировал в ложбине за стрельбищем. Когда мы спешили на встречу в условленном месте, нам и в голову не приходило предположить что-нибудь в этом роде. В конце

концов, мы были готовы к экзамену по стрельбе, а Вайзер поразил нас снова чем-то абсолютно неожиданным. Когда же он заложил следующий заряд и воздух снова разорвал грохот взрыва, а вверху завертелось двухцветное облако, и когда через несколько минут оно исчезло, растаяв, как утренний туман, мы готовы были хоть десять раз поклясться Вайзеру на чем угодно, что бы он ни потребовал, и сделать все, чего бы он ни захотел. Но он вовсе не торопился и ничего пока не требовал. Элька забрала у нас инструкцию и парабеллум, и это было все, если не считать, что Вайзер назначил на завтра новую встречу — на кирпичном заводе сразу после полудня. Мы стояли, немного растерянные, ожидая, что будет дальше.

— Можете идти домой, — сказал Вайзер, — на сегодня достаточно!

— А завтра будем стрелять, правда? — робко спросил Шимек. Вайзер не отвечал, зато Элька выскочила:

— Не морочьте ему голову, — словно Шимек ляпнул какую-то глупость. — У него есть дела поважнее вашего стреляния! Слушайте и ни о чем не спрашивайте, ясно?

Можно ли было что-нибудь добавить? Вечером, из-за отсутствия других занятий, мы стреляли из рогаток в банки, поставив их на мусорный ящик, и такую примерно вели беседу:

— Говорю тебе, он затевает что-то грандиозное.

— Но что?

— Не знаю, ну, что-то такое, о чем весь город будет говорить, и про нас напишут в газетах!

— Дурак! В газетах не пишут про таких, как мы!

— А вот напишут!

— Но что он, вообще-то, задумал?

— Если нас поймают, наверняка посадят.

— За что?

— А оружие? Это тебе не хрен собачий! И генератор, и взрывы — тоже.

— Так ведь не наше всё!

— Наше не наше, а мы были с ним!

— Но что именно он сделает?

— Восстание!

— Ха, восстание! Восстание устраивают в городе, нужны баррикады!

— Ну так организует партизанский отряд!

— С одними нами? Пятерых слишком мало.

— А откуда ты знаешь, что только с нами? Может, у него таких, как мы, целая куча, и только для конспирации никто не знает друг о друге?

— Ну!

— А может, он сломает ворота в зоопарке и все клетки и выпустит зверей на волю?

— Вот это было бы да, лев шагает по Грюнвальдской!

— Не шагает, а бросается на мать с ребенком, а мы выбегаем — трах! — и нет льва — трах! — нет тигра — трах! — нет черной пантеры!

— Черную пантеру он сам!

— Ну ладно, укокошим всех диких зверей, а потом нас сфотографируют в газету, представляете? Ученики шестьдесят шестой школы спасли прохожих от диких зверей!

— Я думаю, тут дело в корабле.

— Каком еще корабле?

— Как он нас вышколит, мы уведем пароход из порта!

— Не из порта, а с рейда!

— Хорошо, пускай с рейда, и пожалте — он на мостике, наша забота — каюты и трюм, и вперед — в Канаду!

— В Африку!

— Не в Африку, говорю тебе — в Канаду!

И так между партизанскими боями и угоном парохода в Канаду проходил вечер. А пока мы расстреливали ржавую банку, все больше камней собиралось под мусоркой, все сильнее натягивали мы велосипедную резину на рогатках, но тут сгустились сумерки, и пора уже было возвращаться домой. Но почему мы не говорили об М-ском? Почему не обсуждали его встречу с черноволосой женщиной у реки, почему не поразил нас вид учителя в спущенных штанах и кальсонах, битого по лицу, того самого М-ского, перед которым мы дрожали на уроках естествознания и на переменках, когда он проходил запруженным коридором? Может, Вайзер был нам ближе, чем тайны М-ского? А может, мы не были еще знакомы с пороком?

В ту ночь приснился мне, однако, сон, который я помню до сих пор, цветной, как фильм Диснея, и очень тревожный. Я стоял на берегу моря, кажется, на рассвете, а из воды выходили один за другим звери. Таких чудищ бесполезно искать в зоологическом саду или в какой-нибудь книге о фауне заморских стран. Первым, отряхиваясь от воды, показался крылатый лев, за ним на песок вышел рычащий медведь с костью в зубах, а потом из зеленой бездны выплыла черная пантера о четырех головах, с птичьими крыльями на хребте. Хоровод замыкал самый удивительный монстр — помесь носорога с тигром, с огромными стальными зубищами, со множеством рогов, как у оленя-мутанта. Сколько этих рогов торчало над страшной мордой — не помню, может, десять, а может, двенадцать, не это, в конце концов, самое важное; звери набросились на ближайшие дома рыбаков, выламывали ударами лап двери и ставни, в клочья раздирали разбуженных мужчин, когтями вырывали у женщин волосы, а детям, не сумевшим убежать, разбивали головы о беленые стены. Продолжалось это долго, и страх, который я испытывал, не позволял даже проснуться и вырваться из кошмара. Вдруг на восточной стороне я увидел в солнечных лучах маленького мальчика, одетого в белое. Сомнений быть не могло— это приближался Вайзер, вытянутой рукой указывая на кого-то или что-то, чего я не мог разглядеть в мешанине дергающихся тел и изуродованных трупов. Вайзер подошел прежде всего ко льву и вырвал у него орлиные крылья. Зверь упал бездыханным, судорожно колотя по песку хвостом. Потом Вайзер тронул рукой медведя — и тот бессильно повалился на песок. Третьим было чудище с рогами — Вайзер повыдергивал их, как былинки, и чудовище упало на колени, а потом на брюхо, стальные зубы выпадали у него из пасти и превращались в круглые монеты по десять злотых. Под конец Вайзер схватился с черной четырехглавой пантерой с птичьими крыльями на хребте, и это было самым удивительным и самым страшным одновременно: все четыре пары глаз, и четыре носа, и восемь ушей — все это принадлежало М-скому, так как лица на всех четырех головах бестии были четырьмя лицами М-ского. Никогда не забуду, как отвратительно они выглядели. Так же, как в зоопарке, Вайзер пронзил пантеру взглядом и только ему известным способом превратил ее в перепуганного котенка, который ластился и лизал руку укротителю. Я не слышал, что́

Вайзер сказал оставшимся в живых рыбакам и их семьям — все заглушал гул прибоя, а также подъезжающий трамвай четвертого маршрута, разворачивающийся, как обычно, с отвратительным скрежетом и визгом на елитковском круге; Вайзер ловко вскочил в трамвай и уехал, словно турист, возвращающийся с пляжа в город. Солнечный зайчик, отразившийся в окне второго вагона, ослепил меня, и я вдруг почувствовал влажные от пота простыни и понял, что лежу в постели, а все остальное — самый что ни на есть обыкновенный сон. Самый обыкновенный? Луч солнца проникал в щель между штор и щекотал меня, сквозь закрытую дверь в кухню я слышал, как отец уходит на работу, возле меня еще храпела мать, уставшая от вчерашней целоденной стирки. Над кроватью висела оправленная в бидермайеровскую раму икона Ченстоховской Божьей Матери, а с улицы через открытое окно долетал грохот телеги, направляющейся на базар в Оливу. Не было ни моря, ни выходящих из него зверей, ни Вайзера в белой одежде, ни растерзанных рыбаков. Вместо этого я услышал шаги в коридоре — сосед прошлепал в ванную. В бывшей немецкой квартире, поделенной на маленькие клетушки тонкими перегородками, много чего было слышно — даже то, что сосед бреется сейчас, равномерно водя бритвой, и что после вчерашней попойки у него понос. Так что же тот сон? Я ничего не пропустил и ничего не прибавил. Может, он посетил меня вместо вчерашней беседы об М-ском, которая так и не состоялась?

Я так боялся этого сна, что даже когда в последний раз стоял на коленях перед решеткой исповедальни и ксендз Дудак казался мне таким же важным, как Папа Римский или Священная Конгрегация по Делам Веры, — даже тогда я не мог рассказать ему о тех картинах, которые запомнил навсегда. Было это в январе семьдесят первого года, когда я уже точно знал, что произошло с Петром и как выглядели его похороны. Я пришел тогда не исповедоваться в грехах, однако опустился на колени, как всегда, полон смирения и печали перед лицом величия.

— Не горячись, сын мой, приговоры Провидения неисповедимы и не нам, в самом деле, разгадывать их смысл и значение, — говорил ксендз, а я чувствовал его кислое старческое дыхание, и все больше нарастали во мне слепой гнев и отчаяние.

— Означает ли это, отец, — спросил я, — что Бог хотел его смерти?

— Никогда нельзя так говорить, никогда, — выпалил он на одном дыхании, а я спрашивал дальше:

— Но ведь, отец, все делается по воле Божьей, значит, и эта смерть почему-то была Ему нужна, разве не так?

— От меча гибнет тот, кто меч поднимет, — послышалось из-за решетки.

И тут я уже не смог сдержаться и закричал чуть ли не благим матом, аж всполошились все подслушивающие святоши:

— Этого не может быть, отец, Петр ни с кем не воевал и не поднял даже камня, вы сами знаете, как это произошло, именно случайно!

— А чего ты, собственно, хочешь? — прервал меня ксендз Дудак. — Нет случайностей там, где правит Бог. Чего бы ты хотел? Чтобы я, Его слуга, открывал тебе, который есть просто прах, Его тайны? С какой это стати Он будет открывать тебе свои замыслы? Грешишь, сын мой, гордыня — тяжкий грех, и бóльшие, чем ты, вопрошали, и им не отвечено. Читал книгу Иова? Сколько ты претерпел в сравнении с ним, что смеешь так спрашивать и еще впадаешь во гнев? Тут требуется дух смирения, сын мой, смирение и терпение всем нам потребно! Вот что!

— У меня хватает смирения, отец, — отвечал я уже тише, — но почему неправедный ходит в почете, глумясь над праведностью богобоязненного? Разве нельзя это изменить?

— Награда вам будет обильна на небесах, а в политику не впутывайся!

— Петр не впутывался!

— Не тебе, сын мой, судить о приговорах Господних. Есть у тебя еще какие грехи?

— Нет никаких, отец, я пришел только спросить, почему все меньше во мне веры.

— Согрешил снова, — прервал он меня, ерзая на своем сидении, — не только гордыня твой грех, но и сомнение! Перестань думать о своем друге и молись.

— Не могу, — прервал его на этот раз я, — не могу, отец, чем больше думаю, тем меньше во мне веры!

— Кайся в своих грехах!

— Не могу!

— Моли Бога о прощении!

— Не нахожу в себе вины, отец!

— Сатана подстерегает тебя, сын мой, проси прощения!

— Не могу, не могу, не могу!

И с криком я выбежал из костела, ибо перед глазами снова встала сцена из сна об укротителе диких зверей на елитковском пляже.

Итак, снова Вайзер вернулся ко мне — между решетками исповедальни. Быть может, это неожиданное вторжение в интимнейшую сферу жизни было еще одной хитростью для усыпления бдительности; к этому, впрочем, мне еще придется вернуться. Я лежал на топчане, проснувшись после кошмарного сна, мать храпела, измученная вчерашней стиркой, а из ванной донесся звук спускаемой воды. Я подумал, что сегодня Вайзер обязательно проверит, каких успехов добились мы в трудном стрелковом искусстве, и меня порадовала сама мысль о посещении заброшенного завода.

Тем временем... Тем временем? Пусть будет так — тем временем дверь кабинета, не знаю уж в который раз, отворилась, и большая, извергающая свет и табачный дым пасть Левиафана выплюнула худую фигурку Петра. Он был смущен и растерян — ему не хотелось признаваться нам, что его довели до слез. Ясность ума он, однако, сохранил, и когда мужчина в форме вызвал Шимека, Петр так, чтобы мы увидели, руками изобразил, будто зажигает спичку. Значило это, что на допросе он изложил версию, о которой мы успели условиться: обрывок платья Эльки должен был сгореть в костре, к удовлетворению тех троих и пана прокурора, ожидающего закрытия дела. Мы незаметно кивнули. Только где лежал этот несчастный обрывок, где мы его нашли? Наверняка они вытащат карту и заставят показать с точностью до метра. И еще — где был этот костер? Об этом мы не договорились, а телепатическими способностями ни один из нас, к сожалению, не обладал. Сержант захлопнул за Шимеком дверь, и в канцелярии, где я пересчитал уже во всех возможных комбинациях дощечки паркета: вдоль, поперек и по диагонали, — в канцелярии воцарилась глухая тишина, наполненная мерным тиканьем часов. Я боялся заснуть. Со времени того сна боялся, что, если опущу веки, если не смогу отогнать дурные мысли, он может повториться. Боялся все последующие дни, до самого конца каникул, и теперь, в кан-

целярии, боялся еще больше. Почему я не рассказал тогда этот сон Шимеку или Петру? Почему утаил картину странных зверей, выползающих из моря на елитковский пляж, почему не встал, как Желтокрылый, и не открыл свою правду? Только теперь, когда мы сидели на складных стульях при свете одной-единственной лампы на столике сторожа и когда Петр печально понурил голову и я увидел красные полосы на его руках, — только теперь до меня начал доходить смысл случившегося со мной после моего сна, когда мы стреляли из "шмайсера" в ложбине за стрельбищем. Но все по порядку.

В условленный час мы были, конечно, на кирпичном заводе. Вайзер молча достал из кляссера двенадцать зеленовато-бурых "адольфов", прилепил их к кирпичной стене, вручил нам заряженный парабеллум и сказал: "Каждому по четыре, стрелять, пока не покончите со всеми!" Эльке было велено считать количество стреляных гильз и наполнять обойму. Помню хорошо: лучшим оказался Петр, так как на попадание в четырех канцлеров потратил только шесть патронов; вторым был Шимек — Элька подобрала с пола восемь гильз; третьим — я: на четырех "адольфов" мне понадобилось целых одиннадцать выстрелов. От грохота у меня звенело в ушах. "Неплохо, — сказал Вайзер. — А тебе, — это было адресовано мне, —надо еще поупражняться!" И когда Вайзер объявил, что теперь мы пойдем в ложбину, поскольку он не ошибся в нас — именно так и сказал, — когда мы шли в зарослях папоротника, крапивы и дрока, минуя перелесок и черные даже днем ели, я подождал, пока он отстанет немного от остальных, и рассказал ему свой сон как великую тайну. Я рассказывал о чудищах, выползавших из моря, и о том, как он укротил их, спасая несчастных рыбаков. Не думаю, что я хотел тогда подлизаться к нему, хотя стрелял хуже всех, нет, во всяком случае, Вайзер так это не воспринял, выслушал, не перебивая, до конца и сказал — я прекрасно помню: "Хорошо, не говори никому об этом, — но то не была угроза, — и, помолчав, добавил: — Будешь менять мишени, это очень важное дело". И я шел дальше, счастливый, потому что вроде как удостоился особой милости, несмотря на мои жалкие результаты в стрельбе.

Да, если сейчас я пишу, что Вайзер повернулся к нам какой-то совсем другой стороной, у меня есть на то веские основания, однако это вовсе не означает, что он не был в то же время нашим вожаком или попросту генералом. Кому, кроме генерала, пришла бы мысль стрелять рядом с армейским стрельбищем, под самым носом у самых настоящих солдат? Подвал на заводе был слишком мал для забав с автоматом. Но где можно было стрелять так, чтобы отголоски выстрелов рано или поздно не привлекли к нам внимание окрестных жителей или любителей лесной малины? Замысел Вайзера был прост: если на военном стрельбище проходили стрелковые учения, то мы должны были проводить свои учения в тот же час и поблизости от этого места. Сразу же за высоким валом стрельбища начиналась ложбина, где примостившийся с краю перелесок, высокая трава и густой кустарник позволяли в случае необходимости удрать. В конце ложбина переходила в тянувшуюся на два километра и поросшую сосновым бором расселину, для перекрытия которой потребовалось бы человек пятьдесят солдат. Все это предусмотрел и тщательно спланировал Вайзер; мы наблюдали с восхищением, как он приказывает нам занять позиции, заряжает автомат и ждет, когда по другой стороне насыпи раздадутся выстрелы. "Сейчас я покажу вам, — сказал он, готовый нажать на спуск, — как это нужно делать!" И едва мы

услышали ударившую в стену леса дробь коротких очередей за валом, Вайзер приложился к автомату и дал такую же короткую очередь, похожую на эхо той, на стрельбище. "Они ни о чем не догадаются, — сказал он, — с той стороны это звучит как эхо, нужно только стрелять в ту же секунду".

В этом была вся хитрость — следовало, приготовившись к выстрелу, всякий раз дожидаться, пока по другую сторону вала на настоящем стрельбище очередной солдат нажмет на спуск. Так что практически мы стреляли одновременно в тот же самый дерн, которым была обложена насыпь с обеих сторон. Только у солдат были автоматы Калашникова, а у нас немецкий "шмайсер", найденный и сохраненный Вайзером. Самое трудное было приспособиться к ритму. Их короткие очереди чаще всего состояли как бы из трех частей, промежутки между которыми редко бывали одинаковы. Тах, та-тах, та-та-тах — так было преимущественно: один, два и потом три выстрела с краткими паузами. Но бывало и по-другому — например, три, два, два, один, или два, три, два, либо один, один, три, а потом неожиданно еще один.

— Стреляют так, будто у них мало патронов, — сказал Шимек, — совершенно непонятно.

А Вайзер поверх вынутой обоймы улыбнулся, как обычно, почти незаметно и бросил как бы между прочим:

— Святая истина, солдат должен стрелять так, будто у него мало патронов.

Петр поинтересовался почему.

— А сколько патронов ты бы смог притащить на поле боя? — спросила Элька самоуверенно, будто сама все знала. — Сто? Двести? Девяносто штук?

После этого вопроса, на который так никто и не дал ответа, у нас не осталось сомнений, что Вайзер готовит нечто грандиозное, и мы вдруг почувствовали себя верными бойцами Фиделя Кастро, которые год назад второго декабря высадились на берег в провинции Ориенте и боролись с ненавистным Батистой, прислужником империализма, о чем целый урок естествознания увлекательно рассказывал М-ский.

— Жаль, — прошептал Шимек, когда мы лежали под папоротниками, поскольку за валом был как раз перерыв, — жаль, что у нас нет такого Батисты!

— А тебе что? — спросила Элька.

— Не понимаешь, — пояснил Петр, — мы бы ему задали жару! Высаживаемся с моря на пляж, атакуем казармы, и во всей стране вспыхивает революция, настоящая революция с партизанами и вообще!

Элька расхохоталась так громко, что даже Вайзер посмотрел на нее укоризненно.

— Ну вы даете, — сказала она, подавив смех, — дураки, разве можно устроить революцию во второй раз?

Но времени, чтобы объяснить Эльке, как сильно она ошибается относительно нашей заветной мечты, не было: Вайзер велел мне идти на насыпь, а остальные стали готовиться к следующей серии выстрелов.

Мишени, по которым мы стреляли, не были, к сожалению, Батистой. На упаковочной бумаге черной краской был нарисован М-ский с усами, как в прошлый раз в подвале кирпичного завода, напоминавший, может уже чуть меньше, но все равно напоминавший огромные портреты, которые мы несли еще во втором классе на первомайской демонстра-

ции. И тут случилось то, чего тогда я не мог понять и что в канцелярии школы каким-то образом стало ясным и неслучайным. Когда я придавил лист бумаги последним камнем, за валом стрельбища раздались выстрелы. "Тах, та-тах, та-та-тах", — застучало по стене леса. Это была очередь в один, два и три выстрела. "Скорей! — крикнула мне Элька. — Спускайся, начинается!" И я понял, что необходимо быстро исчезнуть из зоны выстрелов, так как теперь автомат был в руках у Вайзера и он нетерпеливо ждал следующей очереди с той стороны, которая должна была прозвучать не позже чем через десять секунд. Так что у меня было десять секунд, чтобы сойти с вала и пробежать узкой тропкой вдоль него до конца, откуда можно было вернуться к ребятам по краю ложбины, не рискуя схлопотать пулю. Я бежал во всю мочь, но был еще только на полпути, когда за валом снова зазвучала канонада. Неужели Вайзер решил, что я уже достаточно далеко от мишени и он, лучший из нас, уже может стрелять? Так я подумал несколькими секундами позже, когда почувствовал легкий щипок пониже левой щиколотки, прямо над пяткой, и решил, что какая-то колючка или камень поцарапали мне кожу, так я думал мгновенье, ибо минуту спустя уже лежал на траве и боль не позволяла мне встать и сделать хотя бы шаг. Наши выбежали из папоротника, бросив автомат.

— Рикошет, — кричал Вайзер, — рикошет, не двигайся, не двигайся! — и вот уже все были около меня.

Элька сняла с меня сандалию, а Вайзер поднял ногу и осмотрел ее. Это и вправду был рикошет, пуля ударила в стопу, вырвав кусочек мяса, но внутри не застряла.

— Все в порядке, — сказал Вайзер, — кость не повреждена, нужно перевязать, чтобы не было заражения!

— До дома далеко, — заметила Элька, — а тут у нас нет даже перекиси водорода!

Я смотрел, как капли крови застывают на песке темными сгустками, но не мог сделать даже двух шагов без помощи Шимека и Петра, которые подставили мне плечи.

— На завод! — скомандовал Вайзер, и мы действительно вдруг почувствовали себя на настоящей войне. С другой стороны вала доносился гром выстрелов, свист пуль, которые пробивали щиты и увязали в песке, доходил даже сюда, и я был самый настоящий раненый, и нога у меня очень болела. Впереди шагал Вайзер, за ним ковыляла наша тройка, замыкала же колонну Элька, немного отставшая, так как Вайзер велел ей забрать использованные мишени и автомат, завернутый в старый холщовый мешок.

В подвале завода было холодно, и на минуту боль вроде бы утихла, но только на минуту, так как, когда Элька дотронулась до моей пятки, я дико заорал: "Что ты делаешь, ненормальная?" И она отступила, отчасти от испуга, а отчасти из уважения к моей ране, из которой все еще сочилась кровь. Меня уложили на большой ящик.

— Загрязнилось песком, — сказал Вайзер, — нехорошо! — Конечно, речь шла о дырке в ноге, а не о ящике. — Принеси воды, — приказал он Эльке и, когда она исчезла, достал из другого ящика спиртовку. — Вода только для начала, — обратился он неизвестно к кому, — потом нужно будет прижечь. — Вслед за спиртовкой он вынул из ящика сломанный немецкий штык, тоже, наверное, где-то найденный. Элька принесла в консервной банке воду и платком промыла дырку.

— Больно? — спросила она.

Я ничего не ответил. Я все это время смотрел, что делает Вайзер. Он поставил спиртовку на два кирпича, зажег горелку и теперь, поворачивая, купал в голубоватой струе огня острие штыка.

— Это единственный способ, — сказал он, не отрывая глаз от горелки, — чтобы не началась гангрена. Нет у нас тут ничего, кроме этого.

Шимек, навалившись на ребра, прижал меня к ящику, Петр ухватил за правую, здоровую ногу и тоже навалился на нее, чтобы не дергалась, а Вайзер зажал мою левую голень под мышкой и, вооружившись раскаленным штыком, как заправский фельдшер, приступил к операции. Стопу он поднял поближе к свету, и все время, пока ковырял острием штыка в дырке, я видел его руку.

— Этот "шмайсер", — проговорил он спокойно, ковыряя кончиком штыка в дырке, — никуда уже не годится! Я знал, что он немного сносит, но чтоб такой разлет — нет, с этим нельзя смириться. — Так и сказал: смириться. И сразу же, когда острие глубже вошло в рану, добавил: — Пойдет на лом, а замок, магазин и курок вынем. — К кому он обращался? Все, как и я, молчали, и только чад горелой кожи разносился по подвалу. — Хорошо, — сказал он, откладывая штык, — теперь приложи ему платок, и через минуту можете проводить его домой.

Элька исполнила приказ, бережно обвязав мокрым лоскутом стопу, хотя могла вовсе не церемониться, потому что после того, как Вайзер убрал из раны острие штыка, я не чувствовал уже ничего, будто ноги у меня не было или она была не моя, а деревянная.

— Я останусь здесь, — заявил он, — а ты, — обратился к Эльке, — иди с ними. — Когда мы были уже на скрипучей лестнице, он задержал нас еще на минуту: — Наверно, тебе придется посидеть дома, — сказал он на этот раз мне, — если спросят, что случилось, скажи, наступил на ржавую колючую проволоку. Да, ржавая колючая проволока, — повторил он спокойно, — а теперь идите!

Не помню в точности, каким путем мы возвращались домой, может быть, как обычно, через пригорок над армейским стрельбищем, а может, через поляну, на которой были разбросаны большие эрратические валуны и которую поэтому мы называли карьером. Уже тогда слова Вайзера показались мне странными. Автомат, из которого мы стреляли, совсем не сносил, коль скоро даже я в последний раз попал в М-ского целых пять раз. И если даже и сносил, то, согласно законам оружейного искусства, вверх либо вниз от цели, но никак не вбок.

"Тебе придется посидеть дома", — вспомнил я его фразу уже в школьной канцелярии и вдруг понял, что дело было именно в этом, это было нужно Вайзеру, он не хотел, чтобы в ближайшие дни я был с ними, — а узнавать обо всем я мог от Шимека или Петра. Вайзер отстранил меня сознательно, и не по причине слабых результатов в стрельбе. Может, он хотел меня остеречь? Но от чего? Во всяком случае, каникулы эта история с ногой мне испортила, и даже теперь, когда я пишу эти слова и поглядываю на ногу, я знаю, что под носком у меня на два сантиметра ниже щиколотки — тот шрам от вайзеровского рикошета и прижигания раны. Знаю также, что, когда ветер с залива меняет направление, я чувствую слабую, едва ощутимую — как будто тонкая струна напряглась — боль в левой стопе и никогда не смогу забыть того, что произошло в ложбине за стрельбищем, и Вайзера, и все то, до единого дня, жаркое лето, когда засуха опустошала поля, вонючая "уха" заполнила залив,

епископ и ксендз вместе с верующими молили Бога о смене погоды, люди видели комету в форме конской головы, Желтокрылый сбежал из дурдома и за ним гонялась милиция, каменщики перестраивали евангелическую часовню в новый кинотеатр напротив бара "Лилипут", а мужчины из нашего дома восхищались речами Владислава Гомулки и говорили, что такого вождя у рабочих еще не было и не будет. Все, что видели тогда мои глаза и чего касались мои руки, все это заключено в том шраме повыше пятки, шраме длиной в сантиметр, шириной в полсантиметра, который я трогаю пальцами, когда теряю нить или задумываюсь, все ли тогда было на самом деле, как была на самом деле наша улица, мощенная булыжником, магазин Цирсона, дымящая колбасная фабричка и казармы, возле которых мы играли в футбол, или когда меня охватывают сомнения, не было ли все это сном мальчишки о собственном детстве или о грозном учителе естествознания М-ском и ненормальном, одержимом странными маниями внуке Авраама Вайзера, портного. Да, именно тогда я наклоняюсь к левой стопе и пальцами правой руки потираю этот шрам и убеждаюсь, что Вайзер существовал на самом деле, что взрывы в ложбине были настоящими взрывами и что ничего в этой истории не выдумано, ни одна фраза и ни одно мгновение того лета и того следствия. И снова вижу, словно опять там очутился, ксендза Дудака с золотой кадильницей, чую запах горелого янтаря и слышу: "Славься, Иисусе, Сын Девы Марии", и вижу, как Вайзер выныривает неожиданно из сизого облака, пахнущего вечностью и милосердием, вижу, как он смотрит на все это своим неподвижным взглядом, а потом слышу: "Вайзер Давидек не ходит в костел!" И его клетчатая рубаха порхает в воздухе, Элька сражается как разъяренная львица, и только мы не можем ничего понять. А впрочем, о чем можно сказать: "Я это понимаю"? О чем вообще и о чем из того, что касается этой истории? Понимаю ли я, например, почему Вайзер отстранил меня на какое-то время? Понимаю ли я, каким образом Петр, покоясь под землей, может со мной разговаривать? Ни одна теория этого не способна объяснить. Единственное, что я могу сделать, это рассказывать дальше.

Да, если Вайзер, по известным только ему причинам, старался надолго задержать меня дома, ему вполне удалось осуществить свой замысел. Без заражения, правда, обошлось, но уже на другой день стопа распухла, как пузырь, и в дырке собрался гной. Мать потащила меня к врачу, который промыл рану, прописал компрессы и порекомендовал поменьше двигаться. Теперь мне приходилось целый день чистить картошку, следить, чтоб не переварилась лапша, и слушать, как мать жалуется на отца и на всех мужчин: такая уж у меня была мать — добрая и ворчливая. Покалеченная нога была, по ее мнению, карой за непослушание и постоянные шатания вне дома. Вдобавок в доме с утра до вечера было включено радио, а я чистил картошку или раскатывал тесто для лапши, чего не выносил больше всего, так как это стопроцентно бабское занятие, — так вот, при всем при этом в кухне наяривал народный оркестр, то из Опочно, то из Ловича, а когда он умолкал, сразу же начинались оперные арии из "Бориса Годунова" или "Травиаты", скучные, длинные и тяжелые, перемежающиеся время от времени фрагментом какой-нибудь увертюры. Я жалел, что у нас нет такого радио, как у пана Коротека, которое можно переключать на разные диапазоны, наш же репродуктор передавал только одну программу, и эбонитовой ручкой можно было самое большее лишь приглушить визгливый голос испол-

нительницы народных песен или мощный баритон русского певца. Мать вообще не разрешала выключать репродуктор, так как иногда, случалось, передавали танцевальную музыку или, совсем уж редко и коротко — американский джаз. Тогда она крутила эбонитовую ручку до упора, отбирала у меня скалку или нож для чистки картошки и делала всю работу за меня, притопывая, подпевая и улыбаясь. Я знал, что мать очень любит танцевать, но, сколько помню, отец никуда ее с собой не брал. Приходя уставшим с работы, он после второго блюда обычно засыпал над газетой, а в воскресенье, вернувшись из костела, ложился на кровать и мог так дремать целый день, если кто-нибудь из приятелей или соседей не вытащит его в бар "Лилипут". В общем, скучал я ужасно, тем более что единственной, кроме кулинарной, книжкой у нас в доме была почему-то "Кукла" Пруса, которую я бросил после первой же главы, ничуть не сожалея, что не узнаю, как там было дальше. Я умирал от любопытства, что́-то сейчас поделывают ребята, но мать не разрешала мне торчать у окна, и я не мог даже окликнуть Шимека или Петра, когда они проходили по двору. Два дня они не подавали признаков жизни, словно Вайзер запретил им приходить в нашу квартиру. Только на третий день утром Петр постучался в дверь. Разговаривать нам пришлось шепотом, так как в нашей квартирке, кроме комнаты и кухни, никаких других помещений не было, а мать курсировала туда-сюда, гладя и готовя одновременно.

— Вчера он показал нам новый трюк, — сказал Петр без особого энтузиазма.

— А что такое? — я чуть не подпрыгнул. — Что это было?

— Ничего особенного, ну, знаешь, с огнем.

— С каким еще огнем?

— Мы жгли костер.

— Где? — быстро спросил я.

— Недалеко от завода, там есть такая поляна в орешнике, — тянул резину Петр.

— Но что это был за трюк?

И припертый к стенке вопросами Петр рассказал, что сначала стреляли из нагана, как обычно, в подвале, и было это труднее, чем из парабеллума и "шмайсера", потому что наган, говорил Петр, чертовски отдает, и бьет вбок, и сносит как ни одно оружие. Потом Вайзер сказал им про этот костер, и они пришли в условленное место вечером. Тогда он и заявил, что когда мы увидели в подвале завода, как он танцует и поднимается в воздух, то, наверно, приняли его за сумасшедшего, и он даже за это на нас не сердится, потому что в подобной ситуации сам бы так подумал. Но то было никакое не сумасшествие, просто, как он сказал, продолжал Петр, он собирается стать цирковым артистом.

Я не поверил.

— Цирковым артистом, — повторил Петр, поедая принесенные матерью на фарфоровой тарелочке вишни. — Как только он отработает несколько мировецких номеров, даст драпака из школы, и любой директор цирка примет его с распростертыми объятиями, даже без свидетельства об окончании седьмого класса, а Элька будет его ассистенткой.

— А стрельбище? А взрывы? А оружие? А похищение корабля? А восстание? Партизанский отряд? Это все фигня?

— Успокойся, — сказал Петр, выплевывая косточки в ладонь, — мы тоже у него спросили, и он сказал, что стреляет просто так, для развлечения, хотя, может быть, использует это для какого-нибудь номера, он

сам еще не знает и посмотрит. И потом показал нам, — продолжал Петр свой рассказ, — трюк с огнем, то есть вынул из костра раскаленные угли, разложил на земле и стал на них босиком, а потом ходил туда-сюда, и ничего, даже не пикнул, и когда показал стопы, даже следа от ожога не было. Еще есть немного?

Я принес из кухни истекающий водой дуршлаг, полный последних в том году вишен.

— А она ему при этом играла?

— Нет, — он снова мямлил — трудно было быстро говорить с набитым ртом, — она все время тараторила как заведенная, но, верно, потому, что уже это видела.

— И он ничего больше не говорил?

— Нет, а что еще ему говорить, когда мы и так раззявили рты? Такой трюк удается только факирам, а он смог.

— Так почему бы ему сразу не пойти в цирк? Он столько всего может, что его примут сразу, помнишь пантеру в зоопарке?

— Ихм... — он снова выплевывал косточки одну за другой, на этот раз в тарелку.

— Может, он еще что-нибудь готовит?

Петр пожал плечами.

— Откуда мне знать? Никогда не известно, что артисту придет в голову.

— А ты откуда знаешь?

Он выплюнул последние косточки.

— Знаю... так, вообще, ну, пока, — и он исчез, не сказав даже, какие у них планы.

А я сидел целый вечер и воображал, как Вайзер будет выглядеть во фраке, с бичом в руке, укрощающий львов или, еще лучше, черную пантеру, в лучах прожекторов, кланяющийся публике под бурю аплодисментов. Это могло быть прекрасно — и Элька в костюме, обшитом сверкающими как алмазы монистами, Элька, которая могла бы держать огненный обруч или засовывать в пасть самому свирепому льву голову, отчего весь зрительный зал замирал бы в ужасе, а пожилые дамы теряли бы сознание, конечно, только пока продолжается номер. Тут Вайзер перехитрил нас как маленьких: все мы поверили в его планы и приняли последний трюк с раскаленными углями за доказательство правдивости его слов. Кто мог предположить, что это был искусный обман? Я не говорю о его босых ногах, ступающих по углям, тут наверняка не было обмана, речь только о переключении внимания в совершенно другом направлении, туда, где уже не было места никаким другим догадкам.

Часы в канцелярии пробили одиннадцать. Ко мне вернулось ощущение времени. Дверь кабинета вдруг отворилась, и я услышал произнесенную М-ским свою фамилию.

— Садись, — буркнул сержант. — А ты, — обратился он к Шимеку, — возвращайся на свое место!

— Ну так что, — М-ский сразу же приступил к делу, — почему только Королевский написал в своем показании, что обрывок красного платья вы сожгли на костре? Почему ни ты, ни твой другой приятель об этом не написали, а?

— Я боялся.

— Боялся?

— Да.

— Ну так скажи, где вы нашли этот несчастный клочок материи?

— В ложбине за стрельбищем, там, где Вайзер устраивал свои взрывы!

— Это мы уже знаем, — сказал более мягко директор, — нас интересует подробное описание места, вспомни, и все будет хорошо. — Говоря, директор играл концом своего галстука, который теперь не напоминал уже ни якобинский бант, ни мокрую тряпку, а похож был на петлю со свободным узлом, двигающимся вверх или вниз по веревке.

— Ну, вспомни, — повторил сержант словно эхо.

— Где-то в папоротнике.

М-ский сухо рассмеялся.

— Кого ты пытаешься обмануть? Папоротника там больше, чем деревьев!

Сержант разложил план ложбины на письменном столе.

— Подойди сюда, — сказал он, — и покажи точно, где это было!

Что было делать? Я понятия не имел, какое место указал им Петр, а потом Шимек, так что я ткнул пальцем поближе к крестику, обозначающему точку, где Вайзер закладывал заряды.

— Врешь! — это кричал М-ский. — Опять врешь, и твои приятели тоже врут, все вы заодно, но я вас... — и он уже протянул руку, чтобы схватить меня за ухо, но директор удержал его быстрым движением.

— Минутку, коллега, спросим у него, где был костер, в котором они сожгли обрывки материи.

— Это были вовсе не обрывки, — вмешался я, и они замерли от удивления, ожидая, что я скажу еще, — это не были обрывки, это был целый кусок платья!

— Королевский ясно написал: обрывок материи; ну а если не обрывок, то что? — сержант пододвинулся ко мне, так что я видел струйки пота, стекающие у него с висков. — А может, скажешь, что это было целое платье, а?

— Нет, пан сержант, это не было целое платье, наверняка не целое, но кусок большой, с эту карту, во, — и я показал руками, какой большой был этот кусок, которого никто не видел, так как Элька вовсе не взлетела в воздух. Сержант пододвинулся еще ближе.

— Если так, то все указывает, что должен был где-то остаться и кусок тела, а об этом Королевский не написал, так же, как ни один из вас.

— Было тело или нет? — рявкнул М-ский. — Только не крути опять!

— Только этот кусок платья, — ответил я, довольный, что их запутал, но они на это не клюнули и сразу вернулись к тому же вопросу.

— Большой или маленький, не важно, — заявил директор, — но ты не сказал нам самого важного: где вы его сожгли?

— Недалеко от железнодорожной насыпи.

— Какой насыпи?

— Ну той, по которой не ходят поезда.

— В каком месте?

— Около взорванного моста.

— Морочишь голову! — М-ский был уже угрожающе близко. — Взорванных мостов несколько, возле которого из них, точно?!

— За брентовским костелом, там, где насыпь пересекает дорогу на Рембехово!

— Хватит! — крикнул М-ский. Кончай врать, твои приятели показывают другое. — И он схватил меня за оба уха одновременно и поднял

вверх, так что я левитировал теперь, как Вайзер в подвале заброшенного завода. — Как долго вы еще будете врать? Там было не только платье, правда? Где вы закопали останки своей подружки? — спрашивал он, то поднимая меня, то опуская, а я не мог ему ничего ответить и лишь выкрикнул:

— Пустите меня, пустите! — и он наконец меня отпустил, так как у него заболели руки, и отпихнул к стене, где я мог немного отдышаться.

— Давай сюда руку, — проговорил запыхавшийся М-ский, — может, это прочистит тебе память. — И я увидел, как он вынимает из ящика стола кусок резинового шланга, тот самый, который на уроках естествознания служил стражем порядка. — Подойди ближе, — сказал он, но я не двинулся с места. — Ну, поди сюда, — повторил он, поглядывая на директора и сержанта. — Боишься?

Я продолжал стоять у стены.

— Ну так что, — спросил сержант, — скажешь или нет?

— Я уже все сказал, — всхлипнул я, потому что из глаз у меня невольно потекли слезы, но их вид только раздразнил М-ского, который подошел ко мне, схватил за руку, раскрыл мою ладонь, как маленькому ребенку, и отмерил пять ударов, звонких, как цоканье лошадиных копыт по асфальту.

— Говори!

— Это было в том самом месте, где мы видели вас над Стрижей!

— Где? — спросил директор.

— Над Стрижей, это такой ручей, который течет под железнодорожной насыпью!

М-ский замер, но только на мгновенье. Его щеки побагровели.

— Иногда я ловлю там бабочек, — обратился он к остальным, — но это не имеет никакого отношения к делу! — Он снова схватил меня за руку, но я успел его опередить.

— Тогда вы были без сачка, — сказал я, — и без коробки для растений!

Резиновый шланг повис в воздухе и не обрушился на раскрытую ладонь. М-ский посмотрел на меня грозно, но с некоторой опаской.

— Ты в этом уверен?

— Да, — и я нахально усмехнулся, так как карты, по крайней мере частично, оказались открыты. Между тем сержант и директор ничего не поняли.

— Хорошо, — сказал М-ский, — мы над этим подумаем, а сейчас перерыв, — это остальным, — на чай!

Когда я вышел в канцелярию, впервые ощущая тошнотворный привкус шантажа, смешанный со слезами, сторож вскочил со стула. “Закончили? — бросил он вопросительно сержанту. — Уже все?” “Нет, — ответил тот, — принесите воды в графине, а вы, — это нам, — ни слова!” Сторож с графином исчез, и мы услышали шарканье его шагов в пустом коридоре, а из кабинета приоткрыли дверь, чтобы мы не могли переговариваться. Все, о чем они там говорили, можно было бы услышать, если напрячь слух, но мы на сей раз этой возможностью не воспользовались.

— Наш-ли возле старого ду-ба, — шептал Шимек, — сож-гли в тот же день ве-че-ром в карь-е-ре. В семь ве-че-ра, ис-ка-ли ме-сто со стра-ху, а сей-час пу-та-ем-ся тоже со стра-ху.

Прежде чем сторож вернулся из пахнувшего тишиной и мастикой для пола коридора, о самом важном мы условились. Да, Шимек знал, что говорил, детали придумал хорошие и, самое главное, правдоподобные.

Действительно, старый дуб в ложбине трудно было не заметить. Если считать, что Эльку разорвало взрывом, обрывок платья мог и впрямь долететь до дуба. Потом мы не знали, что с этим лоскутом сделать. А на поляне с эрратическими валунами, то есть в карьере, от которого до ложбины было сорок минут ходу, лесничий и вправду жег костры. Так что мы пошли туда — разве это странно? — ну и красный лоскут сгорел в огне. Сторож вернулся с графином, полным воды, и на минуту исчез в кабинете.

— Я на-шел у кор-ней, — шептал Шимек, — ты нес в кар-ма-не, — это мне, — а Петр бро-сал в о-гонь. По-том — до-мой.

Сторож был уже с нами, дверь в кабинет была закрыта, и теперь, вспоминая эту сцену, я думаю, что был это лучший сценический шепот, какой я когда-либо слышал. Одно только оставалось неясным — почему на этот раз за водой послали сторожа, а не кого-нибудь из нас? Оставленные без надзора, даже при открытых дверях кабинета, мы могли без труда обо всем договориться, в чем у сидящих в кабинете не могло быть сомнений. Может, они хотели любой ценой завершить следствие? Или это была интрига М-ского? Об М-ском я, во всяком случае, думал на всем протяжении длинного перерыва, пока они пили чай, а мы сидели в канцелярии на складных стульях, которые ужасно впивались в зад.

Перед М-ским теперь встала сложная проблема — он, разумеется, понял, о чем речь. Незаметно игра между нами сменилась игрой между мною и М-ским, и хотя я так никогда и не сказал друзьям про мой первый в жизни шантаж, эта игра продолжалась еще долгие годы после окончания школы, и после смерти Петра тоже не закончилась, и даже — как я сейчас думаю, — возможно, продолжается и поныне совсем в другом месте и времени. Когда я закончил школу, М-ский еще преподавал естествознание и оставался замдиректора по воспитательной части. Позднее, после семидесятого года, когда два государственных мужа подписали договор, который газеты в Германии и Польше назвали историческим, когда много людей выехало навсегда в страну Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, я узнал, что М-ский был среди них. Тогда я просто пожал плечами, однако — как оказалось — рановато. Ибо во время моего визита к Эльке, о котором я написал, что это тоже была игра, только вокруг Вайзера, во время этого визита, под самый его конец, М-ский неожиданно возник из небытия, словно ничто не могло произойти без него.

Из большой комнаты на первом этаже, где лежала Элька, я поднялся в спальню. Мои руки больше не были крыльями ИЛа, а прочие члены ничем не напоминали его серебристый корпус, задирающий красное платье. Рядом с кроватью стоял маленький переносной телевизор. Я включил его и, не вникая в то, что показывают, совершенно пришибленный, натягивал пижаму Хорста. И тут я увидел на экране лицо М-ского, улыбающееся и толстощекое, отвечающее на вопросы репортера.

— Почему вы так поздно решились вернуться на родину? — спрашивал журналист.

— Ох, это не так просто, — отвечало лицо, — в общих чертах я бы объяснил это политическими причинами.

— Чем вы занимались в Польше?

— Научными исследованиями, — говорило лицо, — а по необходимости также преподавал в школе.

— Почему по необходимости?

— Потому что мои исследования, в которых я подчеркивал исключительность флоры и фауны, — хмурилось лицо, — окружающих Гданьск лесов, эти исследования не получали ни отклика, ни признания.

— По приезде вы опубликовали результаты своей научной работы?

— К сожалению, — на лице появились признаки некоторого нетерпения, — рукопись была конфискована у меня на границе.

— Почему?

— Боюсь, также по политическим причинам, — отвечало без запинки лицо.

— А чем вы занимаетесь сейчас?

— Сейчас, — лицо на минуту задумалось, — сейчас я преподаю в садоводческой школе специальные предметы.

— Продолжаете ли вы сейчас научную работу? Нет ли каких помех?

— О да! — лицо улыбнулось, как на рекламе кока-колы. — Безо всяких помех!

— И какие же вы исследования проводите, позвольте спросить?

— Я провожу исследования, — лицо приняло серьезное выражение, — исчезающих видов бабочек в Верхней Баварии.

— Будут ли опубликованы результаты ваших исследований?

— Да, — отвечало лицо, — в самом скором времени!

Я уже хотел выключить телевизор и убрать лицо, по крайней мере на эту ночь, когда на экране появилась фигура канцлера, господина Вилли Брандта. Он выступал в бундестаге, полемизируя с тезисами партии зеленых. "Вы не знаете даже, — сказал я громко, поскольку в комнате никого не было, — вы даже не знаете, господин канцлер, какого они сейчас приобрели союзника!" — и выключил телевизор, боясь, чтобы с экрана не выскочило вдруг лицо — то самое лицо из прошлого с дорисованными Вайзером усами.

Открытие это пришибло меня окончательно, и, как я уже упоминал, на следующий день я уже снова был в Мюнхене у своего дядюшки, у которого был красивый дом, газон и машина и ничего больше. Я размышлял о том, почему женщина, выглядевшая как домохозяйка, била М-ского по лицу, и даже сегодня картина эта будит во мне смешанные чувства, ибо если М-ский летом ловит исчезающих бабочек в Нижней или Верхней Баварии, то наверняка встречается там с какой-нибудь баварской домохозяйкой и так же, как над Стрижей, стоит над горным ручьем, который заглушает звук оплеух крепкой немки.

Что было дальше? Да, мы поверили Вайзеру, поверили в его сказочку. Если он не хотел быть ни вождем, ни пиратом, то почему бы ему не стать артистом, выступающим в цирке? Мой сон — так я тогда рассуждал — только подтверждал это предположение: Вайзер как никто другой, казалось, рожден был для укрощения диких зверей. Только зачем ему понадобились пиротехнические эффекты и весь этот арсенал, собранный в подвале заброшенного кирпичного завода? Этого я понять не мог, так как одно с другим имело мало общего. В целом, я верил, но не до конца, доверял, но не вполне и, ни с кем не делясь своими сомнениями, приходил на очередные взрывы в ложбину за стрельбищем. После каждого такого похода ранка в ноге снова начинала гноиться, мать ужасно на меня кричала и еще бдительнее следила, чтобы я никуда из дома не выходил. Об отдельных взрывах я не буду рассказывать второй раз. Они были такими, какими я их описал. Ничего нового я сказать не могу, по-

скольку ничего не утаил и ничего, пожалуй, не упустил. А Вайзер? Если не считать взрывов, он, как и раньше, учил Шимека и Петра стрелять — или в подвале завода, или в ложбине. Я ужасно скучал дома, зная, что они неплохо развлекаются. Однако выходить боялся — не из-за матери, а из опасения, что больная нога не позволит мне отправиться на следующий взрыв, о котором я всегда узнавал накануне от Шимека или Петра.

Прошло довольно много времени, и однажды я увидел на небе первые облака. Их высокие вытянутые в длину перья не предвещали, правда, перемены погоды, но я мог теперь торчать у окна, подперев подбородок руками, и наблюдать неторопливые изменения форм на голубом, как аквамарин, своде. Новости Шимек и Петр приносили обычные: в заливе "рыбный суп" стал чуть пожиже и на песке валяется поменьше вонючей дохлятины, но о купании нечего и мечтать. Смельчак, рискнувший сунуть в воду ногу, тут же с отвращением ее выдергивал. Чайки по-прежнему падали в больших количествах, и мусорщики собирали мертвых птиц в огромные кучи, издали выглядевшие как снежные сугробы. Их вывозили вместе с рыбой за город и сжигали на общей свалке. Рыбаки из Елиткова обратились к властям с просьбой о компенсации, но никто не мог обещать им ничего определенного. Зато в Брентове снова объявился Желтокрылый и, как рассказывали люди, продефилировал однажды в нашей ржавой каске вдоль домов, вызвав всеобщее беспокойство. Но его не поймали. В нашем склепе он, во всяком случае, уже не спал — верно, нашел себе другое укрытие. А в ложбине по другую сторону насыпи, сразу за кладбищем, появились люди с шестами — они измеряли землю и огораживали колючей проволокой территорию под садово-огородные участки. На те участки, что были уже огорожены, приходили другие люди и из досок, старой фанеры и толя сколачивали сарайчики и маленькие домики, и им очень не нравилось, когда кто-то чужой крутился поблизости. Может, потому, что прятали в этих сарайчиках заступы, мотыги и грабли, а может, потому, что просто отроду были злые и невежливые, в чем уверен был Петр.

В Гданьске по Длинному базару пустили исторический трамвай, запряженный двумя лошадьми, и билет на одну поездку стоил целых пятьдесят грошей. Ребята катались на этом трамвае, но без Эльки и Вайзера, которые в тот день куда-то исчезли. Я спрашивал, куда они могли пойти — на аэродром или на кирпичный завод, но кроме того, что утром у Эльки был при себе тот самый инструмент, в сопровождении которого Вайзер танцевал, друзья ничего не могли сказать. Шимек полагал, что Вайзер готовит какой-то новый номер и, вероятно, скоро его нам продемонстрирует. Сейчас я знаю, что Вайзер не готовил никакого нового номера, так как никогда не хотел стать артистом цирка. Но тогда мы в это верили и могли спокойно восхищаться его арсеналом или, как Петр и Шимек в тот день, ездить по Длинному базару на историческом трамвае за целых пятьдесят грошей в один конец. Кроме того, из колодца Нептуна не брызнуло еще ни капли воды, а пана Коротека оштрафовали, потому что на перекрестке, где установили недавно первый в городе светофор, он перешел дорогу, по своему обыкновению, наискось. Вдобавок обозвал милиционеров сопляками, и его чуть не забрали в участок. Еще что-нибудь? Да, на соседней улице, которая называлась улицей Карловича, поставили электрические фонари, а старые газовые увезли. Бар "Лилипут" был закрыт целых три дня после последней драки каменщиков с солдатами, которые без увольнительной по одно-

му выскакивали из близлежащих казарм пропустить по маленькой. Новый кинотеатр должен был называться "Факел", и обещали, что там будет широкий экран, – в "Трамвайщике", что возле депо рядом со школой, такого экрана не было.

Вайзер ни разу не навестил меня, пока я сидел дома, когда же я приходил на его взрывы, ни словом не обмолвился о дырке в ноге и о том, что тогда случилось. Время шло для меня медленно и спокойно, как и для всех в нашем районе в то жаркое лето, когда пыль июня и июля и грязь августа ни разу не смыл с листьев долгожданный дождь. Не имея другого занятия, я рисовал в тетради все, что только приходило в голову. Один раз это был Желтокрылый, стоящий на крыше дома в Старом городе. Прямо за его спиной росли стройные сосны, а над городом и над головами собравшихся на тротуаре людей пролетали самолеты, целыми косяками, как журавли. В другой раз на странице тетради появился Вайзер, пролетающий над заливом на черной пантере, рыбаки падали на колени, а их жены прятали головы от страха. Был там и пан Коротек, кативший через двор огромную, как бочка, бутыль с водкой, из которой выскакивали мыши прямо в ближайший мусоросборник. М-ского я нарисовал вместе с ксендзом Дудаком, которому приделал крылья бабочки и поместил в сачок натуралиста как очередной экспонат. Была также одна панорама или, точнее, общий вид: над холмами в направлении аэродрома летел самолет в форме кадила, все мы сидели внутри, а над городом, заливом и кладбищем вместо солнца светил большой треугольный глаз, посылающий лучи во все стороны. Мать не любила, когда я сидел сгорбившись над листком, так как вместо цветов или деревьев обнаруживала на моих картинках одних уродов. Так, по крайней мере, она их называла, прерывая мое занятие, поскольку меня опять ждала картошка или лапша.

Но однажды – было это, кажется, после пятого взрыва, когда нога уже почти зажила, – в дверь нашей квартиры постучался Шимек. В руках он держал свернутый рулон бумаги.

– Знаешь, что это? – спросил он с порога. – Угадай, быстро!

– Флаг? Публикация о розыске? Плакат?

– Тепло, тепло! – улыбнулся он. – Это афиша!

– А-а-а, – протянул я разочаровано. – Ну и что?

Шимек, разворачивая цветной рулон на топчане, не переставал говорить:

– Мне дал его один, который расклеивает афиши на тумбах, ну тот, со старым великом, посмотри только, какой блеск, – и действительно, я увидел огромную пасть льва рядом с одетой в пестрый купальник женщиной, а внизу надпись: ЦИРК "АРЕНА" ПРИГЛАШАЕТ!!!

– Неплохо, – сказал я, – и что дальше?

– Что дальше? Завтра мы идем в цирк, – выпалил он радостную новость, – не понимаешь?

– А билеты?

– Элька уже поехала покупать, для тебя тоже.

– А деньги?

– О деньгах не беспокойся, когда будут, отдашь!

– Сколько?

– Для взрослых десять, а для нас по пять злотых!

– А откуда у вас столько?

– Сейчас тебе все расскажу, – Шимек отодвинул афишу и уселся на

топчан, так как все стулья в комнате были заняты бельем, приготовленным для глажки. — Значит, так. Утром Петр поехал в Гданьск купить в скобяной лавке гвоздей для отца. И увидел на площади цирковые фургоны. Ну и не пошел ни в какой магазин, а выскочил из трамвая на той остановке и все хорошенько рассмотрел: фургон, в котором живет клоун, клетки с хищниками, лошадей, акробатов, видел даже цилиндр иллюзиониста — когда грузчики переносили вещи, этот цилиндр выпал и покатился по земле, а иллюзионист, с виду обыкновенный человек, страшно кричал и обзывал грузчиков растяпами. Все это Петр видел и слышал, а еще он видел рабочих, натягивающих тросы огромного шатра, а под конец — как они большими молотками вбивают в землю толстые колья, к которым крепятся растяжки. Потом он вспомнил про гвозди для отца, купил все, что нужно, и приехал с новостью к нам. И через полчаса, ну, может, через час, на нашей тумбе появилось вот это, — Шимек ткнул пальцем в яркую афишу.

— А деньги, откуда вы взяли деньги?

— Ах, вот это чудеса, — продолжал он. — Мы стояли рядом с тумбой и пялились, как расклейщик намазывает клеем бумагу и приклеивает, а потом снова мажет и снова приклеивает, он почти всю тумбу облепил этими афишами, а мы стояли и обсуждали: как было бы классно пойти в цирк, если бы были деньги, я бы, пожалуй, раздобыл на билет и Петр тоже, а вот Элька вряд ли, а Вайзер — этого я не знаю, ну и ты... и тут подошел пан Коротек, совершенно трезвый, и, кажется, он слышал наш разговор. "Ну так сколько вас штук?" — спросил. "Пять", — ответили мы, с тобой ведь получается пять, и тогда он вынул кошелек и дал нам целых тридцать злотых. "Вот вам, — сказал, — а когда продадите бутылки, можете мне отдать, — сказал, — но не обязательно". Элька поехала за билетами и должна купить на завтра, сегодня выступлений еще не будет, ну, здорово, да? — закончил он рассказ и свернул афишу в длинный рулон. — Повешу у себя над кроватью, — добавил, — если мать не выбросит, а то там баба почти голая.

Шимек ушел очень довольный, а моя мать, которая слышала часть разговора, сказала, что пять злотых на билет в цирк даст мне очень охотно, и нечего — так и сказала — пользоваться великодушием пана Коротека.

На следующий день с утра время тянулось невыносимо — представление, на которое у нас были билеты, начиналось в шестнадцать часов. Рано утром я вышел из дому, чтобы посмотреть на афиши, налепленные на бетонном кругляке. Тумба выглядела восхитительно: от самой земли и доверху по всей окружности на ней красовались одинаковые львиные пасти и одинаковые женщины в купальниках. Привыкший к серости тумбы, на которую вот уже несколько месяцев не наклеивали ничего нового и где остатки старых афиш соседствовали с похабными надписями и прошлогодним указом о призыве в армию, я стоял как завороженный и думал, будет ли лев, которого я увижу в цирке, таким же грозным, как этот, на афише, с огромной разинутой пастью и двумя рядами больших сверкающих зубов. Вдруг я почувствовал легкий толчок в бок.

— Можешь уже ходить? — Да, это был голос Вайзера. — Не опухает нога?

— Нет, — ответил я, не покривив душой, — уже ни капельки не болит и не опухает, а что? — В этом "а что?" скрывалась, разумеется, надежда услышать что-то новенькое, ведь если Вайзер подошел ко мне сзади и задает вопрос, значит, он что-то замыслил, так я думал.

— Тогда пошли, — сказал он, — посмотришь, как я ловлю ужей.

— А зачем тебе ужи? — спросил я. — Дрессировать будешь?

Вайзер пожал плечами.

— Не хочешь, не ходи, я подумал, тебе захочется посмотреть, как я это делаю, — говорил он медленно, равнодушным тоном.

Мне хотелось посмотреть, как он будет ловить ужей, но хотелось также знать, для чего они ему нужны. Мы двинулись вниз по улице, и только тогда я спросил еще раз:

— Но зачем тебе они?

— Увидишь, все увидишь, — сказал он. — Это мешок, куда мы их будем бросать, — объяснил, — а палку найдем в лесу.

Мы миновали ряд маленьких почти одинаковых домов со скошенными крышами, в которых полукруглые окошки мансард выглядели как выключенные в дневное время автомобильные фары. Вайзер замолчал и молчал всю дорогу, пока мы поднимались по тропинке среди лиственниц. Через десять минут, запыхавшиеся, мы остановились на холме, откуда видны были аэродром и залив с одной стороны, а на юге далеко внизу маячили контуры Брентова и пригорок, за которым было стрельбище.

— Идем туда, — сказал он, показывая рукой на юг, где поле разгородили колючей проволокой и где будут садовые участки.

Теперь мы спускались в ложбину по откосу почти как на лыжах — то влево, то вправо, крутыми зигзагами, чтобы не слишком разгоняться. В нос ударяли поочередно разные запахи, аромат отцветшего люпина смешивался с запахом клевера, а прохладный запах мяты — с острым ароматом дикого чабреца.

— Скажи, ты будешь их продавать? Или отнесешь М-скому? Ему что, одного мало, обязательно нужно несколько? — засыпал я Вайзера вопросами, как только мы остановились в ложбине, той самой, которая своим краем, отсюда не видным, прилегала к кладбищу и насыпи, по которой не ходили поезда. Но Вайзер не отвечал. Первым делом он отыскал метровую палку с развилкой на конце, такую же, как у змееловов в Бещадах, а потом обратился ко мне:

— Видишь вон те заросли?

Я кивнул.

— Там их больше всего, иди и пошуруй в кустах, чтобы их вспугнуть. Но легонько, не слишком сильно, — добавил он, — чтобы не побежали все сразу, понял?

Задание было нетрудным. Я неторопливо шагал вдоль полосы зарослей и палкой шевелил островки высокой травы, крапиву, низкорослую малину, черный дрок и папоротник. Ужи поначалу медленно, потом все быстрее выскальзывали из-под моих ног и бесшумно ползли в сторону Вайзера, а он сперва очень ловко останавливал их раздвоенной палкой, затем осторожно брал двумя пальцами и опускал в холщовый мешок.

— Еще разок, — сказал он, когда я закончил выгонять ужей. — Никогда ведь всех разом не вспугнуть!

Я повторил все еще раз точно так же, и, к моему удивлению, убегающих ужей было ненамного меньше, чем в предыдущий раз. Вайзер завязал мешок большим крепким узлом.

— Отлично, — сказал он, — теперь пройдем через эти чертовы участки и отнесем их на другую сторону. — "Чертовы участки" — так и сказал, я помню очень хорошо, потому что Вайзер никогда не говорил слиш-

ком много и все можно было запомнить до единого слова. — Чертовы участки, — повторил он еще раз, когда мы проходили мимо работающих там людей, которые с завидным упорством вскапывали сухую, как в пустыне, землю и с еще большим упорством сколачивали из досок и дырявой фанеры свои будки, называемые домиками, на которых неизвестно для чего рисовали сразу же улыбающихся гномов, заплутавших косуль или маргаритки с девичьими личиками, что выглядело отвратительно и даже непристойно.

— Что несете, ребята? — окликнул нас вспотевший толстяк, поднимая голову от мотыги. — Чего ищете?

— Да ничего, — ответил я первым, — траву для кроликов рвем, здесь самая высокая.

Вайзер чуть замедлил шаг, но не остановился и даже не посмотрел на толстяка, и я двинулся за ним, глядя на мешок, который покачивался в такт его мерным шагам.

— В другой раз, — крикнул вслед толстяк, — ищите траву где подальше, чтоб я вас здесь больше не встречал, понятно? Это теперь не ничейная земля, — толстяк кричал еще что-то, но мы были уже далеко и тропкой спустились к насыпи.

— Неплохо придумал, — сказал Вайзер, — на тебя можно положиться.

Я чуть не лопнул от гордости и не успел оглянуться, как мы были уже на кладбище, в его верхней части, где Вайзер остановил меня движением руки.

— Здесь мы их выпустим, — сказал он, развязывая мешок. — Тут им уже ничего не угрожает.

Я увидел, как из открытого мешка выползают ужи, одни быстро, другие, наверно более перепуганные, медленнее, так что Вайзер вынужден был подталкивать их рукой. Ужи расползлись между надгробиями. Серо-бурые зигзаги замелькали в густых зарослях крапивы и лебеды, и через минуту в поле нашего зрения не было ни одного ужа. "Ни одного" — написал я, хотя это неправда. Я вдруг увидел на надгробной плите длинное туловище в бликах солнечного света, проникающих сюда сквозь крону буков, как сквозь зеленые стеклышки витража в нашем костеле во время обедни. Уж был метр с лишним длиной, почти не шевелился и как бы в поисках света поднимал только голову, через минуту опуская ее обратно на каменную плиту. Как только солнечный луч попадал на плиту, симметричные желтые пятна по бокам головы светлели. "Смотри, — прошептал я Вайзеру, — он совсем нас не боится". И действительно, когда я протянул руку к ужу и пальцы коснулись холодной приплюснутой головки — ощущение было такое, будто я тронул собачий нос, — он не убежал, а лишь отступил немного. Только через минуту он отвернул от нас голову и исчез в ближайших зарослях папоротника, чуть заколыхавшихся от движения его тела.

— Тут что-то написано, — обратился я к Вайзеру. — Можешь прочитать?

Он склонился над плитой и прочел:

— Hier ruht in Gott Horst Meller. 8.VI.1925—15.1.1936, — и дальше по слогам: — Warst unser lieb zu aller Zeit und bleibst es auch in Ewigkeit. Я не знаю немецкого, — объяснил он, — но первое означает, что тут покоится в Бозе Хорст Меллер, а второе — это какие-то стихи: рифмуется, посмотри, — он коснулся пальцем вырубленной надписи из готических букв: — Zeit, а вот тут Ewigkeit. Айт—айт, то есть наверняка стихи.

— Одиннадцати лет помер, — сказал я, — это сколько нам.

— Нет, он родился не в двадцать пятом, а в двадцать девятом, — Вайзер приблизил лицо к надписи. — Посмотри, это не пятерка, а девятка.

— Ты так говоришь, как будто его знал, — первый раз я осмелился поспорить с Вайзером, — тут никакая не девятка, а пятерка, значит, он родился в двадцать пятом, и, когда умер, ему было одиннадцать лет!

— Все равно мы не знаем, кто это был, — отрезал Вайзер, а когда мы возвращались домой, сказал еще, что люди с участков убивают ужей, так как не умеют отличить ужа от змеи, и едва заметят что-то ползущее, так сразу сбегаются и колотят ужа мотыгами и граблями, поэтому надо их перенести на старое кладбище или на поляну, туда, где валуны, тогда, может, часть из них уцелеет.

Да, Вайзер был прав, уже в следующем году, когда участки заняли всю ложбину за кладбищем, по другую сторону насыпи, и когда вместо высокой травы там появились первые грядки моркови, гороха и цветной капусты, ужа можно было встретить чрезвычайно редко, в основном в виде гниющих останков, вокруг которых деловито сновали муравьи. А через три или четыре года их уже нигде не осталось — ни на участках, ни около старого кладбища, ни на поляне, называемой карьером, куда переносил их в холщовом мешке Вайзер. Зачем он это делал, я так толком и не узнал. Наверняка у него не было таких увлечений, как у М-ского, и его собственные объяснения и сегодня мне не кажутся убедительными; также я никогда не узнал, кем был похороненный в 1936 году Хорст Меллер, на чьем надгробии моя рука коснулась ужа. Уверен я только в том, что Вайзер при эвакуации ужей ни разу не воспользовался помощью Шимека или Петра, а тогда, в тот день, когда мы должны были идти в цирк, взял меня с собой, скорее всего, случайно, вероятно, под влиянием минутного порыва. А может, он считал, что ужи — это не для всякого?

М-ский вышел из кабинета, стал в открытых дверях, поглядел сначала на меня, потом на Шимека и Петра, наконец на стенные часы и сказал: "Хватит!" Он смотрел на наши лица, словно надеясь прочитать на них собственные мысли. "Хватит! — повторил он после долгой паузы. — Довольно! У вас есть последний шанс, и если вы им не воспользуетесь, вами займется прокурор и милиция! Поняли?"

Ответа не было.

— Королевский! — прозвучала фамилия Шимека. — Ты первый!

Я мысленно повторял детали, касающиеся мнимых похорон, а когда за Шимеком захлопнулась дверь, засомневался, все ли я запомнил как следует. Насколько серьезна угроза М-ского? Даже сегодня я уверен, что, сколь бы серьезной она ни была, все равно тогда мы бы не испугались. Ибо что еще нас могло испугать? Часы показывали половину двенадцатого, за окнами в темноте капли стучали по жестяному карнизу, в кабинете, кажется, тоже были уже сыты по горло. Сколько можно без конца выпытывать одно и то же?

Представление в цирке началось прекрасно. Оркестр из нескольких духовых инструментов и огромного барабана заиграл туш, и в ту же минуту на арену выбежал конферансье в зеленом фраке и белой рубашке, украшенной на груди, так же, как на рукавах, чем-то пышным и кружевным. Он объявил первый номер, однако, прежде чем он закончил,

к нему сзади подошел сморщенный карлик в шапочке гнома и потянул его за полу фрака. Из-под фрака выпорхнул голубь, а конферансье, не оборачиваясь, как лошадь, лягнул карлика, и тот, скрипуче что-то выкрикивая, покатился за кулисы, выделывая кульбиты. Ураган аплодисментов и лавина смеха провожали его, а на арену выбегали уже акробаты. Сначала они прошли по кругу, показывая свои мускулы, огромные, как половинки тыквы. Потом выстроились шеренгой по росту и стали запрыгивать один на другого, пока не получилась пирамида высотой с двухэтажный дом. Самый маленький на самом верху вытворял разные штуки: стоял на руках, на одной ноге, подскакивал в воздух и, сделав сальто, приземлялся на голову своего партнера.

— Это оберман, — шепнул Вайзер Эльке, но так, чтобы мы тоже слышали.

— Что? — не понял Шимек.

— Оберман, — повторила Элька, — этот, в самом низу, называется унтерман, в серединке — миттельман, а тот, что сейчас прыгает, это и есть оберман — самый высший и самый главный!

— Не самый высший, а самый верхний, — шепнул Петр, но на дальнейшие споры времени не было, так как оберман, сделав последнее, двойное, сальто, спрыгнул на песок рядом с унтерманом, миттельман спрыгнул сразу же вслед за ним, и теперь вся троица кланялась на все стороны.

Мужчина в зеленом фраке снова вышел на арену и объявил парад лошадей и выступление наездницы. У выхода за кулисы его ждал карлик с натянутой веревкой — это была ловушка, приготовленная для конферансье, но вместо него, задев веревку, перевернулся лилипут — и тут же поскакал лягушкой за уходящим конферансье.

После конских султанов, ярких лент, которыми были обмотаны ноги лошадей, прыжков и вставания на дыбы, а также после выступления пары акробатов в обтягивающих трико «зеленый фрак» объявил иллюзиониста, и все стали искать взглядом смешного карлика, любопытствуя, что он придумает на этот раз. Вдруг конферансье схватился за живот, ужасно скривил физиономию, и один из оркестрантов изобразил на тромбоне нечто, похожее на громкое пуканье. Тогда из-под слегка отстающей, чего никто раньше не заметил, полы фрака выпал под барабанную дробь свернувшийся клубком гном. Все корчились от смеха, когда же конферансье вызвал клоунов для уборки и те, затыкая носы, стали пинать этот клубок, точно валяющийся под ногами мяч, зрительный зал уже выл и безумствовал, тем более что конферансье уходил раскорячившись, будто наложил в штаны. Только Вайзер не смеялся, словно его это совершенно не забавляло.

Шимек, сидевший до сих пор неподвижно, достал из-за пазухи бинокль. "Смотри внимательно, — напомнил Петр, — особенно на руки и рукава". Фокусник был так же, как и конферансье, во фраке, только в черном, на голове у него был, разумеется, цилиндр, на ногах — блестящие как зеркало черные лаковые туфли, и все свои фокусы он проделывал в белых перчатках. Вначале ассистентка подала ему зонтик. В мгновение ока зонтик превратился в длинную удочку с самой настоящей катушкой, леской и крючком на конце. Фокусник приложил палец к губам и потребовал полной тишины — известно, рыба не любит шума. Потом наклонился, словно бы над водой, подсек, и на крючке затрепыхалась, сверкая чешуей, живая рыбка, к тому же золотая. Петр не выдержал:

"Видишь что-нибудь, заметил, как он это сделал? — тыкал он Шимека локтем в бок. — Дай посмотреть разок!" — Но Шимек нервно крутил колесико и не отзывался. Рыбка отправилась в аквариум, установленный ассистенткой на столике. Видно было, что она живая и плавает, как любая рыбка в нормальном аквариуме. Фокусник повторил подсечку несколько раз, и всякий раз происходило одно и то же: неизвестно откуда, словно из воздуха, на крючке появлялась очередная рыбка, такая же живая и так же бойко плавающая в аквариуме.

Фокусник отложил удочку и снял цилиндр. "Вот, — лихорадочно прошептал Петр, — теперь следи!" Фокусник вытащил из цилиндра длинную, в несколько метров, связку цветных платочков, потом встряхнул их, они превратились в один большой платок, и быстрым движением накрыл этим платком аквариум с золотыми рыбками. Удочку он двумя движениями превратил в короткую волшебную палочку и коснулся ею накрытого аквариума. Под аккомпанемент барабана и тарелок женщина подняла платок. Вместо рыбок и стеклянного ящика с водой на столике сидел белый кролик, растерянно стригущий ушами, явно перепуганный бурей аплодисментов. "Ничего не понимаю, — сказал Шимек, перекрикивая шум, — ничего не было видно!"

Я посмотрел на Вайзера, но тот будто не замечал возбуждения Шимека и Петра. Он сидел выпрямившись, устремив взгляд в неопределенную точку арены, как будто все это представление ему немного наскучило и сидел он тут больше из вежливости, а не потому, что ему было интересно. В антракте Элька с Петром пошли в буфет за лимонадом, а я сидел рядом с ним и не осмеливался ни о чем спросить, хотя цирковое ремесло во всех деталях было ему известно. Оркестр вдохновенно играл без перерыва марши и вальсы, люди проходили между рядами, обмениваясь поклонами или краткими "простите", а на арене валяли дурака два клоуна, пиная один другого в зад, награждая друг друга оплеухами и обливая из ведра водой. Я подумал тогда, что Вайзеру хотелось бы, наверно, оказаться там, на арене, в каком-нибудь сногсшибательном костюме, показывать разные номера, кланяться публике и срывать — как эти клоуны — аплодисменты. Так я подумал, глядя на его сосредоточенное лицо, на котором отчетливо рисовалось некоторое высокомерие, подсказанное ощущением "я бы это сделал лучше" — ощущением, знакомым всем непризнанным художникам. Так я думал тогда и еще долго после, но сегодня, когда дошел до этого момента в его истории, — сегодня я вынужден изменить свое мнение, в частности, из-за происшествия, которое случилось во второй части представления. Речь, естественно, идет о том, что произошло во время выступления дрессированных львов, а также о том, как он тогда себя повел. Ибо после антракта я во время каждого номера внимательно за ним наблюдал, я видел его лицо, руки и пальцы, которые сегодня говорят мне нечто иное, чем тогда, когда Шимек, Петр, а может, и Элька верили, что он хочет стать цирковым артистом. Вайзер смотрел на арену очень спокойно, аплодировал вяло, без энтузиазма, и уж меньше всего его забавляли дурацкие проделки карлика и "зеленого фрака" в перерывах между номерами. Так же было во время выступления слонов, пожирателя огня, акробатов с обручами, собак, игравших в баскетбол, гимнастов на трапеции. Не оживился он, даже когда во второй раз появился фокусник, который наколдовал из воздуха кучу самых разных предметов: бутылку с молоком, пищащий шарик, огромный букет цветов, голубей, кролика, а из цилинд-

ра извлек бутылку шампанского и два бокала, чтобы в завершение открыть бутылку и угостить шампанским ассистентку на глазах у восхищенной публики, наблюдающей за полетом пробки, неожиданно превратившейся в голубя. Вайзер ни разу не пошевелился, в то время как все вытягивали шеи, подскакивали от восторга и громко комментировали происходящее. Когда же в финале представления "зеленый фрак" объявил гвоздь программы — дрессированных диких зверей, Вайзер уселся поудобнее, еще больше выпрямился и сплел пальцы обеих рук на колене в нетерпеливом ожидании.

Через зарешеченный туннель в клетку, обрамляющую арену, вбежали два льва, львица и черная пантера, такая же, какую мы видели в оливском зоопарке. Тут же появился укротитель в высоких сапогах и белой рубашке со стоячим воротником. В руках он держал хлыст — такой же, как в номере с лошадью, только чуть покороче. Его жена — как сообщил "зеленый фрак" — и ассистентка в одном лице была в обтягивающем костюме с нашитыми монистами и тоже в высоких сапогах, но белых и с бахромой на голенищах. Звери жмурили глаза, кружа по середине арены, словно не очень знали, что делать.

— Герман! Брут! — крикнул дрессировщик. — На место! — и львы, не торопясь, вскочили на круглые табуреты. — Хельга! — это относилось к львице. — На место! — И львица ловко забралась на свое сиденье. Теперь пришла очередь черной пантеры. — Сильвия! На место! — И пантера так же, как львы, одним прыжком очутилась на обозначенном табурете. Мужчина обвел зверей пристальным взглядом. — Герман! Брут! Стойка! — И львы поднялись на задних лапах, показывая грудь. — Хельга! Сильвия! Стойка! — Обе огромные кошки одновременно выполнили приказ: теперь вся четверка стояла на двух лапах, опираясь на зады, точь в точь как собака, выпрашивающая кусок колбасы. Дрессировщик поклонился публике, и в ответ загремели аплодисменты, а звери вернулись в прежнюю позицию. Укротитель приблизился к ним, слегка щелкнул хлыстом и, когда ассистентка приготовила еще одно пустое сиденье, крикнул: — Герман, хоп! — и Герман прыгнул со своего табурета на этот второй, незанятый. — Брут, хоп! — прозвучала следующая команда. И Брут, как и его предшественник, проделал то же самое, заняв освободившийся табурет. — Хельга, хоп! — крикнул дрессировщик, но неизвестно почему Хельга медлила и явно не желала прыгать. — Хельга, хоп! — прозвучало повторно, но только после третьего приказа, подкрепленного ударом хлыста, Хельга выполнила то, что от нее требовалось. Пантера же, не дожидаясь команды, перескочила сама, как только освободился табурет, занятый минуту назад львицей. Аплодисменты загремели еще до поклона дресировщика, а тот подошел к Сильвии и погладил по морде свободно свисающим концом хлыста. — Хорошая Сильвия, — сказал он громко, — послушная Сильвия, — повторял он, поглаживая ее пышные усы; пантера в ответ приподняла голову и хрипло замурлыкала; это тоже понравилось зрителям, и нежная ласка была награждена новой волной аплодисментов.

Женщина приготовила большой кожаный мяч. "Герман, хоп!" — и Герман вспрыгнул на мяч, прокатил его несколько метров, перебирая лапами, после чего вернулся на свое место, смешно кивая головой. То же самое сделал Брут и потом Хельга, а пантера, снова без принуждения, завершила номер, оставив мяч на противоположном краю арены. Аплодисменты были еще сильнее, однако когда я посмотрел на Вайзе-

ра, то увидел, что он в ладоши не хлопает, а только барабанит пальцами по колену. Ассистентка между тем принесла обруч, обклеенный чем-то похожим на бумагу, и подожгла, чиркнув спичкой. По скамьям прокатился возбужденный гул.

— Герман, хоп! — крикнул укротитель и щелкнул в воздухе хлыстом. Лев произвел великолепный прыжок через пылающий обруч и остановился в другой части арены, там, где не было табуретов. — Брут, хоп! — Снова щелкнул бич, и длинный прыжок, выполненный огромным котом, привел в восторг зрителей. — Хельга, хоп! Сильвия, хоп! — и обе самки оказались рядом со львами. Номер был повторен в обратную сторону — звери прыгали в середину огненного круга и опускались теперь уже на свои табуреты, а женщина, монисты на костюме которой отбрасывали десятки бликов, соответственно передвигала обруч. Снова вся четверка сидела на табуретах, укротитель поклонился и был награжден очередной порцией аплодисментов.

И тогда случилось то, чего никто не мог даже предположить. Ассистентка, резко взмахнув обручем, погасила пламя и, повернувшись спиной к зверям, направилась за следующим реквизитом — это были качели-доска, ожидающие своей очереди у прутьев клетки. Женщина сделала два, может, три шага и споткнулась, попав ногой в ямку в песке. Пантера будто только этого и ждала: она молниеносно прыгнула в сторону ассистентки, и на арену упали почти одновременно — сначала жена укротителя, а за ней, ударив ее передней лапой по голове, черная кошка. Раздался жуткий звук: двойной шлеп-шлеп и короткий горловой возглас женщины, а затем — воцарилась тишина. Никто из публики даже не шелохнулся, все замерли в безмолвном тупом ожидании.

— Сильвия! — укротитель сделал шаг к ней. — Сильвия, на место!

Но пантера и не подумала вернуться на табурет, она рванула тело женщины где-то на уровне лопаток, словно шантажировала укротителя, говоря: не тронь, это мое! Львы беспокойно заерзали на своих сиденьях. Брут переступил с ноги на ногу, а Хельга издала протяжный глубокий рык. Из-за кулис вышли два помощника с огнетушителем, но укротитель остановил их жестом, так как в эту минуту женщина шевельнулась, и тогда Сильвия, гневно зашипев, ударила свою повелительницу по пояснице, сдирая костюм когтями. На песок посыпались блестящие монисты, а из обнаженной ягодицы красными струйками потекла кровь. Кто-то на верхних скамьях зарыдал, но его сразу же утихомирили.

Вайзер сидел выпрямившись, не поворачивая головы, и только пальцы все так же барабанили по колену. Господи, думал я, пусть он туда сойдет, пусть покажет, что́ может, ведь он может, пусть посмотрит ей в глаза так же, как тогда, в зоопарке, пусть ее укротит, заставит подчиниться, подавит ее бунт, пусть повергнет на песок, как она ту женщину, превратит в испуганную собаку, маленькую крысоловку, пусть сделает это, пока не поздно.

Герман спрыгнул с табурета и задрал морду, почуяв возбуждающий запах крови. Укротитель дал знак оркестру. Музыканты негромко заиграли уход с арены. Львы беспокойно зашевелились. “Герман! Брут! Хельга! Сюда! Сюда! — повторял дрессировщик. — Сюда! Сюда! — Львы, хотя и неохотно, направились к туннелю. — Сюда! Сюда!” И медленно, словно сонные, вошли в туннель, и помощник наконец опустил за ними заслонку.

Теперь укротитель остался один на один с пантерой, передние лапы

которой покоились на неподвижном теле женщины, а хвост хлестал по песку то влево, то вправо.

— Сильвия, — произнес укротитель тихо, — хорошая Сильвия, на место, Сильвия! — Но пантера, сознавая свое преимущество, предостерегающе заворчала. Ее глаза следили за каждым движением мужчины. — Сильвия! — он сделал шаг вперед. — На место!

Сильвия, однако, не собиралась отказываться от добычи, она издала глухое рычание и подняла лапу для удара. Пальцы Вайзера продолжали барабанить по колену, а я впервые обозлился на него и, если бы не ужас происходящего, заорал бы и набросился на него с кулаками. Почему он не двигался с места, почему не сбежал вниз, почему не показал свои способности сейчас, когда красная лужа на песке становилась все больше, почему сидел спокойно, как во время выступления наездницы или дурацких клоунов? Господи, думал я, сделай что-нибудь, чтобы он пошевелился, только подтолкни его, остальное он сделает сам, он прекрасно это умеет, заставь только, заставь, но Вайзер сидел неподвижно, и голова его была как у изваяния, и лицо как у изваяния, и ноги как у изваяния, и только неестественно длинные пальцы отбивали все время один и тот же ритм в три четверти.

Укротитель беспомощно замер. Он не мог шагнуть ни вперед, ни назад, стоял как загипнотизированный и все тише повторял одно и то же: "На место! Хорошая Сильвия, на место!" И было это еще страшнее, чем возможный прыжок на него пантеры. Один из помощников медленно, чтобы не привлекать к себе внимание, обходил клетку с наружной стороны барьера с огнетушителем под мышкой, другой вышел из-за кулис с духовым ружьем, готовый выстрелить, и оба крадучись приближались к пантере. Я не знал тогда, что в огнетушителе одурманивающая пена, а ружье стреляет капсулами с наркотиком. Помощники выглядели как мальчишки, наступающие с деревянным мечом и пращой на африканского буйвола, — смешно и нелепо. Пантера тронула женщину, хотя не очень решительно. Мужчина с огнетушителем, опустившись на одно колено, изогнулся как для выстрела и пустил мощную струю прямо в морду зверя. Пантера подпрыгнула. Струя отбросила ее голову назад, но лапы, толстые лапы еще секунду оставались на месте, и, наверное, поэтому, прежде чем бросить свою добычу, она проволокла ее с метр или два по песку и только потом, рыча и колотя лапой невидимого противника, забилась под барьер. Выпущенная из ружья капсула настигла ее: подергавшись еще с минуту в эпилептическом танце, она упала на арену. Укротитель уже подбежал к жене, схватил ее на руки и унес за кулисы. Три помощника втащили пантеру на брезентовое полотнище и поволокли к другому выходу.

И это был конец представления. Я плакал. Мне очень жаль было красивую женщину и ее прелестный костюм с монистами, но негодование мое было еще сильнее. Теперь я знал: Вайзер или не всесилен, или не захотел помочь. Похоже было, однако, что не захотел помочь, и это было ужасно. Он не побежал вниз, не протиснулся через узкий проход и не стал лицом к лицу с черной пантерой. Ошеломленная публика не обезумела от ужаса, а потом от радости, оттого что мальчик подходит на расстояние вытянутой руки к хищнику и укрощает его взглядом, более сильным, чем все ружья и пенные струи, вместе взятые. Нет, ничего подобного не случилось, так как Вайзер счел, что не стоит этого делать ради жены укротителя, одетой в обтягивающий костюм, обшитый

монистами. А ради кого он это сделал бы? Может, ради Эльки, думал я, — а ради кого-нибудь из нас? Если бы он сделал то, что должен был сделать, не говоря уж о спасении ассистентки, сам был бы вознагражден с лихвой: слава, признание, а может, даже немедленный прием в цирк, а потом путешествия, гастроли и еще большая слава, которая выплеснется за пределы нашего города и нашей страны. Вена и Париж, Берлин и Москва — все города у ног двенадцатилетнего покорителя диких зверей, которому не нужны ни хлыст, ни предварительная дрессировка. Крупные заголовки в газетах и огромные толпы в зале. А он отверг все это и только барабанил пальцами по колену: раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Сегодня я знаю, что все было не так: Вайзер никогда ведь не хотел стать цирковым артистом. Тот, кто левитирует и стреляет в канцлера третьего рейха, не может выступать в цирке. Хотя нет, эта фраза нелогична. Если я не вычеркиваю ее, то лишь потому, что все в этой истории кажется нелогичным. Так что пусть остается.

На следующий день, естественно, мы поехали к цирковому шатру разузнать, жива ли жена укротителя. Нам также очень хотелось узнать, что с пантерой. Но мы услыхали только, что женщина в больнице, а номер с дрессированными хищниками будет показываться без участия черной пантеры. Еще неизвестно, сказала кассирша, что с ней сделают, может, через несколько дней начнет выступать снова, а может, цирк продаст ее в зоологический сад. Потом мы два часа болтались по Старому городу, но за неимением денег и каких-либо развлечений отправились обратно домой. Проходя мимо тумбы с афишами на нашей улице, мы увидели Вайзера, идущего нам навстречу с холщовым мешком под мышкой. Он возвращался из леса — наверняка снова ловил ужей и переносил их в окрестности кладбища или на карьер. Эльки поблизости не было. "Что делаем сегодня? — спросил у него Шимек. — Есть какие-нибудь планы?" — "Сегодня мне некогда, — Вайзер, похоже, был застигнут врасплох. — Приходите завтра в ложбину за стрельбищем, будет взрыв". Мы пошли не домой, а прямо к прусским казармам, но на лужайке в облаках едкой пыли человек двадцать армейских гоняли мяч, и нам там нечего было делать. После обеда мы отправились на кладбище через Буковую горку, чтобы заглянуть в склеп и, может быть, поиграть в войну, хотя это предложение не вызвало ни в ком энтузиазма. Вайзер — как я узнал теперь от Петра, — пока я сидел дома с распухшей ногой, два раза отказывался дать им на время парабеллум, а о "шмайсере" даже говорить не хотел. Гонять с палкой и кричать "та-та-та-тах" — это уже совсем не то, если ты хоть разок держал в руке настоящее оружие. Но спорить с ним было невозможно, если он отказал, то отказал окончательно. Шимек пинал сосновые шишки, которых на дороге было полным-полно, а я жевал длинную травинку с пушистой кисточкой на конце. Позади уже осталось взгорье, и из-за поворота плавно спускающейся дороги виден был край кладбища. С той стороны все надгробия были разбиты, а ржавые кресты среди зарослей пырея, травы и крапивы выглядели как торчащие из воды мачты затонувших кораблей. Когда мы миновали надгробие Хорста Меллера и спускались дальше вниз, уже по кладбищу, неожиданно загудели колокола.

— Желтокрылый! — крикнули мы почти одновременно, а Шимек, самый сообразительный, бросил, словно приказ:

— В склеп, снова за ним будут гнаться!

Это была не лучшая идея, так как, даже взобравшись на склеп, нельзя

было увидеть, что происходит возле колокольни. Но мы мчались, будто гонятся за нами, а не за безумцем, который убежал из психушки и прятался где-то поблизости. Минуты три эхо колоколов отражалось от стены леса, потом наступила тишина. "Там уже кто-то есть, — прошептал Петр, — наверно, за ним охотятся!" И действительно, через минуту среди ломающегося с треском бурьяна и раздвигаемых веток мы увидели Желтокрылого, бегущего в нашу сторону. Он запомнил склеп, однако, когда приблизился на расстояние нескольких шагов и увидел три пары уставившихся на него глаз, драпанул в сторону насыпи, где кончалось кладбище и начиналась ложбина с первыми садовыми участками. Возможно, он не узнал нас, сосредоточившись на желании уйти от преследователей, а может, перепугался, во всяком случае, вместо того чтобы нырнуть вглубь склепа, где его не нашел бы даже отряд милиции или санитаров, побежал дальше, преследуемый хромым причетником и еще каким-то мужчиной, который не был ксендзом и которого никогда прежде мы не видели. Фонтаны песка летели из-под ног Желтокрылого. Трава склоняла перед ним свои стебельки, а кусты раздвигались сами, чтобы облегчить ему бегство.

Одного он только не предвидел, не знал или попросту об этом забыл — что ложбина уже не та ложбина, где росла высокая, по колено трава, чертополох и дрок, где в солнечные дни бесшумно ползали ужи, а куропатки вышмыгивали из-под ног, словно крылатые снаряды. Он зацепился за первую же колючую проволоку, упал, встал, раздвинул проволоку руками и побежал дальше, но люди с мотыгами, граблями, заступами, люди с досточками и кистями в руках уже увидели его, увидели, как он бежит, оглядываясь назад, уже почуяли собачьим нюхом радостную музыку своих сердец и уже кинулись со всех сторон, чтобы загородить ему путь и поймать в сеть с гнусным удовлетворением в глазах. Мы побежали следом за причетником и незнакомым мужчиной, чтобы посмотреть, что будет дальше. Желтокрылый увидел приближающиеся фигуры, приостановился на минуту и побежал назад, прямо на причетника. Сопровождающий того мужчина, надо признать, очень профессионально в нужный момент подставил ногу, и Желтокрылый рухнул как подкошенный прямо под ноги причетнику. Если бы он тогда сразу вскочил и побежал в нашу сторону — был бы спасен, но все случилось иначе. Поднимался Желтокрылый медленно. Мужчина успел прыгнуть ему на спину, и они сцепились, как бешеные псы, но через минуту Желтокрылому удалось отскочить. Он снова побежал, и снова не туда, куда надо было, — огородники успели образовать широкий полукруг и сжимали теперь клещи облавы.

И тогда мы увидели Желтокрылого совершенно в другой ипостаси. Он уже не убегал, а стоял посреди замкнувшегося круга, чуть-чуть выдвинув вперед голову, словно боксер, и ждал не шевелясь. Преследователи остановились, не зная, что делать дальше.

— Кто-нибудь быстро в приход к телефону! — закричал причетник. — Нужно позвонить в милицию или в больницу!

Толстяк, тот самый, что прицепился к нам с Вайзером, когда мы несли ужей, отложил мотыгу и двинулся в сторону кладбища. В тот же момент двое самых храбрых огородников приблизились к Желтокрылому.

— Спокойно, — говорил первый, — ничего тебе не будет.

— Да-да, — подтвердил второй, — ничего не будет, если дашь себя отвести!

Но Желтокрылый был на этот счет другого мнения. Он бросился на них молниеносным прыжком, у одного выхватил палку, а другого свалил ударом локтя в живот. Оба поспешно отступили, и Желтокрылый стоял теперь как самурай посреди окруживших его врагов, держа в обеих руках палку, и выглядел величественно и прекрасно.

— Опасный псих, — сказал кто-то из мужчин, — подождем, пока приедет милиция.

— Мало, что ли, нас, — возмутился другой, — на одного психа?

И тогда мы увидели самую красивую часть зрелища, ведь все это было как зрелище: взрослые мужчины в возрасте наших отцов с мотыгами и граблями, а в центре — Желтокрылый как герой легенды или романа. Мужчины подходили все ближе, и Желтокрылый стал в позицию, расставив ноги.

— Он, наверно, когда-то был фехтовальщиком, — определил Шимек, поднимая голову. — О, смотрите!

Да, Желтокрылый умел не только грозить гибелью Земле и ее обитателям, в драке палками он оказался на несколько классов выше своих врагов. Он подпрыгивал, вертелся во все стороны, молниеносно отражал удары и наносил удары сам, всегда попадая в цель. Треск сломанных черенков смешался с криками нападающих, в какой-то момент показалось, что они взяли верх, что они уже обрушили на него свой сельскохозяйственный инвентарь, но это было не так. Они отступили — кто с подбитым глазом, кто в порванной одежде, — Желтокрылый же стоял в центре и торжествовал. Огородники, с минуту посовещавшись и сплотив ряды, кинулись на него еще ожесточеннее, но закончилось это так же, как в предыдущий раз: потерпев поражение, они отступили, помятые и избитые.

Вдруг в сторону победителя полетел камень. Потом второй. Потом третий. Желтокрылый ловко уворачивался, а некоторые снаряды отбивал палкой, но их становилось все больше, и падали они все гуще и со всех сторон. Сначала один угодил ему в шею. Второе попадание было болезненным — в сгиб руки, и с минуту он мог держать палку только одной рукой. А потом камень попал в голову, еще раз в шею и еще раз в голову, и дальше трудно уже было уследить, так как камни сыпались градом и огородники подходили все ближе, пока наконец не подошли вплотную, хотя он еще защищался, и теперь видны были только взлетающие и опускающиеся палки и искаженные лица с оскаленными зубами. Сколько могло пройти времени, прежде чем в стороне рембеховского шоссе завыла сирена? Помню только, что на протяжении всех этих длинных, как вечность, минут палки и черенки от лопат и мотыг поднимались и опускались, помню также, что, когда машина "скорой помощи" с больничным крестом на дверце забуксовала в песке насыпи, по которой не ходили поезда, и из нее повыскакивали санитары в белых халатах, я уже мчался на кладбище, преследуемый криками Шимека и Петра, бежал к деревянной колокольне, отвязывал веревку, заткнутую за почерневшую балку рукой причетника, и тянул ее изо всех сил, тянул, подпрыгивая и снова опускаясь на землю, тянул как безумный, потому что я первый раз в жизни почувствовал себя безумным, тянул веревку и плакал, плакал и тянул и снова плакал, пока не подбежали ко мне Шимек и Петр и силой оторвали от этой веревки, так как я к ней уже почти прирос, оторвали меня и поволокли в лес на Буковой горке. Помню также, что я не сказал им ни слова и поехал один на пляж в Елитково. Сидел

там до сумерек над грязным и вонючим заливом. По пляжу бродили поодиночке безработные рыбаки и длинными шестами проверяли, как там "рыбный суп" у берега. Маяк в Бжезно уже поворачивался, а суда на рейде зажигали опознавательные огни. Вдалеке, в стороне Сопота, кто-то разжег на песке костер. Даже если бы ко мне подошел Вайзер, даже если бы он сам попросил меня о чем-нибудь, я бы остался нем.

Шимек вышел из кабинета директора. Подмигнул нам. Это означало — все в порядке, мол, как условились. Я услышал свою фамилию. Увидел, что гимнастерка на сержанте застегнута на все пуговицы, а директор поправил галстук, который теперь уже не напоминал якобинский бант, или выжатую тряпку, или компресс на горле, а был обыкновенным галстуком, купленным в универмаге во Вжеще.

— Ну как? — спросил М-ский. — Мы что-нибудь вспомнили или предпочитаем побеседовать с прокурором в камере? — заключил он громко.

— Да-да, конечно.

— Ну так говори, — сержант обреченно махнул рукой, — говори, что знаешь.

— Все сначала рассказывать?

— Нет, — вмешался директор, — ты должен рассказать, что было с платьем Вишневской.

— Но это было не платье, это был просто лоскут.

— Хорошо, лоскут. Где вы его нашли после взрыва?

— Там есть такой старый дуб, под ним и нашли.

Сержант пододвинул ко мне карту.

— Где?

— Вот здесь, здесь этот дуб, а вот здесь, — показал я пальцем, —лежал лоскут.

— Кто нашел? — спросил М-ский быстро.

Я сделал паузу, как бы вспоминая эту подробность.

— Шимек.

— Ну хорошо, — лицо М-ского ничего не выражало, хотя я понимал, как он должен быть доволен, — а где вы сожгли этот лоскут?

— В карьере.

Сержанту последний ответ явно не понравился.

— Здесь в округе нет никаких карьеров, что ты плетешь?

— Хорошо, — директор не позволил мне продолжить. — Это поляна с эрратическими валунами, — обратился он к сержанту, — все здесь ее так называют.

— А когда это было? — допрашивал дальше М-ский.

— В тот самый день вечером.

— Это ты нес обрывок платья, да?

— Я, а откуда вы знаете?

М-ский торжествующе улыбнулся:

— Видишь, от нас ничего не укроется. Который это был час?

— Не помню точно, начало восьмого, кажется, или нет, около восьми.

— Так. А что вы делали потом?

— Да уже ничего, потом мы пошли домой.

— А почему вы не сказали об этом родителям?

— Мы боялись, что они взлетели на воздух, это было так страшно, что я даже на исповеди не рассказал бы, наверно, — выпалил я на одном дыхании.

М-ский опять усмехнулся:

— Ну вот, пожалуйста, а все-таки рассказал, и не ксендзу, а нам!

— Вы местные? — неожиданно спросил сержант.

— Не понимаю, — сказал я. И в самом деле, зачем ему это понадобилось?

— Я спрашиваю, твои родители отсюда?

— Да, отсюда, отец родился в Гданьске и мать тоже.

— Ну хорошо, — М-ский закончил допрос. — А какие-нибудь вещи Вайзера, что-нибудь, что от него осталось, вы не находили?

— Нет, ведь взрыв был такой сильный, что мы даже искать ничего не стали, а этот кусок платья — чистая случайность!

— Можешь идти и позови второго приятеля, — прервал меня директор. — Ну, чего ждешь?

Впервые с начала следствия я почувствовал себя чуть увереннее.

— Петр, теперь ты, — позвал я из открытых дверей и, когда он проходил мимо меня, подмигнул так же, как Шимек: мол, пока все идет как надо, так, как им хотелось с самого начала. Я сел на складной стул и кивнул Шимеку; тот сразу все понял. Сторож зевал немилосердно, обнажая черные гнилые зубы, а я вспоминал, что было дальше.

Утром следующего дня я услышал в магазине Цирсона такой разговор наших соседок:

— Вы слышали? Поймали того психа, что по Брентову бегал и людей пугал.

— Эээ, да это был не псих, а извращенец какой-то, дорогая моя.

— Святая Мария, извращенец, говорите?

— Да-да, извращенец, какой нормальный псих будет бегать по кладбищу и звонить? Какой сумасшедший наденет на голову каску и станет болтаться по улицам? Нормальный псих, моя дорогая, выдает себя за Наполеона или за Мицкевича.

— А я слыхала, — вмешалась новая собеседница, — золовка моя говорит, она там живет, что никакой он был не сумасшедший, а боговдохновенный, святой как бы человек, однажды он вроде залез на крышу и говорил такое, прямо как из Священного Писания!

— Как это — из Священного Писания?

— Ну не в точности, но как бы из Писания, все время о Боге и каре за грехи!

— Ой, нет, он все же сумасшедший, а чтоб о Боге говорить, для того есть ксендз. На крышу, говорите, залез?

— На крышу, и даже милиция приехала, но тогда он убежал.

Подошла моя очередь, и я не стал слушать дальше, что говорят соседки, а когда выбежал из магазина, встретил Шимека.

— Прошло у тебя уже? — беззлобно спросил он.

— Да.

— Ну так почитай. — Он сунул мне под нос газету, с которой возвращался домой. — Вот здесь, — показал пальцем заголовок.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ — значилось крупным шрифтом.

— А о чем это?

— Не спрашивай, а читай, — нетерпеливо буркнул он.

В заметке говорилось о поимке опасного безумца, которого схватили с помощью счастливых землевладельцев — членов государственного садоводческого кооператива имени Розы Люксембург. Подписанная

инициалами К.З. заметка не произвела на меня большого впечатления.

— Ну и что? — спросил я. — Что из этого?

— Ничего, только про него написали, а про нас нет.

— А ты бы хотел, чтоб про нас?

— Да нет, пусть лучше никто не знает, что мы ему помогали.

— Да, — ответил я, — лучше, чтобы не знали.

Мы перешли по булыжной мостовой на другую сторону улицы. Из колбасной за магазином Цирсона доносился неприятный сладковатый запах требухи. У подъезда мы встретили Вайзера и Эльку, которые как раз выходили из дому.

— Приходите немного раньше, мы сегодня устраиваем пикник, — сказала Элька весело.

— Где всегда?

— Где всегда, — и уже догоняла Вайзера.

— Подожди, — задержал ее Шимек, — раз пикник, еду какую-нибудь нужно, да?

— Ладно уж, — крикнула Элька и показала на корзинку, которую держала в правой руке. — У меня все есть, можете ничего не приносить.

И пошли в гору, в сторону леса.

— Пикник под музыку взрывов, — Шимек расхохотался над собственной остротой. — Неплохо, а?

Но взрывами и не пахло. Когда мы пришли в ложбину, Элька и Вайзер сидели под дубом возле расстеленной на траве скатерти.

— Где ты ее раздобыла, — спросил Петр, — у ксендза Дудака?

— Не запачкайте только, — она строго поглядела на нас, — видите, какая белая?

Все было приготовлено с большим шиком — Элька, нужно признать, не ударила в грязь лицом: возле нарезанных ломтиками помидоров лежали огурцы, между ними стояла солонка, масло в фарфоровой мисочке и сыр, тоже тонко нарезанный. Мы сели по-турецки, скрестив ноги. Шимек вынул из сетки пять бутылок лимонада, который мы купили скинувшись, чтобы не приходить с пустыми руками.

— Ну, молодцы, — сказала Элька, соля помидоры, — тоже кое-чего принесли.

Когда все было готово, она вытащила из корзинки буханку хлеба и нож и передала Вайзеру, а тот резал хлеб большими ломтями и раздавал нам по очереди, по часовой стрелке.

— Неплохая идея — сказал Петр, жуя хлеб с помидором, — есть в лесу, а не дома, и почему мы раньше не додумались?

А я спросил Эльку, по какому случаю пикник; она не говорила, что затевает что-то подобное.

— Эх вы, головы садовые! — засмеялась она, сверкая беличьими зубами. — Ведь это прощание с каникулами!

Всем стало грустно — действительно, послезавтра мы будем стоять в спортзале в белых рубашках и темных брюках и слушать речь директора о том, что лето уже скоро кончится, что мы отдохнули и загорели и что снова он приветствует нас с радостью в этих стенах, которые мы должны ценить и уважать. Только все прошлые годы приближение конца лета ощущалось во всем: в лохматых тучах, которые, как крылья ангелов, плыли над заливом, в прохладном воздухе последних дней августа, в резких порывах ветра, еще не холодных, но уже соленых, предупреждающих о шторме; о том, что лето умирает, напоминали дачники,

покидающие Елитково: с каждым днем все больше пляжных кабинок зияло пустотой. Но теперь, когда над белой скатертью повисло молчание, все было не так: лето, казалось, набухало в дрожащем от жары воздухе, трехмесячная пыль покрывала серым налетом листья деревьев и папоротник, и ни один, даже самый слабенький порыв ветра не нарушал липкую тишину между землей и безоблачным небом, откуда тонкой струйкой долетал до нас гул невидимого самолета. Только сверчки, как всегда, тянули свою монотонную мелодию, да так же, как всякий год в это время, появились муравьи с прозрачными крылышками, странные и забавные, которые исчезали через две недели, чтобы появиться через год в эту самую пору.

— Господи, чего бы я не дал, чтобы еще так с месяц, — нарушил молчание Шимек.

Но никто не спешил поддержать разговор. Вайзер открыл первую бутылку лимонада и налил пенящуюся жидкость в стакан, который ему пододвинула Элька. Посудинка пошла по кругу из рук в руки, а я удивился, к чему эти церемонии, ведь мы всегда пили из бутылки. "Красный, — сказал одобрительно Петр, — не знаю, почему красный лучше желтого". Но и на этот раз никто не откликнулся — да и зачем, ведь всякий, кто покупал в магазине Цирсона, знал, что в красном лимонаде больше газа и пахнет он лучше желтого. Когда все уже было съедено и выпито, Элька собрала посуду в корзинку. Вайзер тем временем притащил из кустов генератор и, как всегда, подсоединял провода. Мы перешли из-под дуба на другую сторону ложбины.

Я уже писал, что последний взрыв, хотя мы тогда еще не знали, что он будет последним, так вот, последний взрыв отличался от прежних. Писал также, что облако пыли, комьев земли и пучков травы было похоже на огромную воронку темного, почти черного цвета, узкую внизу, расширяющуюся кверху, и написал, какие она у меня вызвала ассоциации много лет спустя. И хотя сравнение это, может быть, претенциозно и даже неуместно, но ведь (чего я не написал и что пишу сейчас) воронка перемещалась из конца в конец ложбины, как закрученная невидимой рукой юла, всасывая в свою вращающуюся трубу прутики, прошлогодние и уже опавшие в это лето листья, шишки и даже небольшие камушки. Не написал я также (что делаю сейчас), что воронка засосала корзинку, которая осталась под дубом, подняла ее вверх и выбросила в нескольких метрах от нас, но вверх дном, так что все, что было внутри, в том числе и бутылки из-под лимонада, попадало со звоном и грохотом на землю. Белая скатерть медленно планировала, покачиваясь вправо-влево.

А потом Вайзер и Элька попрощались с нами, но не как-нибудь по-особому, а как обычно — "Ну пока!" — и пошли вместе в гору. Сам уже не знаю, держались они за руки или нет, но для того, что случилось на следующий день, это факт второстепенный. Шимек сказал бы — они играли в доктора и пациентку или наоборот, но я в этом далеко не уверен. Быть может, они провели ту ночь в подвале кирпичного завода, где она играла на флейте Пана, а он танцевал, падал на землю, произносил непонятные слова и левитировал. Быть может, бродили всю ночь по лесу или просидели до самого рассвета на одном из холмов, дожидаясь восхода солнца. Все возможно. Во всяком случае, первым, кого я встретил утром на лестнице, был дед Вайзера.

— Где Давид? — резко спросил он, а я испугался, так как пан Вайзер

почти никогда не выходил из дому, но коли уж показывался, выглядел всегда грозно.

— Не знаю, — ответил я, и тогда он наклонился, так что висевший на шее сантиметр коснулся моего носа.

— Должен знать, — сказал он медленно и очень четко, — кто же может знать, как не ты?

Не знаю, что было бы дальше, если бы не пани Коротек, возвращавшаяся домой с покупками. Слух у нее был хороший, и она сразу же вмешалась в разговор.

— Как это, разве вы не знаете, пан Вайзер, они с Элькой поехали в Пчёлки, в деревню.

— Куда, вы говорите, с кем? — пан Вайзер посмотрел на нее поверх проволочных очков.

— В Пчёлки, пан Вайзер, это место такое, в сторону Тчева полчаса поездом.

— Чего-чего?

— Поездом полчаса, говорю.

— Чего-чего?

— Говорю вам, полчаса поездом, Элька поехала туда к бабушке на один день и заночевала.

— А Давид?

— Давид, спрашиваете — да ведь он бегает за ней с утра до ночи, — пани Коротек показала в улыбке все еще оставшиеся зубы, — она для него как свет в окошке, вы не знали?

Но пан Вайзер не был удовлетворен объяснениями. Он поправил очки и снял с шеи сантиметр.

— Давид всегда обо всем говорит, почему он ничего не сказал?

— А вы спросите у него, когда вернется, — и пани Коротек пошла наверх. Минутой позже я услышал, как пан Вайзер стучит в дверь Эльки, услышал, как он расспрашивает пани Вишневскую и как пани Вишневская отвечает ему, что вроде бы и вправду Элька спрашивала, можно ли взять приятеля, и она согласилась, почему бы и нет, места там у них в деревне побольше, чем здесь, и даже дала ребятам кое-что поесть в дорогу, потому как от станции идти добрых три километра с гаком. А когда я спустился вниз и шел по двору, Шимек с Петром уже все знали, так как подслушивали весь разговор у заднего выхода в огород. Мы знали, что они не поехали в Пчёлки, пока только это. Но на кирпичном заводе их не было, а дверь, через которую выходили на стрельбище, была чем-то подперта изнутри. Не было их также ни в ложбине, ни на кладбище, ни на карьере. Нигде. В конце концов мы дошли по железнодорожной насыпи до самого рембеховского шоссе, где на сорванном пролете моста можно было сесть и смотреть, как под ногами десятью метрами ниже проезжают изредка машины. Однако мы не сели, а стояли на бетонном краю, как над пропастью, и цыркали слюной вниз на проезжающие автомобили.

На другой стороне шоссе за таким же устоем взорванного моста насыпь бежит дальше, плавно изгибаясь, и метров через пятьсот уходит в туннель — там, где начинается подъем на взгорье. Как раз там к туннелю слева примыкает ограда сумасшедшего дома, а немного ближе, еще под насыпью, протекает Стрижа. Чтобы дойти до речки, нужно идти не по шпалам на насыпи, а у ее подножья, где бежит узкая тропка, та самая, по которой М-ский шел на свидание с домохозяйкой. Тропка обрывает-

ся над водой и никуда больше не ведет. Чтобы идти на юг, против течения, надо продираться сквозь заросли, как мы, когда следили за учителем. По левую сторону насыпи Стрижа разливается в небольшой прудик и исчезает в облицованном жерле подземного канала, откуда течет дальше в город. Я вижу все это очень отчетливо, как на нарисованной по памяти карте, и знаю, что через минуту крикну — о! — и протяну руку точно туда, где речка с южной стороны подходит к насыпи, и мы сейчас спрыгнем с устоя взорванного моста на шоссе и побежим по узкой тропинке гуськом, наступая друг другу на пятки, так как именно там, где Стрижа впадает в узкий туннель под железнодорожной насыпью, минутой раньше мы увидели Вайзера и Эльку, увидели, как они сидят над водой, сидят и ничего не делают, просто болтают ногами в воде, и бежать мы будем к ним столько раз, сколько я об этом подумаю, всегда так же шумно и всегда так же весело, словно мы обнаружили Янтарную комнату или сокровища последнего царя инков.

Так что же было в конце? Нет, не в конце того дня или всей истории, так как у этой истории нет никакого конца, я спрашиваю: что было в конце следствия, без трех минут двенадцать, когда уже допросили Петра и когда М-ский вызвал нас всех троих в кабинет? Мы стояли перед столом директора, позади нас сторож, в сизом от дыма воздухе висел запах пота, за окнами барабанил сентябрьский дождь, а мы один за другим желтой авторучкой сержанта подписывали показания и черновик протокола, подписывали два раза под копирку, то есть каждый из нас оставил там четыре своих автографа в подтверждение установленной версии случившегося. Мы видели последний взрыв в ложбине за стрельбищем. Вайзера и Эльку разорвало в клочья, к сожалению, кроме обрывка ее красного платья, который мы со страху сожгли в тот же день вечером на карьере, не осталось ничего. Мы не знаем ничего ни о каком складе взрывчатки, кроме того, который найден в подвалах заброшенного кирпичного завода. Да, у Вайзера был какой-то старый ржавый немецкий автомат, и он даже позволил нам один раз его потрогать, но это все, что мы знаем. Так обстоит дело. Первым свою кривую подпись поставил Шимек, так как он всегда писал левой рукой и всегда немного криво. За ним Петр, буквами большими, как монеты-двушки. Последним расписался я. Ровно в ту секунду, когда я выводил последнюю букву своей фамилии, часы пробили двенадцать. "Ну, — сказал М-ский, — теперь можете идти домой, сержант вас проводит ". Директор встал и застегнул пиджак, а сторож ссыпал в корзину окурки из пепельницы. Да, в этот момент М-ский неизбежно прочитал бы какую-нибудь мораль, произнес какую-нибудь красивую сентенцию, как на торжественном собрании, что-нибудь вроде: кто правды не боится, тот ничего не боится, — несомненно сказал бы что-нибудь в этом роде, но послышался громкий стук во входную дверь школы, и кто-то, перекрикивая дождь, заорал благим матом: "Откройте, откройте немедленно, сейчас же откройте!" — и снова стал дергать ручку и барабанить кулаком в дверь.

При свете зажженной сторожем лампы я увидел за стеной дождя своего отца, а за ним пана Коротека и отца Петра, а еще дальше мать Шимека и свою. Мой отец вломился внутрь и, прежде чем кто-либо успел раскрыть рот, схватил М-ского за лацканы и рявкнул: "Нашли, нашли ее!" А когда отец уже отпустил М-ского, все заговорили разом, как на вечеринке или на базаре, так что в первую минуту ничего нельзя было

понять. Да, Эльку нашли у запруды, там, где за туннелем речка широко разливается между густых камышей. Она жива, но пока еще без сознания. Ее отвезли в больницу. Неизвестно, как она туда попала. Прежде прочесали всю округу, но только до армейского стрельбища. Неизвестно также, что стало с Вайзером. Милиция ищет теперь в той стороне, где нашли Эльку. М-ский смотрел на нас, и в его глазах мы увидели снисходительное удивление — так же он бы смотрел, если бы кто-то из нас безошибочно отвечал у доски или на пятерку написал контрольную. "В таком случае, — сказал он, — следствие не закончено, и мы передаем дело в прокуратуру!" "Пожалуйста! — еще громче сказал мой отец. — Но не сегодня!" — и вид у него при этом был такой грозный, что, если бы М-ский, или сержант, или директор захотели нас еще задержать хотя бы на минуту, отец наверняка ударил бы кого-нибудь из них и был бы страшный скандал, еще, пожалуй, похуже, чем в баре "Лилипут", потому что пан Коротек и отец Петра стояли рядом с нами и выглядели так же грозно.

Следствие, однако, не было возобновлено ни в понедельник, ни позднее. Как только Элька пришла в сознание, ее допрашивали, но она ничего не помнила — ни как зовут, ни где живет. Это объясняли шоком и ждали улучшения. Через три недели она знала уже, где живет, но утверждала, что она — мальчик и фамилия ее Вайзер. Не могла назвать некоторые предметы и говорила сиделке: подай мне часы, а имела в виду тарелку с супом. Все у нее перемешалось. Только в начале октября она пришла в себя, но о том, что случилось, по-прежнему ни слова, молчала как могила. Утверждала, например, что последний раз играла с Вайзером в середине августа и мало что об этом помнит. В то время уже не было в живых пана Вайзера и, кроме прокурора, который допросил нас еще раз на большой переменке, никто о Давиде не спрашивал. Прокурору мы сказали, что, конечно, никаких похорон платья не было. В ложбине после взрыва они поднялись наверх, и это был последний раз, когда мы их видели. В конце концов расследование прекратили.

Окончательная версия была такая: Эльку после взрыва воздушной волной отбросило в густой папоротник, а мы со страху дали драпака. Мы не могли видеть ни Вайзера, так как его разорвало, ни Эльки, так как она лежала без сознания в зарослях. Страх и воображение дорисовали остальное — нам могло показаться, что они идут вверх по взгорью. Но то была только фантазия, фантазия сорванцов-мальчишек, которые играли со снарядами и потом со страху сочинили такую историю. Элька через какое-то время пришла в сознание, по крайней мере частично, и, собравшись с силами, попыталась добраться до дома, но забрела аж на Стрижу и там свалилась в камыши, когда кружила возле пруда, или упала в пруд с насыпи, и течение вынесло ее на берег, прежде чем она успела утонуть. На наше вранье махнули рукой, поскольку, в конце концов, зачинщиком опасных игр, как было установлено, был Вайзер и на нем лежала главная вина. Только М-ский на уроках естествознания смотрел на нас подозрительно до самого окончания школы, но это, возможно, потому, что мы кое-что знали о его тайных страстях.

Это все? Все, если бы не тот день над Стрижей. Мы как раз подбегали к речке, Элька повернула голову в нашу сторону и крикнула:

— Эй, вы, хотите всю нашу рыбу распугать?

Она шутила. В Стриже не было рыбы, а у них не было ни удочки, ни сачка.

— Что вы тут делаете? — спросил Шимек. — Вас ищут.

— Ищут? — удивилась она. — Кто нас ищет?

— Ну, — сказал я неуверенно, — вообще-то твой дед, — теперь я обращался к Вайзеру, — очень волновался.

— Я ему говорил, что поеду с ней в Пчёлки.

— Не ври! — Шимек впервые повысил на него голос. — Не ври, мы слышали, как твой дед у всех про тебя спрашивал, не знал он ничего. И вообще не были вы в Пчёлках, — в его голосе звучали нотки восхищения и жгучего любопытства.

— Не ваше дело, — ответила Элька, — допрашивать нас пришли?

— Ну, ладно, — примирительно отозвался Петр, — нет так нет, но здесь-то вы что делаете? Ведь тут даже уклеек нет!

Элька смотрела на Вайзера, который стоял по щиколотку в воде и смотрел, как вода падает с бетонного порога.

— Ничего мы не делаем, — ответил он за нее и после минутного колебания добавил: — Пока ничего не делаем, только готовимся.

Он испытывал наше любопытство: мы знали, что ничего больше спрашивать не нужно, он сейчас сам все скажет.

— Мы готовимся к особому взрыву, — пояснил он. — Но сперва надо все учесть и рассчитать.

Я посмотрел вверх по течению, откуда река плыла к нам мягкими извивами среди орешника и ольхи, и сразу, в ту же минуту понял, что он имеет в виду. Это была действительно потрясающая идея — заложить заряд в туннеле под насыпью, тогда от взрыва узкий проход будет завален грудами земли с железнодорожной насыпи и на его месте образуется высокая, метров семь-восемь, плотина, а там, где мы сейчас стояли, и выше по течению будет нормальное озеро, до первых деревьев.

— Гениально! — прошептал Шимек. — Здорово! — Ему тоже понравилась идея перегородить речку. — Тут можно будет плавать, — показал он рукой на луг со стороны рембеховского шоссе, — все зальет!

— Да, — подтвердил Вайзер, — все зальет, но нужно рассчитать массу земли и силу взрыва.

Только Петру не понравился замысел Вайзера. Он сказал, что по другой стороне вала есть пруд и можно, на худой конец, попробовать искупаться там. Но мы ему быстро заткнули рот: пруд был заросший и заиленный, и при одной мысли о том, что надо погрузиться в такое паскудство, к горлу подступала тошнота.

— Нужно войти в туннель, — сказал Вайзер, — и точно замерить его длину. Кому охота?

Я вскочил первый.

— Хорошо, — теперь он обращался ко мне, — только считай точно шаги и смотри не поскользнись.

Туннель был невысоким, его бетонная арка достигала уровня моих глаз в самом высоком месте ровного полукруга свода. Я пригнулся и заглянул в темную дыру. "О-го-го! — выкрик вернулся эхом. — Как в подвале-але-але-але!.. " Я двинулся вперед, слегка сгорбившись, руками держась за влажные скользкие стены, — одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Шел, осторожно ставя ноги, под которыми ощущал сгнившие растения, копившийся годами ил и обломки кирпича, — двадцать один, двадцать два, двадцать три. Чувствовал, как окутывает меня сырость, пахнущая тухлятиной, грязью и истлевшей древесиной, чувствовал в ноздрях этот резкий запах, холодный и пронизывающий, — тридцать один, тридцать два, тридцать три. Запах, немного похожий на тот, что был в склепе на

брентовском кладбище и в подвале заброшенного завода, нисколько меня не пугал, так же, как многометровая толща земли над головой, потому что в конце туннеля и в окружавшей меня темноте — сорок два, сорок три, сорок четыре — в конце темного рукава я видел светлый все увеличивающийся кружок выхода, и все больше света было у меня впереди, и наконец кончился холод — пятьдесят девять, шестьдесят, шестьдесят один, — и вот я стою под горячими ослепительно яркими лучами, зажмурив глаза и выпрямившись, так как я уже на другой стороне.

— Четыре минуты! — услышал я голос Петра. — Целых четыре минуты — что, нельзя было быстрее? — Он стоял рядом с выходом из туннеля, прямо под солнцем, и я не мог сразу посмотреть ему в лицо.

— Ясно, что можно быстрее, — отвечал я, — но мне не хотелось ошибиться!

Мы взобрались по крутой насыпи наверх, и тогда Петр показал мне рукой на сумасшедший дом, который был виден вдалеке за кронами деревьев.

— Думаешь, он там? — спросил Петр.

— Да, — сказал я, — наверняка там, его тогда не убили.

Помню, что когда мы уже собирались спуститься вниз по другой стороне насыпи, которая была похожа на заброшенную дорогу, я зацепился ногой за что-то торчащее из земли. Это была заросшая травой железнодорожная шпала. Все внизу сидели, ноги в воде, и только Вайзер стоял на берегу. В руке у него была палочка, и я видел, как он чертит что-то на земле, где трава росла пореже.

— Что это? — спросил я, но Элька быстро сказала, чтобы я ему не мешал.

Вайзер, не сводя глаз с квадрата, поделенного на ровные клетки, в которые он что-то вписывал, стирал и снова вписывал, спросил, сколько получилось шагов.

— Шестьдесят один, — сообщил я, и тогда он еще что-то дописал и стер. Можно было подумать, он вспоминал таблицу умножения или считал на счетах.

— Иди сюда, — позвала меня Элька, — не видишь, он занят?

Я подошел к ним, но успел сосчитать все клетки в квадрате — их было тридцать шесть, по шесть с каждой стороны. Петр говорил, что, если взрыв удастся, вода зальет луг и через какое-то время за неимением слива подойдет к дороге.

— И что тогда? — спросил я, но Эльке все было ясно.

— Придут пожарники, солдаты и сделают отвод или новый туннель, а до того мы успеем искупаться, — объяснила она, будто речь шла о прогулке в Елитково, — и тогда — ищи ветра в поле.

— Или придем вместе с другими посмотреть, — придумал Шимек, — и никто не узнает, чьи это делишки.

— А если бы наверху ходил поезд, — добавил Петр, — вот было бы шуму!

Вайзер стер ногой свой квадрат.

— Все, — сказал он громко, — все ясно!

— Ну и когда? — спросил я нетерпеливо.

— Нужно еще проверить, где лучше заложить заряды. Там нет стекол? — обратился он ко мне, и я понял, что сейчас он захочет войти в туннель.

— Нету, — ответил я. — А можно я с тобой?

— Останься.

Элька подошла к нему.

— Я тоже хочу посмотреть.

И вот они уже подошли к своду и, наклонив головы, исчезли в темном коридоре, как я минуту назад; Петр поднялся по откосу наверх, чтобы встретить их с другой стороны. Я стоял, уперевшись обеими руками в бетонный свод, и видел сгорбленную фигурку Эльки, которая шла за Вайзером, слышал их все глуше звучавшие голоса и отдаляющееся хлюпанье, смешанное с шумом воды, и наконец увидел смутные очертания фигур там, где в конце виднелось яркое пятно света, в котором обе фигуры растворились и исчезли. Сколько это могло продолжаться? Я не о проходе через туннель говорю, я спрашиваю себя, сколько могло пройти времени, прежде чем я услышал над головой окрик Петра: "Что за черт, куда они подевались?" Шимек утверждал, что прошло добрых восемь-десять минут, но ни тогда, ни тем более теперь, когда я это пишу, я не могу сказать, как было на самом деле. Петр ждал по ту сторону, ждал и считал, считал и ждал, пока ему не надоело ждать и он не заглянул в жерло туннеля. Не увидев их, он подумал, что они, наверное, вернулись, так как нашли уже хорошее место для закладки взрывчатки. И снова перебежал через насыпь на нашу сторону, но увидел меня, стоящего у входа, и Шимека, шлепавшего по воде, и никого больше. Я думал, что он пошутил, когда сказал: "Они не выходили оттуда", — а он подозревал, что я надуваю его и пугаю, но минутой позже мы уже знали, что это не была ни его, ни моя шутка — это была шутка Вайзера. "Не может быть, — сказал я, — там нет ни одного выступа, ни одного углубления сбоку, где они могли бы спрятаться". Но их не было ни с этой, ни с той стороны насыпи. Целый час бродили мы с Шимеком по туннелю, обстукивая каждый камень, ощупывая каждую трещинку, каждый кирпич и кусок цемента. "Вайзер! — кричал я. — Вайзер, это ты уж слишком загнул, где вы?" — Но кроме шума воды и гулкого эха, никто нам не отвечал. Мы сидели над Стрижей до вечера у обоих концов туннеля, а Петр караулил наверху, на насыпи, — все безрезультатно. Возвращались мы, понурив головы, и хотя каждый из нас думал, что ничего дурного не случилось и что они самое позднее завтра утром появятся в школе на торжественном собрании в честь начала учебного года, хотя мы в это твердо верили, было тем не менее в их исчезновении что-то ненормальное, словно Вайзер, договорившись с нами о встрече, надул нас и не пришел, чего никогда не делал. Когда позади осталось брентовское кладбище — мы шли по насыпи — и когда с вершины Буковой горки мы увидели крыши нашего квартала и дальше взлетное поле аэродрома и залив, с севера, со стороны моря, задул первый в этом году холодный, освежающий ветер. У домов, где кончался лес, я почувствовал на лице большие, как виноградины, тяжелые капли дождя. Они падали на землю и тут же впитывались, но за ними все быстрее летели следующие, и через минуту улица, город и весь мир тонули в серых струях дождя.

Да, именно тут и кончается повествование. Все мысли, связанные с Вайзером, очень меня волнуют, так что я не буду развивать их дальше, хотя сохраню в памяти и в сердце. Но остался еще Петр. Для него я завернул исписанные листки в серую бумагу и всунул в щель бетонной плиты.

— Это ты? — спросил он.

— Я.

— Зачем пришел, ведь сегодня не День поминовения?

— Да, Петр, я просто принес тебе кое-что. Прочти, а я приду завтра или через два дня, тогда и поговорим.

Он не отвечал. Это означало, что он согласен.

Сам не знаю, как это получилось — вместо того чтобы ехать на автобусе, я иду на эту встречу пешком. Сначала миную Буковую горку, где аккуратно проложенные аллеи ничем не напоминают те времена. По левую руку должно быть брентовское кладбище. Вот сейчас.... Но на большом пустыре нет надгробий с готическими буквами. Деревья вырублены. Бульдозер рядом с кирпичным костелом сгребает в кучу груды камней и разбитых плит. Роет котлован для фундамента под новый, намного больший костел. Котлован глубиной в несколько метров и размером со спортивную площадку. Иду дальше. Там, где был пустой склеп, стоит четырехэтажный дом с тремя подъездами. Первые жильцы вешают занавески и моют окна после малярных работ, хотя холодно. Теперь я стою на железнодорожной насыпи. Там, где за стеной леса виднелись окружающие стрельбище холмы, теперь я вижу еще не облицованные башни-многоэтажки. Одна, другая, третья и за ними еще одна. Поверхность насыпи вся в колдобинах — ее разъездили грузовики и машины садоводов. Я иду дальше по насыпи, до самого рембеховского шоссе. Но оно не похоже на шоссе. Это обыкновенная улица с тротуарами, фонарями, и машины ездят туда-сюда. Я устал, совсем как старик. Жалею, что не поехал автобусом. А может, думаю я, и хорошо, что посмотрел. Ведь Петр всегда начинает разговор с расспросов, что происходит в городе. Просит рассказывать ему все до мелочей, очень подробно. Так что я еще раз окину взглядом все это и пойду к нему на кладбище. Не задумываясь больше, иду по улице вниз, а потом направо вверх, и вот я там, куда должен был попасть. От ворот кладбища, если свернуть направо, можно дойти до сумасшедшего дома. Если бы я так и сделал и миновал окруженные старым парком корпуса с зарешеченными окнами, я бы дошел до того места, где в последний раз видел Вайзера. Но не для того я проделал такой длинный путь. Сейчас мне нужно поговорить с Петром. Я сажусь на холодную плиту и поправляю кашне.

— Прочитал? — задаю я вопрос, хотя не знаю, настроен ли он на разговор.

— Да, — отвечает он.

С минуту мы молчим. Я вытаскиваю рукопись из щели и прячу в сумку. Но Петр не начинает со своего "что слышно". Наша беседа принимает сегодня несколько иной характер, я чувствую это, когда звучит первая фраза:

— Ты не написал, в каком платье была Элька.

— Когда?

— Над Стрижей.

— Конечно в красном.

— Это нужно отметить.

— В том самом, в котором была на аэродроме.

— Ну хорошо. А что с оружием, которое прятал Вайзер? На следствии говорили, что нашли только взрывчатку. А об оружии ни слова!

— Они не нашли ничего, кроме тротила и детонаторов. Должно быть, Вайзер спрятал все еще до того, как мы пошли на завод его искать. Помнишь, проход в стене, через который попадали в его тайник, был заложен.

— Помню.

— Вот именно. Он все предвидел и точно рассчитал, согласен?

— Теперь о других деталях. М-ский такой, каким был, правдивый. Но только он наверняка не допускал ошибок в природоведении. Он никогда не ошибался в названии растения, насекомого, бабочки или в классификации, а ты...

— А разве это была не арника горная?

— Конечно это была Arnica montana, цветок горной арники, который еще называют арника обыкновенная. Но ты написал, что М-ский отнес ее к подсемейству Liguliflorae, или хоботкоцветных. А М-ский не ошибался в классификации никогда. К этому подсемейству принадлежит, например, Scorzonera hispanica или Taraxacum officinale, но...

— Господи, а это что такое?

— Scorzonera hispanica? Козелец испанский. А Taraxacum officinale — дикий цикорий, или просто одуванчик. Вот они относятся к подсемейству Liguliflorae, но никак не Arnica montana!!!

— С ума сойти, откуда ты знаешь эти названия? М-ский этому не учил.

— Arnica montana принадлежит к подсемейству трубкоцветных, по латыни Tubuliflorae, к тому же, что, скажем, и Achillea millefolium, то есть тысячелистник обыкновенный.

— Разве это так уж важно?

— Если ты писал об М-ском — очень важно. Но у меня есть еще кое-что: Хорст Меллер. Ты узнал, кто он такой?

— Помилуй, кого сейчас может интересовать, кем был какой-то Хорст Меллер?

— Согласен, но ты иногда увлекаешься какой-нибудь маловажной подробностью, и главное действие тогда тормозится. С муравьями ты переборщил. Муравьи никого не трогают. Или насчет того, какой запах доносился из колбасной за магазином Цирсона. Разве это не перебор?

— Думаю, нет. Если ты заговорил о подсемействе Arnica montana, то муравьи и колбасная не менее важны.

— Сейчас мы договоримся до того, что все важно.

— Чтоб ты знал: или ничего, или все.

— Почему тогда ты не написал, что я всегда боялся темноты? Коридоров и неосвещенных подвалов? Даже на Стриже я не вошел в этот проклятый туннель. Ждал их и считал, но не заглядывал внутрь. Почему ты об этом не написал?

— Я ведь был с другой стороны, откуда я мог знать?

— Ты что, моего силуэта не видел?

— Нет. Видел спину Эльки, как она шла в том направлении, больше ничего.

— И еще, зачем ты придумал какого-то директора? В восьмилетке тогда были завучи.

— Да, но потом, когда тебя уже не было, их переименовали в директоров.

— Ну и что?

— Если ты считаешь, что это важно, я назначу его завучем. Наверно, он не рассердится, ведь давно уже на пенсии.

— Кроме этого, все у тебя так, как было.

— И ничего больше ты мне не скажешь?

— А чего ты ждешь? Я прочитал и говорю, на что обратил внимание.

— А Вайзер?

— Что Вайзер?

— Что бы ты о нем сказал? Он ведь не хотел стать цирковым артистом. Обманывал нас. Где он сейчас?

— Написал и не знаешь?

— Знаю больше, чем знал, но не все. Поэтому и пришел к тебе. Я должен знать правду.

— Я сдержал обещание, а ты опять за свое.

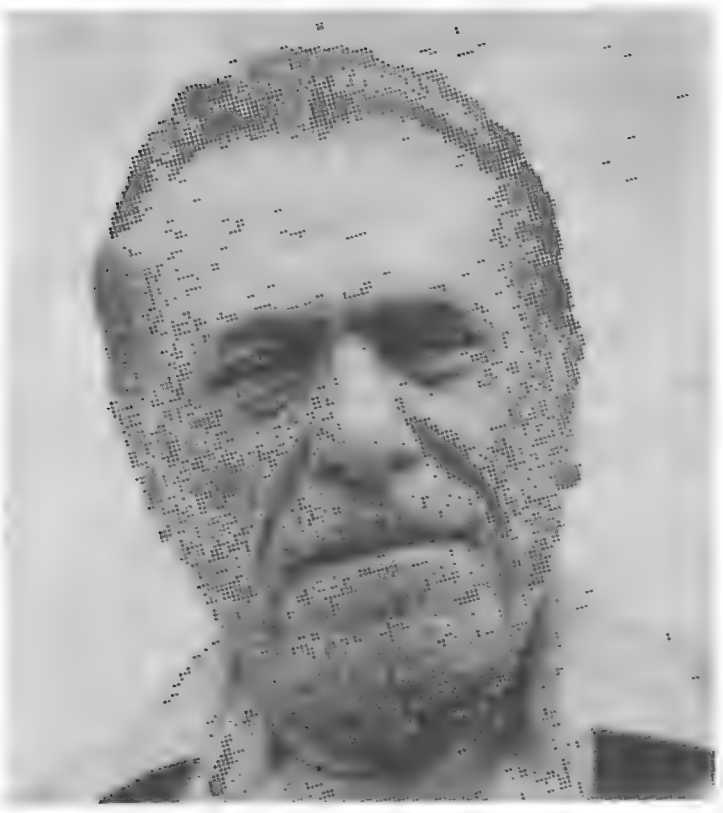
— Что с ним стало?

— Мы и так разговариваем слишком долго.

— Что с ним стало? Почему ты ничего не говоришь? Почему ты перестал отвечать, Петр?

Да. Снова пойдешь той самой тропкой от кладбища сначала вниз, потом в гору, а потом еще раз вниз. Постоишь над быстрой речушкой, там где она исчезает под низким сводом туннеля. Войдешь в холодную воду и станешь у самого входа, руками уперевшись во влажный бетон. Наберешь воздуха в легкие и, как в горах, крикнешь: "Вайзер!" Эхо ответит тебе глухо, но только оно, ничто больше. Та же вода, что и много лет назад, будет шуметь на бетонных порогах, и, если бы не хмурое небо в тучах, ты бы подумал, что сейчас — это тогда. "Вайзер! — крикнешь. — Вайзер, я знаю, что ты там!" — и швырнешь камень в черный зев. Ответит тебе только всплеск воды. "Вайзер! — крикнешь снова. — Я знаю, что ты там, вылезай сейчас же!" В шуме и бульканье не будет ответа. "Вайзер, зараза, вылезай! — будешь ты кричать все громче. — Ты слышишь меня?" Всунешь голову в черный зев и, все глубже погружаясь в воду, поползешь на коленях среди тины, скользких водорослей и камней к светящейся точке впереди. "Вайзер, — закричишь, — не обманывай меня, чертов сын, я знаю, что ты здесь!" Долгий звук прокатится над тобой, словно по насыпи наверху протарахтел локомотив, но никто не ответит на твой зов. Ты выйдешь наконец из туннеля, весь в тине, с одежды стекает вода. Сядешь на берегу речки и, дрожа от холода, вспомнишь слова той дразнилки: "Вайзер Давидек не ходит в костел!" Посмотришь в небо, где за свинцовыми тучами гудят двигатели невидимого самолета. И вместо того чтобы говорить что-то, ругаться и проклинать, подумаешь, что все, что видели твои глаза, и все, чего касались твои руки, давно уже рассыпалось в прах. Будешь смотреть перед собой тупым, неподвижным взглядом, не слыша уже ни воды, ни ветра, который будет трепать твои слипшиеся волосы.

Чарльз Буковски



Стихи

С английского

“Поэт? Это слово нужно определить заново...”
В 1969 году калифорнийский издатель Джон Мартин предложил Чарльзу Буковски ежемесячное пособие в размере 100 долларов вне зависимости от объема написанного, что позволило всю жизнь проработавшему на заводах, бойнях и почтамтах писателю уйти со службы и вплотную заняться литературой. События следующего десятилетия доказали правоту издателя — первый же роман Буковски, написанный вскоре после заключения “концессии”, был переведен на пятнадцать языков, а прибыль с его книг вскоре покрыла скромное пособие, которое расходовалось в основном на выпивку, скачки и проституток. Тиражи книг Буковски увеличивались, в конце восьмидесятых он написал сценарий для фильма “Завсегдатаи баров”, вознесшего его имя на вершину голливудского кинематографического Олимпа, и окончил жизнь в уютном собственном доме, с молодой женой и бассейном. Впрочем, неизбывный запас душевного неблагополучия так и не позволил обретшему на склоне лет признание, семейное счастье и материальный достаток писателю изжить образ “грязного старика”, “ужасного ребенка” и главного современного наследника французских *“про́клятых поэтов”* XIX века.

В России его проза стала известна в последние годы — на сегодняшний день вышло четыре книги, были публикации в периодике, в том числе несколько рассказов и роман “Макулатура” в “ИЛ”. Его поэзия у нас пока неизвестна — между тем на Западе Буковски-поэт едва ли уступает по популярности Буковски-прозаику. Скажем, в Германии, где даже в провинциальных книжных магазинах тома прозы Буковски на полке непременно соседствуют с двумя-тремя переводными стихотворными сборниками, что на фоне глобальной трансформации современной поэзии в узко элитарный жанр само по себе явление примечательное.

Первые стихи Буковски были опубликованы в 1946 году в филадельфийском журнале “Матрица”. В этих опытах уже очевидно стремление к лаконизму, поиски сво-

© К. Медведев. Перевод, вступление, 2000
© Г. Агафонов. Перевод, 2000
В оформлении использованы рисунки Чарльза Буковски.

его героя и антуража — всего того, что спустя десять—пятнадцать лет станет фирменным знаком эстетики Чарльза Буковски:

Рекс был крепкий мужик
Пил как лошадь
И был похож на пурпуровую гарголью.
Он сменил трех жен
Пока не нашел единственную.
И они бранилась за дешевым джином
одинокие
и всем довольные.

Начало зрелой поэтической карьеры Буковски датирует 1955 годом, а его первый поэтический сборник "Цветок, кулак и звериный вопль" вышел в 60-м и содержал стихи, по словам биографа Говарда Саунса, "мрачные и самоуглубленные". С тех пор все происходило по одному и тому же сценарию — появлялись не слишком богатые, но одержимые любовью к поэзии Буковски издатели и печатали его книги — почти в подполье, чуть ли не кустарным способом, часто себе в убыток. Тиражи не поднимались выше пятисот экземпляров, но время от времени книги переиздавались. Вот как описывает Буковски пребывание в квартире одного из своих издателей в середине 60-х: "...А я продолжал писать стихи. Мы пили с тараканами, квартирка была крохотная, и страницы 5, 6, 7 и 8 лежали в ванне, помыться было невозможно, а страницы 1, 2, 3 и 4 лежали в большом чемодане, так что вскоре места не осталось вообще. Повсюду были кипы страниц по семь с половиной футов высотой. Мы осторожно передвигались между ними... Имелась еще лестничная клетка. Так что Джон с Луисой спали там на матрасе, а с кроватью пришлось расстаться. Таким образом освободилось пространство на полу, куда можно было складывать кипы страниц. "Буковски, кругом Буковски! Я схожу с ума!" — говорила Луиса. Шныряли тараканы, мы пьянствовали, а печатный станок заглатывал мои стихи. Удивительное было время..."

Художник Крамб создал замечательный портрет Буковски на основе фотографий, сделанных на его свадьбе в августе 1985-го. Буковски женился второй раз, на Линде Ли Бейль, по случаю чего надел костюм в полоску, ботинки из змеиной кожи и цветастый галстук, представ перед друзьями в гораздо более пристойном виде, чем обычно

Буковски писал стихи на протяжении полувека, и хотя его герой в общих чертах оставался тем же, поэтика менялась. На раннем этапе — некоторая стихийность, языковая избыточность текстов (вошедших, в частности, в сборники "И в воде горит, и в огне тонет" и "Мадригалы меблированных комнат"), когда в зыбкое, неоднородное, пульсирующее пространство стихотворения вовлекаются самые разнообразные, порой, кажется, сугубо случайные мотивы (можно усмотреть и элементы "автоматического письма" — см. стихотворение "Вегас"). Следующий этап — насыщенный конкретизм середины 70-х, наиболее цельно выразившийся в сборнике "Любовь — это адский пес". Этот сборник интересен, помимо прочего, своим тематическим единством — он посвящен, как нетрудно догадаться, отношениям между мужчиной и женщиной. Кстати, параллельно со стихами этого сборника Буковски работал над романом "Женщины", так что в обеих книгах запечатлен один и тот же период его жиз-

ни, отражены одни и те же сюжеты. Сцены романа перекликаются со стихами из сборника — хорошо видно, как Буковски претворяет эпизоды "прозы жизни" в самостоятельные лирические пьесы. Тексты этого времени являют собой как бы плотные, эмоционально напряженные сгустки сюжетной массы — повествования без начала и конца ("стихи Буковски — это в основном рассказы, как и его проза". — *Лоуренс Ферлингетти*). Зеркало Буковски замирает на одном фрагменте реальности, на развитии одной сцены или сюжета, все случайные элементы исключаются. В текстах Буковски этого периода особенно явно выражается общая для второй половины века тенденция синтеза поэзии с прозой. "Я думаю, абсолютно нормально писать короткие рассказы (short short stories) и считать их стихотворениями, главным образом потому, что в коротких рассказах слишком много *ненужных* слов", — писал он еще в начале 60-х.

Наконец, третий этап — сдержанная, спокойная поступь разреженного, но внутренне напряженного стиха плюс некоторый мемуарный элемент в текстах последних лет, вошедших в сборник "Танцы в мертвецкой". Нетрудно проследить, как меняется поэтическая фактура: от разболтанных, хаотичных, по-битнически экспрессивных ранних текстов — к внятности, по-стариковски мудрой и ироничной сдержанности поздних. Вот что пишет Буковски о своих ранних текстах: "...я писал их на одном дыхании, не меняя ни строчек, ни отдельных слов. Я никогда их не редактировал и не перепечатывал. Если надо было исправить ошибку, я делал вот что: # # # # # #. Издатель одного журнала так и опубликовал подборку моих стихотворений со всеми этими # # # # # #". "Ранние стихи более лиричны, чем то, что я пишу теперь. Я люблю их, но я не согласен с теми, кто заявляет: "Ранний Буковски гораздо лучше". В моих нынешних стихах я пишу о вещах более конкретных. Я не считаю, что мои прежние методы хуже нынешних, или наоборот. Они разные, вот и все".

Уходя от свойственной контркультуре 50—60-х некоторой идеологической ангажированности (мотив бунта и социального переустройства), декларативности (роднящей, например, битников с нашей "эстрадной поэзией" 60-х), постсюрреалистической стихийности и буддийской надмирности, Буковски двигался к внятности, прозрачности, лапидарности, а главное — к свободе от любых литературных и социальных условностей. Если искать параллели, подобную роль в современной российской традиции сыграла реформа поэзии, осуществленная Всеволодом Некрасовым и "лианозовской школой" в целом. Посыл, собственно, один и тот же — неприятие любого рода компромиссов с литературным официозом и социальной действительностью, отвержение накопленных предыдущими поэтическими поколениями абстракций, жажда "последней правды"... Всеволод Некрасов погружается в раскрепощенную речевую стихию (про стихи Буковски тоже, кстати, говорили, что это "живая речь, пришпиленная к бумаге"), а, например, Игорь Холин — в описание жестокого и примитивного быта рабочих предместий (одна из его книг называется "Жители барака" — "меблированные комнаты" Буковски суть те же бараки):

Дамба. Клумба. Облезлая липа.
Дом барачного типа.
Коридор. Восемнадцать квартир...
У Макаровых пьянка. У Барановых драка...

Можно вспомнить и жесткую алкоголически-параноидальную эстетику Олега Григорьева, а также Николая Глазкова с его знаменитым "Я на мир взираю из-под столика" (после чтения Буковски подобный взгляд начинает казаться едва ли не самым трезвым). Интересно, что на российской почве подобная линия неизбежно уклоняется в ироническую травестию, в лубок, то есть происходит, так или иначе,

некоторое спасительное отстранение — феномен, объясняемый, возможно, многовековой традицией скоморошества и юродства. Американская же традиция с ее молодым уитменианским витальным пафосом подобного выхода не предполагает. Как не предполагает и растворения автора в игровой, фольклорной, надиндивидуальной стихии. Вот что писал о параллелях между российским и американским андеграундом поэт, знаток петербургской и московской подпольной культуры 60—70-х Константин Кузьминский: "...И тем не менее контакт был. Не на уровне реалий, но скорее на уровне эстетики, духа. Дух был тяжелый не в одном Советском Союзе. Когда же я увидел башню Техасского университета (кальку с той, что на Воробьевых-Ленинских), все встало на свои места. Эстетика ОБЩАЯ (не индивидуальная) зарождается, похоже, повсюдно: как бы некий пояс эфира, заражающий сразу всю Землю... В этой общности массовых идеологий, точнее, идеологий для масс нет места для будь то "битников" США или "барачников" СССР, что порождает и сходность течений. Наркотики, музыка, темы — все было общее, несмотря на океан".

Февраль 1971 г. Буковски гордо демонстрирует голову, которую вылепила и подарила ему Линда Кинг. Их роман в самом разгаре. Когда они в очередной раз поссорятся, Буковски вернет голову Линде

Надо сказать, что для битников место в итоге нашлось — они давно и прочно вошли в американский литературный истеблишмент, а вот Буковски, по словам молодых американских поэтов, приезжавших на московский поэтический фестиваль в сентябре 1999 года, и по сей день — как это ни странно — bad boy и enfant terrible. На фоне бурлящей разного рода коммунальными мифами (от хиппизма до религиозного сектантства, от клубов самоубийц или садомазохистов до приверженцев здорового питания) Америки Буковски выступил как истинный адепт мифологии индивидуальной, противопоставляя всеобщим коллективистским порывам провокативно детальное (вплоть до настойчивых упоминаний о посещении уборной и т.п.) описание частной жизни. Но благодаря этому перед читателем предстает и оборотная сторона — сквозь флер индивидуальных жестов и переживаний, сквозь поверхностно-предсказуемую эксцентричность alter ego Буковски, глумливую маску шокинга, цинизма и мизантропии все же мелькают черточки некоего архетипа, высмотренная полвека глядевшим в одну точку поэтом трещина, проходящая по самой сердцевине: то ли в самой человеческой природе, то ли в ее мужской ипостаси, то ли в отношениях между мужчиной и женщиной.

Возможно, дело тут отчасти в прямом, по-варварски откровенном показе плотской любви. Говорят, Генри Миллер начал там, где закончил Д. Г. Лоуренс. Буковски двинулся дальше. Какого рода физический и духовный опыт нужен для того, чтобы явить описание любви, лишенное порожденных многовековым опытом предрассудков? Как увидеть любовь такой, какая она есть? Не об этом ли рассуждает Буковски: "Как же постыдно, что лучшие любовные лирики со времен Уитмена — это Гинзберг и Жене. Гомосексуализм не постыден. Постыдно то, что гомосексуалисты учат нас писать о любви"?

По легенде, Жене и Сартр называли Буковски "лучшим американским поэтом", но документальных подтверждений этому не обнаружено. Как бы то ни было, в Европе его всегда ценили больше, чем в США, — поначалу не понятая Америкой "неслыханная простота" Буковски в пресыщенной культурой Европе явилась настоящим откровением. "Организовав "Блэк Спэрроу" ("Черный воробей" — издательство, выпустившее основную массу книг Буковски. — *К.М.*), я издавал ребят,

полагавших, что они французские символисты. Издавал ребят, полагавших, что они сюрреалисты, так что приходилось подолгу корпеть над стихотворением, дабы уразуметь его смысл. И вдруг звучит этот голос из ниоткуда, и ты сразу понимаешь, о чем идет речь", — говорит Джон Мартин.

А речь, кажется, идет о единственно допустимой реальности, она не имеет альтернативы и не предполагает выхода — может быть, в этом заключается суть трагизма Буковски, его глубокого экзистенциального надрыва. Побег невозможен. Одиночество героя Буковски — это одиночество человека, стоящего на земле, со слезами и смехом принимающего ее боль и скудные блага, тогда как все вокруг давно поселились в жалких иллюзорных мирах. Границы вселенной сдвигаются до пределов личного опыта — даже если он состоит в простом передвижении от дома до винной лавки с единственной мыслью о скорейшем возлиянии. Отсюда неприятие Буковски любых "механизмов воспроизводства иллюзий", "сметаны грез" — будь то искусство, религия, телевидение, пропагандистские мифы, социально-утопические теории (Америку с ее "мечтами" и ценностями Буковски не жаловал, однако и марксизмом, в отличие от многих собратьев-интеллектуалов, не увлекался). Отсюда его литературные предпочтения: Уитмен, Робинсон Джефферс, Конрад Эйкен, Вийон, Неруда, Селин, Достоевский, Миллер, Гамсун, Хемингуэй — авторы, как считал Буковски, наиболее остро чувствовавшие и наиболее жестко отражавшие "правду жизни". Отсюда и неизменная любовь к ипподрому — месту, где, по мнению Буковски (впрочем, нечто подобное Хемингуэй говорил о корриде), можно сполна ощутить вкус и запах жизни. Отсюда же и его пафос "антипоэзии", постоянные выпады в адрес коллег-литераторов, возмещающих эстетическими изысками недостаток личного эмоционального опыта, принимающих искусство за панацею от "жестокой действительности":

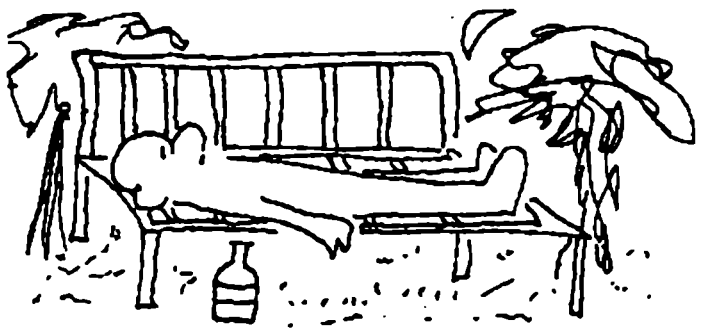
Я понял, что беда многих
известных мне поэтов в том
что они никогда не работали
восемь часов в день...

Поэт?
это слово нужно определить заново
когда я слышу его
у меня начинает бурлить
в желудке
как будто вот-вот стошнит...

Буковски груб, одномерен, местами патетичен, несправедлив. Не обязательно разделять пафос Буковски, чтобы согласиться с обращенными к нему словами сына Генри Миллера: "Только у вас и у отца я нахожу столь пронзительное чувство реальности". На фоне головокружительнах экспериментов новой литературы над сутью авторства и природы текста Буковски, доводя до крайности американскую интенцию "погружения в повседневность", пытается сохранить за искусством "чувство реальности" — попытка отчаянная, видимо, утопическая и потому такая болезненная. Но ее убедительность обеспечена именно настойчивым присутствием автора — как это ни парадоксально в эпоху его пресловутой "смерти".

К. Медведев

Из книги “*Мадригалы меблированных комнат*”



Дружеский совет множеству молодых людей

Отправляйся в Тибет.
Прокатись на верблюде.
Изучай Библию.
Выкраси туфли индиго.
Отпусти бороду.
Плавай по свету в папирусной лодке.
Подпишись на “Сатэрдей ивнинг пост”.
Жуй только левой стороной рта.
Женись на одноногой и брейся опасной бритвой.
И вырежи свое имя на ее руке.

Отбеливай зубы бензином.
Днем спи, а по ночам лазай по деревьям.
Стань монахом и пей пиво с дурью.
Стань тише воды и играй на скрипке.
Танцуй танец живот, пока горят свечи.
Убей собаку.
Баллотируйся в мэры.
Поселись в бочке.
Проломи себе голову топором.
Сажай под дождем тюльпаны.

Только не надо писать стихи.

Не терплю слез

сотни дураков топтались
вокруг гусыни со сломанной лапкой
и пытались решить
что делать
но тут пришел страж порядка
достал свою пушку
и разрешил все проблемы
и только женщина
из соседней лачуги
убивалась из-за любимицы,
а страж потеребил портупею
и сказал ей

Copyright © 1988 by Charles Bukowski. Reprinted from THE ROOMINGHOUSE MADRIGALS: EARLY SELECTED POEMS 1946–1966 with the permission of Black Sparrow Press.

чтоб убиралась в жопу
и передала привет президенту;
тут женщина расплакалась
а я не терплю слез.

Сложил я свой холст
и пошел себе дальше:
эти ублюдки
испортили мне пейзаж.

Перевод Г. Агафонова

Из книги “И *в воде горит, и в огне тонет*”

Вегас

там было мерзлое дерево и я хотел было его нарисовать
но тут посыпались снаряды
и в Вегасе глядя на зеленый тент
в половине четвертого утра
я умер без курева, без номера “Атлантик мансли”
окна вскрикивали как голуби оплакивавшие бомбардировку Милана
и я пошел жить к крысам
но огни были слишком ярки
и я подумал быть может лучше вернуться и сидеть
на поэтическом семинаре:

блестящее описание газели это
черт знает что;
распятие будто муха у меня на окне,
дыханье матери колышет листочки
в моем сознании;

и я поехал автостопом в Лос-Анджелес сквозь похмельные облака
и я достал из кармана письмо и прочел его
а водитель спросил, что это такое?
да так говорю одна девка с Севера которая спала с Паундом,
она уверяет меня что Х. Д.[1] это наша лучшая поэтесса;
ну преподнесла нам Хильда несколько розовых греческих богов с фарфором,
но с тех пор как я ее прочитал сто сорок сосулек свисают с моих костей.

Copyright © 1974 by Charles Bukowski. Reprinted from BURNING IN WATER DROWNING IN FLAME: SELECTED POEMS 1955—1973 with the permission of Black Sparrow Press.

1. Х. Д. (Хильда Дулитл; 1886—1961) — американская поэтесса, один из основателей имажизма. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

я сворачиваю не доезжая Лос-Анджелеса, сказал шофер.

ну, хорошо, говорю, лилии преклоняются перед нашим
разумом
и когда-нибудь мы отправимся домой
все вместе.

ну вот, сказал он, дальше
я не поеду.
что ж как ему угодно, старая сморщенная шлюха Время,
твои груди пахнут сметаной грез...
он высадил меня
посреди пустыни;

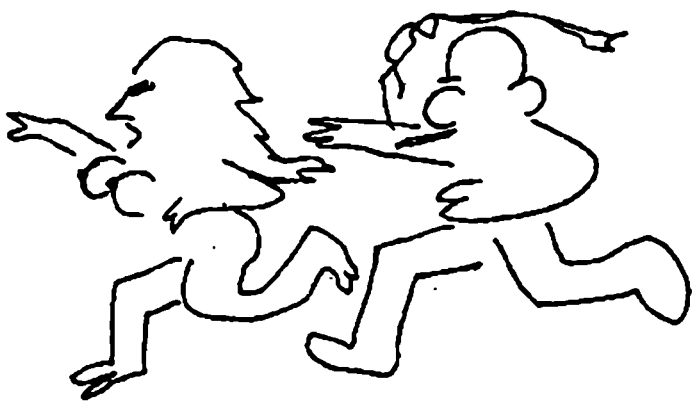
умирать значит умирать значит умирать,

в подвалах старые фонографы
Джо Димаджио[1]
на складах лук...

через 45 минут меня подобрали на
старом "форде",
и на этот раз
я держал язык
за зубами.

Перевод К. Медведева

Из книги *"Любовь – это адский пес"*



Один среди всех

плоть облекает скелет
и туда
помещают разум
а иногда и душу,
и женщины разбивают
цветочные вазы о стены
а мужчины пьют слишком
много
и никто не находит
единственных

Copyright © 1977 by Charles Bukowski. Reprinted from LOVE IS A DOG FROM HELL with the permission of Black Sparrow Press.

1. Джо Димаджио (1914–1999) – известный американский спортсмен, бейсболист, был женат на Мэрилин Монро в течение 10 месяцев (1954–1955).

но продолжают
искать
ползком из постели
в постель.
плоть облекает
скелет и
плоть ищет больше
чем плоть может дать.

только нет у нас шанса
вовсе:
все мы в плену
у своенравной
судьбы.

никто не находит
единственных.

свалки полнятся
помойки полнятся
психушки полнятся
больницы полнятся
погосты полнятся

больше ничто
не полнится.

Как представлю себя мертвым

представляются автомашины
запаркованные на стоянке

как представлю себя мертвым
представляются сковородки

как представлю себя мертвым
представляю как кто-то любит тебя
а меня рядом нет

как представлю себя мертвым
перехватывает дыхание

как представлю себя мертвым
представляю всех тех кто заждался смерти

как представлю себя мертвым
представляю что больше воды не испить

как представлю себя мертвым
воздух вокруг белеет

тараканы на кухне
трепещут

а кому-то потом придется
и чистое и грязное мое белье
выбрасывать.

Чего им надо

Вальехо пишущий
об одиночестве умирая
от голода;
Ван Гог дающий ухо на отсечение
шлюхе;
Рембо срывающийся в Африку
искать золото и найти
неизлечимую форму сифилиса;
оглохший Бетховен;
Паунд которого возят по улицам
в клетке;
Чаттертон принимающий крысиный яд;
Хемингуэй выпускающий мозги в
апельсиновый сок;
Паскаль вскрывающий вены
в ванне;
Арто помещенный в психушку;
Достоевский поставленный к стенке;
Крейн бросающийся под судовой винт;
Лорка застреленный на дороге испанскими
солдатами;
Берримен бросающийся с моста;
Берроуз стреляющий в жену;
Мейлер всаживающий нож в свою...
Вот чего им надо:
проклятого шоу
световой рекламы
посередине ада,
вот чего им надо
этой горстке
тусклых
непонятливых
опасливых
угрюмых
почитателей
карнавалов.

Перевод Г. Агафонова

Предыдущие женщины как препятствие

я обольщал ее две ночи в баре —
не то чтобы мы только что с ней познакомились —
я любил ее уже 16 месяцев
но она не хотела идти ко мне домой
"потому что там бывали другие женщины",
а я говорю: — ну, хорошо, а что же
мы будем делать?

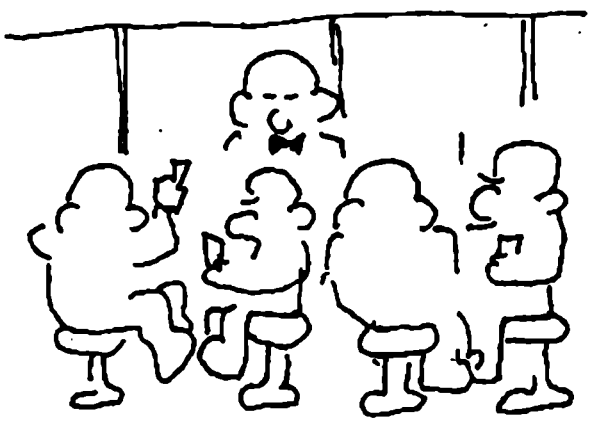
она приехала с Севера и искала куда приткнуться
покамест снимая жилье на пару с подругой,
и вот она зашла в свой трейлер,
взяла какие-то одеяла и говорит:
— пошли в парк.
я сказал, что она сошла с ума,
что нас заберут в полицию,
а она говорит: — нет, там здорово, там туман.
и вот мы пошли в парк
разложили хозяйство и приступили
к делу а тут ударил свет фар —
полицейская машина —
она говорит: — скорей надевай штаны! я уже надела!
а я говорю: — не могу, они все перекрутились.
и вот они пришли с фонарями
и спросили, что мы тут делаем, а она сказала:
— целуемся! — тогда один из полицейских посмотрел на меня
и говорит: — у меня нет к вам претензий, — мы немного
поболтали,
после чего они удалились,
но она по-прежнему не хотела ложиться в постель,
где бывали другие женщины,
и вот мы оказались в сумрачном раскаленном номере мотеля —
потели, целовались, вкалывали,
но сделали все как надо; суть же в том, что —
после стольких мытарств —
мы все равно оказались назавтра у меня дома
и занялись тем же самым.

однако той ночью в парке
были неплохие
полицейские —
я ведь в первый раз
так о них отзываюсь,
и,
надеюсь,
в последний.

39 градусов

прошлой ночью она подстригла мне ногти на ногах,
а с утра сказала: — я наверное тут весь день пролежу.
это означало, что на работу она идти не собирается.
она остается у меня — это означало
еще один день и еще одну ночь.
человек она была хороший
но как раз перед этим сообщила мне
что хочет ребенка, что хочет замуж,
а за окном было 39 градусов.
когда я представил себе *еще одного* ребенка
и *еще одну* женитьбу
мне стало совсем
паршиво.
я обещал себе умереть в одиночестве
в маленькой комнатке —
и вот она пытается
внести изменения в мой генеральный план.
кроме того она всегда слишком громко хлопала дверью моей машины
а когда ела то наклоняла голову слишком близко к столу.
в тот день мы зашли на почту,
в универсам, а потом в бутербродную позавтракать.
я уже чувствовал себя женатым.
на обратном пути чуть не врезался в "кадиллак".
— давай, — говорю, — напьемся.
— нет, нет, — говорит она, — еще рано.
и хлоп! — дверью машины.
было по-прежнему 39 градусов.
открыв почтовый ящик, я обнаружил
что служба страхования автомобилей
запрашивает с меня еще 76 долларов.
она вдруг ворвалась в комнату и закричала:
— СМОТРИ, Я КРАСНАЯ ВСЯ! ПЯТНАМИ ВСЯ ПОШЛА! ЧТО ДЕЛАТЬ?
— прими ванну, — сказал я ей.
позвонил по междугородному в страховую компанию
и попросил объяснить в чем дело.
она голосила и рыдала в ванной, из-за нее мне ничего
не было слышно и я сказал: — прошу прощения, одну минуту!
накрыл телефон и кричу ей в ванную:
— ПОСЛУШАЙ! У МЕНЯ МЕЖДУГОРОДНЫЙ РАЗГОВОР! ПОМОЛЧИ РАДИ БОГА!
страховщики по-прежнему настаивали, что я им должен
76 долларов
и сказали что все объяснят в письме.
я повесил трубку и завалился на постель.
я уже был женатым, чувствовал себя женатым.
она вышла из ванной и сказала: — можно я к тебе
лягу?
и я ответил: — ложись.

через десять минут краснота сошла.
это оттого, что она приняла таблетку ниацина.
она вспомнила, что так бывало и раньше.
мы лежали, истекая потом:
нервы. ни у кого нет сил справиться с нервами,
но я не мог ей этого сказать.
пристала со своим ребенком.
ну и херня.



Из книги "*Танцы в мертвецкой*"

Божий человек

нам было
лет по десять-одиннадцать
и мы пошли к священнику.

постучались.
дверь открыла
какая-то толстая неопрятная
тетка

— вам кого? — спросила
она.

— мы к священнику, —
сказал
кто-то из нас.
по-моему,
это сказал
Фрэнк.

— святой отец, — женщина
обернулась, —
к вам тут какие-то
ребята.

— пусть пройдут, —
сказал святой отец.

— идите за мной, —
сказала неопрятная толстуха.

Copyright © 1997 by Linda Lee Bukowski. Reprinted from BONE PALACE BALLET: NEW POEMS with the permission of Black Sparrow Press.

мы пошли за ней.
священник сидел у себя
в кабинете.
за письменным
столом.
он отложил
бумаги.

— да, ребята?
толстуха вышла из комнаты.

— э-э, — сказал я.

— э-э, — сказал Фрэнк.

— ну-ну, говорите, говорите...

— э-э, — сказал Фрэнк, —
мы хотели бы знать, правда
ли есть Бог.

святой отец улыбнулся.

— ну конечно есть.

— а где же Он? —
спросил я.

— ребята, вы читали
катехизис?
Господь везде.

— ого, — сказал Фрэнк.

— спасибо, святой отец, мы просто
хотели узнать, — сказал я.

— пожалуйста, пожалуйста,
ребята, хорошо, что вы спросили.

— спасибо, святой отец,
— сказал Фрэнк.

мы слегка поклонились,
потом повернулись
и вышли из комнаты.

нас поджидала толстуха.
она провела нас по коридору
к дверям.

мы пошли по улице.

— интересно, он ее трахает? —
спросил Фрэнк.

я посмотрел, нет ли вокруг Бога,
потом сказал:
— ну конечно нет.

— а что же он делает, когда ему
невтерпеж? —
спросил Фрэнк.

— наверно, молится, —
сказал я.

— ну это разные вещи, —
сказал Фрэнк.

— у него есть Бог, —
сказал я, — ему этого не надо.

— а я думаю, что он ее трахает,
сказал Фрэнк.

— да ты что?

— ага, может, пойти спросить?

— иди сам спрашивай, —
сказал я. — раз тебе
интересно.

— я боюсь, —
сказал Фрэнк.

— ты боишься Бога, —
сказал я.

— а ты сам нет, что ли? —
спросил он.

— я тоже.

мы остановились у светофора,
пережидая поток машин.
мы оба не были
в церкви
уже очень-очень давно.
там было скучно.
гораздо веселее было разговаривать
со священником.

зажегся зеленый свет и
мы перешли дорогу.

Главный лгун, славный бегун

ребята сидели пили, а Луи начал рассказывать,
как он однажды шуровал в спальне,
а баба под ним вдруг и говорит:
— Муж идет! Я слышу, он дверь ключом
открывает!
Луи вскочил, путь был только один —
через окно ванной, второй этаж,
но делать нечего,
без трусов, без рубашки, без ботинок, без всего,
он вылез из окна, голозадый, пополз вниз
по водосточной трубе.
а когда оставалось уже немного,
все-таки сорвался,
растянул ногу,
проковылял к машине, которая стояла во дворе,
и с ревом укатил в темноту,
совершенно голый, зато живой!

— Луи, приятель, да ты легко отделался! —
засмеялись ребята.

а на мой взгляд, Луи не мог завести
машину, потому что ключи-то
остались в брюках.
я понимал, что могу разоблачить его,
но к чему?

в очередной раз мне рассказали
дурацкую байку, покуда я раздумывал
над своей.

Перевод К. Медведева

Пьер Бост

[150]
ИЛ 5/2000

Господин Ладмираль скоро умрет

Повесть

Перевод с французского А. Брагинского

КОГДА господин Ладмираль жаловался, что стареет, он смотрел прямо в глаза собеседнику и говорил таким тоном, словно требовал немедленного опровержения. Те, кто плохо его знал, попадались на удочку и вежливо, как всегда в таких случаях, отвечали, что господин Ладмираль возводит на себя напраслину, что он выглядит молодцом и, бог даст, еще переживет всех. Тогда господин Ладмираль начинал сердиться и выдвигал свои аргументы: ему, мол, стало трудно работать при свете лампы, он-де встает раза четыре за ночь, у него после пилки дров постоянно болит поясница, да и вообще, чего говорить, раз ему за семьдесят. Последний аргумент призван был заткнуть рот самым большим оптимистам, и это ему удавалось, тем более что господину Ладмиралю было не только за семьдесят, но даже все семьдесят шесть. Так что, когда он жаловался на возраст, лучше было не перечить. Да и с какой стати лишать человека последних радостей? Его угнетала мысль о том, что он стареет, и возможность пожаловаться немного его утешала. На самом деле господин Ладмираль и вправду довольно быстро дряхлел. Старость подобна пологому склону, но в конце даже самого пологого склона камни начинают катиться очень быстро.

Разумеется, не следовало слишком охотно соглашаться с доводами господина Ладмираля. Он оставлял только за собой право говорить, что стареет, а в действительности делал большие, но тщетные усилия, чтобы скрыть эту столь же очевидную, сколь и печальную истину, которую, в сущности, утаивал лишь от самого себя. Да еще ценой стольких ухищрений! Когда десятью годами раньше господин Ладмираль покинул

© А. Брагинский. Перевод, 2000

Париж и поселился в Сент-Анж-де-Буа, он, дабы похвастаться преимуществами купленного там жилья, говорил, что дом расположен в восьми минутах ходьбы от станции. В те времена это было почти правдой. Но потом, по мере того как господин Ладмираль старел, дом оказывался от станции в десяти минутах, потом в четверти часа. Господин Ладмираль обратил внимание на сей феномен не сразу, но так и не сумел найти ему объяснение, вернее, так и не сумел с ним смириться. Приходилось играть в прятки со временем, производить фальшивые расчеты, утверждать, что спешат вокзальные часы или что неожиданно изменили график прибытия поездов.

— Я допускаю, — говорил он в моменты откровенности, — что хожу не так быстро, как прежде, но меня никто не убедит, что менее чем за десять лет (на самом дело было немного более десяти лет) дорога стала длиннее на десять минут.

У господина Ладмираля жила служанка по имени Мерседес, которая с неизменной вежливостью и с такой же неизменной твердостью изрекала в ответ весьма неприятные истины.

— Месье не прав, — говорила она, — не желая признать, что ходит как черепаха. Но если это устраивает месье, я не стану ему возражать. Моя мать похожа на месье. Достигнув определенного возраста, все люди становятся такими.

Господин Ладмираль покорно сносил столь почтительно выраженную дерзость. Он уже давно понял, как необходима ему в его одиночестве Мерседес и что ее просто не следует сердить, ибо она, по его мнению, была глупа как пень и зла, как индюшка. При первом же серьезном скандале, говорил он себе, она еще, чего доброго, уйдет, хлопнув дверью. Хотя ничего подобного не могло случиться, и господин Ладмираль хорошо это знал. Мерседес вовсе не собиралась бросать такое хорошее место, к тому же она любила своего старого хозяина. Но тот заботливо лелеял мнимый страх оказаться брошенным — быть может, последнее его воспоминание о былых отношениях с женщинами.

И как все женщины, Мерседес старалась не злоупотреблять своим положением, она просто им пользовалась, и этого ей было достаточно.

Когда снова возникали разногласия по поводу пресловутых восьми минут, Мерседес говорила:

— Если месье не будет ходить пятясь как рак, он не рискует опоздать к своему поезду.

— Во-первых, — шипел господин Ладмираль, — раки не пятятся.

— Возможно, — отвечала Мерседес, — месье более образован, чем я, но все равно месье отлично меня понял.

Господину Ладмиралю оставалось лишь с горечью в душе покинуть поле сражения, казалось бы удачно начатого. Но с Мерседес иначе не получалось. Едва разгоревшись, спор после двух-трех реплик неожиданно затухал. Либо сам господин Ладмираль, делая над собой усилие, прекращал его, ибо негоже хозяину терпеть поражение от своей прислуги, либо Мерседес решительно прерывала дебаты одной из тех реплик, которые лишают какие бы то ни было дискуссии всякого смысла. Покойная жена господина Ладмираля приучила его к более искусной и весьма отточенной технике ведения спора: скрупулезной, утонченной, почти изысканной, с использованием исчерпывающей аргументации. То было, возможно, устарелое, но весьма изощренное и обладавшее определенным стилем искусство перебранки. Никто из его детей не

унаследовал этот материнский дар, и, овдовев, господин Ладмираль ощутил себя ужасно одиноким. Мерседес в этом смысле была далеко не на высоте, и перед таким несостоятельным партнером господин Ладмираль сознавал себя побежденным, даже одержав победу. Когда же Мерседес прерывала складывающуюся в его пользу перепалку, он чувствовал себя не в своей тарелке, нервничал, раздражался, в горле, подобно толпе, лишенной возможности вырваться вперед или отступить, застревали душившие его аргументы и возражения.

— Напоминаю, что месье и мадам Эдуар приезжают поездом десять пятьдесят, — объявила утром Мерседес. Это было воскресенье.

— Знаю, — сказал господин Ладмираль. — Я выйду без двадцати. Кстати, хочу заметить, что господина Эдуара зовут Гонзагом, о чем вам не следует забывать.

Сына господина Ладмираля действительно звали Гонзагом. Но когда Гонзаг женился, его жене так не понравилось это первое его имя, что она предпочла называть мужа вторым именем — Эдуар, казавшимся ей более солидным. Господин Ладмираль не мог смириться с подобным вторым крещением.

— Так или эдак, — заметила Мерседес, — все одно они приезжают поездом десять пятьдесят. И добавила, сменив тему: — Месье может не беспокоиться!

Сцена происходила на кухне. Только что вставший господин Ладмираль был в пижаме с широкими зелеными полосами. Штанины, подвернутые выше колен, открывали худые ноги и голые ступни в просторных ботинках с незавязанными шнурками. Мерседес попросила его не беспокоиться и забрала табурет как раз в тот момент, когда господин Ладмираль собрался воспользоваться им с намерением почистить обувь. Маневр Мерседес заставил его с щеткой в руках проковылять по кухне, чтобы поставить ногу на край слива. Мерседес тотчас понадобился слив.

— Месье может не беспокоиться, — повторила она. И оттеснила господина Ладмираля от мойки.

Казалось, она передвигается по кухне как придется, без всякого умысла. На самом же деле ее маршрут был составлен таким образом, что всякий раз в нужный момент она оказывалась именно там, где примостился склонившийся над ботинком господин Ладмираль.

Постепенно Мерседес удалось своими маневрами изгнать хозяина из кухни. Это была большая деревенская кухня, очень чистая и хорошо оборудованная, где Мерседес предпочитала, как и положено, царить в одиночестве. Господин Ладмираль тем временем отправился в ванную. Так он именовал, не без некоторых оснований, отделанную плиткой и покрашенную масляной краской комнату с ванной и подогревателем воды. Однако господин Ладмираль никогда не купался. В детстве, юности, затем в зрелые годы он жил в домах, где ванна считалась роскошью, и господин Ладмираль вполне обоснованно констатировал, что несмотря на это он достиг преклонного возраста, не имея причин считать себя хуже и тем более, добавлял он, грязнее других.

Выдворенный из кухни, господин Ладмираль начал с того, что стянул ботинки. Он каждое утро надевал их на босу ногу, чтобы почистить, затем снимал и, пока занимался туалетом, помещал на подставку. Его дети подтрунивали над ним по поводу этой мании, но он неизменно отвечал, что у каждого свои бзики, что ему поздновато меняться, что даже их бедной матери не удалось с ним справиться и пришлось смирить-

ся и терпеть его чудачества в течение тридцати лет. Впрочем, справедливости ради надо признать, что у нее тоже была своя мания — наливать в чашку молоко раньше, чем кофе. К этому ее приучили в пансионе, и от этой привычки ей так и не удалось (а может, она и не хотела?) избавиться. Он буквально заболевал, каждое утро созерцая удручающую его картину. Существуют вещи, к которым не удается приспособиться. Поэтому в иные дни он специально устраивал так, чтобы не завтракать с женой, дабы дать себе передышку.

— Сие лишь служит доказательством, — не раз говорил господин Ладмираль, — что всегда можно выйти из положения, когда речь идет о мелочах. И если люди об этом не догадываются, то лишь потому, что не умеют широко смотреть на вещи.

Господин Ладмираль охотно приводил примеры такого рода своим детям. Двум своим детям! Еще одной его проблеме... Впрочем, в конце концов проблемы обычно удается решать. Неприятно только, когда они вдруг возникают. Его двое детей. Не слишком затрудняя себя размышлениями, господин Ладмираль тем не менее в один прекрасный день пришел к выводу, что сын Гонзаг и дочь Ирен не ладят друг с другом. С его точки зрения, "ладить" означало полное взаимопонимание между членами семьи, что представлялось ему естественным и само собой разумеющимся. Обратное выглядело едва ли допустимым. В связи с этим, как бы не ставя под сомнение наличие идеального союза между братом и сестрой, их старый отец со всей силой убежденности и при малейшей возможности публично высказывался в пользу подобного родственного союза. Именно поэтому он любил приводить примеры, которые, будучи сами по себе для него доказательствами, в конце концов стали заменять факты. Но ему редко удавалось делать это, когда дети, Гонзаг и Ирен, были вместе, ибо они не часто приезжали в Сент-Анж-де-Буа одновременно. По правде сказать, Ирен почти не приезжала вовсе. В последний раз это случилось два месяца назад, вот именно... по меньшей мере, и даже намного раньше. Еще стояли холода. В тот вечер она разожгла камин в своей комнате (Ирен заночевала, что случалось крайне редко). Да, это произошло во время внезапных апрельских заморозков. "Какой я дурак! — подумал господин Ладмираль. — Она же приехала в понедельник на Пасху! Да, скоро будет три месяца!" Гонзаг приезжал почти каждое воскресенье с женой и тремя детьми. И всегда поездом десять пятьдесят, как в это утро. Слегка раздраженный, господин Ладмираль нахмурил брови, словно кто-то сказал ему, что он опять опоздает на станцию. И нарочно не стал торопиться.

Обнаженный до пояса господин Ладмираль тщательно вымылся. Прежде он был довольно полным, отчего при его нынешней худобе кожи оказалось немного больше, чем нужно, и на груди по обе стороны седой растительности повисли подобия мешочков в виде очертаний двух корабликов. Плечи у него стали сутулыми, хотя руки были по-прежнему сильными, а на коже жемчужного цвета возникли ржавые пятнышки. Господин Ладмираль наклоняется вперед и, положив ладонь на грудь, придирчиво разглядывает себя в зеркале. Затем улыбается. Он чувствует, как бьется его сердце — ни быстро, ни медленно, совсем ровно и на своем привычном месте. Каждое утро господин Ладмираль повторяет этот жест, напоминая пассажира, который, проснувшись ощупывает себя, проверяя, не потерял ли билет. В прежнее время господин Ладмираль таким способом контролировал и другие части тела. Теперь он озабочен одним сердцем.

Но оставим разговор об этом обнаженном старческом теле. Лицо выглядит лучше. Не то чтобы оно чем-то выделяется, но его нельзя назвать и незначительным. В первую очередь обращает на себя внимание растущая веером седая борода с прямыми, твердыми и густыми, как щетка, волосами, скрывающая всю нижнюю часть лица. Когда рот господина Ладмираля в покое, его вовсе не видно, и только когда господин Ладмираль говорит, в глубине этих седых зарослей просыпаются и начинают быстро шевелиться полные, красные губы, похожие на напуганных внезапным светом моллюсков. У господина Ладмираля пара черных маленьких, глубоко посаженных глаз. Те, кому господин Ладмираль хорошо знаком, знают, что эти глаза смотрят очень пристально, хотя поначалу из-за живости и колючести взгляда они могут показаться слишком беспокойными. Лицо у господина Ладмираля подвижное, выразительное, временами даже с отблесками безумия. Голова круглая, скулы выступающие, взлохмаченные седые волосы так ловко расположены на черепе в виде короны, что анфас кажется, будто господин Ладмираль наделен буйной гривой, в то время как со спины он выглядит совершенно лысым.

Господин Ладмираль закончил водные процедуры и оделся. Независимо от дня недели, в будни и в воскресенье, вот уже в течение пятидесяти лет — все тот же бархатный черный костюм, состоящий из суженных к лодыжкам брюк и наглухо застегнутой прямой блузы с широким бантом у ворота. Отправляясь на станцию, он наденет шляпу из черного фетра с узкими, в форме желобков полями и станет похож именно на того, кем был всегда и остается сегодня, а именно на чѐловека, воплотившего в себе черты персонажа, которого вплоть до 1890 года именовали художником.

Скромная, но четко выделяющаяся на черном бархате ленточка ордена Почетного легиона свидетельствует о том, что господин Ладмираль был, что называется, признанным, почти знаменитым живописцем. Во всяком случае, его заслуги признавались официально. И это чистая правда.

Юрбен Ладмираль, лауреат Римской премии, член Академии, был удостоен высших наград в Салоне, писал портреты самых высокопоставленных лиц и получал государственные заказы, отнюдь не прибегая к своим довольно многочисленным в ту эпоху полезным связям. Впрочем, самые полезные связи это как раз те, к которым нет нужды прибегать. Они действуют сами собой.

Господин Ладмираль охотно признавал, что никогда не был гением. И подобное уничижение, что паче гордости, у человека, на самом деле ценившего себя даже чуть выше, чем он того заслуживал, помогло ему прослыть, как это часто бывает в таких случаях, великим скромником и принесло множество почестей, выгод и оснований для самоуважения. Каковое в сочетании с удовлетворенным тщеславием вследствие удавшейся карьеры позволило мэтру Юрбену Ладмиралю чувствовать себя счастливым. Тем более что, обожая живопись, он обладал достаточным вкусом, чтобы, не восхищаясь сверх меры собственной, ценить по заслугам чужую. И часто объяснял сыну и дочери, что́ могло бы стать драмой его жизни, если бы он не презирал драм. И в его словах звучало еле уловимое сожаление.

— Моя ошибка лишь в одном, — говорил он, — я не проявил достаточно смелости. В остальном моя ли вина, что я не сказал своего слова

в живописи? Я писал так, как писали в мое время, как меня учили. Я верил своим учителям. Нам внушали почтение к традициям, правилам, предкам. Убеждали, что истинная свобода предполагает в первую очередь послушание, что настоящая индивидуальность неотделима от дисциплины, и все такое прочее. Я в это верил, считал правильным. И мало-помалу, усердно учась, копируя шедевры, слушаясь советов старших, я, будучи весьма способным художником, стал овладевать искусством живописи и в один прекрасный день почувствовал себя мастером. Мне лишь не удалось обрести пресловутую оригинальность, призванную в конце концов увенчать усилия тех, кто сумел только на первых порах подчиниться рутине. Я попал в своего рода ловушку! Дело в том, что я прекрасно видел и понимал достоинства этой оригинальности в работах других — это меня больше всего обескураживало. Хорошо помню кипение страстей вокруг художников — как бы это сказать? — нового направления... Большая выставка Сезанна в 1894 году была именно такой. Интересной, да, но... Я спрашивал себя: куда все ведет? Могу признаться, что не понимал этого... То же впечатление от впервые увиденного полотна Ван Гога. С ним самим мне довелось встретиться на год раньше, когда вместе с вашей матерью я ездил на этюды в Арль. Тогда этот парень работал у Кормона! Мне кажется... я уверен, что он был безумен...

Сказать по правде, от всего этого у меня волосы становились дыбом. Хоть я признавал, что им обоим удалось сохранить и выразить свою индивидуальность — спорить с этим было бы бессмысленно, — но какое отношение это имело ко мне? Если бы я стал подражать самобытности других, это не помогло бы мне обрести собственную. Уж лучше было, как и раньше, следовать по стопам моих учителей, давно привычным путем. А жаль, ибо новая манера внушала мне большой интерес. Но художник не может быть флюгером. Впрочем, буду откровенен, поначалу мне не нравилось то, что они делали. Кроме разве что Моне. Однако в дальнейшем, по мере того как я стал к ним привыкать, понимать их, мне пришлось признаться самому себе, что, быть может, правы именно они, но было уже поздно, не мог же я тащиться в хвосте смельчаков, которых мои прежние единомышленники успели извалять в грязи. Я, правда, так никогда не поступал, не пытался вставлять им палки в колеса, пусть пишут как хотят. Тем более что уже тогда смутно подумывал об Академии. Лишь смутно, ведь у меня, если угодно, были обязанности, вернее, обязательства... Но обязательства быстро превращаются в обязанности, если хочешь быть честным с самим собой. Возможно, я мог бы на что-то решиться в 1905 году, изменить манеру письма. Я даже сделал, не очень утруждая себя, кое-какие пробы. И признаться, это меня чему-то научило. Но я пребывал в некоторой растерянности... К тому же вашей матери не нравилась моя затея, совсем не нравилась; она очень огорчалась, видя, как я, в моем возрасте, пытаюсь нащупать что-то новое, что-то изменить, в то время как мы уже заняли определенное положение... А потом появились фовисты и кубисты. Тут уж я стоял намертво! Они для меня были совершенно неприемлемы. А так как помимо всего прочего мне не хотелось отказываться от портретов, ибо они продавались лучше всего, я решил что надо на чем-то остановиться. И я продолжал работать, как прежде. Хотя новая живопись в какой-то степени интересна, спора нет, но она ничего не стоит, когда речь идет о портрете, на сей счет не может быть двух мнений. Да и вообще она пред-

назначена для художников и искусствоведов. Но тут уж, прошу прощения! Мы пишем также для публики, черт побери! Если художник отказывается выслушать мнение публики и даже отвергает контакт с нею, я считаю это трусостью!

Такова была карьера господина Ладмираля. Теперь она была завершена, во всяком случае в официальном плане. Итак, господин Ладмираль еще писал, но только для своего, как он говорил, удовольствия, словно до этого он работал для удовольствия других. Господин Ладмираль уже десять лет как уехал из Парижа и купил дом в Сент-Анж-де-Буа. Он не был чрезмерно богат, но денег у него хватало, чтобы жить прилично. Художник, умеющий уловить и передать сходство и к тому же носящий в петлице ленточку ордена Почетного легиона, может быть почти уверен, что до конца дней не будет испытывать материальных трудностей.

Дом господина Ладмираля находился у кромки леса на вершине небольшого холма, спускавшегося к дороге и железнодорожному полотну. Из оконного проема своей мастерской господин Ладмираль заметил на горизонте белый дымок маленького паровоза, который спустя десять минут прибудет в Сент-Анж-де-Буа. Когда была ясная погода, господин Ладмираль всегда дожидался этого знака, чтобы приготовиться к выходу из дома. Он говорил, что таким образом выигрывает время. На самом же деле лишь терял его, вглядываясь в горизонт. Но так как в любом случае ему требовалось больше десяти минут, чтобы дойти до станции...

И на этот раз он вышел слишком поздно. Направляясь к двери мимо Мерседес, он бросил на нее вызывающий взгляд, который она оставила без внимания, даже не пожав плечами. За пятьсот метров до станции господину Ладмиралю стали попадаться сошедшие с поезда пассажиры, нагруженные куда более внушительными, чем дорожные чемоданы, сумками с воскресной поклажей, но он притворился, что не замечает этого. Немного подалее, вблизи станции, он увидел сына, его жену и троих детей.

У Гонзага была небольшая черная бородка, обрамляющая щеки и подбородок. Господину Ладмиралю она не нравилась. Просто смешно отпускать бороду в его возрасте, к тому же теперь, когда это вышло из моды. Кому он стремился подражать, господин Ладмираль хорошо знал. С какой стати придавать себе вид художника, когда ты... Ладно уж!

Господин Ладмираль остановился на дороге, воздев руки к небу, как бы в знак удивления и одновременно приветствия, и застыл в неподвижности, словно в соответствии с неким протоколом ему было запрещено сделать еще несколько шагов. Гонзаг и его семья приближались к господину Ладмиралю не торопясь, хотя Гонзаг и подгонял мальчиков:

— Поспешите! А ну-ка, быстрее! Вы разве не видите дедушку?

Но Эмиль и Люсьен, парнишки четырнадцати и одиннадцати лет, решительно не собирались себя переутомлять, они были недовольны с самого утра. Каждое воскресенье, когда семья отправлялась повидать дедушку, повторялось одно и то же. Вставать приходилось почти так же рано, как в будни (тогда как их приятели, не имевшие дедушек, могли понежиться в постели до десяти часов), натягивать воскресную одежду, опасаясь испачкать ее или порвать, бежать на вокзал, трястись на деревянных скамьях в набитом купе, получать чуть что по рукам и стараться не задеть ногами сидящего напротив господина — и все это лишь для

того, чтобы в результате увидеть довольно симпатичного, правда, деда, живущего за городом (и чего только придумал!), который из-за того, что часто видит их, потерял, к сожалению, привычку делать подарки. Ко всему прочему младшая из детей, Мирей, очаровательный пятилетний ребенок, плохо переносила путешествие в поезде. Спустя четверть часа она бледнела, начинала хныкать, и в конце концов ее, не без молчаливого одобрения матери, начинало рвать на пол или на соседа. И тогда Гонзаг-Эдуар и его жена, рассыпаясь в извинениях, принимались с помощью платка или газеты устранять содеянное крошкой Мирей. Соседи с явным неудовольствием отвечали, что это не имеет значения, что от детей всегда не знаешь чего ожидать, а родители начинали шепотом обсуждать, от кого только малышка могла унаследовать эту слабость, но довольно быстро прекращали разговор, ибо им давно было известно, что ответа на вопрос они не найдут. Несчастная Мирей, вся позеленев, обессиленная, с чувством стыда, засыпала в объятиях матери, не понимая, отчего ее всякий раз в поезде тошнит и почему этого не происходит с другими.

Когда семья заметила на дороге дедушку, маленькая Мирей еще не очнулась от сна и была в таком же дурном расположении духа, как братья. Ее никто не просил бежать, она и так едва тащилась, держась за руки родителей и сопровождая каждый шаг притворными стонами в ожидании, когда деревенская дорога пойдет в гору и отец (неизменно близ почты) возьмет ее на руки и донесет до дома.

Встретив семью, господин Ладмираль сердечно пожал руку сыну и невестке Мари-Терез. Потом склонился, чтобы поцеловать детей. Он был рад их видеть, по крайней мере в первые минуты и под открытым небом, пока они не могли ничего разбить и никого потревожить. Маленькая Мирей всякий раз вызывала у него восторг.

— Странно, — сказал господин Ладмираль. — Поезд, кажется, пришел раньше времени?

Эдуар слегка усмехнулся и с некоторой досадой вынул из кармана жилета часы.

— Не думаю, — ответил он. — Может, причина в твоих пресловутых восьми минутах?

— Несомненно лишь одно, — сказал господин Ладмираль, тоже вынув тяжелые часы, спрятанные в маленькую целлулоидную коробочку, — я вышел из дома ровно в тридцать девять минут.

— И сколько на твоих?

— Пятьдесят одна минута, почти пятьдесят две.

— Твои отстают. На Лионском вокзале мои шли точно.

Эдуар вытянул руку с часами и откинул корпус назад.

— Ты становишься дальнозорким, — отметил господин Ладмираль, который был близорук. И положил часы в карман. — Ладно, оставим это, — сказал он примирительно. — Вы хорошо доехали?

— Нет, — произнесла откуда-то снизу маленькая Мирей.

— Скажи пожалуйста, — заметил ее дед, склонившись к ней. — И что же с вами случилось?

— Она блевала, — изрек одиннадцатилетний Люсьен.

Оба родителя и дедушка вздрогнули. Эдуар потянулся было к сыну, но ожидавший оплеухи Люсьен уже был в недосягаемости.

— Мы же тебе запретили произносить это слово, — хором воскликнули Эдуар-Гонзаг и его жена.

— А как надо сказать ? — притворно наивно спросил Люсьен.

— Надо сказать: ее стошнило.

— Надо сказать: ее мутило.

Сконфуженные отец и мать остановились, недовольные возникшим разногласием, способным поколебать их авторитет в вопросах языка и приличий. Находясь на некотором расстоянии и изо всех сил сдерживая смех, торжествующий Люсьен разглядывал их с приоткрытым ртом и с выражением невинности в круглых глазах. Разводя руками, он словно говорил: "Разберитесь сначала между собой. Иначе как прикажете вас понимать?" Он заслуживал трепки, он просто напрашивался на нее. Как быть?

К счастью, в этот момент старший брат Эмиль сделал ему подножку с помощью палки, и Люсьен больно грохнулся на груду камней на дороге. Таким образом, виновный был наказан, а предыдущий эпизод больше не привлекал к себе внимание. Двойное преимущество.

— Научишься наконец смотреть себе под ноги, — сказал отец.

Поднявшись с земли с окровавленным коленом, Люсьен понял, что сочувствия ему ждать нечего, и не стал плакать и жаловаться на брата. Это было их ребячье дело, в которое не следовало вмешивать родителей. Схватив камень, он сделал вид, что хочет запустить им в Эмиля, и крикнул: "Ты мне за это заплатишь!" Но, разумеется, кидать камень в брата не стал, чтобы не искушать судьбу. Дети умеют ограничиться лишь угрозами, когда существует опасность немедленного наказания. Чтобы спасти лицо, Люсьен, размахнувшись, изо всей силы пульнул камень в поле близ дороги. Две перепелки с шумом, похожим на аплодисменты, поднялись в небо. Эмиль и Люсьен бросились в жнивье. Один кричал: "Перепелки!", другой: "Фазаны!" Оба скрылись из виду.

Господин Ладмираль с остальными членами семьи проследовал дальше. Проходя по деревне, старый художник снимал шляпу, раскланиваясь с жителями. Чтобы доставить удовольствие отцу, сын делал то же самое. Господин Ладмираль давал пояснения:

— Это мэр. Это вдова лесоторговца. Это господин Турневиль, сын жокея, ты его знаешь.

И Гонзаг, который никого не знал или не узнавал, чтобы сделать приятное отцу, неизменно откликался:

— Вот как? Очень хорошо. Ах да... жокей. Припоминаю...

Его жену Мари-Терез ходьба не утомляла, а лишь навевала скуку. Одетая в неизменный прорезиненный плащ, она обильно потела, но не жаловалась (она никогда не жаловалась). Когда подошли к церкви, Мари-Терез оставила мужчин, чтобы успеть "захватить кусочек службы". Это было частью ритуала воскресных визитов. Отец и сын продолжали путь. Превратившись снова в Гонзага, как всегда, когда он оставался наедине с отцом, Эдуар тащил за собой Мирей, которая пока не просилась на руки. Ей не было скучно, она не спускала глаз со встречной собаки.

— Все так же богомольна? — спросил господин Ладмираль, наблюдая за входившей в церковь Мари-Терез.

— Все так же, — слегка удивленно ответил Гонзаг, ибо не видел причины для того, чтобы религиозные чувства жены изменились со времени их последнего посещения. Но в общем-то ему следовало привыкнуть, что его милейший старый отец часто произносил слова лишь для того, чтобы ничего не сказать.

Мужчины продолжали путь. Эдуар сдерживал шаг, чтобы не утомлять

отца. Ему было известно, что тот теперь не может быстро ходить, но не любит, когда на это обращают внимание. Надо было делать вид, будто ты с трудом догоняешь его. Любивший отца Гонзаг Ладмираль старался всякий раз придумывать что-нибудь такое, что могло бы быть тому приятным. Он делал это с большим тактом и весьма изобретательно, проявляя в игре изрядную ловкость. И когда ему что-то удавалось, какое же удовлетворение он испытывал!

Эдуар был сорокалетним, довольно высоким и плотным бородачом, очень черным и очень волосатым. Черными у него были не только борода и шевелюра, но и одежда. А волосатыми не только руки, но, казалось, и все лицо — из-за очень густых бровей и жесткой бороды, состоявшей словно из металлических нитей. Именно благодаря бороде, которую он отрастил, когда был совсем молодым, из желания быть похожим на отца, Гонзаг действительно внешне так напоминал его. В восемнадцать лет не было на свете человека, которого бы он любил и уважал больше, чем отца. И он во всем старался подражать ему: его походке, словечкам, привычкам, взглядам, вкусам и даже странностям. Поначалу господин Ладмираль был польщен и счастлив. Затем втайне смущен. Он думал о своей жизни, которую так испортили его собственные восторги, преклонение перед мастерами, отказ от самостоятельности. И сказав себе: "Нехорошо, когда парень в его возрасте так преклоняется перед своим отцом", он начал спорить с сыном, пытался его рассердить, настроить критически. Тщетно! Гонзаг по-прежнему следовал за ним по пятам, напоминая хорошо выдрессированную собачку, которую уже невозможно сбить с пути. Гонзаг всегда был рядом, и господину Ладмиралю ничего не оставалось, как только пользоваться этой трогательной и обременительной верностью. Но в конце концов он стал отдавать предпочтение дочери, которая в отличие от брата вечно ему перечила. Гонзаг обратил внимание на эту перегруппировку сил и во всем винил сестру. Что отнюдь не вносило ясность в семейные отношения.

Восхищение отцом зашло так далеко, что Гонзаг, *primo*, стал художником и, *secundo*, довольно быстро бросил это занятие, несмотря на весьма многообещающее начало. Ибо для него была самой прекрасной живопись отца, и он посчитал святотатством идти по его стопам, будучи уверен, что не сможет стать ему равным. Гонзаг отверг эту стезю, за что отец втайне был ему благодарен. Рассматривая первые эскизы сына, он испытывал легкое беспокойство, подспудно догадываясь, что никогда не смирился бы ни с его провалом, ни с успехом, и опасаясь, с одной стороны, что придется тащить за собой на буксире подражателя, а с другой — что у него появится соперник, по отношению к которому он будет испытывать нечто вроде зависти. Все стало на место, когда Эдуар отправил на чердак мольберт и тюбики с красками, накрыв их большим черным полотном, ибо не был лишен некоторой склонности к патетике. После чего Гонзаг стал служащим колониальной компании. Господин Ладмираль был знаком с ее директором, так как написал однажды его портрет с огромной красной розеткой ордена Почетного легиона — в те времена их было не так уж много (число розеток с тех пор увеличилось, но размер их остался более или менее тот же).

Когда Гонзаг поступил на службу, господин Ладмираль огорчился, поскольку сын, по его мнению, выбрал себе "торгашеское" занятие. С того дня что-то нарушилось в их отношениях. Ходить на службу было для господина Ладмираля синонимом рабства и убожества. Чем-то столь

же безобразным, как для женщины выйти из дому растрепанной или для ребенка играть с детьми на улице. Он, однако, надеялся, что служба в колониальной компании позволит сыну поездить по свету. Гонзаг тоже на это рассчитывал, во всяком случае он тешил себя этим. На деле же, когда спустя три года ему предложили пост в Дакаре, он испугался и отказался. А в качестве предлога выставил нежелание уезжать далеко от стареющего отца. Господин Ладмираль тогда очень рассердился, но не решился высказать свое недовольство, однако Гонзаг все отлично понял и посчитал, что его жертва не была должным образом оценена. Позднее ему снова предложили пост в Африке. Как раз в то время Гонзаг женился и стал именоваться Эдуаром. Он опять отказался, сославшись теперь на свои новые обязанности. Господин Ладмираль с удовольствием воспользовался этим обстоятельством, чтобы во всем обвинить невестку, которая действительно ни за что на свете не согласилась бы пересечь море и жить среди негров.

Господину Ладмиралю Мари-Терез не нравилась. В первую очередь потому, что, когда сын познакомился с ней, она была мелкой конторской служащей. Женитьба на работающей женщине означало для господина Ладмираля нечто столь же нежелательное и даже вульгарное, как и самому ходить на службу. Не менее болезненно перенес он превращение Гонзага в Эдуара. Новое огорчение господину Ладмиралю принесло известие о том, что его внуки названы такими убогими, по его мнению, именами, как Эмиль и Люсьен. Позднее, когда для девочки выбрали имя Мирей, он лишь пожал плечами, сказав, что это проявление не просто банальной вульгарности, а вульгарности претенциозной. Мари-Терез больно ранили эти упреки, и она прекрасно замечала, что ее свекор старался не называть детей по именам. Если же он произносил имена мальчиков, то лишь иронически-напыщенным тоном, что звучало насмешкой. Подчас он называл их "Мимиль" и "Люлю", как бы подчеркивая свою непримиримость. В отношении малышки Мирей, которую очень любил, он не проявлял такого занудства и охотно называл ее по имени.

Верная традиции, эта самая Мирей сразу захныкала, едва они поравнялись с почтой. Несмотря на то, что в не меньшей степени приверженный ритуалу ее отец взял девочку на руки еще до заветного рубежа. Но господин Ладмираль решил сам позаботиться о ребенке.

— Дай ее мне, — сказал он.

Он вырвал Мирей из рук Гонзага и, сам того не желая, задел пальцем ее глаз. Девочка завопила, но дедушка уже подхватил ее и посадил верхом себе на плечи. Пораженная, запыхавшаяся и напуганная, с бьющимся сердцем, от страха она даже перестала кричать. Однако оказавшись в своей любимой позиции как бы на насесте, с прижатым к шее деда маленьким животиком, чувствуя теперь полную безопасность, она успокоилась и принялась рассматривать окружающий пейзаж, с высоты выглядевший куда более интересным. Девочка слегка покачивалась, сидя верхом, ей больше не надо было идти, ее тонкие и хрупкие ручонки были крепко зажаты в больших руках деда, чья шляпа соскользнула назад. Мирей видела сбившиеся седые волосы и блестящий цвета слоновой кости череп. Она их любила и почитала, как дорогую игрушку, к которой не имела права прикасаться.

— Ты устанешь, — сказал Эдуар отцу, потянувшись, чтобы забрать ребенка.

— Нет-нет, оставь, — ответил господин Ладмираль.

Но тем не менее сбавил шаг, ибо девочка для его старых плеч была тяжеловата. Из деликатности Эдуар тоже сбавил шаг, но так поспешно, что немного отстал от отца. Тот повернулся к нему.

— Устал? — спросил он насмешливо.

Гонзаг был раздосадован. Отец решительно не хотел замечать его маленькие знаки внимания. А сказать ему об этом было невозможно... С некоторой горечью Гонзаг снова подумал, что добродетель, видимо, заключается в том, чтобы идти на все эти маленькие уступки, не ожидая благодарности.

— Устал ли я? — переспросил он. — Нет. Я чувствую себя прекрасно. А ты?

— Я? Замечательно, — ответил господин Ладмираль. — Мы что-то давно не виделись.

— Две недели, — уточнил Гонзаг.

— Я это и имел в виду. Мне, конечно, понятно, как это непросто.

— В прошлое воскресенье... — начал Гонгзаг.

— Знаю, знаю. Не извиняйся. Я ведь тоже редко приезжаю вас проведать.

Господин Ладмираль не был в Париже уже полгода.

— Ты действительно редко приезжаешь.

— Вечная история с этими поездами. Поскольку у меня нет никаких оснований отдавать предпочтение тому или другому дню, сам понимаешь, как непросто принять решение. Вам это куда легче, раз вы можете приехать только в воскресенье. К тому же вы привыкли, вас много. Когда делаешь что-то регулярно, сообща, все куда проще.

— Разумеется, — ответил Гонзаг.

Он обернулся, чтобы поискать глазами мальчиков. Их не было видно.

— Они пошли крутой тропинкой, — сказал господин Ладмираль.

Действительно Эмиль и Люсьен отправились по крутой тропинке. Когда господин Ладмираль с сыном пришли домой, они застали обоих мальчишек в гостиной, сидящими в глубоких креслах. Эмиль рассматривал иллюстрированный журнал. Люсьен ничего не делал.

— А ну-ка отправляйтесь в сад! — крикнул Гонзаг.

— Мы устали, — ответил Эмиль. — Мы шли по крутой тропинке.

— Мне трудно ходить, — сказал Люсьен, протянув ногу, чтобы все полюбовались его раной.

— Хочешь, чтобы тебя пожалели? — спросил Гонзаг. — Промой ранку водой и не старайся вызывать сочувствие. Попроси Мерседес помочь тебе.

Но, подумав об опасности загрязнения и нагноения, о столбняке, пожалел о своей суровости и, испытывая укоры совести, повернулся к отцу:

— У тебя найдется йодная настойка?

Они прошли в комнату господина Ладмираля, чтобы сделать оказавшуюся довольно сложной перевязку. Гонзаг не терпел неженок и, вероятно, для того чтобы закалить характер детей, занимаясь их лечением, при всей любви к ним заставлял как можно больше страдать. Он стал энергично обрабатывать открытую рану ватой, смоченной йодом. Люсьен кричал как резаный. Отец называл его мокрой курицей и продолжал свое дело. Затем туго перевязал рану бинтом, отчего мальчику действительно стало трудно ходить.

— Теперь отправляйся играть в сад.

— А Эмиль? — спросил тот, отказываясь понести наказание в одиночку.

— Эмиль займется тем, что ему скажут, — ответил отец. — А ты делай, что тебе велели.

Не сгибая ногу, Люсьен пошел в сад и так убедительно демонстрировал хромоту, что господин Ладмираль и его сын от души рассмеялись. В этот момент они выглядели сообщниками, двумя добрыми друзьями, приятелями-однолетками

— Вы довольны детьми? — спросил господин Ладмираль.

— Почти, — ответил Гонзаг. — Старший неплохо учится (потакая отцу, Гонзаг не называл детей по именам). Младший не очень старателен, но все равно успевает.

— Понятно, — сказал отец. — Как ты в начальных классах...

Гонзаг возразил, подчеркнув, что очень старался уже в начальных классах.

— Да, — ответил отец, — ты много работал, но не очень успевал.

— Значит, — сказал Гонзаг, — тут все наоборот: малыш ничего не делает, но успевает совсем не плохо.

— Ах, вот что... А мне показалось, ты сказал...

— Нет, я сказал как раз обратное...

— Хорошо, хорошо...

Недоразумение было быстро развеяно.

"Просто ужасно, как бедный отец все воспринимает с противоположным знаком, — думал Гонзаг. — Будь он глухим, ничего бы удивительного не было. Но ведь это не так. Он просто не слушает, что ему говорят... Но сказать об этом невозможно, он только расстроится..."

Гонзаг расчувствовался, а так как Эмиль все еще сидел в гостиной, забившись в кресло, он отправил его к брату в сад. Мирей они потеряли из виду. С момента их прихода она отправилась к Мерседес на кухню и теперь играла с кухонной утварью. Мерседес расхаживала, не обращая никакого внимания на ребенка, лишь иногда протягивая девочке что-нибудь из еды, а когда сталкивалась с ней, то отстраняла коленкой, как табуретку.

Мари-Терез не задержалась в церкви. Но наслушалась разговоров на целую неделю. Она застала мужчин сидящими в мастерской в шезлонгах. Покуривая трубки, они обменивались ничего не значащими фразами.

Мари-Терез, невестка господина Ладмираля, обладала множеством, правда глубоко скрытых, достоинств. Господин Ладмираль весьма удивился, когда его сын женился на этой женщине, и с годами не перестал этому удивляться. В конце концов после долгих размышлений он решил, что Гонзаг и Мари-Терез поженились просто потому, что все женятся, точно так же, как все рождаются и умирают. И хотя такое объяснение не делало случившееся более понятным, оно, по крайней мере, позволяло прекратить поиски ответа, и господин Ладмираль мог спокойно оставаться при своем мнении. Он никогда особенно не интересовался невесткой и прекрасно обходился без нее. В свою очередь Мари-Терез никогда не задавала себе вопросов. Она хорошо относилась к тестю по той же причине, по какой хорошо относятся к членам своей семьи или семьи мужа, не считаясь с собственным самолюбием, и была счастлива этим. Она вообще чувствовала себя счастливой, спокойно и без спешки

наслаждаясь преимуществами своего положения. Сутки неизменно состояли из двадцати четырех часов, в доме все шло по однажды заведенному порядку. К тому же замужество позволило Мари-Терез больше не работать, и она каждодневно вкушала удовольствие от этого обстоятельства. Муж и дети требовали от нее куда больше внимания, чем конторские дела, которыми она занималась, когда служила. Но она не замечала этого. Ей не нужно было больше зарабатывать на жизнь. Муж это делал вместо нее. Ее цель была достигнута. Мари-Терез бросила и позабыла прежних подружек, так и не вышедших замуж и влачивших убогое, на ее взгляд, хотя, возможно, и вполне комфортабельное существование. Ей же досталось наслаждаться семейной жизнью и домашними заботами, неутомительными для преданных жен. Служить хозяину-мужу лучше, чем патрону. Мари-Терез полагала себя свободной и, вероятно, действительно была свободна. Зарплата мужа поступала всегда в конце месяца, и им хватало на жизнь, ибо они жили по средствам. К тому же всякий раз, когда возникали затруднения, Эдуар получал какие-то небольшие, но вполне достаточные прибавки. Мари-Терез была из тех редких людей, которые никогда не страдают от нехватки денег. Это обстоятельство заслуживает особого внимания, свидетельствуя вопреки очевидному о ее неординарности. Очевидное, то есть ее наружность, производило обратное впечатление. О чем в очередной раз подумал господин Ладмираль, вежливо приподнявшись с места навстречу входящей в мастерскую невестке. У Мари-Терез все было как бы усредненным — рост, фигура, лицо, черты которого, чуть тяжеловатые и слишком спокойные не отличались ни особой красотой, ни безобразием; не хорошенькая, но и не дурнушка, как говорят обычно о непривлекательных женщинах. Из-за отсутствия времени, привычки и более всего вкуса к этому делу Мари-Терез мало пользовалась макияжем, а в тех редких случаях, когда прибегала к нему, накладывала грим неумело. Помада и пудра лишь уродовали ее. Может быть, поэтому она с опаской относилась к элегантным, не пренебрегающим макияжем женщинам. Не исключено, что это обстоятельство оказалось причиной, из-за которой она не нашла общего языка с дочерью господина Ладмираля, Ирен. Та не только шокировала ее, но и внушала страх. Однако обе женщины почти не встречались, и поэтому Мари-Терез была убеждена, что, как и положено, любит свою золовку.

Она села на восточный диван — главное украшение мастерской, но господин Ладмираль закричал:

— Только не на диван! Он позирует.

— Извините, как это? — не поняла Мари-Терез.

Господин Ладмираль пояснил, что в который уже раз решил запечатлеть общий вид мастерской. Подушки были разложены в тщательно продуманном беспорядке, а большая желтая шелковая шаль, небрежно брошенная опытной рукой, свисала до пола. Мари-Терез сообразила наконец, в чем дело.

— Это будет очаровательно, — сказала она, ибо в результате общения с семьей Ладмираль научилась произносить слово "очаровательно", но никогда этого не делала при чужих людях. Ей было бы стыдно.

Она поднялась с места и подошла к мольберту с неоконченной картиной. Не знавшая иного наставника в области изящных искусств, кроме мужа, Мари-Терез обожала живопись господина Ладмираля. Но, по правде говоря, ни с какой другой не была знакома вовсе.

— А вам бы не хотелось нарисовать кошку на подушках? Как на большой картине прошлой зимой, помните?

В этот момент в витраж мастерской попал ком земли. Эдуар бросился к окну. В саду он увидел мирно сидящих на лужайке Эмиля и Люсьена. По их отрешенному и печальному виду никак нельзя было предположить, что это сделали они. Но Эдуар, знавший своих детей, обрушился на них с попреками.. Мальчики не слышали слов, но при виде отца, раскрывающего рот и размахивающего руками, не могли удержаться от смеха.

— Они еще смеются! — закричал Эдуар.

— Ты ведь знаешь, — сказала Мари-Терез, — что эти дети не умеют развлекаться на воздухе. Они не привыкли, — добавила она, повернувшись к свекру. — В каком-то смысле для парижских детей это кстати, им негде гулять, даже если бы они захотели... Возьмите, к примеру, Люсьена. Когда мне случается повести его в Люксембургский сад, он тотчас отправляется в музыкальный павильон. Ребенку не нравится быть на открытом воздухе. И его брат такой же. Конечно, это плохо, но что поделаешь.

Между тем господин Ладмираль, всегда опасавшийся, как бы кто-нибудь не нарушил порядок в мастерской, нахмурив брови. тщательно исследовал витраж. Наконец он убедился, что ни комочка земли не могло проникнуть в помещение. Происшествие его огорчило, но он не хотел этого показать. В конце концов, не годится все время жаловаться и ругать внуков. Ведь известно, что дедушки призваны все прощать. Но все-таки эти мальчишки бывают несносны.

— Еще хорошо, что они не бросили камень, — оптимистически заметила Мари-Терез. — Да нет, на такое они не способны, они не хулиганы, уж поверьте.

— И тем не менее младший недавно разбил английским ключом крышку сырницы.

— Да, но это не его вина, — возразила мать. — Я только что сменила прислугу, — объяснила она господину Ладмиралю. — Прежняя переехала в другой район. У нее возникли неприятности с хозяином квартиры. Признаться, она и мне не внушала доверия. Новая служанка еще не знает, где что лежит. Из-за этого все случилось. Если я не следую за ней по пятам...

— Если бы дверца маленького желтого шкафа была заперта, — прервал жену Эдуар, — и если бы Люсьен не рылся в ящике с инструментами...

— Ах вот оно что, он рылся в твоем ящике с инструментами. Тогда другое дело, — отступила Мари-Терез. — Я просто хотела сказать, что не такой уж он непослушный.

— Во всяком случае, не беспокойтесь по поводу того, что произошло, — сказал господин Ладмираль, которому изрядно надоела эта история...

Эдуар и так уже позабыл об инциденте, с которого все началось. Ему пришлось сделать усилие, чтобы связать крышку от сырницы с комом земли. К тому же он сообразил, что продолжать спор с женой означало бы противоречить отцу. По этой причине он почувствовал минутную растерянность. Ох уж эти сложности семейной жизни! И Эдуар словно в поисках ответа с тоской ухватился за бороду. В какое-то мгновение он вообразил себя без жены, без детей, без отца, словом, наконец-то сво-

бодным. И тотчас испытал такой страх, что еще сильнее вцепился в бороду, похоже ставшую для него единственным якорем спасения. Потом с нежностью посмотрел на бороду отца, оглядел его всего, его доброе, такое знакомое с детства лицо, бархатную блузу, внушавший доверие орден. Все вернулось на свои места. Став снова Гонзагом, Эдуар вытер лоб.

— Ты, разумеется, прав, — сказал он отцу.

Господину Ладмиралю было теперь не очень ясно, почему он прав. Но на какое-то мгновение это ему польстило. Потом он подумал, что сын говорит так, чтобы доставить ему удовольствие и чтобы его самого оставили в покое. Как все старики, господин Ладмираль терпеть не мог, когда с ним обращались как со стариком.

— Ты прав, — повторил Эдуар.

— Естественно, как же иначе, — весьма ироничным тоном отозвался господин Ладмираль.

— Не иначе как ты прав, — неумело пытаясь пошутить, сказал Эдуар, подумав при этом: "Как же стало трудно с отцом, просто не знаешь, как подступиться".

Мало-помалу между господином Ладмиралем, его сыном и невесткой завязался разговор. Старый художник был рассеян. Он рассматривал ту часть своей мастерской, которую начал писать три дня назад, и размышлял о секрете передачи красного цвета подушки и обивки, причем его желание раскрыть тайну было столь горячо, что он вдруг ощутил себя по-прежнему молодым. Но одновременно он чувствовал себя безнадежно старым, более того — мертвым, больше чем мертвым — он чувствовал себя конченым человеком. Ибо в глубине души с горечью и отчаянием признавался, что не способен разгадать эту загадку.

Господин Ладмираль испытывал зуд в руках, ему хотелось схватить палитру, послать к черту гостей, принуждавших его терять время. Но он тотчас успокоился. Нет! Пусть не оставляют меня одного, я все равно ничего не сотворю. Разве не лучший способ распорядиться своим временем — это потерять его?

В конце концов все отправились в сад. Оба мальчика, лежа на животе на лужайке, занимались тем, что пытались поджечь навозного жука, ловя куском стекла солнечные лучи. Люсьен слегка порезал мизинец, но тщательно скрывал рану, опасаясь йодной настойки. Детям пояснили, что их жестокость просто ужасна, да к тому же они все равно ничего не добьются без лупы.

— Я знаю, — ответил Эмиль, — но у нас ее нет.

— Дедушка мог бы нам одолжить свою, — сказал Люсьен. — Я знаю, где она лежит.

Господин Ладмираль дорожил своей лупой как зеницей ока, как и вообще всеми своими вещами. Он притворился глухим.

— Дедушка, ты не одолжишь нам свою лупу? — не отступал Люсьен. — Я знаю, где ее найти.

— Вечно ты что-то выпрашиваешь, — сказал Эдуар и увлек за собой отца. "Бедный старик еще, чего доброго, не сможет им отказать, — думал он, — а мне известно, как ему это неприятно".

— Разумеется, разумеется, ты можешь ее взять, — поспешно согласился господин Ладмираль. — Только будьте с ней поаккуратнее. И уж если вам так хочется, то лучше с помощью бумаги разожгите костер, а жи-

вотных не трогайте. “Они сломают лупу, — думал он, — но не могу же я им все время отказывать. Господи, как же эти дети плохо воспитаны!”

И он пояснил Мари-Терез:

— Гонзаг все время боится, что они что-нибудь сломают.

— Я пытался спасти тебя от них, — заметил Эдуар.

— Знаю-знаю, — отозвался господин Ладмираль, награждая сына дружеским тумаком. — Ты самый лучший из сыновей.

— А ты — лучший из отцов! — сказал Гонзаг, ответив таким же тумаком.

Мари-Терез подумала о том, как трогательно видеть ладящих друг с другом отца и сына. И, счастливая, взяла под руку господина Ладмираля, чтобы пройтись по саду.

Сад был большой, с множеством великолепных цветов, с высокими деревьями, чуть шелестевшими листвой под лучами солнца. За невысокой каменной оградой простирались деревенские поля, которые подходили одной стороной к самому лесу. Господин Ладмираль любил свой сад и гордился им. Он запечатлел его на сотнях картин и дорожил им, как дорожат сокровищем. Никаких грядок для овощей, одни цветы и деревья. Фруктовых совсем мало. Просто деревья. Обыкновенные деревья.

Эдуар взял под руку отца с другой стороны, и они все трое стали медленно прогуливаться между цветниками. Эдуар почувствовал, как краска прилила к его щекам, и понял, что взволнован. Он искоса взглянул на идущего рядом невысокого и чуть сгорбленного старика. Сверху ему был виден отцовский череп, окруженный венчиком седых волос. Он ощущал под своей рукой еще крепкую руку отца и влажное тепло подмышек. Внезапно, как в предчувствии беды, у него екнуло сердце, он невольно прижал к себе теплую руку отца, словно для того, чтобы удержать его, и замедлил шаг. Он подумал, что отец умрет, умрет не когда-нибудь, как умрут все, а очень скоро. Он снова поглядел на него, и так как они с женой с двух сторон поддерживали господина Ладмираля, Гонзаг вообразил, что тот еле передвигает ноги.

— Ты не устал? — обеспокоенно спросил он.

— Устал? Я? Какие глупости!

Эдуар, уязвленный, отпустил руку отца. Он решил было ответить колкой шуткой, но удержался и лишь глубоко вздохнул.

— Ты задыхаешься? — спросил господин Ладмираль. Затем без труда преодолел ступени, ведущие к небольшому бельведеру. Там стояла каменная скамья, на которую все трое и уселись. Эдуар сжал зубы, ибо догадывался, что скажет отец. Так и случилось.

— Здесь как раз и сидели когда-то сидельцы, — весело сказал, усаживаясь, господин Ладмираль.

Как обычно, Эдуар слегка усмехнулся, а господин Ладмираль, как обычно, похлопал его по колену.

Затем указал на пейзаж, который изрядно портила строящаяся дорога. Чтобы избежать объезда, в холме была прорыта траншея — новая дорога пойдет прямо через холм. По воскресеньям на стройке никого не бывало.

— Видишь, как мало они сделали за две недели, — сказал господин Ладмираль. (Я называю две недели, так как вас не было на прошлой неделе... Но я не в обиде...) Ну не смешно ли? Вот уже год как они работают тут — “работают” слишком сильно сказано, — и все это, чтобы выиг-

рать каких-то четыреста метров... А ведь мы, говорят, живем в век скоростей, и нами руководят люди, разъезжающие в автомобилях! Да ладно!..

Всякий раз когда представлялась такая возможность, господин Ладмираль охотно пользовался автомобилем, но почему-то таил на него глубокую обиду. Сын почувствовал, что назревает давний спор об автомобиле, прогрессе, старых добрых временах, политике и социальных проблемах, давний спор, которого он старался избегать и который его отец неизбежно навязывал ему вот уже в течение многих лет. Эдуар снова вздохнул.

— Вот именно... Ты верно заметил.

Господин Ладмираль почувствовал, что сын уходит от разговора. И произнес с некоторым вызовом:

— Ну, конечно, я ведь принадлежу к другой эпохе... Ты молодой, тебе это должно казаться в порядке вещей...

— Вот именно, — произнес Эдуар, — должно... А на самом деле это не так. Я, как и ты, нахожу нелепым, когда тратят миллионы, чтобы сократить дорогу на четыреста метров.

— Неужели ты тоже так считаешь?

Господин Ладмираль почувствовал разочарование. Постоянное поддакивание сына, как всегда, смущало его. Собственные его взгляды, когда тот их поддерживал, начинали ему казаться куда менее бесспорными. Находя их отсталыми для сорокалетнего мужчины, он волей-неволей начинал обвинять в отсталости и самого себя. И за это немного сердился на Гонзага.

— Твоя сестра думает иначе, — сказал он спустя некоторое время, чтобы возобновить разговор.

— Это-то меня ничуть не удивляет, — произнес Эдуар с многозначительным смешком.

— Отчего же? В ее суждениях есть смысл.

Эдуар даже привскочил. Он считал сестру взбалмошной особой, которая рассуждала обо всем на свете с большим апломбом, но с крайним легкомыслием. Но стоило ли заводить спор на такую деликатную тему? Эдуар всегда стремился к одному: сделать приятное отцу. Ему было известно, что тот страдает от раздоров между детьми. К чему было напоминать об этом и бередить рану? После только что пережитого страха, вызванного внезапной мыслью о скорой смерти отца, Эдуар принял решение избегать каких бы то ни было размолвок и охранять господина Ладмираля от всяческих огорчений и волнений. Этот старик, думал он, этот старый художник, приближающийся к концу своего мирного и мудрого существования, несомненно заслуживал того, чтобы ему не мешали жить так, как ему хотелось и как он считал нужным. Пусть ценой некоторых уступок со стороны близких. В это мгновение Эдуар обожал отца... Однако всему есть предел... Господин Ладмираль сказал, будто в суждениях Ирен есть свой смысл, что на самом деле... Ладно, в конце концов... Хоть бы и так!..

— Разумеется, — сказал Эдуар. — Правда, у Ирен подчас такой вид, словно она немного... (Он не сумел сдержаться, но тотчас спохватился). Что же касается ее суждений, то конечно, в них есть смысл...

Ему стоило большого труда произнести эти слова. Он мял свою бороду, больно дергал ее, чтобы как-то успокоиться. Суждения Ирен!.. Это уж слишком! По этому поводу надо было хоть что-то сказать... Сделать...

Не оставить без ответа... Эдуар с великим трудом удержался от реплики. У него даже возникло желание заплакать, он почувствовал удушье, как бывает с детьми, потрясенными несправедливостью. Его самого удивила такая реакция. Откуда этот гнев, это волнение, от которых у него перехватило дыхание? Быть может, от только что перенесенного страха при мысли о скорой смерти отца? Рука его терзала бороду с такой силой, что волосы трещали.

Сидевшая по другую сторону от господина Ладмираля Мари-Терез расслышала этот хорошо ей знакомый звук. Когда заговорили об Ирен, она промолчала. Она никогда не вмешивалась в такие разговоры. У нее было собственное мнение по поводу золовки. К чему было обострять ситуацию? Но скрип бороды ее встревожил. Она взглянула на мужа. Тот тоже посмотрел на нее, и оба успокоенно вздохнули. Они прекрасно, почти на биологическом уровне, понимали друг друга, и им достаточно было одного вовремя брошенного и перехваченного взгляда. В этом заключалась непонятная господину Ладмиралю, да и любому другому, кроме ее мужа, сила Мари-Терез. Эдуар тотчас успокоился, взбодрился и почувствовал себя как после исповеди — совсем безгрешным. Он подумал: "Нет, не так уж я плох, я обожаю жену, мне нечего бояться!" А за этим пришла уверенность, что отец так скоро не умрет. Эдуар понял, что спасен. И перестал терзать бороду.

— Впрочем, — продолжал господин Ладмираль (ибо прошло всего лишь одно мгновенье), — впрочем, это как твоя борода.. У тебя она такая же, как у твоего старого отца. Так что нет ничего удивительного в том, что у тебя столь же отсталые взгляды.

— Эдуар — ваша копия, — сказала Мари-Терез, полагая, что говорит то, что нужно.

Возникла короткая пауза, причина которой так и осталась неведомой Мари-Терез. Господин Ладмираль, сразу подумавший о дочери, почувствовал боль. Чтобы прервать молчание, он поспешил сказать:

— Кстати, о копии. Не помню уж где, но я прочитал недавно любопытные вещи о портретах Эжена Каррьера. О его первых портретах...

Он все еще рассказывал об Эжене Каррьере, когда к ним подбежала малышка Мирей. Она возникла, освещенная солнцем, темные волосы растрепались на бегу, лицо все так и лучилось смехом. Она крикнула им, что обед готов. Все трое так и не поняли, отчего почувствовали облегчение — от прихода ребенка или от известия об обеде. И заспорили, кому держать Мирей за руку по дороге к дому.

Когда они вошли в столовую, оба мальчика уже сидели за столом и допивали воду из стаканов. Тем самым они старались удалить следы выпитого втихую красного вина.

Обед прошел хорошо. Это была самая легкая и приятная часть визита, ибо еда давала тему для беседы, а то и позволяла обходиться без нее вовсе. Господин Ладмираль любил вкусную, но без излишеств кухню, и Мерседес справлялась с этим превосходно. Столовая была очень уютна — четырехугольная просторная комната, с тремя настежь раскрытыми окнами, выходящими в сад. Правда, через них часто залетали осы.

— Если хочешь, можешь снять пиджак... — сказал господин Ладмираль сыну.

Эдуар был не прочь и даже потянулся к крахмальному воротничку, чтобы его расстегнуть, но не посмел. Он знал, что отец не терпит не-

брежности в одежде и сделал предложение из чистой вежливости, ожидая, что оно не будет принято. В первое время Мари-Терез не понимала этого и настаивала:

— Да сними же пиджак, раз тебе разрешает отец!.. Ты совсем взмок...

— Нет, мне и так хорошо, — уверял Эдуар. — Совсем не жарко!

— Его не поймешь, — жаловалась Мари-Терез, промокая мужу шею салфеткой. — В городе он без церемоний снимает пиджак в такую жару. Что мешает ему поступить так в деревне?

— Разумеется, — подхватывал господин Ладмираль.

Он негодовал на сына за то, что тот ломается, и одновременно испытывал неудовольствие при одной мысли, что тот, как извозчик, скинет пиджак. Поэтому Гонзаг, чтобы сделать приятное отцу, оставался в пиджаке, и тогда господин Ладмираль сердился на сына за мягкотелость.

К обеду была подана огромная курица. Дети пожирали ее молча. Окончательно пришедшая в себя Мирей старательно набивала живот, не ведая о тех муках, которые ждут ее на обратном пути.

— Приглядите за малышкой — впереди поезд, — сказал Гонзаг.

— Ее будет тошнить в любом случае, — ответила Мари-Терез, — так пусть хоть вкусно поест.

— Сколько же я, оказывается, могу слопать, — вздохнул Люсьен, залпом опорожнив стакан, чтобы утрамбовать съеденное.

— На здоровье, — с полным ртом произнесла Мари-Терез, — продолжай в том же духе, мой звереныш.

Господина Ладмираля эти слова немного покоробили, но он проявил сдержанность. "Моя вина в том, что я слишком требователен, — думал он. — Дети воспитаны не хуже других. Это я несносный старик. Мне так приятно, что они приехали и с аппетитом едят, я их очень люблю..." И, чтобы искупить свои дурные мысли, налил полный стакан вина Эмилю. А тот для верности опорожнил его залпом, опередив запоздалый протест отца:

— Неужели ты хочешь, чтобы он все это выпил?

Торжествующий Эмиль потряс своим пустым стаканом, показывая, что был достоин оказанного доверия.

— О-ля-ля! — произнес он. — Для меня это раз плюнуть. Я окосел только однажды, помнишь, мама?

— Советую тебе не бахвалиться, — ответила мать. — Нужно было видеть, — обратилась она, как бы оправдываясь, к господину Ладмиралю, — какую взбучку он получил от отца.

— Ты был пьян? — с улыбкой, не скрывая интереса, спросил дед. — А ну-ка расскажи.

— В тот день я помогал консьержу заливать вино в бутылки, — ответил Эмиль. — В погребе было темно. Я притащил туда четверть. И каждый раз отхлебывал из нее. В конце концов я еле держался на ногах!

— Вот уж чем я не стал бы гордиться, — сказал Гонзаг.

— Я не говорю, что горжусь, — ответил Эмиль. — Я просто рассказываю дедушке.

— И тебе было приятно? — спросил тот.

— Еще как! Кстати, дедушка, говорят, что при этом все двоится в глазах. Это не так. Я вообще ничего не видел. А ты, дедушка, бывал пьян?

— Бог мой, — ответил господин Ладмираль улыбаясь, — это было так давно...

— Хотел бы я тебя таким увидеть, — сказал, улыбнувшись милой улыбкой, Эмиль. — А папа бывал пьяным?

— Спроси его сам, — ответил господин Ладмираль.

— Он говорит, что нет.

— У тебя очень серьезный отец, — сказал господин Ладмираль с такой очевидной иронией в голосе, что это задело Эдуара, недовольного тем, что его дети могли это почувствовать. Он открыл было рот, чтобы сменить тему беседы, когда в разговор вмешался Люсьен:

— В лицее на днях учитель спросил, хотели бы мы жить в древние времена. Один из учеников ответил "да", и учитель спросил: "почему"? А тот сказал: "Чтобы быть илотом, так как их спаивали за деньги, чтобы показывать детям".

Эдуар был возмущен. Следовало немедленно вмешаться, прежде чем Мари-Терез спросит, что такое илот.

— Очень остроумно! — произнес он недовольным тоном. — И что же ответил учитель?

— Он чуть не помер со смеху, — ответил Люсьен.

Господин Ладмираль смеялся от всей души. Его забавляло, что дети немного шокируют своего отца. В молодости есть что-то очень привлекательное. Господин Ладмираль снова наполнил стаканы обоих мальчишек, которые опорожнили их с молниеносной быстротой. Эмиль при этом с удовлетворением крякнул, а Люсьен закашлялся до слез.

— Им будет плохо, — заметила Мари-Терез.

— *Bonum vinum*[1], — произнес дед, — *bonum vinum*...

И попробовал затеять небольшой спор с сыном по поводу того, как надо продолжить фразу: *laetificat cor humanum* или *laetificat cor hominum*[2]. В такого рода спорах от Эдуара толку было мало, к тому же он испытывал неловкость, когда речь заходила о вещах, которые не могли интересовать жену. Считая себя знатоком латыни, Эмиль, явно хлебнувший лишнего, вмешался в разговор таким пронзительным голосом, что его пришлось угомонить. Он не стал упорствовать, почувствовав, что дед доволен проявленным им интересом к научному спору, и предпочел остаться на достигнутых позициях в надежде получить до конца обеда еще толику вина. И был действительно вознагражден. Когда принесли сыр, Эмиль выпил еще вина, но испытал на сей раз меньше удовольствия, ибо голова сильно кружилась. Его мутило от съеденного, лицо так и пылало. Чтобы допить последний стакан, ему пришлось сделать усилие, но он не спасовал.

По обыкновению, кофе пили в саду, в приятной обвитой зеленью беседке в классическом стиле. Мальчикам разрешили поиграть на лужайке, служившей продолжением сада, прекрасной лужайке, заросшей сочной травой и обсаженной толстыми кривыми яблонями. Скорее даже приказали, а не разрешили. У них не было никакого желания играть на лужайке. Им куда больше хотелось остаться в доме и поспать. Что ж, придется поспать на лужайке.

В беседке господин Ладмираль с сыном медленно потягивали из маленьких рюмок коньяк. Немного раскрасневшаяся, слегка залоснившаяся Мари-Терез с невероятной ловкостью вязала носок. Стальные спицы так и мелькали в лучах солнца, рассыпая вокруг отблески, и господин Ладмираль лениво подумал, что у молодой женщины руки полны звезд. Эта мысль немного разогнала дремоту. Он улыбнулся. Игра света в листве восхищала его, погружая в умиротворяющую негу. Это летнее

1. Хорошее вино... (*лат.*).
2. Веселит сердце человека; веселит сердце мужчины (*лат.*).

свечение было так прекрасно. Как и это марево над землей, чуть приглушающее яркость зеленых, красных, золотых красок сада. Как и это солнце, льющее, распыляющее вокруг золото. Пусть не болтают, что солнце подобно растворителю или порошку съедает краски. Напротив, оно делает их полными жизни, насыщенными до предела, превращает в одухотворенные существа, просящие ласки, в слова, которые требуют разгадки. В такие минуты господин Ладмираль сознавал, что любит живопись больше всего на свете, что ему не о чем жалеть в прожитой жизни, что если и не все удалось, это не имеет большого значения, ибо он всегда понимал, что должен делать, и пусть не достигнув вершины, он все же ее увидел. В полудреме, согретый льющимся на него ярким, теплым светом, господин Ладмираль представил себе Моисея, умирающего после многих выпавших ему на долю испытаний, увидевшего перед смертью землю обетованную, куда ему не дано было ступить. Не испытывая ни сомнений, ни сожалений, не отвечая больше ни за что и ни за кого, он просто умирал, успев увидеть, постичь, полюбить заново то, что любил всегда. Можно умереть и за нечто менее дорогое. Господин Ладмираль видел возле себя черный силуэт сына. Если бы только черный! Он различал рыжие, синие тона, а само лицо показалось ему внезапно фиолетовым, почти пурпурным. Вот что надо было бы писать, о чем надо было догадаться. Слишком поздно. Господина Ладмираля мало-помалу одолевал сон, он ощущал это, позволяя сну овладеть собой в ослепительном великолепии солнечного света. Какая же это радость! "Мой сын стал пурпурного цвета, — подумал он. — Я сделал пурпурного ребенка!" Господин Ладмираль спал.

Гонзаг посмотрел на отца, откинувшего голову на спинку шезлонга. И испугался при виде его закрытых глаз, улыбки, затерявшейся под седыми усами, невозмутимо-спокойного лица. Да, однажды все будет именно так, с той лишь чудовищной разницей, что глаза отца закроются навеки. Испытывая огромное счастье оттого, что отец нѐ умер, Гонзаг проникся к нему бесконечной благодарностью. Отец просто уснул, как и всякий раз после еды. Послеобеденный сон господина Ладмираля был священным для всех. Гонзаг тихо встал, и его жена тоже. Он развернул газету, валявшуюся на железном столике, и покрыл ею голову отца, чтобы уберечь от лучей солнца и от мух. Старик зашевелился и сказал спасибо, словно разговаривая с кем-то во сне. Гонзаг взял со стола поднос с кофе, жена забрала бутылку и рюмки, и оба тихо вышли из беседки, осторожно ступая по гравию. Гонзаг взглянул на жену, они обменялись размягченным, взволнованным взглядом, каким обмениваются супруги перед колыбелью. И, нагруженные хрупкими предметами, затаив дыхание, стараясь производить не больше шума, чем насекомые и солнце, вернулись в дом, оставив старого художника спящим.

Нет ничего заразительнее послеобеденного отдыха, поначалу представляющегося не удовольствием, а родом недуга, которому изо всех сил стараются противостоять. Сопротивляются до последнего, ибо считают себя обязанными сопротивляться. Однако стоит только кому-то сдаться, как все следуют его примеру. Неужели все так просто? Достаточно лишь поддаться искушению? Да и такое ли зло поспать после обильной трапезы? Ведь сразу не решаешься на это лишь в силу ложного стыда. Каждый рассчитывает на то, что другие сдадутся первыми и что он незаметно для окружающих уснет последним. Каждый также

надеется проснуться первым, так что всем будет невдомек, что он спал тоже. Ему даже может представиться возможность посмеяться над сонями, которые в конечном счете спали лишь на несколько минут дольше его. Известно, что существуют люди, которым удается, контролируя время сна, всю жизнь делать вид, будто они никогда не спят.

Гонзаг и его жена не были столь утонченными натурами. Хотя прежде оба не чурались этой игры, он, делая вид, что читает, она, занимаясь починкой белья. Но вскоре, застигнутые, и не раз, врасплох, перестали притворяться. Теперь, когда отец засыпал после обеда, они шли поспать тоже, и им это очень нравилось. Эдуар и Мари-Терез проследовали, стало быть, в гостиную, оставив по дороге поднос и бутылку с рюмками в столовой, где Мерседес наградила их взглядом прислуги, которая видит, что хозяева намерены поспать среди дня, но притворяется, что ничего не заметила. В гостиной Мари-Терез воспользовалась мягким диваном, а Эдуар устроился в кожаном кресле. Сначала они все-таки сделали вид, что намерены поговорить.

— Как, по-твоему, выглядит отец? — спросил Эдуар.

— Все так же.

Ответ был немного двусмысленным. Стоило ли углубляться в эту тему? Эдуар пребывал в нерешительности. Но раз Мари-Терез не увидела в состоянии отца никакого ухудшения, бессмысленно поднимать тревогу. Ведь господин Ладмираль в беседке спал таким хорошим, мирным сном!

— Дети не разбудят его? Где они?

— Малышка спит, — ответила Мари-Терез. — А мальчики, должно быть, на лугу.

Скорее всего, мальчики тоже спали в тени яблонь, и родители почувствовали, как сон неумолимо овладевает ими тоже. И ни один из них не получил удовольствия увидеть, как первым засыпает другой. Какая прелесть послеобеденный сон! Делая вид, что получше устраивается в кресле, Эдуар успел незаметно расстегнуть крахмальный пристегивающийся воротничок и верхние пуговицы брюк, которые стали ему тесны.

Их разбудил лай, судя по всему, большой собаки, галопом мчащейся по коридору и на бегу цокающей когтями по плиткам пола. Огромный черный лохматый пудель с тявканьем и визгом ворвался в комнату. В ужасе проснувшись, Мари-Терез сжалась в комок на диване. Гонзаг машинально поднес руку к расстегнутому воротничку. Но пес, свалив легкий круглый столик, уже исчез. В дверном проеме стояла очень элегантная, сильно накрашенная молодая женщина. Держа на вытянутых крепких руках маленькую Мирей, она кричала:

— Всем встать! Смотрите, что я обнаружила. Это ваша собственность?

То была Ирен, сестра Гонзага. Широко расставив для устойчивости ноги, в английском костюме из плотной ткани, пахнувшем дорогими духами, Ирен громко смеялась. Опустив Мирей на пол, она подошла к окну и открыла ставни. Комнату залил солнечный свет.

— Скажите пожалуйста, и ты приехала? — произнес Эдуар. — Здравствуй.

Он старался говорить как можно более безразличным и непринужденным тоном, делая вид, что не спал. Мари-Терез не пыталась притворяться. Отяжелевшая от сна, она, не поднимаясь с дивана, поднесла руку к голове, чтобы убрать влажную прядь со лба.

— Что случилось? А, это вы?

Она села, оправив юбку, и надела сброшенные перед сном туфли, которые словно стали на размер меньше.

Ирен пожала руку брату и золовке.

— Надеюсь, у вас все в порядке? Нашли время спать, и вам не стыдно? Где мэтр? А ваши херувимчики?

— Папа спит в беседке, — ответил Гонзаг. — Не буди его.

— Ему вредно так спать. Напрасно вы разрешаете.

И она стремительно вышла из комнаты. Было слышно, как она громко зовет своего пса. Одергивая юбку на бедрах, разглаживая складки, Мари-Терез силилась привести в порядок свой туалет. Эдуар встал и со страдальческим выражением лица, откинув назад голову, занялся воротничком.

— Она разбудит папу, чушь какая-то!

Услышав громкие и быстрые шаги Ирен по дому, Мерседес в свою очередь пришла в ужас. Послеобеденному сну господина Ладмираля, который трепетно почитала даже она, грозит опасность. Мерседес вышла из кухни, готовая навести порядок.

— Здравствуйте, Мерседес! — крикнула на бегу Ирен. — Я привезла вам грейпфруты. Месье их обожает, они в машине.

Все так же на бегу она сбросила жакетку, повесив ее мимоходом на крючок вешалки в вестибюле, и с возгласом "Эй! Эй!" широкими шагами, под которыми скрипел гравий, направилась к беседке.

Господин Ладмираль, внезапно разбуженный, вздрогнул, отчего газета с его головы упала. На короткое время можно было различить слегка приоткрытый рот и затуманенный взгляд с трудом просыпающегося старика. Весьма недовольный, что его разбудили, господин Ладмираль оглянулся вокруг с намерением воздать по заслугам Эмилю или Люсьену, но при виде дочери лицо его расплылось в улыбке.

— Ирен!

Уже совсем проснувшись, в радостном изумлении он выпрямился на шезлонге, затем пригладил волосы, расправил бороду и прочистил охрипшее ото сна горло. Ирен подошла к нему и расцеловала в обе щеки.

— У тебя совершенно мокрая борода, — сказала она. — Очень неумно вот так спать на солнце. Как поживаешь?

— Как когда, — ответил господин Ладмираль, пользуясь счастливой возможностью наконец-то немного подробнее поговорить о своем здоровье. — Например, вчера и позавчера...

— Я сумела вырваться ненадолго среди дня, — прервала его Ирен, которую не заботило ни свое, ни чужое здоровье. — Непредвиденно. Мне предстоял обед с друзьями, но в последний момент все распалось. Подруга совсем потеряла голову, точнее говоря, умудрилась на собственной лестнице сломать ногу. Кстати сказать, у нее больше оснований гордиться ногами, чем головой... Такая досада — она собиралась отправиться послезавтра в путешествие. И мне не повезло, придется навещать ее в больнице, а это в данный момент мне совсем ни к чему. Вот я и подумала: "Очень кстати! Давненько я не проведывала мэтра". Какая жарища в машине! Ты знаешь, о ком речь, во всяком случае, я тебе об этой подруге рассказывала. Ее зовут Маринетта, симпатичная малышка, я продала ей свою старую машину. Ну, как твои успехи? Сто лет тебя не видела. В общем, ты совсем не изменился. А я? Однако, честно говоря, ты не так

уж хорошо выглядишь. Тебе следует больше двигаться. Если хочешь, мы отправимся на прогулку. Я привезла тебе грейпфруты и предупредила Мерседес. Между нами говоря, я нашла ее какой-то странной. Может, она беременна? Разумеется, это бы меня очень удивило. А вот мой пес, видишь? Никогда не догадаешься, как его зовут. Медор! Согласись, красивое имя, правда? Все мои друзья-собачники в ярости, что не додумались до этого. Кстати, у тебя в гостях наш весельчак Гонзаг и его мадам? Мы давненько не виделись. Как их дела? Девочка у них прелесть, просто не верится, что они сами ее сделали. А вот и оба наследника! Давайте-ка поздороваемся, персонажи из семейного альбома!

Разбуженные голосом Ирен мальчики прибежали и теперь, разинув рот, с восторгом, хотя и в некотором смущении, взирали на тетку. Она их восхищала. Старший, естественно, был в нее влюблен, а младший испытывал пока лишь смутное волнение. Но как бы ни определять их эмоции, это были чувства, заставляющие воспарять над бренным миром. Эмиль и Люсьен не могли прийти в себя от счастья, поняв, что им позволено приблизиться запросто, без всяких церемоний к этой восхитительной, красивой, элегантной, веселой, шумной женщине, которая никогда ничему не удивлялась, не сердилась, не жаловалась. И, без сомнения, превосходила во всех отношениях их родителей, больше напоминая тех особ, что видишь на афише, в витринах газетных киосков, в фильмах, чем обычную родственницу, так называемого члена семьи. Вот было бы здорово, невольно думали мальчики, если бы у нас была такая мать, как тетя Ирен! Но они подспудно понимали, что это невозможно и что есть два рода женщин: женщины-матери и такие, как тетя Ирен. И это большое везение, что судьба подарила им вдобавок такую тетку! Жаль только, что ее нельзя показать приятелям, они были бы сражены.

Оба мальчика приблизились. Ирен поцеловала их. Они почувствовали сладостное удушье от ее аромата, близости, движений. Движения Ирен, казалось бы достаточно резкие, были настолько естественными, непринужденными и точными, что она никогда никого не задевала и ни на что не натыкалась. Господин Ладмираль называл это божьим даром. Гонзаг же понимал, не испытывая при этом никаких теплых чувств, что его сестра обладает тем, что люди называют шармом. Эмиль, со своей стороны, не ища объяснений, испытывал счастье, когда Ирен целовала его: у него перехватывало дыхание, екало сердце и возникал непреодолимый зуд в руках. И еще рождалось другое, глухое волнение, которое уже было ему знакомо и которое вызывало у него жгучее любопытство, удовольствие, смутное чувство стыда и яростную потребность, чтобы Ирен не считала его маленьким мальчиком. Все это выливалось в дерзкое, даже агрессивное поведение, понуждавшее Ирен не без удовольствия осаживать его. Она не была равнодушна к такому обожанию. Красивые женщины не пренебрегают ничьим восхищением, от кого бы оно ни исходило: копейка — тоже монета. В этом проявляется одно из многочисленных свойств, сближающих красоту и богатство. Они почти всегда соседствуют друг с другом. Случается, правда, что красивая женщина бывает бедна, но она редко остается бедной навсегда.

Уже совсем проснувшись, господин Ладмираль разглядывал дочь добрыми и восхищенными глазами, со счастливой, будто прилипшей к лицу улыбкой из-под бороды. Как на японских масках. Он был действительно счастлив. Однако слегка нахмурился, увидев выходивших из дома обеспокоенных и еще не проснувшихся окончательно Гонзага и его жену.

— Скажите на милость, — произнес господин Ладмираль. — И вы тут как тут?

Словно они неожиданно, чуть ли не как чужаки, вторглись в семейный круг. Гонзаг почувствовал эту ноту и ощутил легкое раздражение. Тем более что никак не мог застегнуть воротничок.

— Я просил Ирен не будить тебя, — произнес он.

— Я не спал, — живо откликнулся господин Ладмираль.

— Пусть так, — как всегда, согласился Гонзаг. — Но тебе бы не мешало спокойно отдохнуть. А вы что тут делаете? — крикнул он сыновьям. — Зачем надоедаете дедушке?

— Оставь их в покое, — сказала Ирен. — Вечно тебе кажется, будто все друг другу надоедают. Постой-ка... — И, подойдя к брату, она помогла ему застегнуть воротничок, понимая, что самому ему не справиться. — И тебе не стыдно сковывать шею этим орудием пытки? Даже папа на такое не решился бы, а он... — Она повернулась к Мари-Терез. — Не иначе как вы заставляете мужа надевать сей пояс целомудрия? Вот черт, я сломала ноготь! Смотри, твои мальчишки помирают со смеху. Насколько я понимаю, они скоро начнут носить кальсоны. Может быть, я вторгаюсь в интимные подробности вашей жизни, но держу пари, что ты тоже носишь кальсоны. Не так ли, Мари-Терез? Он носит кальсоны? Вам, кстати, известно, что я открыла магазин? Да, конечно, вам известно. Я приглашала вас на открытие, но вы не пришли, и напрасно. Мой племянник Эмиль сейчас принесет мне что-нибудь выпить, да поживее, я жду! А потом мы пойдем на прогулку с дедушкой. Здесь можно испечься от жары.. Папа, ты напрасно спишь на солнце после обеда. Вам нужно было предупредить его, что это вредно. Эти двое хотят тебя прикончить, — сказала она, повернувшись к отцу, — я давно об этом догадалась.

Гонзаг терпеть не мог таких шуток.

— Перестань, прошу тебя! — сказал он чуть громче обычного.

Пораженный этим своего рода призывом к порядку, лишь придававшим, к слову сказать, вес речам Ирен, господин Ладмираль почему-то решил, что о его смерти заговорил сын. Он бросил на него недовольный взгляд и сразу почувствовал усталость. "Вечно этот парень говорит о неприятных вещах", — подумал он. И не без труда поднялся с кресла. Гонзаг ринулся к нему, чтобы помочь.

— Оставь! Оставь! Я еще могу сам двигаться, — сказал с некоторым неудовольствием отец.

И оперся о руку Ирен. Она вроде бы не сдвинулась с места, но все равно оказалась рядом с отцом в нужную минуту. Мари-Терез наблюдала эту сцену без какой бы то ни было обиды, ибо была необидчива, и без всякой иронии, ибо ирония не была ей свойственна. "Занятно, — думала она, — что он даже не замечает, как сильно его дочь накрашена. Смотрит на нее, дотрагивается, ощущает запах косметики — и не замечает".

Все направились к дому. В сопровождении брата Эмиль шел им навстречу с бокалом красного вина, налитого Мерседес, которой были известны вкусы дочери хозяина. Ирен залпом осушила бокал.

— У тебя скверное вино. Это новое?

— Оно у папы уже три месяца, — уточнил Гонзаг.

— Выходит, — сказала спокойно Ирен, прекрасно понявшая намек, — меня тут не было три месяца.

— По меньшей мере! — заметил, улыбаясь, тоном легкого упрека господин Ладмираль.

Ирен повернулась к брату.

— Вечно он ябедничает! Теперь по твоей вине мэтр устроит мне сцену.

Дети не верили своим ушам, слыша, как разговаривают с их отцом, и ликовали. Гонзаг, как всегда, был шокирован бесцеремонностью сестры, которой отец все прощает. Взять хотя бы историю с магазином! А отец, кажется, находит все это в порядке вещей. Он, для которого торговля всегда была недостойным занятием!

— Кажется, ты открыла бутик? — переменил он тему.

По его мнению, само слово было бранным.

— Продаешь безделушки и тряпки? — добавил он слегка язвительно.

Ирен подхватила:

— Безделушки и тряпки, всякие пустячки, игрушки, мелочевку, кружева и побрякушки. "Еще не хватало, — думала она чуть раздраженно, — чтобы он начал иронизировать..." — Тебе непременно надо выбраться посмотреть, — сказала Ирен отцу. — Раскупают замечательно. Это и помешало мне приехать раньше. Ты не очень скучал? Кстати, как ты себя чувствуешь? Я уже спрашивала тебя, но ты не ответил. У тебя бывают гости?

— Не так уж много. Чувствую я себя неплохо, но...

— Я нахожу, — сказала Ирен брату, — что папа потрясающе переносит одиночество.

— Мы приезжали почти каждую неделю, — ответил Гонзаг.

— Но пропустили прошлое воскресенье, — напомнил господин Ладмираль. — Представляю себе, — обратился он к дочери, — как ты занята.

На самом деле господин Ладмираль не имел ни малейшего представления о хлопотах, связанных с открытием магазина, да ему это было и ни к чему, он бы все равно ничего не понял.

— Пойдем, взглянешь на мою новую работу, — сказал он Ирен, когда семейство вошло в дом. — Тебе, разумеется, не понравится. Но все равно. Тем более что в конечном счете, надеюсь, ты не права.

— Ничего подобного! В вопросах живописи я всегда права!

Ирен терпеть не могла живопись отца и не скрывала этого. Господин Ладмираль даже стал подумывать, что в суждениях дочери, возможно, и есть доля истины. Но не хотел этому верить. Ему тяжело было выслушивать ее нелицеприятные высказывания о своих картинах. Всякий раз он испытывал болезненное разочарование.

Вот и сейчас реакция Ирен его огорчила.

— Снова уголок мастерской? — вопросила Ирен. — С ума сойти, сколько уголков в твоем ателье. Тебе надо было бы построить многоугольную, тысячеугольную и т.п.-угольную мастерскую...

И она уселась на диван, где красовалась большая шелковая желтая шаль.

— Осторожно! Это натура! — вскрикнул Гонзаг. Господин Ладмираль нашел, что у сына слишком резкий тон, и сразу перестал сердиться на Ирен за ее бесцеремонность.

— Где ты раскопал эту желтую шаль? — спросила Ирен.

— На чердаке. Совершенно случайно. Под руку попались две картонные коробки, набитые старинными тканями. Там есть очень красивые вещи. Они валялись там со дня моего переезда, я о них совершенно позабыл.

— Ой, мне ужасно хочется посмотреть! — воскликнула Ирен.

И она не долго думая утащила отца на чердак, где спустя пять минут уже рылась в картонках, набитых яркими тканями, выгружала содержимое чемоданов. С удивительной ловкостью и быстротой она расстилала на полу шали, разматывала ленты, примеривала платья, разбирала многоцветные тряпки. Сидя на старом, обитом гвоздями сундуке, господин Ладмираль растерянно и восхищенно наблюдал за происходящим. О Гонзаге и его жене больше не было и речи. Охваченная эйфорией первооткрывателя, всецело поглощенная находками, которые она одну за другой со сноровкою коробейника извлекала из переполненных ящиков и картонок, Ирен и думать забыла о брате.

— А это что? А это? Ты никогда мне не говорил... Но я догадывалась, что они есть, я хотела с тобой поговорить, я была уверена, что в старых чемоданах полно вещей. Помнится, я их прежде видела. Но тогда они меня не интересовали... Ты, конечно, мне все отдашь? Разумеется, отдашь... Я правильно сделала, что приехала! Подумать только, что было бы, если бы Маринетта не сломала ногу... Кстати, я что-нибудь сотворю для нее из этой старой кофты. Она обожает зеленое. И совершенно напрасно. Это вбил ей в голову один знакомый тип. Может, он дальтоник? Или дальтонист? Как правильно сказать?

Ирен обычно прекращала трещать лишь вечером, перед отходом ко сну. Но утром все начиналось сначала и продолжалось весь день. Это была очень красивая, рослая и решительная девушка, смуглая, с почти черными глазами — такими яркими и живыми, что даже в минуту покоя казалось, что их владелица вот-вот сорвется с места и куда-нибудь побежит. Когда ей было восемнадцать-двадцать лет, господину Ладмиралю стоило немалого труда привыкнуть к ее манерам. Она сильно красилась, выезжала одна, возвращалась поздно и не выказывала ни малейших признаков скромности и стыдливости, которые господин Ладмираль привык почитать со времен своей молодости. Господин Ладмираль страдал от этого. В конце концов он смирился, что стоило ему больших усилий, которые Ирен не оценила в должной мере. Дети, которым бывает так непросто принять то, что их шокирует в родителях, не понимают, что родителям в таких случаях приходится еще труднее. Ирен была полной противоположностью своей матери, сдержаннейшей из женщин, и такой контраст часто приводил господина Ладмираля в замешательство. Но после смерти жены это невольное противостояние прекратилось. У него осталась одна Ирен. Она заняла освободившееся место, а ее отец так и не осознал, какого отречения от самого себя и от своих воззрений эта замена от него потребовала. То же самое происходит с безутешными вдовцами, которые вдруг женятся неожиданно для всех. Господин Ладмираль так и не понял, что в результате этого своего рода инцеста он бессознательно сделал свою красивую, полную жизни дочь орудием мести женщине, никогда не отличавшейся блеском и рано утратившей красоту.

В свое время Ирен стало ясно, что если она будет продолжать жить вместе с отцом, то станет его рабой. И она решила уйти из дома. Сделать это было непросто. Тогда они жили в Париже. Но Ирен хотелось быть свободной и одной. Причем не столько свободной, сколько одной. Эти два слова наилучшим образом позволяют понять девушек, решившихся уйти из семьи.

Господин Ладмираль принял разлуку мужественно, однако не мог до конца скрыть свое разочарование. Потеря дочери означала для него

второе вдовство. Сначала он воспротивился решению Ирен, потом стал колебаться, но в конце концов с горечью и сожалением смирился. В тот же день Ирен переехала на новую квартиру, отказавшись от дальнейшего обсуждения этой темы. Их разлука выглядела почти разрывом. Господин Ладмираль и его дочь расстались весьма недовольные друг другом, что, как ни странно, поначалу облегчило дело, а потом, спустя совсем немного времени, способствовало возобновлению отношений. Господин Ладмираль не мог обходиться без дочери. Если он хотел ее сохранить, ему, по крайней мере, не следовало жаловаться. Господину Ладмиралю хватило на это мудрости, и он оказался вознагражден. Ирен осталась для него преданной и по-своему любящей дочерью. Когда она уехала, господин Ладмираль, к счастью для него, не сокрушался по поводу неблагодарности детей или, во всяком случае, никогда не говорил об этом. Он начал размышлять на сей счет позднее, когда дочь стала реже навещать его, и особенно когда ему случалось касаться этой темы в разговорах с Гонзагом, который, будучи заботливым сыном, часто приезжал проведать отца даже в будни после работы. Когда Гонзаг покидал его, господин Ладмираль не очень грустил по этому поводу. Но невольно вспоминал, что Ирен давно не наведывалась к нему. В его прощании с Гонзагом всегда сквозило легкое сожаление оттого, что вместо него не приехала Ирен. Гонзаг это чувствовал и, бывало, спускаясь по лестнице в расстроенных чувствах, не раз оступался, словно выставленный за порог влюбленный.

Ирен и сейчас жила одна. Прежние недоразумения были забыты. Ирен жила одна, и у нее было занятие, с которым господин Ладмираль смирился, как и со всем остальным. Хотя Гонзаг не столько из желания поддеть сестру, сколько из педантизма, имел обыкновение подчеркнуть, что у нее не одна профессия, а все тридцать шесть. Цифра была завышенная, но ироническая интонация оправданна. Ирен успела поработать в мастерской декоратора, она конструировала модные туалеты, продавала негритянские статуэтки, была секретарем коллекционера и делала еще многое другое. Не отличаясь скромностью, она то и дело намекала на рестораны, праздники, загородные уик-энды и прочие свидетельства своего преуспеяния, что немного раздражало Гонзага, особенно когда это делалось в присутствии его жены. К тому же Ирен уже купила новую машину.

— А у меня, — шутя, но с намеком говорил Гонзаг, — машины нет, зато есть дети.

— Ты бы еще больше разозлился, будь у меня дети, — отрезала Ирен, закрывая тему.

Ибо разговор подбирался к весьма щекотливому вопросу. Был ли у нее любовник? Господин Ладмираль никогда не спрашивал об этом даже себя. И намеревался поступать так и впредь. Хотя имелись все основания считать, что у Ирен есть любовник: на это указывали ее независимость, красота, привычки, а также окружение. К счастью, у каждого мужчины есть одно могущественное средство защиты от печальной очевидности — фигура умолчания: “Я не хочу этого знать”. Если бы господин Ладмираль был уверен в том, что у дочери есть любовник, он был бы очень несчастен, испытывал бы стыд, горечь и страх. Он принадлежал к той породе мужчин (хотя все мужчины таковы), которые придают большое значение сохранению целомудрия девушками из круга их семьи, родных и друзей. Утаив от отца свою первую связь, Ирен про-

явила столько же благоразумия, сколько сам господин Ладмираль, предпочитавший закрыть на это глаза. К чему было вытаскивать на свет то, что лучше скрыть? Гонзаг тоже кое о чем догадывался, но не хотел, чтобы отец огорчался, и лишь изредка позволял себе нечто вроде намека, желая прощупать обстановку и в случае необходимости успокоить господина Ладмираля.

— Мы так редко видим Ирен, — говорил он. — Я знаю, что она серьезная девушка, но все равно мне очень жаль, что она совсем одна.

— В самом деле? — спрашивал слегка обеспокоенно, ожидая продолжения, господин Ладмираль.

— О! Я прекрасно понимаю, что она не то чтобы одна...

— Что ты имеешь в виду? — настороженно откликался отец. Ему было понятно, на что намекает сын, но он ненавидел такую форму дознания, увлекавшую его в область недозволенного, и тем не менее всегда хватал наживку.

— Ничего... Ничего особенного... Я просто хотел сказать, что вокруг нее всегда масса народа... Мне даже кажется, что моя дорогая сестра пользуется большим успехом...

— Да, — подхватывал внезапно успокоенный и излучающий счастье при мысли об успехах дочери господин Ладмираль, — да, мне кажется, что ее очень любят. И как ты только что заметил, она не из тех девушек, которые делают глупости.

— Надеюсь, — отвечал уклончиво Гонзаг, но его отец не желал этого замечать.

И они больше не углублялись в личную жизнь Ирен. Господин Ладмираль думал: "Этот славный Гонзаг на что-то намекает. Подозревает ли он что-то? Хочет ли меня о чем-то спросить? К чему кружить вокруг да около, если ни мне, ни ему ничего не известно? И вообще, я знаю Ирен. Если бы у нее кто-то был... Если для подозрений Гонзага есть основания, то она, со своей обычной прямотой, все бы мне рассказала". Он хорошо знал, что это не так. Даже не имея доказательств, в глубине души он был убежден, что у Ирен есть любовник, и что она никогда ему ничего не скажет, а он сам ее не спросит, и что лучше всего все оставить так, как есть.

Со своей стороны, Гонзаг после подобных разговоров приходил к заключению, что отец слеп, но что, может быть, это и к лучшему. Однако ему никак не удавалось сдержаться, и всякий раз он возвращался все к той же теме и к бесполезным намекам. Это было сильнее его. Допустим, что у Ирен есть любовник. Гонзаг вовсе не собирается стеснять ее свободу, выступая в роли старшего брата — блюстителя нравственности. Однако, коли у сестры есть любовник, ему бы хотелось, чтобы она хоть немного страдала, чувствуя осуждение отца, или испытывала бы, по крайней мере, угрызения совести из-за того, что огорчила его. Гонзаг был похож на тех честных, преданных семье порядочных людей, для которых исполнение долга является наивысшей добродетелью. Они не осуждают тех, кто сумел разорвать цепи и вырваться на свободу. Но считают, что негоже беглецам наслаждаться безоблачным счастьем. Это было бы уж слишком. За свободу надо платить.

Между тем, вне всяких сомнений, Ирен была счастлива, особенно в данный момент, на чердаке, среди вороха разноцветного тряпья. Мобилизовав Мерседес, она с ее помощью набила бесценными вещами три картонные коробки, не забыв при этом сделать несколько подарков верной служанке. Мерседес ничуть не нуждалась ни в старых бальных

туфлях, ни в муфте из фальшивого, пожелтевшего от времени, как усы курильщика, горностая, но казалось, она никогда не испытывала большего удовольствия. Ничто не трогает прислугу так, как подарок. Он являет собой нечто вроде знака равенства, компенсирует и стирает разницу в положении.

Упакованные вещи Ирен и Мерседес снесли в машину. Ирен буквально прыгала от радости. Она попыталась объяснить брату и Мари-Терез, как собирается использовать это старье. Гонзаг сделал вид, что ему не требуется объяснений.

— Коли все эти тряпки в моде, — сказал он, разводя руками, — тем лучше. Папа отдает их тебе, ну и прекрасно. Здесь все принадлежит ему. И он волен распоряжаться всем по своему усмотрению.

Почувствовав в словах брата намек на раздел имущества и на права наследников, Ирен была уязвлена. И ответила, явно обиженная и огорченная тем, что не подумала об этой стороне дела:

— Я никого не обкрадываю. За все, что взяла, я заплачу.

Гонзаг был сражен. С Ирен невозможно спорить, у нее всегда находились неопровержимые доводы. Да и вообще, способен ли он, не очень удачливый, скромный, обремененный семьей и не слишком-то напористый человек, противостоять ей, если зайдет речь о деньгах? Он представил себе, как после смерти господина Ладмираля Ирен завладеет домом, картинами, мебелью, стоившими миллионы, оставив его без всего, голого и босого, вопреки всякой справедливости. В нем поднялось чувство враждебности по отношению к сестре. А что, если она думает лишь о том, чтобы захватить собственность отца после его смерти? А их добрый отец так ни о чем и не догадывается...

Господин Ладмираль действительно ни о чем таком не беспокоился. Предложение Ирен оплатить вещи не показалось ему ни оскорбительным, ни неприличным. Лишь слегка нелепым. Ему самому никогда бы не пришла в голову мысль продать собственной дочери несколько коробок тряпья, и он, смеясь, отказался взять деньги. Тем не менее господин Ладмираль был тронут тем, что Ирен об этом подумала. Кроме того, он не без удовольствия рассудил, что этим самым она заткнула рот Гонзагу, который вечно был не доволен.

— Ты с ума сошла, — сказал он примиряюще. — Гонзаг пошутил.

— Не думаю, — ответила Ирен. — Эдуар редко шутит и уж, во всяком случае, не тогда, когда дело касается семейных отношений и денег. Поэтому будет лучше, если я заплачу за то, что взяла. Находить в домах никому, кроме меня, не нужные вещи — это и есть моя профессия. На днях вблизи Дрё я купила у крестьян свадебный венок под колпаком, просто чудо.

— И тебе продали этот венок?

— Это оказалось не легким делом. И не из-за каких-то воспоминаний. Они даже не знали, чей он. Просто не хотели продавать, считая, что мне от него никакой пользы. Пришлось предложить им до смешного низкую сумму, иначе у меня ничего бы не вышло. Вот тебе и нормандские крестьяне!..

— Дрё находится не в Нормандии, — сухо заметил Гонзаг.

— Дрё? — воскликнула Ирен. — Не смеши меня.

— Вынужден тебя огорчить, — сказал Гонзаг, словно цитируя географический атлас. — Дрё по-прежнему расположен в Иль-де-Франс. Не бог весть какой городок, но это так.

Признав свое поражение, Ирен повернулась к отцу.

— Сколько ты хочешь за свои старые тряпки?

— Забудем об этом, — ответил господин Ладмираль, чувствовавший себя неловко.

Полная решимости не отступать, Ирен набросилась на брата:

— Тогда скажи ты! Раз ты первый заговорил о деньгах, назови сумму.

— Я? — возмущенно спросил Эдуар.

Но тут в спор решительно вмешалась его жена.

— Тут вы не правы, — заявила Мари-Терез.

Она буквально кипела от негодования. Слишком очевидна была несправедливость, проявленная по отношению к ее мужу. Эта Ирен считает, что ей все дозволено. К тому же в денежных делах Мари-Терез не считала себя глупее других, так что нечего ей голову дурить.

— Если кто-то и заговорил о деньгах... — сказала она, все еще пылая гневом.

Перед лицом столь неожиданно возникшего подкрепления Ирен отступила, явно не готовая и не желавшая затевать спор со свояченицей. Все были ей благодарны как за это отступление, так и за последующий примирительный тон.

— Вы правы, — сказала она. — Не станем спорить. К тому же в этих делах я кое-что смыслю. Папа, я тебя обокрала на тысячу франков. Держи!

И вынула из сумочки небольшую пачку тысячефранковых билетов, скрепленных золотистой скрепкой. Господин Ладмираль, невероятно смущенный, отказался от денег.

— Что происходит? Не думаешь ли ты, что я стану продавать что бы то ни было собственным детям?

Он сам не понимал, на кого сердится — на Гонзага или на Ирен. И был в замешательстве. К тому же тысячефранковая купюра выглядела соблазнительно. Ирен часто делала ему маленькие, а иногда и крупные подарки. Случалось, деньгами, замаскированными под подарки, — она-де не знала, что ему подарить. Нередко она покупала ему вещи, называя при этом заниженную цену. Ирен была само благородство. А вот Гонзаг... но тут не его вина. Он небогат, тогда как Ирен зарабатывала своими таинственными занятиями, по ее собственному признанию, сколько хотела. Ее бутик...

— Да ладно тебе! — говорила Ирен, держа купюру кончиками пальцев. — Не станем же мы торговаться — дочь с отцом? Может, хочешь больше?

— О, — запротестовал господин Ладмираль. И, чтобы покончить с этой некрасивой, по его мнению, историей, взял деньги.

— Надеюсь, тебе понятно, что я делаю это, исключительно чтобы доставить тебе удовольствие? — произнес он с добродушной иронией.

— Считай, что ты мне его доставил, — мило ответила Ирен.

Господин Ладмираль подумал, что хорошо было бы употребить эти деньги на подарки детям Гонзага, но смутно понимал, что ничего подобного не сделает. Гонзаг и его жена в некотором смущении следили, как тысячефранковый билет скользнул из рук в руки. Что ж, деньгами тоже можно жонглировать. В общем, каждому свое... Главное, отец доволен. У него было достаточно средств, чтобы жить на широкую ногу, но старики любят деньги куда больше, чем может казаться.

Мерседес пришла сказать, что чай подан. Все вернулись в беседку. Ирен не любила чай. Она так усердно пила сок из привезенных ею грейп-

фрутов, что от него почти ничего не осталось. Мари-Терез тоже не любила чай, но вовремя не решилась в этом признаться. Теперь она не без некоторого замешательства и зависти наблюдала за Ирен, смело заявлявшей о своих предпочтениях. По правде говоря, Мари-Терез не любила и грейпфрутовый сок. Она бы выпила кофе с молоком. Но сейчас поздно об этом думать. Дети тянут малиновый сироп через соломинку. Лучшие моменты в гостях у деда. Эмиль, правда, немного бледен, у него урчит в животе. Просто глупо давать детям столько пить. Когда они сядут в поезд, тошнить будет не только Мирей.

— Хочешь прокатиться на машине, мой добренький старенький папочка? — спросила, закурив сигарету, Ирен.

Господину Ладмиралю не очень-то хотелось трогаться с места. Но если он отправится на прогулку с дочерью, то ему удастся побыть с ней наедине, немного поговорить, ощутить ее ненадолго рядом с собой. Машина слишком мала, чтобы увезти всех. Разве что взять с собой детей, они не помешают им.

— С удовольствием, — сказал господин Ладмираль, не без труда встав с места. — Если ты не против, поедем до Гулетского моста. Там очаровательный дом на берегу озера.

— Имей в виду, что тамошняя усадьба с ее отражением в воде больше не продается, — сказала Ирен. — Но все равно это чудесное место. Вы поедете с нами?

Она обернулась к Гонзагу и его жене. Нет, им не хочется ехать. Совсем не хочется — ни тому, ни другой. Они отказались, найдя подходящий предлог. Господин Ладмираль и Ирен были им за это благодарны. Обстановка стала снова сердечной.

— Не возвращайтесь слишком поздно, — сказал Гонзаг, — мы уезжаем поездом восемнадцать пятьдесят шесть.

— Вы не останетесь на ужин? — спросил господин Ладмираль тоном ребенка, огорченного тем, что его бросают родители.

— Боюсь, что нет, — ответил Гонзаг. — Мы и так приедем в Париж слишком поздно, а у Эмиля завтра утром сочинение по истории.

— Ну и что? — сказал господин Ладмираль. — Останьтесь, а Ирен вас отвезет на машине.

— Охотно, — откликнулась Ирен. — Если вы потеснитесь. Но я должна быть в Париже к ужину.

— Ты тоже? — Господин Ладмираль был очень расстроен.

— Мне нужно вернуться во что бы то ни стало, — ответила Ирен.

Она повернулась в сторону Гонзага и его жены:

— Вас это устраивает?

Мальчики затаили дыхание, обомлев от радости, что поедут с Ирен на машине. Они не отрывали глаз от взрослых. Гонзаг и его жена обменялись вопросительными взглядами.

— Ну уж нет, — запротестовал господин Ладмираль, — вы не бросите меня одного!

Гонзаг услышал в голосе отца тревогу, почти страх, как бывало всякий раз при прощании. И даже когда просто заговаривали об отъезде.

— Вообще-то, — сказал он, — мы можем поужинать тут и выехать поездом двадцать один тринадцать...

Ничего не поделаешь. Вернемся поездом, Мирей будет тошнить, дети поздно лягут спать. Но какое это имеет значение по сравнению с огорчением старика, который боится остаться один?

Мари-Терез все поняла и ласково улыбнулась господину Ладмиралю, который задал себе вопрос: не остается ли его невестка лишь из чувства долга? Дети чуть не заплакали. Все пропало, им не придется возвращаться на машине. Еще хорошо, что Ирен предложила им поехать на прогулку с дедушкой. И они помчались к дому.

Когда они входили в вестибюль, раздался телефонный звонок. Эмиль и Люсьен бросились к аппарату, и после короткой борьбы, завершившейся пинком исподтишка, Люсьен сорвал трубку. Изображая человека, привыкшего к разговорам по телефону, он произнес небрежным тоном:

— Кто говорит?.. Да, месье, кажется, она еще тут, пойду посмотрю, не кладите трубку, пожалуйста. Кто ее спрашивает?

И торжествующе повернулся к Ирен:

— Это вас, тетя Ирен. Какой-то господин. Я не разобрал фамилии.

Ирен уже взяла трубку и отвечала быстрыми, короткими фразами. У нее был хмурый вид, и господин Ладмираль, и оба мальчика сразу поняли, что никакой прогулки не будет. Внезапно Ирен оживилась.

— Это совершенно невозможно, — говорила она в аппарат. — Невозможно. Я не собираюсь возвращаться к нашему разговору. Можешь ехать в Версаль, мне все равно. Но в таком случае я тоже поеду туда. Нет ничего проще. Надеюсь, что и ты так считаешь? Ладно. Ну что ж, значит, мы договорились. Сейчас... посмотрим... без двадцати шесть. Обожди меня, я за тобой заеду. Да нет, уверяю тебя. Я доберусь за сорок пять минут, в любом случае я хотела бы приехать туда вместе с тобой. Жди меня, я еду. До свидания...

Она повесила трубку. Она так явно удержалась от слова "дорогой" после "до свидания", что господину Ладмиралю показалось, что оно еще трепещет на ее ярких, полных губах. Ирен, похоже, тоже почувствовала некоторую неловкость. У господина Ладмираля сжалось сердце.

— Значит, насколько я понял?..

— Мне очень жаль, — сказала Ирен. Она улыбалась, но лицо напоминало маску. Голос чуть дрожал и стал глуше. Кажется, она была расстроена, и господину Ладмиралю хотелось думать, что из-за него.

— Мне совершенно необходимо немедленно вернуться в Париж. Слишком долго все объяснять...

Она очень торопилась, ее уже не было с ними. Куда-то исчезли ее самоуверенность, жизнерадостность, властность. Осталась только стремительность движений. Ирен не просто уезжала в Париж, ее влекла неведомая сила, которой она не могла противостоять. Господин Ладмираль готов был заплакать — так ему хотелось ее удержать. Но в то же время он и сам не прочь был подтолкнуть ее к выходу — только бы не видеть дочь в таком состоянии, только бы ускорить ее отъезд.

Но подталкивать Ирен не пришлось. В одно мгновение ее и след простыл. Только забежала в сад, чтобы извиниться перед Гонзагом и Мари-Терез, раздать троим детям поспешные поцелуи, пнуть ногой собаку, чтобы та проснулась, и торопливо попрощаться с Мерседес, сунув ей в руку сто франков и шепнув: "Мерседес, получше заботьтесь о господине Ладмирале". Затем она не мешкая села за руль. Отец ждал ее у машины, на заднем сиденье которой громоздились картонки с чердака, а на переднем расположился Медор. Он часто дышал, перебирая лапами, — ему не терпелось пуститься в путь.

— По крайней мере, — сказал господин Ладмираль, с некоторым сожалением поглядев на картонки, — ты не зря приезжала.

Он пытался пошутить, ему было бесконечно жаль дочь, больно за нее, но он ничем не мог ей помочь.

— Ты лучший из отцов, — сказала Ирен.

— А ты хорошая дочь... Ты скоро снова приедешь?

— Что ты сказал? — переспросила Ирен, у которой не ладилось со стартером.

— Скоро ли ты приедешь снова? — повторил господин Ладмираль.

— Конечно. Очень скоро.

Пришлось удовлетвориться этим обещанием. Господин Ладмираль нагнулся, чтобы поцеловать дочь. Она расцеловала его в обе щеки, оставив на них следы помады, и почувствовала влагу на бороде отца. Он постарел, сказала она себе. Как я раньше не заметила? Мне надо было поговорить с ним. Расспросить о нем Гонзага. Что-то сделать для него. Как ему живется? Мне было приятно повидать его. Старый мэтр. Хорошо бы приезжать почаще. Но ни на что не хватает времени.

Она завела мотор и помахала на прощание рукой. Глаза у нее были влажные, и в горле стоял комок. Но главное — она ужасно торопилась в Париж.

Господин Ладмираль посмотрел вслед уехавшей дочери. Затем постоял на пороге дома, ожидая, когда машина по выезде из деревни появится на повороте дороги. Он действительно увидел ее. Ирен еще раз помахала ему рукой, но головы в окно, как она иногда делала, не высунула. Машина быстро промчалась и скрылась из виду. Сегодня Ирен очень спешила.

Господин Ладмираль вернулся к себе. Люсьен и Эмиль стояли, насупившись, в коридоре — они дулись из-за несостоявшейся прогулки. Господин Ладмираль отправил их в сад. Он был с ними излишне резок — дети на этот раз показались ему действительно невыносимыми.

В какой-то момент он подумал вернуться к работе. Уголок мастерской ждал его. Но была уже вторая половина дня, а недавний кураж изменил господину Ладмиралю. К тому же сын и невестка ожидали в саду. Но это на самом деле лишь попытка оправдать себя. Он бы все равно ничего путного не сделал. Вот в чем правда. Только признаться в этом не просто. Да и освещение уже не было прежним. Это тоже правда, а заодно и уважительная причина для бездействия.

Господин Ладмираль отправился в сад к Гонзагу-Эдуару и Мари-Терез. Оставшись после бегства Ирен хозяевами положения, они не испытывали от этого никакого удовольствия. Им досталась роль победителей, не одержавших победы.

Надо было как-то убить время. Они совершили короткую прогулку по дороге вместе с детьми, которые, недовольно ворча, еле плелись за ними. Гонзаг попытался завязать разговор с отцом, но тот отвечал невпопад и охотно со всем соглашался, что ставило сына в тупик. На обратном пути пришлось нести Мирей. Господин Ладмираль не предложил свои услуги. По правде говоря, он был утомлен.

Ужин прошел в томительном молчании. Мальчикам разрешили пить только воду, и Эмиль дважды намекал на сочинение по истории, подчеркивая, что если поздно ляжет спать и завтра получит плохую отметку, то это случится не совсем по его вине.

Все скучали. Как всегда, слегка поспорили по поводу того, когда надо выйти из дома, чтобы вовремя добраться до станции. Господин Ладмираль настоял на том, чтобы проводить семью до поезда. Солнце закати-

лось. Было тепло и еще светло. И дети, и взрослые устали, в головах шумело, как бывает после жаркого дня. Когда показался поезд, все расцеловались, повторяя: "До следующего воскресенья". Семейство село в не очень набитое пассажирами купе. Мирей спала на коленях Мари-Терез. Бывали случаи, когда она с самого начала крепко засыпала и семья доезжала до Парижа без приключений.

Высунувшись из окна, Эдуар махал платком. Фигура господина Ладмираля в маленькой круглой шляпе, в черном бархатном костюме с красной орденской розеткой, с бантом у ворота, становилась все меньше. Через неделю Эдуар снова будет тут, и через две недели... Он был доволен. Отец выглядел не так уж плохо, так приятно было увидеться с ним. Он тоже, наверное, доволен, когда они приезжают к нему.

Господину Ладмиралю понадобилось двадцать минут, чтобы дойти до дома. Он слегка волочил ногу, но главное — никуда не торопился. Так красиво вокруг, когда спускается ночь. Краски неба становятся восхитительными — жемчуг с гранатовым оттенком и широкая, прямая, словно вычерченная рейсфедером, полоса миндально-зеленого цвета. Никто не осмелится запечатлеть такое на полотне.

А на другой день, как обычно в понедельник, господин Ладмираль принялся ждать следующего воскресенья.

Спустившись в деревню, он встретил господина Турневиля, который спросил его:

— Как прошло воскресенье, господин Ладмираль?

— Превосходно, — бодро ответил господин Ладмираль.

— Приезжала семья?

— Да, — сказал господин Ладмираль. — Моя дочь.

Рассказы хорватских писателей

Перевод с хорватского и вступление Л. Савельевой

"22 в тени: антология новой хорватской прозы 90-х годов" — так называется книга, вышедшая в прошлом году в загребском издательстве "Целебер". Ее составители, молодые хорватские критики Далибор Шимпрага и Игорь Штикс, собрали под одной обложкой прозу двадцати двух авторов, принадлежащих к разным поколениям, общим для которых является то, что именно в девяностые годы они переживали заметный творческий расцвет — их произведения часто появлялись на страницах журналов, у многих из них вышли первые книги.

Антология ставит своей целью зафиксировать новые явления и черты в хорватской литературе. В хорватской прозе последнего десятилетия и количественно и качественно доминировала новеллистика, причем новые авторы оказались не связанными с каким-нибудь литературным направлением, журналом или художественной концепцией, как это всегда случалось в прошлом.

Гораздо важнее оказалось то, что литература в Хорватии, несмотря на суровые исторические испытания, выпавшие на долю страны, осталась жизнеспособной, не увязла в пространстве массовой культуры и, обращаясь к коллективу и коллективному, сохранила умение говорить о личном. Ее герой — это прежде всего индивидуум, поэтому она, как и столетия назад, предлагает индивидуальный взгляд на вещи. Из груды фактов последних десяти лет она выделяет лишь некоторые, сосредоточиваясь на них и размышляя над ними. Поэтому история присутствует в них лишь в качестве фона, атмосферы, а не в качестве общественно значимых событий.

Разумеется, любая антология — это всегда только попытка более или менее объективно отразить общий образ литературы или отдельных ее сегментов в тот или иной период, а публикуемая подборка рассказов хорватских писателей тем более всего лишь отражение отражения, но она, думается, дает определенное представление о прозе современной Хорватии.

Давор Мойаш

Чай из мяты

И В ТО утро Радоста насчитала несколько новых морщин, появившихся с прошлой ночи. На лице. Солнце уже было за колокольней, и Радоста настежь распахнула ставни на окнах своего деревянного домика. Михайло Бинкола еще спал у себя в роскошных покоях, отделанных парчой. Во сне он ждал пробуждения и чая из мяты на серебряном подносе, который принесет Радоста. "Radosti que fuit amica Michaelis Bincole" и "Radosti que fuit servitialis Michaelis Bincole"! Именно так. Грудь ее и в то утро была теплой и такой же волнующей, как прошлым утром и

© Dalibor Šimpraga – Igor Štiks, 1999
© Л. Савельева. Перевод, вступление, 2000

прошлой ночью. С тех пор как она себя помнит, грудь ее всегда была такой. Такой, как сейчас. И талия у нее по-прежнему тонкая. И колени крепкие. И плечи гладкие. И волосы шелковые. Черные. А глаза? Глаза чуть грустные. И тоскливые. Радоста надела голубое шелковое платье. На голое тело. Как обычно. Она никогда не душилась. Ее тело и без того всегда источало аромат. Это свойство передавалось в их семье по наследству. На улице ее встретило страстное желание во взглядах встречных мужчин, теплое приветствие солнца и привычная утренняя шутка ветра, который по обыкновению, стоило Радосте подняться по лестнице, взметнул вверх подол ее платья. Но не настолько, чтобы что-то было видно. И по обыкновению уличный продавец даров моря лишь глубоко вздохнул. А устрицы, мидии, морские пальчики, гребешки и ежи и в это утро были, как всегда, свежими. И море пахло ракушками. Радоста тихо вошла в каменный особняк Михайлы Бинколы. Она наизусть знала расположение комнат, а в спальню могла бы пройти даже с закрытыми глазами. Стоило ей захотеть. Пока закипала вода, Радоста приготовила посуду. Мяту она выращивала сама на окне, в большом глиняном горшке. Ее было вдоволь. И сегодня утром она сорвала всего один стебель с пахучими листьями. Для чая достаточно. Запах мяты стелется за Радостой, пока она несет поднос в спальню Михайлы Бинколы. От радости играет занавеска на окне. Ее то выплескивает порывом ветра наружу, за окно, то она лениво повисает в комнате, не давая рассеянному свету заполнить целиком всю комнату. Запах мяты ласкает гладкую поверхность изящной мебели. И не только мебели. Запаху мяты знакомо и утро, и то, что полдень все ближе и ближе. Чайник Радоста поставила на пол возле кровати. Затем сбросила платье и нежно скользнула между шелковыми простынями. Запах мяты разбудил Михайлу Бинколу. И скоро Михайло Бинкола проснулся окончательно. И они любили друг друга, Радоста и Михайло Бинкола, до тех пор, пока пушка не бухнула полдень. Михайло Бинкола любит холодный чай из мяты. И любит теплую Радосту. Пока остывает чай.

Миленко Ергович

Могила

Знаешь, почему людей никогда не хоронят в долине? Настоящее кладбище всегда на холме, над городом, и когда поднимаешься наверх, чтобы в открывающемся оттуда просторе дать отдохнуть взгляду, или же, переходя от могилы к могиле, листаешь альбом с фотографиями подземных жителей, пробираясь через густую траву, то встречаешь иногда незнакомца, и когда он начинает расспрашивать о жизненном пути кого-нибудь из умерших, ты можешь и рассказать, и пальцем показать ему этот путь с улицы на улицу, через весь город, от магазина до пивной, а потом и до могилы. Поднимешься так на Алифаковец, наткнешься на какого-нибудь, предположим, итальянца, который слышал о том, как жил, допустим, покойный Расим, тут ты ему и расскажешь, что Расим родился в Ковачах, покажешь, где это, и человеку уже понятно, а школу он закончил вон там, у того моста, и покажешь ему Дрвению, и когда ему было семнадцать, он влюбился в красавицу Мару, которая жила в Бьелаве, и

Бьелаве виден с Алифаковца, но отец ему не позволил на ней жениться, поэтому он сбежал из дому, среди ночи ворвался в дом Мары, три месяца они скрывались где-то на Илидже, а Илиджа — это вон там, еле видно в тумане, но все-таки рассмотреть можно, отец его разыскал и просил вернуться в Ковачи, Расим ответил, что без Мары не вернется, старик увидел, что дело действительно серьезное, привез Расима и Мару в Ковачи, только она не должна была ни на миг покидать дома, и никто из соседей знать не знал о том, что она здесь, а по ночам Расим водил ее, чтобы дать ее душе немного простора, на крутой скалистый обрыв над казармами Яйца, и оттуда она, когда глаза привыкали к темноте, видела Бьелаве, а может быть, ей только казалось, что она его видит, и тогда она плакала, и продолжалось все это целый год, пока отец не выстроил молодым дом на Бистрике, вон он, Бистрик, там, видишь, где пивоваренный завод, мечеть и городская комендатура, Расим и Мара поселились в новом доме, был назначен день свадьбы, и вот, когда все уже думали, что теперь они своей жизнью докажут, как крепка их любовь, Мара умерла, похоронили ее над Широкачей, вон она там, Широкача, могила ее немного в стороне от всех остальных, потому что никто толком не знает, осталась ли Мара Марой или стала, например, Мейремой, Расима об этом спросить не сумели, потому что он от горя просто голову потерял, ни о чем говорить не хотел, всех, от Ковачей до Широкачи, считал виновными в смерти Мары, дом продал и переселился подальше, на Врбаню, вон, смотри, где Врбаня, там у его дяди пекарня, по ночам он пек хлеб, а днем тосковал, люди даже говорили, что старику Эдхему не нужно солить тесто, хватает Расимовых слез, а когда началась вторая война, Расим явился в главный штаб усташей, это там, вниз по Миляцке, над Скендерией, видишь, там, где два тополя, и попросился в усташи, ему сразу дали чин, он расхаживал по городу, а у самого глаза красные, все его страсть как боялись, правда, никакого зла он вроде бы никому не сделал, а когда в город вошли партизаны, Расима тут же посадили в подвал Ландес-банка, это вон там, и хотели расстрелять, но тут как из-под земли возник Соломон Финци, торговец из Бьелаве, который три дня убеждал разных комиссаров, что этот усташ Расим спас жизнь целым пяти еврейским семьям и перевез их в Мостар, а потом еще дальше, к итальянцам, в конце концов старику Финци поверили и осудили Расима только на три месяца, просто для порядка, отсидел он вон там, в глубине той рощи над Скендерией, а когда снова появился в городе, то все продолжалось по-старому, днем тоскует, ночью солит тесто, а потом однажды нашли его головой в кадке, мертвый, пролежал так всю ночь, в тесте остался отпечаток его лица, и тут его вернули в дом отца в Ковачах и похоронили вот здесь, под этой травой, на которой ты стоишь. С этого места можно увидеть всю его жизнь и пройти по ней. В долинах хоронят только воров, детей и тех, кому было что скрывать. В долине от жизни не остается больше ничего, потому что из долины ничего не видно.

Однажды, когда я закапывал Салема Бичакчию, того самого, которого снайпер подстрелил прямо у него во дворе, пришел сюда какой-то американский журналист, он, мол, слышал обо мне, что я долго жил в Калифорнии, повидал мир, знаю язык и людей, а сейчас вот снова работаю могильщиком, и он, видимо, решил, что я, может, смогу рассказать ему, что тут происходило с людьми, в Сараеве. Вот копаю я так, а он стоит и расспрашивает, говорит, что ему интересно все, а я тогда его спрашиваю: все о живых или все о мертвых, он отвечает: и о тех и о других, а я ему говорю, что о живых и о мертвых нельзя говорить вместе, пото-

му что жизнь мертвых уже за ними, а живые еще не знают, что их ждет и чем они могут испортить или принизить то, что они уже прожили, живым тяжелее, говорю я, потому что кто знает, где окажется их могила, на холме или в долине, и запомнит ли кто, какими, понурыми или бодрыми, шагали они по белу свету. Американец спросил меня, что такое белый свет, я посмотрел на него, не знаю, действительно не знаю, каким английским словом это передать, засмеялся и сказал: понимаешь, журналист, это что-то вроде all over the world. Для кого-то all over the world — это от Башчаршии до Мариндвора, а для кого-то — весь земной шар. А счастливым или несчастливым может быть как один, так и другой. Покивал он головой, а я вижу — он не только не понимает, о чем я говорю, но это его вообще не интересует, ну а мне все равно, я рад, если есть с кем поболтать, пока копаешь. Он спросил меня, не жалко ли мне, после того как я три раза обогнул земной шар, оказаться в окруженном Сараеве, а я ему говорю, что моя жизнь еще не кончилась, просто я здесь родился, и не дай мне Бог голову сложить где-то, где никто обо мне и не вспомнит и где я ни для кого ничего не буду значить, да, кроме того, и кладбища в других странах, а особенно в Америке, не такие, как сараевские, покойники лежат рядами, как солдаты в строю, все под одинаковыми камнями, как будто и их души отштампованы на станке. Американец опять головой покивал, я ему сказал, что пусть не обижается, если я о его родине как-нибудь обидно выразился, а он, вот уж дурак, в ответ на это спрашивает меня, готов ли я в данный момент к смерти. Мне известны, сказал я ему, сотни и сотни способов остаться живым, и все они для меня в равной степени хороши, и каждый означает добро и радость, никто так не счастлив, как я, когда мне удается увернуться от снаряда и потом еще копать эти ямы своим покойникам на самом лучшем месте, с самым прекрасным видом, и знать, что все они, как и я, прославляли жизнь, и смерть пришла к ним таким же манером, как неожиданно шар стукается о бортик рядом с лузой, в которую ты только что легко уложил подряд несколько штук, мог бы и этот, да вот почему-то не вышло. Жизнь ценна только тогда, когда ты понимаешь, что она у тебя есть, смерть же застает тебя врасплох, и ты уже не знаешь, жил ли, стоил ли чего-либо в своих глазах и в глазах окружающих, а жена и дети оплакивают тебя, потому что думают, что годы твои потрачены зазря и теперь ты умираешь не пикнув, как курица под ударом топора. Американец спросил, верно ли, что лица людей как-то изменились, я ему ответил, что точно не знаю, но сам я это тоже замечал, они стали какими-то более красивыми и торжественными, а он тогда спросил, почему же они убивают друг друга, если стали такими торжественными. Я тут сообразил, что ему не хватает темы для статьи, что он не может ее написать, потому что уже заранее придумал, как будет ее писать. Я ему сказал, чтобы он перестал смотреть на лица людей, если не понимает их, пусть лучше посмотрит на вещи, так же как я, когда приехал в Америку, рассматривал неоновые рекламы и старался понять, что это за страна. Я вытащил из кармана сигареты, вот, посмотри сюда, сказал я ему, это вот сигареты, которые производятся в Сараеве, а знаешь ли ты, почему пачка совершенно белая, он замотал головой, а белая она потому, что теперь негде печатать надписи. И ты теперь из этого сделаешь вывод, какие мы бедные и несчастные, что у нас даже на сигаретах ничего не написано, но вывод этот основан только на том, что ты не умеешь смотреть. Тут я начал разворачивать пачку, чтобы он увидел, что внутри она не белая, что она может быть сделана из бумаги, предназначенной для упаковки детского мыла,

или из старой киноафиши, или из плаката, рекламирующего обувь. Мне и самому хотелось узнать, что там внутри, я всегда смотрел и изумлялся, а американцу тоже интересно, хотя он никак не мог взять в толк, что это я делаю. Распотрошил я пачку и прямо остолбенел. Оказалось, что для упаковки "Мальборо", тех самых, старых "Мальборо" сараевской табачной фабрики, использована обратная сторона бумаги для "Мальборо". Американец обалдел, я выругался, ума не приложу, как ему теперь все это объяснить. Что бы я ему ни сказал, он подумает только то, что он в состоянии подумать, то есть что мы дурацкий народ, который использует оборотную сторону бумаги для упаковки сигарет, а потом вытряхивает сигареты из пачки, чтобы узнать, что это за сигареты. И он подумает, что точно так же, как мы по-дурацки пакуем сигареты, все остальное мы тоже делаем по-дурацки — по-дурацки говорим, думаем, поступаем.

Пожалел я о том, что объяснял американцу, лучше бы мне было сказать ему, что мы несчастный, безоружный народ, который расстреливают звери-четники, и что от всех наших бед мы просто потеряли рассудок. Он бы так это и написал, а я не выглядел бы идиотом ни перед ним, ни перед самим собой.

В Америке люди на лифтах спускаются в могилы, поэтому у них все так и есть, как есть. Если бы четники напали на Питсбург или на какой-нибудь другой город, американцы бы просто спустились все вместе в лифтах под землю. И не узнали бы, что за беда на них свалилась и что происходит наверху. Если смотреть на все эти десятиметровые рекламы, то никогда не поймешь, что собой представляют и что не представляют сараевские "Мальборо". И не поймешь, что за мука свела покойного Расима в могилу, и почему он спасал евреев, и почему Соломон Финци потом спас его, и почему он умер, уткнувшись лицом в тесто, в пекарне покойного Эдхема на Врбане, которую видно с любого кладбища, откуда ни посмотришь.

Анте Томич

Пока смерть не разлучит нас

Люция продавала газеты, а Борис уже шесть месяцев был без работы. В основном он сидел перед телевизором и смотрел по спутниковым каналам спортивные передачи, брился редко, начал читать книги по магии и парапсихологии и строил планы уехать куда-нибудь подальше. В зависимости от настроения Люция или ворчала на него, или с издевкой высмеивала его мечты. Правда, ворчала она все чаще. Тем не менее, если подвести общий итог, жизнь была не так уж плоха.

А потом вышло так, что как-то раз, придя за газетами в киоск, где торговала его жена, Борис увидел внутри сидящего рядом с ней молодого мужчину в форме. Они непринужденно болтали, и, как ему показалось, его появление застигло их врасплох. По какой-то необъяснимой причине ему стало стыдно, и он поспешил уйти.

— Это кто вчера был с тобой? — спросил он на следующий день деланно равнодушным тоном.

— О ком ты говоришь?

— О том типе в форме.

— А, этот? — сказала Люция невинным голосом. — Это Деян. Он живет в доме напротив.

— Вот зараза, — воскликнул Борис минут через десять, — всего неделя как купил батарейки для пульта. И ты смотри, какая дрянь попалась, — вообще не реагирует.

— Ничего удивительного, если ты целыми днями торчишь перед телевизором, — сказала в ответ Люция.

День был сухим и жарким, из соседней квартиры пахло фаршированным перцем, в воздухе висела пыль от самосвалов, которые с раннего утра возили рыжую землю со стройки, находившейся неподалеку. Борис стоял без рубашки, прислонившись к балконным перилам, и смотрел, как жена идет через стоянку, приближаясь к дому. Он наблюдал за ней до тех пор, пока она не подошла к подъезду, потом вернулся в комнату и надел рубашку с короткими рукавами. Обулся в прихожей и вышел.

— Пойду поговорю с одним человеком насчет работы, — сказал он Люции, встретившись с ней на лестнице. — Я купил тебе на обед пирожков.

Он долго ездил по пустым улицам, облокотившись левым локтем на открытое окно автомобиля. Ни радио, ни магнитофон в его желтом "опеле" не работали, чехлы на сиденьях были драные. Ветер шумел в кронах деревьев. На самом деле, Люция, я тебя никогда не любил, подумал Борис, глядя на отражение своего лица в зеркале над лобовым стеклом. Никогда, совершенно точно, я тебя никогда не любил. Он раздавил в пепельнице сигарету и нажал на газ.

Неожиданно откуда-то с правой стороны выскочила ярко-красная "мазда", он даже не слышал ее приближения. Чувство, которое испытал Борис, когда она врезалась в бок его машины и по ветровому стеклу разбежался миллион серебристых капилляров, можно было назвать изумлением. Инстинктивно надавив на тормозную педаль, он с силой ударился грудью о руль и нажал при этом на сигнал. Гудок, пронзительно звучавший десяток секунд, придал всей ситуации еще более драматический характер. Вне себя от страха Борис выбрался из автомобиля.

Водителю красной "мазды" на вид было лет двадцать, максимум двадцать пять, и он выглядел еще более потрясенным.

— Ты что наделал, болван? — спросил Борис удивительно спокойным голосом. "П...дец!" — подумал он, глядя на покореженный кузов. Удивительно, но на самом деле он вообще не разозлился, и выражение гнева было всего лишь машинальной реакцией, совершенно не отражавшей его настроения. Он был в таком глубоком шоке, что сам не понимал своего состояния.

Вдруг он почувствовал тошноту и позывы к рвоте и присел на корточки возле машины. Минута проходила за минутой, а он продолжал сидеть на горячем асфальте, не чувствуя ничего, кроме мучительной боли в груди. Лишь спустя некоторое время он начал воспринимать голоса людей, собравшихся на месте происшествия и с любопытством разглядывавших его и разбитую машину. Фразы, которые он слышал, казались ему такими же бессмысленными, как отрывки программ, которые слышишь при переключении радиоприемника с одной частоты на другую.

— Мне бы надо было позвонить жене, — вдруг сказал он.

— Можете позвонить от меня, — услышал он голос женщины в бледно-зеленом застиранном халате. — Я живу рядом.

В гостиной, где было полутемно из-за большого лимона, стоявшего в кадке перед окном, Борис сел на диван, на котором валялся небрежно

брошенный клетчатый плед. Женщина принесла две рюмки и доверху наполнила их прозрачной жидкостью.

— Хотите водки?

Борис без слов взял рюмку. Где-то жужжала невидимая муха. "Дорогому сыну Ивану, призванному в армию, по случаю его ухода на военную службу, всего самого лучшего желают его..." — доносилось радио из соседней комнаты, а может быть и из соседней квартиры.

— Что же ты не пьешь? — спросила женщина, и только тут Борис посмотрел на нее более внимательно. Мелкая и бледная, веснушчатая, она выглядела неухоженной. Жидкие, прямые темно-рыжие волосы у корней были седыми.

— Что ты не пьешь? — повторила она.

— Не знаю. Не хочется.

— Как избавиться от муравьев?

— Муравьев?

— Муравьи так и лезут ко мне в дом, маленькие, рыжие, как будто жареные. Ползают по стенам, на кухне залезают в шкафы и в стол, в постели их полно.

— В постели?

— Ага.

— Мне бы надо было позвонить жене.

— Телефон вон там.

Сняв трубку, Борис долго смотрел на телефонный диск. Жужжание мухи стало просто невыносимым.

— Не могу вспомнить номер, — наконец сказал он улыбаясь. — Странно.

— Позвони в справочную... Ты хоть помнишь, как тебя зовут?

— Борис.

— Серьезно? Так звали моего бывшего мужа.

— Правда?

— Он погиб.

— В автомобильной катастрофе?

— Нет, в Иране.

Борис вернулся к дивану, сел рядом с женщиной, отпил глоток водки и понял, что не может ее пить.

— Ни хрена себе! Не могу вспомнить собственный номер телефона.

— А я не могу вспомнить, как выглядел мой бывший муж.

— Правда?

— Я все время боялась, что его убьют какие-нибудь фундаменталисты или что на их стройку упадет бомба или ракета. Я говорила себе, что не должна так думать. Потому что, когда думаешь о таких вещах, получается, что будто тебе хочется, чтобы они произошли. Он был каменщиком.

— А как он погиб?

— Взорвался газовый баллон в его бараке.

"Шиме Лабору и Весне Ивкович, которые сегодня вступают в брачный союз, всего самого лучшего в совместной жизни желают Кажимир, Диана, Весна, Антония, Буба, Дамир и Анте".

— Его привезли на самолете, в мешке из какого-то серебристого материала на молнии. Он весь был совершенно обугливший. Я не смогла его опознать... Знаешь, это смешно звучит, но я долго верила, что вообще-то он не погиб, что он, уж не знаю как, ну, вроде как в "Санта-Барбаре", однажды появится под видом другого человека.

— Чудно́ все это, — сказал Борис и снова отпил глоток водки. На смятом клетчатом пледе он заметил несколько длинных рыжих волос; женщина заплакала.

— Чудно́ все это, — повторил он.

Неуверенным движением погладил женщину по голове, она порывисто, как будто долго ждала этого, прижалась к его груди и вцепилась в рубашку.

— Борис!

— Успокойся, любимая, — прошептал Борис, — мы снова вместе.

Станко Андрич

Энциклопедия ничтожного

Филология

Филология — это одно из самых космополитических слов, а самая волнующая из всех библиотек — библиотека филолога, в которой можно наткнуться на самые непонятные в мире книги, такие, например, как словари китайского, авестийского, финского, баскского языков. Деятельность, которой занимаются филологи, можно описать как создание четырехмерной карты языков. Поражает тот факт, что достаточно совсем ненамного переместиться в пространстве или во времени, как сталкиваешься с каким-нибудь неизвестным языком. Дело не только в том, что различным географическим точкам Земли принадлежат абсолютно разные языки, но и в том, что из любой точки можно воздвигнуть вертикаль Времени, которая тут же вводит дополнительное измерение разнообразия. Ощущение того, что стоит сделать малейшее движение, и ты оказываешься в сферах, относящихся к другим языкам, разумеется, более присуще носителям малых языков, таких, как, например, хорватский. Между тем носители как малых, так и больших языков с одинаковым основанием могут считать, что всем людям следовало бы говорить на одном языке и что факт имеющейся множественности языковой материи свидетельствует о каком-то беспорядке. И в самом деле, эта множественность языков внутренне чрезвычайно противоречива. В частности, считается, что каждый человек должен владеть по крайней мере двумя-тремя языками и что это совершенно нормально для более или менее серьезной культуры или чего-то в этом роде. На самом деле, нормально совсем другое *нормально*, во всяком случае в том смысле, в котором я употребляю это слово, нормально, когда каждый знает только один язык, иначе говоря, когда человек знает язык, потому что один язык совершенно достаточен для того, чтобы выразить на нем все что хочешь, а если это не удается на родном языке, то тем более не получится на чужом. Ведь разве нет в любом языке нужных слов для обозначения всех вещей, существующих в мире, и разве не достаточно и нормально, чтобы у каждой вещи было одно, а не бесчисленное множество имен? Мир один, так, значит, и язык тоже один. Множество языков бессмысленно и необъяснимо. Даже древние народы, для того чтобы как-то оправдать это, должны

были ссылаться на чудо, то самое чудо, которое нашло свое выражение в рассказе о Вавилонской башне. С помощью этой истории они попытались прикрыть некоторое несовершенство в устройстве мира. До Вавилонской башни мир был един и язык был един. Могу себе представить довавилонскую лингвистику, в которой, например, не могло возникнуть идеи *арбитрарности языкового знака.* В частности, как известно, главный аргумент в пользу *АЯЗ* – это то, что конь по-французски называется cheval, а по-английски – horse.

Реконструкция довавилонской лингвистики показала бы, что языковые знаки первоначально были не арбитрарными и условными, а именно октроированными и единственно возможными. И вся наука занималась связями, тонкими, запутанными, но полностью детерминированными, между вещами и означающими их словами.

Ликантропия

Явление, суть которого состоит в том, что одно и то же существо с равными временными интервалами пребывает то человеком, то волком. Паскаль говорил: "Я лишь тогда восхищаюсь высшими проявлениями таких добродетелей, как отвага, когда они сопряжены с высшими проявлениями того, что добродетели противоположно". И далее: "Истинное величие не в том, чтобы достичь одной крайности, а в том, чтобы, одновременно касаясь обеих, заполнить все пространство между ними". Это можно понять как признание величия шизофреника. Изнуренный чрезмерностью роли существа, живущего духом, шизофреник проникается навязчивой потребностью хотя бы на некоторое время, хотя бы в ночные часы, превращаться в существо, живущее инстинктами.

В исландском эпосе "Хеймскрингла", в шестом разделе "Сага об Инглингах" говорится, что некогда воины Одина бросались в бой без кольчуг, разъяренные как бешеные псы, они кусались, рвали врага зубами и были сильны как медведи; они убивали людей, а огонь и меч не могли принести им вреда. Нечто подобное сообщал о древних славянах в своих "Ответах на вопросы" неизвестный византийский автор, называемый обычно Псевдо-Кесарием. Так, в частности, он писал, что склавины с удовольствием поедают женские груди, когда они полны молока, при этом грудных младенцев разбивают о камни, подобно мышам. Они живут в строптивости, своенравии, безначалии, сплошь и рядом убивая за совместной трапезой или в совместном путешествии своего предводителя или начальника; питаются лисами, дикими кошками и кабанами, перекликаются же волчьим воем.

Эти тревожащие душу слова сразу же вызвали у меня какое-то смутное воспоминание, неопределенное и, видимо, очень старое; постепенно я догадался, что оно связано с дешевыми книжечками комиксов, которые я в годы своего полного приключений детства проглатывал в огромных количествах. В одной из таких книжечек я прочитал жуткую и мрачную историю о племени викингов, решивших порвать с остальным миром и поселившихся в дремучем лесу; отказавшись от каких бы то ни было связей с остальным человечеством, замкнувшись в себе самом, в рамках своей роковой эндогамии, это племя с течением времени оказалось во власти непредвиденных отклонений, страшной психофизической метаморфозы: постепенно приобретая все более и более выраженные анатомические и психические признаки волков, эти люди, в сущно-

сти, преобразились в племя двуногих зверей, в племя волкодлаков, человековолков в рогатых шлемах викингов.

Нетрудно представить себе, с какой читательской радостью я обнаружил уже в настоящее время, сидя над раскрытым томом "Саги об Инглингах", что та давняя история, неожиданно воплощенная в картинках еженедельного журнала комиксов, основывалась на неопровержимых и прочных исторических истинах, древнейших истинах Мира.

С тех пор как я себя помню, волки постоянно и по-особому интересовали меня. Эти животные полны достоинства. Не исключено, что все мои нынешние симпатии, смешанные с неопределенной, но сильной ностальгией, порождены как раз теми страхами, которые в свое время преследовали меня; ведь известно, что европейцы удивительно охотно пугают своих детей именно волками. И может быть, в мгновения самого пронзительного ужаса инстинктивно зарождается хитроумная мысль, что существует один-единственный путь к спасению: присоединиться к ним. Присоединиться к этим сыновьям Ночи, к этим страшным существам, которые, окружив тебя и сверкая во мраке горящими глазами, заставляют содрогаться от безумной мысли, что ты можешь уподобиться им. Разумеется, волки настолько недоверчивы, настолько проницательны, что нет даже надежды обмануть их: например, если бы ты, по сути своей оставаясь человеком, появился среди них с маской на лице и низким намерением затесаться в их сообщество, то для тебя это означало бы только одно — быть тут же растерзанным в клочья. Единственный способ завоевать их доверие — это полностью, без остатка, без малейшего сожаления, раз и навсегда отвергнуть то существо, каким ты был до сих пор. Тогда можно спокойно ожидать исхода: ты (как сам я об этом когда-то писал) становишься, в сущности, "тем испуганным диким зверем, которому его беззащитность дает право требовать для себя доброжелательности со стороны общества". И в то же время ты волк.

Кроме того, волки воплощают в себе ненависть к миру, ненависть преследуемого, что представляет собой низменное, но одновременно таящее в себе что-то привлекательное. К тому же они живут в лесах, им известно, что такое лунный свет и заснеженные поляны. Они дают тебе возможность сблизиться и сродниться с вонью и гнилью — их постоянными спутниками, с этими атрибутами смерти, которые ты, занимаясь своей литературой, можешь себе только вообразить.

Тем не менее ликантропия в истинном смысле этого слова никак тебе не дается, потому что в расколотом надвое сознании всегда так или иначе возникает и *третий*, как Дух Святой между Отцом и Сыном.

Октябрьская революция

Это важнейшее событие в истории XX века. Такое утверждение настолько очевидно, что здесь мы его приводим чисто догматически. Ни в чем другом наше столетие не проявило себя с такой полнотой, как в Октябрьской революции. Даже если бы она не имела столь большого значения, нас в нем так долго убеждали, пока мы сидели на школьной скамье, что в конечном счете она бы это значение приобрела. Слова, фильмы и пестрые плакаты заполонили реальность до такой степени, что просто отодвинули ее на второй план. Иллюзия победила материю. Нет смысла обвинять революцию в том, что ее значение преувеличено;

она сама по своей сути и есть преувеличение: в тысячи раз с помощью иллюзии перерасти себя самое — в этом и состоит ее суть.

Революция и миф о ней просуществовали семьдесят лет. Таким образом, по своим временным рамкам она почти полностью совпадает с границами нашего столетия. С тех пор как она умерла, почти никто в нее больше не верит, но только теперь выясняется, насколько она была громадна. Настоящее чудовище. Ни с чем не соразмерный, по-вавилонски амбициозный проект. Разумеется, осужденный на неудачу, надо ли говорить об этом? Семьдесят лет спустя нас вернули в пункт отправления: с тем, правда, что из этого пункта уже никто никуда не отправляется. Как описать ту огромную пустоту, которая возникает после краха столь грандиозной авантюры, после такого поражения? Революция напоминает длительное, изматывающее блуждание по лабиринту, которое в конечном счете после всех усилий и ухищрений привело нас к началу пути. Или же утомительную экспедицию по пустыне, экспедицию, которую мы начинали полные молодых сил, оснащенные всеми необходимыми приборами и из которой нам все же пришлось вернуться, так никогда и не добравшись до фантастических миров по ту сторону горизонта. Разве можем мы, такие вялые и разочарованные, даже просто подумать о новой попытке? Разве нам остается что-то другое, кроме безропотной покорности судьбе?

Октябрьская революция похожа на цирковое представление с фейерверком, прожекторами, криками зверей и жертв, и вот этот цирк однажды пакует реквизит, снимается с места и уезжает, оставив после себя пустырь, на котором валяются консервные банки из-под корма для львов и белый носовой платок, испачканный то ли кровью, то ли губной помадой. Не будь Октябрьской революции, не было бы (я перечислю здесь только то, что в этот момент пришло в голову): прекрасных рассказов Исаака Бабеля, "Броненосца "Потемкин", трагедии адмирала Колчака, величественного безумия барона Унгерна фон Штернберга, альбома рисунков Пратта "Corto Maltese в Сибири", столкновения черного и красного знамен в Кронштадте, "Доктора Живаго" Пастернака и одноименного фильма Дэвида Линна, сталинских лагерей, потрясающих разум и душу свидетельств выживших в них, квинтэссенции этих свидетельств в виде книги "Гробница Бориса Давидовича", жестокого убийства Льва Троцкого, воинственных и неуловимых троцкистских организаций по всему миру, бесчисленного множества собраний сочинений, которые представляют собой коммунистическую патрологию, марксистского молитвенника Мао, "Моей маленькой ленинианы" Венедикта Ерофеева, паломничеств европейских интеллектуалов в СССР, еврокоммунизма, хорватского легиона под Сталинградом, второй Югославии, хорватской политической эмиграции, которой мы обязаны несколькими прекрасными ностальгическими стихотворениями (возможно, одних только этих стихов достаточно, чтобы оправдать ее существование), Берлинской стены, холодной войны, "1984" Оруэлла, горящего факела по имени Ян Палах, фильма "Imagining October" Дерека Джармена, перестройки, публичной прачечной под названием "Перестройка" и этой статьи нашей энциклопедии.

Франклин Рив

Роберт Фрост в России

Фрагменты книги

Перевод с английского Людмилы Мотылевой

В 1999 году исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося американского поэта Роберта Фроста. В торжественном вечере, организованном посольством США в Москве и журналом "Иностранная литература", принимал участие американский писатель Франклин Рив — спутник Фроста во время его пребывания в России в 1962 году и автор книги об этой поездке.
В качестве предисловия с любезного позволения автора мы печатаем его речь, произнесенную на этом вечере.

Памяти поэта

26 марта — сорок лет назад — издатели Роберта Фроста устроили в честь его 85-летия торжественный ужин в нью-йоркском отеле "Уолдорф-Астория". Лайонел Триллинг[1] потряс литературный мир, назвав юбиляра "в его грандиозный, почти софокловский день рождения" "устрашающим поэтом", который, подобно другим писателям, принадлежащим американской классической традиции, полностью сбросил кожу старого европейского сознания, сформировав под ней новое сознание. "Художник обычно гнусный лжец, — сказал Фрост, — но его искусство скажет вам правду о его времени. Это все, что имеет значение... времена меняются, и правда меняется. Не верьте художнику. Верьте рассказу".

Разумеется, Фрост не был лжецом. Таков был ошеломляющий тезис Триллинга. Подлинный Фрост, значимый Фрост не был поэтом с демократичной, общедоступной стилистикой, утешителем тех, кого озлобила современная действительность, певцом старинных добродетелей, старинных сожалений, старинных чувствований — короче, не был тем Фростом, за которого позволял себя принимать. "Мои читатели делятся на четыре группы. Одна четверть любит меня по неверным мотивам, другая четверть любит меня по верным мотивам, еще одна четверть ненавидит меня по неверным мотивам и последняя четверть ненавидит меня по верным мотивам. Вот эта последняя четверть меня беспокоит". Своим выступлением Триллинг превратил эту четвертую часть читателей в сторонников Фроста, указав на преодоление пустоты и распада благодаря внутреннему самосознанию в таком замечательном стихотворении, как "Ни далеко, ни глубоко". Тогда все критики поняли, что Фрост был и остается абсолютно современным поэтом, чьи метафоры, персонажи и образы своей ироничностью, обособленностью и замкнутой на себя изо-

© Л. Мотылева. Перевод, 2000

1. Лайонел Триллинг (1905–1975) – американский литературный критик. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

лированностью, своей серьезностью, которая подчеркивает их сдержанный юмор и зачастую выраженную в них нежность, могут в определенном смысле умиротворять нас, но только после того, как вначале сразят наповал необычайной мощью. Его метафоры, как и метафоры поэтов XIX века, не нагружены символикой. "Я не могу согласиться с теми, кто считает меня символистом, особенно таким, который занимается символизмом предумышленно, — сказал Фрост. — Символизм вполне способен закупорить стих и уничтожить его. Символизм может быть так же опасен, как эмболия. Если нужно как-то окрестить мою поэзию, я предпочел бы называть ее эмблематизмом. Живая эмблема явлений — вот предмет моих поисков".

Фрост всегда острил по поводу своей политической позиции и очень хотел дожить до 1976 года, чтобы быть всего в два раза моложе своей страны. "В юности я никогда не позволял себе быть радикалом из-за боязни в старости стать консерватором", — афористично написал Фрост. Вскоре он объявил, что "красота социализма в том, что он покончит с индивидуализмом, который вечно кричит: не вмешивайся в чужие дела". Теренций ответил бы: "Все человеческие дела — мои дела"[1], и Фрост доказал это в 1962 году, когда приехал в Россию, чтобы лично поговорить с Хрущевым. Он намеревался призвать к гуманности упрямого русского бычка, которым так восхищался. Несмотря на подстрекательски-успокоительное содержание политической пасторали "Обустрой землю", в конце стихотворения Фрост в доверительной манере полушутя обращается к своему читателю: "Я предлагаю тебе совершить индивидуальную революцию". Поэзия — великий разрушитель обособленности. Подобно Йейтсу, Фрост начинает изображать пасторальный ландшафт, и образ Америки в его поэзии является пасторальным, но подлинная Америка, живущая в стихах Фроста, так же как и подлинная Ирландия Йейтса, трагична.

Теперь, по прошествии лет, мы можем проследить путь Фроста от ранних стихотворений, таких, как, например, "К себе" (впоследствии он включил его в свою первую книгу), к откровенным высказываниям о происхождении стихов, возросшему мастерству и изощренной разработке излюбленных тем. Если заглавие для его первой книги "Прощание с юностью" отсылает к стихотворению Лонгфелло "Моя утраченная юность" ("Юность промчится, как ветер, как птица, Но память о юности вечно жива..."[2]), а заглавия для более поздних сборников взяты им из жизни и создают привязку к конкретной местности: "Между горами", "Нью-Гэмпшир", "Западная река", — то стихотворные размеры, которыми написаны его лирика и драматические произведения, вполне традиционны и восходят к классическому ямбу и разговорному дольнику. "Поэт должен соображать на ходу, как тот, кто прыгает через скакалку... стихотворение утратит свежесть, если его сначала продумать, а потом зарифмовать... Стихотворение — это эмоция, возникающая одновременно с мыслью... Единственное, к чему надо прислушиваться, — это к своему внутреннему состоянию".

Оставив позади выползину старого европейского сознания и нарастив новое, американское, Фрост стал неотъемлемой частью американской и мировой классической традиции. Он не занимает столь почетного места, как Пушкин, и ему не 200, а только 125 лет, но он не в меньшей степени сознавал себя национальным поэтом. Он был поэтом сугубо американским, и его преподавательская деятельность имела такое же значение, как и предпринятое Пушкиным издание "Современника". В день фростовского юбилея было бы полезно и поучительно вспомнить, что самое популярное творение величайшего русского поэта, оказавшего определяющее влияние на современную литературу и культуру, — безыскусный и изящный

1. Перефразировка изречения Теренция "Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо".
2. Перевод Е. Эткинда.

стих о любви "Я помню чудное мгновенье...". Ту же безыскусность и изящество мы находим в утонченном любовном сонете Фроста:

Шелковый шатер

Она — как в поле шелковый шатер,
Под ярким летним солнцем поутру
Неудержимо рвущийся в простор
И вольно парусящий на ветру.
Но шест кедровый, острием своим
Сквозь купол устремленный к небесам,

Как ось души, стоит неколебим
Без помощи шнуров и кольев — сам.
Неощутимым напряженьем уз
Любви и долга к почве прикреплен,
Своей наилегчайшей из обуз

Почти совсем не замечает он;
И лишь, когда натянется струна,
Осознает, что эта связь прочна.[1]

В мелких частностях искусства скрыты великие тайны; разгадать их — нелегкая задача. Мы шлем горячие поздравления и выражаем глубокую признательность двум юбилярам, чьи напряженный труд и великая сила воображения обогатили наши жизни и обе наши культуры.

Роберт Фрост в России

Понедельник

ОДНАЖДЫ майским вечером 1962 года Роберт Фрост и советский посол в США Анатолий Добрынин ужинали в доме министра внутренних дел Стюарта Юдалла. Результатом совместного ужина стала идея культурного обмена между двумя странами: один американский поэт должен был поехать в Россию, а один русский — в Америку. В июле президент Джон Кеннеди предложил Фросту быть участником с американской стороны. Фрост согласился, и вскоре детали обмена были оговорены, поскольку в конце августа Юдалл сам собирался поехать в Россию во главе делегации, чтобы посетить гидроэлектростанции.

Фрост попросил Фредерика Адамса, своего старого друга, директора библиотеки Пирпонта Моргана в Нью-Йорке, сопровождать его в поездке. Мне предложили присоединиться к ним в качестве переводчика и помощника по организационной части. То, что нам предстояло, всем троим было в новинку. Фрост за последние годы посетил Англию и Израиль, но вообще за границей бывал нечасто и никогда не выполнял подобной миссии. Адамс как крупный специалист по библиотечному делу имел большой опыт общения с людьми разных убеждений, но никогда не общался с русскими на их родине. И я сам, хотя и бывал в

1. Перевод Г. Кружкова.

России, хотя и сохранил в памяти туманное отроческое воспоминание о Фросте — за двадцать лет до этого он как-то вел в нашем классе урок английского, — никогда не выступал в роли сопровождающего лица, а тем более помощника такого человека. <...>

Среда

<...> Мы приземлились в Москве в пять часов. Фроста встречала делегация советских писателей. Среди них был Александр Твардовский, поэт, главный редактор "Нового мира" и лауреат Ленинской премии, он должен был посетить Соединенные Штаты вскоре после возвращения Фроста, но его визит так и не состоялся. В числе встречавших были Алексей Сурков, поэт, секретарь Союза писателей, одна из ключевых административных фигур в советской интеллектуальной элите. Был также худощавый и самоуверенный Евгений Евтушенко, а еще поэт Михаил Зенкевич и профессор Иван Кашкин, опубликовавшие в 1939 году первые русские переводы Фроста в антологии "Поэты Америки. XX век". Хотя русские, очевидно, не были уверены в своем госте и не знали, что от него можно ждать, они демонстрировали подчеркнутую вежливость и предупредительность. Фрост был очень утомлен длительным перелетом. Организационной частью занимались две американистки из Иностранной комиссии Союза писателей.

В зале ожидания аэропорта состоялась пресс-конференция. Ни пасмурная погода, ни усталость Фроста не могли ослабить особой эмоциональной приподнятости русских. Они, как говорится, не жалели сил. Присутствовавшему здесь Твардовскому был, как никому другому, обязан своим успехом прогрессивный журнал "Новый мир", на страницах которого два месяца спустя появился "Один день Ивана Денисовича". Здесь присутствовал Сурков, который в 1960—1962 годах на время умерил свою враждебность по отношению к интеллигенции, выпустил томик стихов Пастернака и первый том новой "Краткой литературной

Встреча в аэропорту

энциклопедии". Здесь был Евтушенко, мировая знаменитость, чье стихотворение "Бабий Яр" за год до этого произвело фурор и чье политически зажигательное стихотворение "Наследники Сталина" будет опубликовано шесть недель спустя. Эти люди вместе с Зенкевичем и Кашкиным пришли не только для того, чтобы приветствовать Фроста, но и чтобы продемонстрировать верность ценностям свободы и гуманизма, к которым обращается поэзия Фроста и которые они старались сделать действующими принципами своей собственной новой литературы.

Приветствуя Фроста, они приветствовали дух свободы в своей собственной культуре. Фрост олицетворял для них свободолюбивую западную традицию. Важнейшим результатом поездки Фроста было не выполнение политической миссии, к чему он прежде всего стремился, а легализация в России свободного литературного творчества, к которому он побуждал русских публичным чтением своих стихов и своими высказываниями. Избавившийся при знакомстве с русскими от некоторых ошибочных представлений о них, Фрост, в свою очередь, был в их глазах не тенденциозным художником, а продолжателем живой литературной традиции. Например, Евтушенко, покинувший пресс-конференцию в аэропорту до ее завершения, потом пригласил Фроста на ужин и несколько раз непринужденно беседовал с ним в неофициальной обстановке. Подвергшийся в конце 1962 года резкой критике за самовосхваление и позерство, Евтушенко в январе 1963 года послал Фросту простую, искреннюю телеграмму: "СЕГОДНЯ СНОВА И СНОВА ЧИТАЛ ВАШИ СТИХИ Я СЧАСТЛИВ ЧТО ВЫ ЖИВЕТЕ НА ЗЕМЛЕ".

Общение Фроста с русскими на первой пресс-конференции в московском аэропорту скорее походило на монолог. Я чувствовал, что они с почтением относятся к преклонному возрасту Фроста (ему было восемьдесят восемь лет), но ждут от него выступлений в духе Карла Сэндберга, который побывал в России за год до этого и повсюду играл на своей гитаре.

"Я приехал, чтобы говорить с вами о науке, искусстве, спорте, великой музыке и, разумеется, поэзии, — сказал Фрост. — Мы восхищаемся друг другом, не правда ли? Великие нации восхищаются друг другом, им не доставляет удовольствия принижать друг друга. Выискивать друг у друга недостатки".

Русские безучастно улыбались, как равнодушно-безликая вереница встречающих на торжественном приеме. Казалось, они находятся здесь не по своей воле. Казалось, им скучно. Корреспонденты продолжали задавать Фросту вопросы, Фрост продолжал отвечать, две распорядительницы суетились, нервно следя за каждым движением присутствующих, как будто боялись, что какой-нибудь гость улизнет с их нудной вечеринки.

"Вы должны иметь силы, чтобы защитить язык, защитить в нем поэзию. Вы должны быть сильными, чтобы защитить поэзию. Из всех видов искусства поэзия — самый национальный, живопись или музыка национальны в меньшей степени. Великая нация создает великую поэзию, и великая поэзия создает великую нацию. Эти процессы взаимосвязаны", — говорил Фрост.

Русские не понимали его. Разумеется, они понимали слова, но выражения их лиц, нервозность дам и тот факт, что ни один из них, обращаясь к Фросту, не вышел за рамки банальных приветствий и пожеланий, свидетельствуют: они были не в состоянии понять, что Фрост имел

в виду, говоря о национальном характере поэзии или об использовании силы для защиты поэзии. Как бы они ни старались интерпретировать его слова, в контексте их опыта национальное самосознание и политическая сила в приложении к поэзии значили совсем не то, что они значили для Фроста, и его мысль была им недоступна. Кроме того, лучше было не торопиться с выводами и подождать, как будут развиваться события. Складывалось впечатление, что для этих людей Фрост был не более чем громким именем, что даже те, кто читал его стихи, воспринимали их с поправкой на тот образ поэта, который создала его давняя слава.

"Вчера знаменитый поэт Роберт Фрост прибыл в Москву из Соединенных Штатов", — писала московская газета. Заметка обходила молчанием суждения Фроста о соперничестве наций, высказанные им на пресс-конференции в аэропорту, его саркастическое замечание о стремлении русских перегнать Америку: "Если русские во всем превзойдут Америку, я стану русским", — его представление публике своих верительных грамот: "Россия когда-то владела западным побережьем Соединенных Штатов, Калифорнией. Как раз там я родился. Я родился на территории России. В Сан-Франциско есть холм, который так и называется — Русский холм. Неподалеку от него я родился". Никто из русских не отреагировал, когда Фрост сказал, что если поэт получает за свои стихи слишком мало денег, он подрабатывает, как любой другой человек. "У вас то же самое?" — спросил Фрост, но его вопрос остался без ответа. Распорядительницы заверили его, что русские поэты полностью загружены работой и широко публикуются. Фрост рассказывал о своем жизненном пути, о том, сколько занятий он сменил в молодости, "только чтобы заработать на хлеб".

Он предельно устал, и казалось, его еще больше утомляло отсутствие отклика у аудитории. "Погодите, это еще не предел нашего сближения, — сказал он. — Мне есть что сказать вам начистоту".

Кто-то спросил его, не помешает ли ему общаться языковой барьер. Фрост ответил с улыбкой: "Мы все смеемся на одном и том же языке".

Наши чемоданы были сложены в багажники черных, похожих на "бьюики" "ЗИМов", и мы поехали в гостиницу "Советская" — элитный отель для важных иностранных гостей (в прошлом в том здании располагался знаменитый ресторан "Яр" с цыганским хором). Терри Кадерман и Джек Мэтлок из культурного отдела американского посольства встречали Фроста в аэропорту. Теперь Мэтлок остался поужинать в гостинице. Фросту было приятно его присутствие и то, что он был с ним бóльшую часть поездки. Ему импонировала его откровенность, и он восхищался его одаренностью. Сурков и Твардовский тоже поехали с Фростом в гостиницу, чтобы убедиться, что он благополучно устроился. Разговор в машине пока не был доверительным, но вдруг Твардовский ввернул язвительную шутку. Фрост еще не понял, кто такой Твардовский и чем он занимается, он знал только, что Твардовский был вторым участником культурного обмена. Кто-то объяснил, что Твардовский — главный редактор "Нового мира". Твардовский саркастически заметил: "Я не только сам поэт, но и душитель молодых поэтов". Фроста очень позабавила редакторская самоирония, и спустя мгновение все решили, что это безобидная шутка. Некоторым из нас замечание показалось острым, потому что мы не могли не помнить, какую важную роль сыграл возглавляемый Твардовским "Новый мир" в раскрепощении литературного

процесса в России. Когда вспоминаешь о том, что случилось с художниками и писателями в первую зиму после приезда Фроста, насмешливость Твардовского язвит еще сильней.

Распорядительницы хотели обсудить перечень предполагаемых мероприятий, экскурсий, поездок и осмотров достопримечательностей. Перед отъездом из Вашингтона Фрост изъявил желание посетить родину Хрущева (село Калиновка Курской области) и имение Толстого Ясная Поляна. Когда мы разговаривали в самолете, выяснилось, что в действительности ему гораздо больше хочется видеть самого Хрущева, чем его родину, и что он предпочел бы читать стихи и разговаривать с живыми ведущими писателями, чем провести целый день в дороге и увидеть могилу Толстого. Мы все согласились, что Фрост слишком устал, чтобы сейчас куда-либо ехать или принимать какие-либо решения. "Утро вечера мудренее", — сказали мы. "Желательно, если это возможно и удобно, — предложил я, — устроить завтра ужин у Чуковского или Паустовского, которых он очень хотел бы видеть". Оба были пожилыми литераторами (один примерно на восемь, другой на пятнадцать лет младше Фроста) и пользовались большой славой — Чуковский как критик и детский писатель, Паустовский как крупнейший прозаик. Распорядительницы сказали, что сейчас они не готовы дать какой-либо ответ, что им надо подумать и мы могли бы обсудить это завтра, как и всю программу в целом. "У нас мало времени, — сказал я, — и мы должны организовать визит так, чтобы Фрост общался с людьми и читал свои стихи. Он не хочет просто посещать достопримечательности и глазеть на памятники". Завтра, согласились все, мы обсудим это завтра. Да. Хорошо. Завтра.

Министр Юдалл прямо из аэропорта отправился вместе с делегацией в гостиницу "Националь". Распорядительницы быстро ушли. Фрост немного отдохнул. Адамс распаковал вещи. Я сделал несколько телефонных звонков. Мэтлок вернулся, и мы поужинали вчетвером. Мэтлок рассказал о планах нашего пребывания в России, о том, как обстоят дела и что нас ждет впереди. Мы внимательно просмотрели августовский номер "Нового мира", в котором в честь приезда Фроста было опубликовано несколько новых переводов его стихов. Мы вновь и вновь повторяли, что русские восхищены творчеством Фроста и всем, что он по праву представляет, и что поездка будет успешной и насыщенной.

Мы были в приподнятом настроении, нас возбуждали новизна и неизведанность. Поужинав в гостинице, мы почувствовали, что наше приключение по-настоящему началось. В эту ночь Фрост лег спать предельно усталый, но полный предвкушений и шутливого воодушевления.

Четверг

<...> Паустовский, пригласивший нас в тот вечер на ужин, жил в большом многоквартирном доме, в каждом крыле которого было по нескольку подъездов. Дом находился на набережной Москвы-реки. Твардовский жил в другом крыле этого же дома. Впоследствии мы провели здесь наш последний вечер в России.

Когда мы вошли из прихожей в гостиную Паустовского, мое внимание прежде всего привлекли книги и стол. Сразу повеяло спокойствием и интеллектуальной изысканностью. Как в большинстве русских го-

родских квартир, гостиная была и столовой, и библиотекой одновременно. Все стены от пола до потолка были заняты книгами. В комнате стояли диван, пара мягких кресел, радиола, два-три столика с лампами, скамеечка для ног и овальный обеденный стол, окруженный пятью-шестью тяжелыми стульями красного дерева, еще четыре или пять стульев были принесены из других комнат по случаю сегодняшнего ужина.

У Юдаллов мы ужинали по-американски в непринужденной обстановке. У Добрыниных мы обедали в официальной обстановке, соблюдая условности дипломатического этикета. В самолетах мы ели с подносов, как едят авиапассажиры. В гостинице мы столкнулись с гостиничным сервисом — медлительным и безликим, хотя директор в начале и в конце нашего пребывания уделил группе Фроста особое внимание (после газетных публикаций о встрече Фроста с Хрущевым в Гагре обслуживание заметно улучшилось). Сейчас мы впервые находились в прекрасном русском доме и вскоре должны были сесть за обильный русский ужин. Льняные салфетки, вышитая скатерть, на столе шпроты, маринованные грибы, черный хлеб, черная икра, селедка, лососина и осетрина, редиска, помидоры, винегрет, маринованные огурчики, грузинское вино, маленькие рюмочки под водку. Богато накрытый стол и радушие хозяев вселяли уверенность, что впереди вкусный ужин и теплая искренняя беседа. Фроста несколько раз приглашали в русские дома, и всякий раз гостеприимство хозяев было ему очень приятно. К концу поездки он сильно устал от всего, что успел сделать, и последний ужин был, можно сказать, ему уже не в радость. Но в начале он был полон энергии и энтузиазма. Вечера были интересными.

Если подумать, кто и с кем встречался, преодолевая географические и политические расстояния, придется признать: эти вечера были большим достижением. Можно было лишь надеяться, но нельзя было рассчитывать на столь непринужденную, дружелюбную беседу, столь очевидное взаимное восхищение. Фрост выступил по телевидению со словами благодарности: “Перед тем как что-то сказать о поэзии, я хочу поблагодарить моих гостеприимных хозяев за дружбу и за то время, что мы с ними так хорошо провели”. “Обмен поэтами полезней, чем разговор дипломатов, — добавил он однажды утром, перед тем как получил приглашение встретиться с Хрущевым, — он сближает родственные души”.

Фрост встречался с людьми своего поколения и своего склада. Семидесятилетний Константин Паустовский был видным русским писателем, крупнейшим, как многие считали, независимо мыслящим современным прозаиком. За год до этого он побывал в Италии. Трудной зимой 1962/63 годов он смело выступит в защиту современной русской литературы против ее хулителей, поборников жесткой цензуры. Фрост и Паустовский дружелюбно беседовали через переводчиц. Когда дамы начинали тараторить особенно громко, Фрост, пожав плечами, отстранялся с кислой миной, просил коротко изложить суть сказанного, ел что-нибудь, затем беседа снова увлекала его. Они с Паустовским говорили о своих писательских привычках, о ценностях, которые они отстаивали в своем творчестве. Фрост упомянул о необходимости уединения и независимости. Паустовский сказал, что у него есть домик в лесу, где он, как Торо у озера Уолден, остается наедине с природой.

Его домашние внимательно слушали. Жена и дочь разносили еду. В разговоре участвовал старый друг Паустовского. Это был С. М. Алян-

ский, специалист по истории искусства, основавший сразу после революции 1917 года издательство "Алконост" — один из самых знаменитых издательских домов тогдашней России. Издательство специализировалось на поэзии, помогая некоторым значительным поэтам примерно в то время, когда сам Фрост начинал завоевывать признание. Род занятий, эрудиция, старомодное обаяние Алянского делали его присутствие на этом вечере не только уместным, но и важным. Фрост, я уверен, не имел представления о заслугах Алянского. Распорядительницы вились вокруг Фроста, как будто стремились оградить его от воображаемых собирателей автографов; сами они никогда не выступали инициаторами того, что чиновники называют "обменом мнениями". Присутствие Алянского было для меня полной неожиданностью, и я не мог подготовить Фроста. Впоследствии, когда я рассказал ему об Алянском, он очень сожалел, что не поговорил с ним подробно, хотя они обменялись за столом несколькими безобидными шутками.

Этот вечер, так же как и некоторые другие вечера, запомнился прежде всего своей атмосферой. Разумеется, дружеский ужин — событие не для передовицы, но яркой отличительной чертой поездки Фроста явилось то, что все увиденное им в России было увидено отчасти под политическим углом зрения, а все сказанное имело политическое значение. Его поэтические чтения и ответы журналистам нередко воспринимались именно так. Однако домашние вечера удавались и были очаровательны как раз из-за того, что не имели общественной значимости. Фрост и Паустовский проговорили почти весь вечер.

Они одинаково высоко ценили энергию и целеустремленность как в жизни, так и в литературе. Они говорили о том далеком времени, когда, еще не будучи писателями, перебивались случайными заработками и бродяжничали каждый по своей стране. Фрост сказал, что часто запрыгивал на ходу в поезда и ездил в открытых товарных вагонах. Паустовский улыбнулся и сказал: да, он тоже часто так делал, только он переплюнул Фроста, потому что ездил на крышах товарных вагонов. Они засмеялись. Оба они не раз повторили с теплотой в голосе, что то время всегда много значило в их жизни, что оно сформировало если не сами их произведения, то, по крайней мере, мировосприятие, которым они были проникнуты.

После ужина дочь Паустовского поставила пластинку Баха. Алянский беседовал с Адамсом о книгах по искусству и книгоиздательстве. Несмотря на трудности общения через переводчиков и различие точек зрения, объясняющееся различием национальных культур, мы ушли с чувством, что русская литературная среда в лице ее лучших представителей столь же ярка, дружелюбна, горяча и энергична, как наша собственная. Фрост сказал, что он очень признателен за этот вечер (он явно был доволен визитом и произвел на всех неизгладимое впечатление), а Паустовский в ответ выразил восхищение "лирической энергией" Фроста. <...>

Пятница

<...> Популярностью, которую Фрост снискал, несмотря на слащавость и неточность переводов его стихов, публиковавшихся в СССР, он воспользовался, чтобы донести до аудитории остроту своей мысли и

любовь к независимости. И то, и другое пришлось публике по душе и создало у многих русских новое, верное представление о нем. Фрост сразу нашел отклик у тех, кто хоть немного владел английским. Такие талантливые литераторы, как Зенкевич, переводившие поэзию Фроста и готовившие к печати его антологию, способствовали более глубокому пониманию его произведений. Но главная заслуга принадлежала самому Фросту: именно он своей находчивостью и дерзостью завоевал симпатию публики.

Фрост чувствовал, что в России есть своя, особая демократическая жизнь, но из-за языкового барьера он редко мог в ней участвовать. Если отбросить коммунистическую демагогию, взаимоотношениям людей в России свойственны равноправие, легкость и открытость, поэтому каждый день их жизни богат событиями, и он приносит им ощущение, что прожит не зря. Несмотря на все разглагольствования и запрограммированность социализма, русские люди чувствуют себя очень даже личностями. Им свойственны гордость и энергия, патриотизм и идеализм. Они горячо спорят и страстно любят. Они знают: жизнь очень запутанна; азартно распутывая ее хитросплетения, они ощущают полноту бытия. Так много еще предстоит сделать, что каждый может верить в важность своего личного вклада в будущее. Споры о смысле жизни ведутся всерьез, и искусство ныне имеет такой же мощный социальный заряд, как и сто лет назад. Интерес, проявляемый в нашей стране к современным русским писателям, зачастую находится в прямой зависимости от шума из-за обрушивающихся на них нападок. Мы неплохо знаем русскую классику. Русские, знающие американскую классику не так хорошо, интересуются нашими современными авторами в той степени, в какой они умеют ярко отобразить то, что русские считают основными жизненными ценностями. Из американских прозаиков они безумно любят Хемингуэя; из ныне здравствующих писателей предпочитают Дж. Д. Сэлинджера и Джона Апдайка. Ибо, настаивают они, в жизни все финалы счастливые. Они начали восторгаться Фростом, когда усвоили то, что "усвоил" он: из одинокого вопрошания вырастают утверждение доброты и мысль о конечном торжестве человека.

Фрост не решался безоговорочно принять восхищение русских и признать высокое достоинство и энергию русской интеллигенции. Он отказывался рассматривать интеллектуальную деятельность в отрыве от политических взглядов. За завтраком в пятницу мы разговаривали о предыдущем вечере и перешли на обсуждение социальной роли писателя и интеллектуала в России. Фрост не видел принципиальных различий между русскими интеллектуалами и американскими, последних он в большинстве своем считал либеральными тупицами, казуистами, плагиаторами и малодушными маловерами. Однако за считанные дни он несколько изменил свою точку зрения. Не разделяя многих убеждений и взглядов русских интеллектуалов, он признал их нравственную цельность и энергию. Он осознал тот факт, что быть интеллектуалом в России — значит не сидеть сложа руки.

В пятницу ближе к вечеру мы поехали в Переделкино — поселок примерно в двадцати пяти километрах от Москвы по киевскому направлению. Перед войной здесь построили писательские дачи и дом творчества — пансионат, в котором многие московские писатели живут по трех-четырехнедельным путевкам вместе со своими коллегами. Утром они работают, днем гуляют, вечером посещают литературные чтения,

концерты и ужины. В Переделкине жили несколько знаменитых русских литераторов. Дом Пастернака, стоящий на краю поля перед пионерским лагерем, смотрит в сторону кладбища на пригорке, где похоронен писатель, и железнодорожной станции, виднеющейся за ним. Мы ехали на ужин к Корнею Чуковскому.

Многоэтажные дома-коробки, мешковатая одежда, незнакомый язык, непривычная еда, чужие нравы — многое в России было Фросту в диковинку. Он и представить себе не мог, насколько Россия окажется не похожей на его страну. Но дорога до Переделкина, как и березовая роща по пути из аэропорта, напомнили ему родные места и дали ощутить сходство здешнего с тем, что окружало его многие годы.

Двухэтажный дом Чуковского со множеством окон, застекленной верандой внизу и большим балконом наверху стоял среди высоких темных сосен позади фруктовых деревьев и огорода. Зеленые деревянные ворота были открыты. Наш "ЗИМ" свернул на подъездную аллею, и Чуковский сразу же вышел встречать нас. Он радушно поздоровался с Фростом на беглом английском, произведя на нас впечатление своим импозантным видом.

Ясноглазый худощавый человек с прямыми седыми волосами и озорным юмором, он в том году провел три майские недели в Англии. Он был лауреатом Ленинской премии, и Оксфордский университет присудил ему почетную докторскую степень. Кто-то добродушно сострил, что, хотя Фросту Оксфордский университет присудил докторскую степень в 1958 году, на четыре года раньше, чем Чуковскому, зато Чуковский стал доктором в восемьдесят лет, а Фрост — в восемьдесят четыре. После того как мы ненадолго заглянули в детскую публичную библиотеку рядом с его домом, Чуковский, этот знаменитый литературовед и детский поэт, облачился в красно-серую оксфордскую мантию и, по его собственному выражению, пустился в пляс, как скоморох. Они с Фростом предались воспоминаниям об Англии, и Фрост, шутливо выставляя напоказ фирменное вермонтское скупердяйство, заметил, что присуждение степени ему было, конечно, приятно, но вот на балахон он денег пожалел.

Прогулявшись по саду, мы удалились в кабинет Чуковского на втором этаже, а его невестка тем временем занималась ужином. Распорядительницы, разумеется, приехали с нами. Чуковский пригласил писателя Макса Поляновского, поэта Степана Щипачева, критика и ученого Юлиана Оксмана. Щипачев, седой лирический поэт с тихими манерами и природным обаянием, побуждавший своих более молодых коллег к экспериментаторству, в то время возглавлял московское отделение Союза писателей. Оксману, одному из самых блестящих литературоведов, было за шестьдесят, но он двигался и говорил с неуемной энергией. Проницательность Чуковского, его яркий стиль поведения, эрудиция и дар выразительного слова и жеста задали тон вечеру. Мне было очень хорошо с этими людьми, чья широкая образованность и гражданское неравнодушие позволяли мне на подмосковной даче в лесу чувствовать себя оказавшимся в средоточии мировых жизненных сил.

За ужином Чуковский был и радушным хозяином, и переводчиком, и высокообразованным собеседником. Он посадил Фроста во главе стола, Щипачева по левую руку от него, а сам сел по правую. Они стали разговаривать втроем о русской кухне и лирической поэзии; Чуковский переводил и комментировал. Все остальные слушали.

Одна из распорядительниц спокойно взирала на происходящее, а

другая, с излишним рвением относившаяся к своим обязанностям и, как нам казалось, специально приставленная к Фросту, начала, к общему смущению, повторять то, что говорил Чуковский. Ее голос звучал громче и громче; Фрост, который был туговат на ухо, слышал все меньше и меньше. Вдруг она вскочила, желая подбежать к нему и прокричать прямо в ухо. Фрост отпрянул и загородился ладонью. "Уйдите, сядьте, — сказал он, замахав рукой, — нет, нет, нет, нет, нет, нет". Он понятия не имел, зачем она вскочила, и решил, что ей вздумалось его поцеловать. Она села, несколько поостыв, и Чуковский снова взял управление застольем в свои руки. Позже в гостинице Фрост посмеялся над этим недоразумением, но нельзя сказать, что он не рассердился. Он начинал чувствовать, что от распорядительниц больше вреда, чем пользы, и вспомнил, как перед поездкой решительно отказался взять с собой переводчицу. Он начал уставать от непонятной для него русской речи. А вот с Чуковским он общался на сложном и богатом английском, получая от этого удовольствие. Фрост и Чуковский попеременно обменивались то серьезными высказываниями, то шутками; они очень подружились. Полученное Фростом резкое напоминание о том, что он, как бы ни был любезен хозяин и богато угощение, находится на чужбине, — напоминание, подтвержденное событиями следующего дня, — застало его врасплох.

Стол ломился от яств, и гости были в приподнятом настроении. Мы произносили тосты, пили водку и вино, прихлебывали чай, ели пирог и чувствовали себя почти как дома. Впоследствии Фрост неоднократно с восторгом говорил об этом вечере, вспоминал, как Чуковский танцевал в оксфордской мантии и как они вместе осматривали его библиотеку. Перед ужином появился, подобно некоему злому духу, корреспондент ТАСС и договорился еще об одном в бесконечной череде интервью. Но даже появление этого призрака средств массовой информации не омрачило праздничной атмосферы вечера. Корреспонденты, распорядительницы, доброхоты, патриоты — все они мешали Фросту знакомиться с Россией, и тем не менее много раз он чувствовал, что дотрагивается до России как она есть, — особенно в этот вечер, а также во время публичных чтений и встречи в Гагре, которую он хранил в памяти как кульминацию своей поездки в Россию.

Суббота

Дети и все, кто серьезно относится к суевериям, говорят: когда проходишь мимо кладбища, нужно чертыхнуться. Это первое, что следует делать первого числа каждого месяца. Мы почему-то забыли об этом и все утро жалели, что навлекли на себя неприятности. Русские тоже хотели бы без них обойтись. Потом они принесли нам извинения. Так или иначе, субботний день первого сентября наступил и обернулся для нас одним из тех мероприятий, которые были организованы распорядительницами с согласия Фроста.

День выдался серый, пасмурный и дождливый. Все жаловались на плохую погоду, на холодное и сырое лето. Несколько американских корреспондентов встретили нас в вестибюле гостиницы после завтрака. Дождь шел всю ночь и еще продолжал моросить. Небо хмурилось. Из-за мокрого асфальта и бетона город казался мрачным. Улицы были безлюдными.

После почти безнадежного плутания среди грязных пустырей в районе, незнакомом нашему водителю, где одни дома были снесены, другие строились, мы отыскали среднюю школу № 7 "с английским уклоном". Мы вошли неуверенно, и начавшаяся вокруг суматоха еще больше убедила нас в том, что мы явились некстати. Очевидно, нас, как гоголевского ревизора, и ждали и не ждали одновременно.

Фрост сперва вообще не хотел ехать, но потом все-таки согласился. Дело в том, что несколько его стихотворений были отобраны и переложены для детей; он любил своих внуков и детскую непосредственность, и к тому же, побывав накануне в гостях у Чуковского, поэта номер один для русской детворы, он сознавал общественную значимость этого визита. Однако он с самого начала боялся, что его не поймут.

Директриса представляла собой в некотором роде законченный экземпляр. Фрост сразу инстинктивно от нее отшатнулся. Все стены в коридорах были увешаны призывами, девизами и английскими поговорками о правилах хорошего тона. Младшеклассники, к которым мы зашли в первую очередь, были огорошены появлением седого иностранца. Через несколько секунд мы ретировались и, предварительно заглянув в класс постарше, наконец добрались до семиклассников.

Когда мы вошли, дети встали по стойке "смирно" у своих парт. Девочки были в коричневых платьях и черных, непарадных фартуках — форме, которую издавна носят русские школьницы. Мальчики были одеты в сизую форму с фальшивыми медными пуговицами, по которой сразу можно узнать школьника. На всех были алые пионерские галстуки. Учительница была в вязаном костюме, затянутом в талии, ее черные волосы были заплетены в косу и собраны на затылке в пучок. Она обратилась ко всему классу, но прежде всего к рыжеволосому мальчику на передней парте, требуя, чтобы ученики задали Фросту вопрос. Дрожащим голосом мальчик спросил: "Что вы думаете о полете наших космонавтов?" — "Думаю, что это замечательно, — сказал Фрост, — а тебе так не кажется?" "Разумеется", — сказал мальчик, уверенный в том, что выполнил свой долг, но растерявшийся от незнания, что говорить дальше.

Фрост спросил у класса, кто хотел бы полететь на Луну. Пока журналисты делали свои записи, а фотографы фотографировали, дети медленно, боязливо подняли руки. "Вы хотите вырваться отсюда любым способом", — съязвил Фрост. Никто ничего не ответил. "Это я так над вами подшучиваю", — добавил он и постарался объяснить, что значит "подшучивать".

Учительница проверяла рыжего мальчугана на знание английского.

— Как будет по-английски "плавать", Николай?

Мальчик помедлил, потом начал неуверенно: "Th-th-th..."

— Нет, нет, — сказала учительница. — Попробуй еще раз.

— Thwim.

— Нет, нет, — закричала она. — Не "thwim", — и она сделала паузу для большего эффекта, — а "sweem"!

Нас всех слегка передернуло: было жалко мальчика и стыдно за учительницу.

Учительница попросила Фроста прочитать стихотворение. Он прочел несколько строк из "Пастбища". Ребята, по-видимому, ничего не поняли, и настойчивые попытки учительницы объяснить, что говорится в этих строках, — попытки, которые Фрост разгадал без перевода, только ухудшили дело. Фрост вдруг почувствовал сильную усталость от

бесплодных усилий и предложил уйти. Он вежливо простился с классом и учительницей, надел шляпу и, закутавшись в плащ, вышел к машине.

"По-моему, это была бессмысленная затея", – сказал Фрост. Нам оставалось только согласиться. Русские потом сказали, что была допущена ошибка при выборе школы, но поездка все равно оставила гнетущее впечатление. Из-за нее Фрост почувствовал себя в еще большей изоляции, почувствовал себя находящимся еще дальше от главной цели – встречи с Хрущевым. Ведь если, думал Фрост, ему придется тратить все время на болтовню со школьниками, которые почти не знают английского, он никогда не попадет на юг, где находится сейчас Хрущев. А сам юг пока хранил молчание.

<...> После обеда Фрост отдыхал; Адамс вместе с Сергеевым, одним из переводчиков Фроста, отправился в Кремль. В тот вечер мы посетили кафе по приглашению Евтушенко.

Это было кафе "Аэлита". Оно находилось в Оружейном переулке рядом с площадью Маяковского, примыкающей к улице Горького. Кафе славилось импровизированными поэтическими вечерами, здесь Евтушенко читал полный текст "Бабьего Яра". Когда кафе только открылось, в него, как я понял, пускали всех желающих, но времена изменились, и, вопреки рекламным обещаниям наших распорядительниц, это сказалось на публике. Теперь сюда можно было попасть только по комсомольской линии. Обстановка в кафе была чинной, и на улице никто в очереди не стоял.

Жизнь внутри самого кафе, так же как и жизнь внутри любой кофейни на Макдугал-стрит, разительно отличалась от обыденной действительности. Интерьер и атмосфера были современными и изысканно-скромными. В зале, разгороженном посередине, молодые пары сидели за столами группами от четырех до десяти человек; посетители потягивали вино и пили кофе. Коньяка в русских кафе не подают. В конце зала оркестр играл джаз. Наше присутствие казалось здесь совершенно неуместным, хотя в действительности вечер был тщательно продуман. Мы сидели за длинным столом и пили белое грузинское вино. Евтушенко был восторженным и радушным хозяином. Он заряжал всех своей энергией, и благодаря ей вечер набрал обороты.

В кафе сидело несколько корреспондентов. Пришли две наши распорядительницы. Был также Мэтлок. Кроме Евтушенко, пришел Эдуардас Межелайтис – литовский поэт, живущий в Москве, который, будучи человеком умеренных взглядов, казался политическим наставником и духовным вожатым более молодых художников. Через день-два после нашего приезда "Правда" опубликовала его стихотворение в прозе о Фросте "Голубоглазая скала" – так автор любовно именовал почтенного старца. Эта публикация отражала понимание в обществе важности визита Фроста. Был также Евгений Винокуров – грузный, молчаливый, талантливый молодой поэт. Андрей Вознесенский, круглолицый, большеротый и ясноглазый, возможно самый даровитый представитель поэтической молодежи, иногда садился напротив Фроста, иногда вставал у него за спиной, иногда стоял, прислонившись к стене. Мы образовали шумную группу вокруг нескольких сдвинутых вместе столов.

Евтушенко постоянно обращался к Фросту. Они с Фростом разительно отличались друг от друга. Фрост, сутулый старик с погрузневшим телом и дряблой кожей на шее и под подбородком, был медлителен и скован в движениях. Его чуткость и живость были при нем, но сил на-

долго не хватало. А вот Евтушенко казался неистощимым. Высокий и угловатый, он двигался импульсивно, разговаривал напористо. Он был подвижен и энергичен, он сознавал свою популярность и значимость. Он предлагал тост, тут же осушал бокал и протягивал длинную руку с бутылкой, чтобы снова наполнить бокалы. Трудно было сказать, кто он в большей степени – поэт или политик. Фрост отказывался разделять в Евтушенко одного и другого. Когда разговор коснулся хороших и плохих людей, Евтушенко заявил, что плохих людей меньше, но они лучше организованы и что нередко своими наглыми действиями "они провоцируют нас на хорошие поступки". "На то, чтобы их убить, например?" – пошутил Фрост. Евтушенко, безусловно, имел в виду избавление от сталинского прошлого, но Фрост был не готов проводить такую четкую грань между добром и злом. Он неожиданно обратился к Евтушенко: "А убийство плохого человека – это хороший поступок?" Евтушенко не ответил.

Посреди разговора и тостов вдруг объявили в микрофон о нашем присутствии и Фроста попросили прочесть стихотворение. Никто не собирался ничего разъяснять. Никто не собирался переводить. Фрост находился среди поэтов и посетителей кафе, часть из которых знала английский. Слушатели должны были воспринять стихотворение через музыку слов. Выразив в нескольких фразах благодарность, Фрост объявил название: "Остановка у леса снежным вечером". Ему аплодировали громко и долго, но, думаю, скорее за то, что он находился здесь в компании Евтушенко, чем за само стихотворение. Но разве не этого в конечном счете хотел Фрост? Он был олицетворением традиции и в то же время воплощал в себе мечты русской молодежи о будущем. Он был американцем, он был знаменит, и он был великим поэтом.

<...> В действительности Фрост был настолько далек от этой группы молодых людей как в возрастном, так и в культурном отношении, что их совместный вечер держался исключительно на общем понимании

В кафе "Аэлита"

Франклин Рив. Роберт Фрост в России

общественного и политического значения происходящего. Фросту хотелось все увидеть, Евтушенко оказал нам более чем радушный прием. Он находился в прекрасном расположении духа. В конце лета 1962 года молодые художники все еще были полны энтузиазма, они продолжали верить не только в правоту своего дела, но и в его конечное торжество. Союз с Фростом на основе общности взглядов мог придать им респектабельности, которая пригодилась бы в ближайшем будущем, как и молодым американцам. Но Фрост и большинство молодых поэтов смотрели на вещи совершенно по-разному. Политические взгляды Фроста не были растяжимы. Впоследствии в неоконченном письме он заметил, что во время поездки "если и было что-то неприятное, то это было связано с их самым знаменитым поэтом Евтушенко, который, побывав на Кубе, взбодрил свой революционный дух дружбой с Кастро и, возможно, приедет сюда". Евтушенко был неугомонен, очарователен, порой вдруг отрешен — почти замкнут в себе, — и двигался он с такой быстротой, что закрадывались сомнения в его реальности. Он рассуждал и о славе Кастро, и о тоске одиночества, чем смутил Фроста, который любил повторять, что поэзия имеет дело с высокими горестями, а политика — с низкими претензиями. У него вызывало недоверие то, как Евтушенко смешивал эти вещи.

Евтушенко пригласил Фроста поужинать у него дома после посещения кафе. Мы отправились по Ленинградскому шоссе мимо нашей гостиницы с ресторанным прошлым на маленькую улочку в районе станции метро "Аэропорт", где вместе с другими писателями и художниками в новом доме жил со своей темноволосой женой в маленькой трехкомнатной квартире Евтушенко. Гостиная была просторной. На стенах висели картины кубинских абстракционистов и огромный белый нагрудный значок с надписью черными печатными буквами: "Я БИТНИК". Квартира выглядела привлекательно, мебель в ней была современной. Все как один называли Евтушенко Женей — жена, две наши распорядительницы и кто-то, кто ошибся квартирой.

Сначала мы стоя курили и разглядывали картины, вели светский разговор. Жена Евтушенко накрывала на стол, некоторые гости приносили из кухни тарелки и блюда. Фроста посадили в дальний конец стола; рядом с ним, по соседству с Евтушенко, сел Мэтлок. Комната была наполнена движением, разговорами, легким смехом. Большинство присутствовавших были молоды. Словом, самая настоящая вечеринка.

Среди гостей были Межелайтис и Винокуров. Вознесенский к нам не присоединился: у него была запись на радио. После ужина приехали Рождественский с женой, оба в темных очках. Рождественский так и остался в очках и почти не разговаривал с Фростом. Фросту было приятно находиться среди этих пышущих энергией, самоуверенных поэтов, но, думаю, он все сильней ощущал свою чуждость их среде. Во всяком случае, когда его попросили прочесть стихотворение, он наотрез отказался. Он восхищался боевитостью молодых поэтов, но не одобрял их бравады и тяги к внешним эффектам. В Евтушенко рисовка сочеталась с сильными прокубинскими настроениями, о которых потом вспоминал Фрост, и само это сочетание вдруг показалось Фросту фальшивым.

<...> Мы вернулись в гостиницу около полуночи. Мы начали этот субботний день с незадавшегося по нашей вине утра и кончили его торжественной встречей в кафе и поэтической вечеринкой у самого популярного поэта России. "Да, кутили мы до посинения или нет — до по-

краснения", — пошутил Фрост, кинув шляпу на стул в прихожей своего номера-люкс, бледный и очень уставший. Он не мог выбросить из головы Евтушенко с его политическими воззрениями, и мы говорили еще примерно час о "поэте" и "толпе", о связи поэта с аудиторией и его ответственности перед страной. Фрост в который раз рассуждал об идейной направленности поэзии, об искусстве как проводнике взаимопонимания, а следовательно, глубоко нравственном явлении, хотя он не употреблял таких слов. Он не переставал спрашивать, как Евтушенко может всерьез думать, что поэзия и революция близки по духу. Он в шутливом ключе говорил о различиях между Россией и Америкой, о своем кредо и своих стереотипах мышления и поведения. И наконец, уже собираясь идти спать, он спросил с язвительной ноткой в голосе: "Интересно, у них здесь нормальное воскресенье, мы сможем отдохнуть?" — и потом засмеялся.

Воскресенье

Воскресенье в Москве, как в Нью-Йорке или Париже, день особый. Большинство людей не работают, хотя почти все магазины открыты. Дети не идут в школу. Этот день люди проводят со своей семьей: двоюродные братья и сестры, дедушки и бабушки собираются на семейный ужин; родители с детьми отправляются за город на пикник или идут к Москве-реке, чтобы искупаться и покататься на лодках. Женщины наряжаются с особой тщательностью. Мужчины надевают отутюженные темно-синие костюмы. Это чисто светский выходной, в который никто не посещает церковь.

Мы тоже устроили себе выходной. Фроста переводчики его стихов Зенкевич и Сергеев пригласили на "Лебединое озеро" в Большой театр. Адамс тоже захотел пойти, а я уже видел "Лебединое" в постановке Большого и поэтому отказался. Мы договорились снова встретиться в гостинице ближе к вечеру.

Мы думали, Фрост будет томиться на балете, но Адамс потом сказал, что ему совершенно не было скучно. По словам Адамса, Рябинкина танцевала блистательно, грациозно и с видимым удовольствием. Фрост прекрасно провел время. После балета, начавшегося в одиннадцать, Фрост, Адамс и двое русских обедали в ресторане "Прага", где за соседним столиком сидели Винокуров, Вознесенский и американская журналистка. Журналистка бросилась целовать Фроста, остальные вели себя сдержанней. Вознесенский сказал, что сегодня еще увидится с Фростом за ужином, но на ужин почему-то не пришел.

День выдался прохладный и солнечный. Я пообедал у друзей, пообщался с коллегами, проехался по Москве на метро и троллейбусе, и в дороге мне всюду встречались толпы людей. В это тихое сентябрьское воскресенье москвичи просто гуляли, разговаривали, наслаждались красотой своего города.

В гостинице мы немного поговорили с Адамсом, потом разбудили Фроста, чтобы успеть собраться на ужин. Мы были приглашены к Константину Симонову на семь вечера.

Дом и лестница не давали ни малейшего представления о том, как выглядит квартира Симонова. Дом был обычный, многоквартирный, серый снаружи, с плохо освещенными лестничными маршами. Лестнич-

ные площадки были голыми, стены глухими. Но войдя в квартиру, мы сразу увидели, что хозяин отдает предпочтение элегантным вещам в современном стиле. Мы увидели красивую заграничную мебель и лепные украшения. Мы сидели на стульях, похожих на эймсовские[1], и диванах, набитых пенорезиной. По всей комнате на полках и низких столиках располагались куски суковатого дерева и статуэтки. Вкусы художника и доходы известного писателя сделали эту квартиру вненациональной, но в то же время по-русски уютной.

На ужин подали жаркое, а на десерт астраханский арбуз. Мы пили водку из специальных неустойчивых рюмок без ножек: из них нужно было пить до дна. С нами ужинали Межелайтис и распорядительницы. Маленькая дочка Симоновых перед тем, как пойти спать, робко пожелала всем спокойной ночи. Разговор шел преимущественно о еде и поездке Фроста и не касался серьезных тем. Симонов ограничился несколькими анекдотами и приличествующими случаю фразами о работе и долге художника. Вечер был спокойным и приятным, но, кроме угощения, ничего не запомнилось. Симонов и его жена были очень любезны, но за все время никто не сказал ничего существенного. Наша трапеза сильно смахивала на ужин зажиточных американцев в пригородном доме. Мы рано уехали из гостей, чтобы успеть на двенадцатичасовую "Красную стрелу" до Ленинграда. Распорядительницы, Фрост, Адамс, Мэтлок и я — все с чемоданами — прибыли на стоянку такси Ленинградского вокзала.

Поезд тронулся. Распорядительницы скрылись в своем купе. Фрост лег спать. А Адамс, Мэтлок и я, распивая бутылку виски, неожиданно появившуюся из чемодана, словно сказочный джинн, готовились к веселому ночному бдению.

Вторник

<...> Комарово с его писательским и академическим дачными поселками находится на морском побережье в пятидесяти минутах езды от Ленинграда. Дача Алексеева[2] представляет собой простой очаровательный летний домик с ухоженным садом, обнесенный низким забором. В доме и около него хорошо и привольно.

Алексеев с семьей радушно приветствовали нас. По дороге я пытался объяснить Фросту, к кому, куда и зачем мы едем, и предположил, что там будет и Анна Ахматова, лучший из ныне живущих русских поэтов. Я был взволнован. Я испытывал глубокое уважение и горячую симпатию к этим людям и знал, что разделенная с ними трапеза наряду с успехом предстоящих публичных чтений будет значить для Фроста больше, чем просмотр любого балета или посещение дворца, и, что важнее всего, оставит у него в памяти правдивый образ той России, о которой он раньше не имел представления. Фрост практически ничего не знал о русской поэзии: переводов ее на английский было мало, удачных среди них и того меньше. Перечисляемые русские фамилии звучали для него слишком замысловато, и он не мог их запомнить. В основном ему приходилось судить о людях по тому, как они выглядят и что говорят. И это делало предстоящий визит еще более важным.

1. Чарльз Эймс (1907—1978) — американский дизайнер, автор популярных моделей стульев и кресел.
2. Михаил Павлович Алексеев (1896—1981) — советский литературовед, академик, специалист по французской и английской литературам.

Вместе с распорядительницами и нашим эскортом мы приехали к Алексеевым поздним утром. День был солнечный и прохладный. Алексеев взял с собой Фроста на прогулку по саду и с гордостью показал ему на стоящую среди других деревьев маленькую североамериканскую голубую ель, которую он посадил напротив застекленной террасы. Мы вошли в дом и расположились в кабинете Алексеева; корреспондентка ТАСС присела на диван, положив на колени открытую записную книжку. Фрост и Алексеев дружелюбно беседовали о садоводстве и Америке, о еде и книгах. В обоих чувствовалось некоторое напряжение: по-видимому, они были смущены тем, что их светская болтовня записывается для передачи на весь мир, словно некая истина в последней инстанции. Разговор все время притормаживал у невидимых ограничительных знаков, как будто воздух был заткан бесконечной сетью дорог, и нельзя было сказать наверняка, по какой из них ты движешься.

Подходило время обеда. Явилась Ахматова в темном платье и бледно-сиреневой шали, наброшенной на плечи, величественная, с благородной сединой и глубоким взором. Они с Фростом вежливо поздоровались. За обедом Алексеев предложил тост за Фроста, а потом за Ахматову и Фроста, говоря об их встрече как об одном из замечательных литературных событий нашего времени. По тогдашним слухам, эти два великих поэта были соперничающими кандидатами на Нобелевскую премию.

Мы обедали в залитой солнцем столовой; обед состоял из семи блюд, и застольная беседа касалась американской и английской литератур, а также античной классики — предметов, в которых Ахматова, Фрост и Алексеев отлично разбирались. Ахматова, Фрост и Алексеев, который был лет на двадцать их моложе, в интеллектуальном плане принадлежали к одному поколению. И Ахматова, и Фрост начали приобретать известность перед первой мировой войной. При всем своем различии их долгие и необычные жизненные поприща привели к общему итогу: каждый из них стал крупнейшим поэтом у себя в стране, виднейшим представителем национальной литературы. Они сидели за обедом, символизируя собой, как мы полагали, воскрешение того взаимопонимания, которое почти за сто лет до этого существовало между Тургеневым и Генри Джеймсом и которое казалось всем нам, несмотря на отсутствие какой-либо "глубокой" дискуссии, более важным, чем переговоры политиков.

Фрост, однако, чувствовал себя не очень уютно. Возможно, он просто нервничал из-за публичных чтений, которые должны были состояться этим вечером. После того как некоторые русские с большой похвалой отозвались об Ахматовой, я в нескольких фразах дал очень высокую оценку творчеству Фроста. Он раздраженно гаркнул: "Хватит, хватит, прекратите". Я кивнул и попытался разъяснить свою мысль, но он не стал слушать. "Прекратите", — повторил он.

Несмотря на настойчивые просьбы, он отказался прочесть стихотворение, тут же уступив это право Ахматовой. Мы прослушали итальянскую запись некоторых ее вещей, а потом она прочитала два коротких недавно написанных стихотворения. Она сидела в кресле у окна в наполненной светом кремовой столовой. Шаль все еще была наброшена на плечи. Руки лежали на коленях. Она читала:

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле

Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.

И потом своим негромким, но волнующим и выразительным голосом она прочитала стихотворение о четырех могущественных, страстных женщинах, героинях мировой истории. Она написала это стихотворение всего шесть дней назад, сказала она, в день приезда Фроста в Россию, хотя тогда она об этом приезде ничего не знала.

Последняя роза

Вы напишете о нас наискосок...

И. Б[родский]

Мне с Морозовою класть поклоны,
С падчерицей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Дидоны,
Чтобы с Жанной на костер опять.

Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.

"Переведите," — обратилась она ко мне, прочитав стихотворение, но я сказал, что не могу и лишь приблизительно передал Фросту содержание.

"Очень музыкальное стихотворение, — сказал он, — в нем слышится музыка". Он улыбнулся и кивнул: "Очень хорошее стихотворение, очень хорошо звучит". С его стороны это была чистая любезность, он говорил те вещи, которые, как он чувствовал, от него хотели слышать, и он был тронут голосом Ахматовой и выражением ее лица. Он знал, что она пользуется авторитетом, но для него оставалось неясным, на чем он зиждется, и я чувствовал, что он не может понять, каким образом финал стихотворения вдруг сфокусировал историю русской литературы. Он снова чувствовал себя чужаком: ему недоступна была выраженная по-русски мысль о наивысшей важности и насущности вещественной красоты. Он видел, что другие ощущают нечто особенное, но сам ощутить этого не мог.

Услышав, как Ахматова читает это стихотворение, мы были растроганы. Все присутствовавшие были настолько поражены авторским исполнением, а также жизнью и мировосприятием, отразившимися в этом восьмистишии, что в течение нескольких секунд мы безмолвствовали. Не выразимая словами сущность стихотворения тенью легла на комнату. Фрост запомнил это, и он запомнил выражение лица Ахматовой: впоследствии он говорил, что она была величественной и в то же время очень печальной.

Пятница

<...> В четверг вечером мы ужинали у Мэтлоков. Фрост забавлял шутками их маленьких детей и с удовольствием ел американскую пищу. Зазвонил телефон. Мэтлок снял трубку и просиял: Фроста пригласили завтра посетить Хрущева. Он летит из Москвы в восемь утра.

Мы двинулись обратно в гостиницу примерно в десять тридцать. По дороге Фрост вдруг пожаловался на слабость в ногах и плохое самочувствие. Адамс, его старинный закадычный друг, принялся легонько трунить над ним, разговаривая с ним как с маленьким: может, это несварение желудка, с кем не бывает.

По возвращении в гостиницу Фрост принял свое нелюбимое лекарство. Его состояние продолжало ухудшаться. Мы обсудили с ним возможные варианты и вопрос, кем он будет себя потом считать, если не поедет. Мы убедили его подождать с решением до утра. Он должен был выехать из гостиницы в шесть тридцать. Мы придем без пятнадцати шесть, сказали мы; в шесть мы будем завтракать. Тогда все и решим. Мы пожелали ему спокойной ночи, и он закрыл дверь. Он не любил опеки, но если ему что-то было нужно, хотел получить это немедленно.

В коридоре мы с Адамсом еще поговорили. Он знал о некоторых предыдущих болезнях Фроста и об особенностях его организма. Мы оба придерживались мнения, что прежде всего Фрост перенервничал. Ведь нам было известно, как он готовился к поэтическим вечерам, как перед их началом уединялся на час-другой в своем номере и как ужинал только по их окончании. Предстоящая поездка не шла ни в какое сравнение с поэтическим вечером. И он настолько серьезно относился к своей поэтико-пророческо-политической миссии, что, разумеется, должен был нервничать. А что если он к тому же болен? Что если ему станет хуже? Мы согласились, что решим все вопросы завтра — или, скорее, сегодня, потому что уже близился рассвет.

Будильник Адамса зазвенел. Адамс разбудил меня. Мы оделись и пошли к Фросту. Он сказал, что чувствует себя хуже, но поедет в Гагру: "Ради этого я сюда приехал". Мы с Адамсом спросили Фроста, кого из нас он возьмет с собой (премьерское приглашение давало право только на одно сопровождающее лицо). Фрост подпустил шпильки насчет познаний Фредди в русском языке и моей незаменимости. "Все равно мы одна команда, ведь так?" — сказал он. Мы согласились. В шесть тридцать мы были внизу и ждали Суркова. В восемь пятнадцать мы уже летели в самолете.

В десять пятьдесят мы приземлились в аэропорту под Сочи. Нас посадили в роскошную черную "чайку" с занавесками на окнах и шофером, который, держа руку на клаксоне, помчал нас быстрее ветра. Через час мы уже пересекли границу Грузии и подъехали к гостинице Министерства здравоохранения Грузинской ССР. Мы должны были умыться, отдохнуть и немного поесть, а потом проехать еще двадцать минут до дачи премьер-министра.

Ресторан и гостиная были внизу. Наш с Фростом номер располагался на втором этаже. Балкон выходил в буйно разросшийся субтропический сад с пальмами, бананами, апельсиновыми и лимонными деревьями. За ним раскинулось море, лазурное и прекрасное в золотистом свете южного солнца.

Фрост чувствовал себя хуже. Он лежал. Дремал. Жаловался на усилившуюся боль в животе. Нет, он не хочет есть и пить, только немного "грушовки", сказал он, имея в виду газировку с грушевым ароматизатором, к которой питал слабость.

Остальные члены группы сели обедать в гостиничном ресторане, несколько сконфуженные. Представители принимающей стороны были огорчены. Я нервничал не меньше Фроста. Я постоянно выходил из-за

стола и наведывался к нему. Когда я во второй раз спросил, не нужно ли вызвать врача, он согласился.

Пришел директор гостиницы. Мы измерили Фросту температуру. Фрост сказал, что не в состоянии никуда ехать. Я сказал, что лучше вызвать врача. Через двадцать минут по пригорку поднялась молодая девушка (большинство врачей в России — женщины). Она была в белом халате и несла в руке специальный докторский чемоданчик. Она еще раз измерила Фросту температуру, пощупала у него пульс, прослушала грудь и спину, посоветовала съесть немного супу или выпить чаю, подтвердила, что он не совсем здоров, но выразила сомнение в том, что он тяжело болен. По-видимому, заключила она, это расстройство желудка, к тому же сказалась усталость от такой насыщенной поездки, но если это что-то серьезное, Фросту лучше быть в Москве. Фрост повторил, что не в состоянии никуда ехать, просто не в состоянии.

Я сказал Суркову, что Фрост не может ехать дальше, что он совершенно выбился из сил. Я возвратился к Фросту и молоденькой девушке-врачу, которая и дальше все время оставалась с ним и под конец даже поехала провожать его до самолета. Сурков начал звонить по телефону. Через пятнадцать минут он вернулся и объявил, что премьер посылает своего личного врача и вскоре прибудет сам. Хрущев сделал красивый жест. Когда я сообщил Фросту о премьерском намерении, он испытал заметное облегчение и все-таки еще больше занервничал: ведь встреча должна была состояться в ближайшие часы.

Время шло. Фрост дремал. Остальные, сняв пиджаки и выйдя на балкон с видом на море, беседовали и говорили, как было бы здорово никуда отсюда не уезжать и ходить купаться. Девушка-врач сидела одна внизу и периодически поднималась к Фросту, чтобы посмотреть, в каком он состоянии. Я заглядывал к нему каждые пять минут.

Когда я находился в номере, вдруг вошел врач Хрущева — загорелый, стройный, внешне привлекательный мужчина средних лет в очках и коричневой хлопчатобумажной куртке. Он был сама деловитость. Он тщательно осмотрел Фроста, так же, как его осматривала до этого девушка-врач, но с большей властностью, объяснявшейся его уверенностью в себе и занимаемой им должностью. Закончив осмотр, он спросил меня о прошлых недомоганиях Фроста, поинтересовался, как долго длится наше путешествие. Я ответил насколько мог подробно, упомянув о предыдущем расстройстве желудка у Фроста, точно назвав дату нашего прибытия и настаивая на том, что по нескольким причинам мы должны сегодня же возвратиться в Москву. Откровенно говоря, я думал, что Фрост плохо перенесет изоляцию в этом курортном городе. Врач продолжал многозначительно кивать и повторил, что Фрост, скорее всего, просто переутомился. У него была температура 38,6.

Врач поднялся и, прописав диету и отдых, покинул номер. Я сказал Фросту, что скоро приедет Хрущев.

Снова воцарилась тишина. Пальмовые листья за окнами медленно поднимались и опускались, как опахала. Фрост прикрыл веки. Я начал читать книгу, но не мог сосредоточить внимание даже на одной фразе. Вдруг льняные песочного цвета чехлы на креслах превратились для меня из летней приметы в немые свидетельства недоразумения, из-за которого мы очутились не в той комнате, не в том мире — не гости, а непонятно кто. Минуты ожидания тянулись долго, как дни. Я постоянно выходил в коридор, чтобы взглянуть на настенные часы.

Никто не появлялся. Ничего не происходило. Я вышел посмотреть, не приехал ли Хрущев. Я заметил впереди человека и обратился к нему. Он уставился на меня, сказал, что ничего не знает, и исчез в недрах здания. Больше он не возникал. Я возвратился в гостиницу и вышел на балкон, испытывая странное беспокойство, как будто вступил под кровлю замка с привидениями, хотя повсюду ярко светило солнце. Куда же все подевались?

Идя по балкону, я завернул за угол и вдруг увидел Хрущева и Суркова, которые разговаривали, сидя за столом, Сурков представил меня премьеру. Я сказал, что Фросту нездоровится, что он глубоко признателен за визит врача, что он очень рад приезду Хрущева в гостиницу и жаждет его видеть. Пришел врач Хрущева, и Хрущев спросил его о диагнозе. Врач дал подробный и объективный отчет. Хрущев подытожил разговор, спросив, значит ли все сказанное, что он может увидеться с Фростом. Врач ответил утвердительно. Хрущев сказал: "Пошли".

Когда я сказал Фросту, что Хрущев будет с минуты на минуту, он сел на край кровати. Он надел носки и обулся. Пришли русские. Мы пододвинули несколько кресел. Хрущев сел в одно из них совсем близко к Фросту.

На Фросте были рубашка и брюки. На Хрущеве — щеголеватый летний костюм оливкового цвета поверх светло-бежевой украинской сорочки. Загорелый, пышущий здоровьем, он был энергичен и чрезвычайно любезен. Он спросил Фроста о его самочувствии, попенял ему за то, что он себя не бережет, выразил восхищение далеким путешествием, которое он предпринял, сказал, как он рад их встрече, напомнил ему о необходимости следовать предписаниям врачей, если он хочет дожить до ста лет. Фрост, со своей стороны, сказал, что ничуть не жалеет о своем приезде, что ему было очень приятно получить приглашение, что, как бы там ни было, никогда нельзя доверять врачам и что он, безусловно, хочет дожить до ста лет, потому что в тот год, когда ему исполнится сто лет, его стране будет двести. Дожить до такого возраста, чтобы быть всего в два раза моложе своей страны, — это что-то да значит.

Хрущев спросил, какие у него впечатления от пребывания в России, какой ему оказали прием. Фрост ответил, что он прекрасно провел время и что, судя по тому, сколько издается стихов и сколько вокруг поэтов, премьер, безусловно, много делает для процветания поэзии. Они коротко поговорили об искусстве, поэзии и общественной позиции художника. Фрост передал премьеру приветствия от президента и выразил признательность организаторам своего визита.

После этого начался серьезный разговор. Хрущев спросил Фроста, нет ли какого-то особого вопроса, который он хотел бы обсудить, и Фрост заговорил о проблеме, уже давно вызывавшей у него большую озабоченность, проблеме взаимопонимания между Востоком и Западом.

Он не стал в угоду некоторым своим друзьям-республиканцам критиковать идею мирного сосуществования. Он сразу недвусмысленно дал понять, что относится к советской власти как к данности, что — нравится это кому-то или нет — социализм неизбежен и что он восхищается отвагой, с которой премьер Хрущев использует власть. Он не ставил под сомнение идею мирного сосуществования, хотя сам никогда не пользовался этим словом, предпочитая говорить о "соперничестве". Но он придавал большое значение моральным качествам руководителей обеих стран и, соответственно, беспокоился о долговечности их достиже-

ний. Еще до своей поездки в Россию он полагал, что вклад политических деятелей в историю определяется их нравственностью. Он всерьез думал, что итоги президентских выборов 1960 года свидетельствуют о начале эпохи расцвета искусств. Энергия века, как ему казалось, сулила блестящее будущее.

Лучшее, полагал он, что может даровать нации государственная власть — это яркая личность. Отсюда вытекает роль поэта в государственной власти. Он повторил Хрущеву свою излюбленную мысль: великая нация создает великую поэзию, и великая поэзия создает великую нацию. Подразумевая именно такое политическое и интеллектуальное величие, он на следующий день заявил корреспондентам, что его беседа с премьером Хрущевым "проходила не на примитивном, узколобом, а на действительно высоком уровне". Он думал об этом величии, когда сказал премьеру, что негоже устраивать мелкие перебранки, что лидеры двух стран, проявив политическую волю и великодушие, должны прийти к необходимости благородного соперничества между Россией и Соединенными Штатами. "На уровне держав, — сказал Фрост Хрущеву, — должны быть полная откровенность и взаимопонимание".

Фрост затронул тему культурных обменов, сказав, что сами по себе они интересны, но с их помощью ничего нельзя добиться и они мало что значат. И кроме того, они не имеют никакого отношения к реальной власти. "Мы готовы к соперничеству в спорте, науке, искусстве, демократии, — сказал он. — Мы получим возможность проверить, чья демократия победит".

Разговор перешел к острым вопросам международной политики и поддержания государственного престижа. Чем больше Фрост упирал на свои "скромные предложения", обеспечивающие решение берлинской проблемы в соответствии с его собственным представлением о политическом великодушии, тем напористее Хрущев выдвигал свои аргументы. В ответ на предложение Фроста объединить Западный и Восточный Берлин Хрущев выступил с жесткой критикой НАТО, неонацизма, поднявшего голову в Западной Германии, и безответственной политики западных держав, из-за попустительства которых Германия снова начинает угрожать миру и стабильности. Фрост ответил, что объединенная, демилитаризованная и широко вовлеченная в международную торговлю Германия не будет угрожать стабильности. Хрущев сказал, что Германия и так не представляет реальной угрозы, как, впрочем, и НАТО, поскольку советские ракеты меньше чем за полчаса могут стереть Европу с лица земли. Если вы действительно хотите стабилизировать ситуацию, подпишите мирный договор, предложил премьер. Вот подписали договор по поводу Австрии, сказал он, и посмотрите, как разрядилась обстановка. Президент Кеннеди, сообщил премьер Фросту, сам признался, что хочет подписать мирный договор, но не может этого сделать из-за сложившейся внутриполитической ситуации. Фрост снова заявил о своих опасениях, что пререкания из-за Берлина — в сущности, мелкие дрязги по незначительному поводу — могут спровоцировать огромную войну между двумя мировыми гигантами, двумя странами, которым принадлежит следующее столетие. Премьер сказал в ответ, что страны — участницы Варшавского договора активно развиваются в экономическом плане и что скоро они обгонят Общий рынок. Фрост снова заговорил о недопустимости межгосударственного закулисного торга, о признании существующих границ политического влияния и непрерывном

сближении капиталистической и плановой экономик, о демократии, тянущейся, как он выразился, вверх к социализму, и социалистической демократии, которая, выражаясь его словами, движется по нисходящей от своего сурового идеала к более гуманной форме.

Защищая свои позиции в берлинском вопросе, премьер утверждал, что Запад не имеет никаких прав на Восточный Берлин, что он принадлежит их стороне. "Не о чем торговаться", — сказал он. В свою очередь он подал идею, чтобы Фрост попросил своего президента и своих соотечественников повторно рассмотреть предложение о придании Берлину статуса свободного города и размещении на его территории войск ООН; при выполнении этих условий русские гарантировали коридор и пограничный режим.

Безусловно, оба собеседника были уверены в моральной силе своих стран и в их военной мощи. Оба заявили, что они лично и их страны желают соревноваться друг с другом. Фрост сказал, что если битва должна произойти, то пусть она будет из-за чего-то крупного, принципиального. Однако он пропагандировал мирное соперничество во всех остальных сферах: в спорте, бизнесе, искусстве, гуманитарных науках, — соперничество, которого, как он сказал, хочет Бог. "Бог хочет, чтобы мы соперничали, — заявил он. — Конфликт — движущая сила прогресса". Премьер Хрущев сказал, что основополагающий конфликт между двумя нашими странами — это мирное состязание в экономической области. Советский Союз и все страны — участницы Варшавского договора — молодые государства, здоровые, энергичные, полные сил. Они сделали огромный шаг вперед. Соединенные Штаты и Западная Европа, заявил он, имеют тысячелетнюю историю и загнивающую экономическую систему. Это напоминает ему один забавный эпизод из мемуаров Горького о Толстом, где Толстой говорит о себе, что он слишком стар, слаб и немощен, чтобы заниматься *этим*, но до сих пор испытывает желание. Фрост рассмеялся и сказал, что он ощущает то же самое, но что Соединенные Штаты еще слишком молоды, чтобы беспокоиться на этот счет. Фрост сказал, что премьер обладает огромной властью и может принести огромную пользу, достигнув политического урегулирования односторонними действиями, без прямых переговоров с Соединенными Штатами. Хрущев только должен найти простое решение берлинской проблемы, и Соединенные Штаты согласятся с этим решением. "У вас душа поэта", — ответил премьер Хрущев.

Фрост заявил, что европейская цивилизация принципиально отличается от азиатской и африканской. Премьер сдержанно отреагировал на страстный призыв Фроста признать, что у России, Европы и США одни и те же общеевропейские культурные ценности, противостоящие тому, что он назвал отсутствием культуры в Африке и непреодолимой культурной чуждостью Китая. Хрущев проявил терпение. Он говорил о снижении курса доллара и о перераспределении военной мощи в эру ракетного оружия: океаны, можно сказать, пересохли, заявил он, и британский флот фактически перестал существовать как сила, поэтому Соединенные Штаты не могут больше рассчитывать, что им поможет удаленное географическое положение. Русские за многое благодарны американцам, признал премьер и рассказал, как накануне он пошутил в ответ на хвалебный отзыв министра Юдалла об огромных советских гидроэлектростанциях, что это американцы в тридцатых годах научили русских, как их строить.

Фрост снова вернулся к политическим вопросам. В отношениях между двумя нашими странами не должно быть никакого мухлежа, никакого обмана. Надо покончить с пропагандой, с взаимными поношениями. Надо прекратить все это. И Хрущев целиком и полностью с ним согласился.

Он спросил Фроста, не устал ли он, не слишком ли его, Хрущева, визит затянулся. Фрост ответил: нет, он рад, что состоялся такой откровенный, такой благородный разговор. Хрущев попросил Фроста непременно передать его приветствия президенту и американскому народу и обратить внимание президента на те вопросы, которые они с Фростом обсудили. "Было очень приятно познакомиться с таким знаменитым поэтом", – сказал премьер. Он был рад, что Фрост доволен своей поездкой в Россию, и он пожелал ему многолетней и успешной творческой деятельности.

Они стояли, пожимая друг другу руки. Фрост снова повторил, как ему приятно, что эта встреча состоялась. Хрущев вежливо повернулся, обошел кровать и вышел из комнаты. Остальные последовали за ним.

"А мы неплохо поговорили", – сказал Фрост, в изнеможении повалившись на кровать. "Он великий человек, – добавил он, – он знает, что такое власть и не боится взять ее в свои руки. Да, он великий человек".

Было приблизительно без четверти пять. Разговор длился почти полтора часа. Фрост забыл подарить Хрущеву экземпляр своей книги "На вырубке", который он привез для него. "Роберт, – сказал я, – вы не хотите надписать книгу?" "Ох, как же это я забыл?" – спохватился Фрост.

Я выбежал из гостиницы и сказал Суркову, чтобы он попросил премьера задержаться на минуту: Фрост хочет подарить ему свою книгу. Наверху в номере Фрост собирался надписать книгу, но не мог вспомнить инициалы Хрущева. Наконец, он написал:

Премьеру Хрущеву
от соперника в дружбе
Роберта Фроста
Гагра,
7 сентября 1962 года

Я спустился с книгой и передал ее Хрущеву, сидевшему рядом с шофером в зеленой открытой "чайке" с откидывающимся верхом. Его секретарь и врач сидели сзади. Неподалеку виднелась охрана. На мгновение показалось невероятным, что в этом буйно-лазурном мире действительно состоялась потрясающая встреча, свидетелями которой мы все были. Власть влияет на каждого, кто берет ее в свои руки; она оставляет на человеке следы того, к чему он прикасается, и загрязняет его. В великой власти есть что-то фантастическое: ее источник столь неопределим, что кажется, будто его совсем нет. И ценности, стоящие за ней, как любил повторять Фрост, обнаруживаются в поведении человека.

Визит Фроста в Россию преследовал несколько целей. Однако чем больше мы вспоминаем о нем, тем больше он кажется нам наглядным примером того, как мы воздаем почести величию и, воздавая их, стараемся поставить это величие себе на службу,

Фрост стал знаменитостью, стал общественным явлением задолго до поездки в Россию. Литературные почести пробудили в нем ощущение значимости политической силы или, проще говоря, власти. Отправляясь в Россию, он с самого начала надеялся увидеться с Хрущевым,

поговорить с первым лицом в государстве. Он хотел поговорить о своем ви́дении неизбежного пути развития цивилизации и о том, что, по его мнению, должны делать сильные мира сего. Почести, которые ему оказывались, нервировали его, и немудрено — ведь почести означают, что от тебя ждут новых, еще больших успехов и что ты не имеешь права на провал, а именно провала боялся Фрост, отправляясь в Гагру.

Он ехал в Россию, представляя ее себе крестьянской страной, по которой разгуливают медведи, а русские даже переусердствовали в оказании почестей. Они чествовали его от всей души, отдавая должное его таланту, и поэтому он ехал в Гагру с напряженным ощущением возложенной на него благородной миссии. Он ехал, не испытывая никакого трепета перед властью, с особым чувством личной ответственности высокоуважаемого человека.

Хрущев, самый могущественный политический деятель в России, признал его большие заслуги в поддержании культурной традиции. Фрост, к концу жизни ставший самым почитаемым литератором Америки, признал важнейшую роль Хрущева в формировании сил, влияющих на мировые события. Они вели свободный, очень насыщенный диалог, который был проникнут глубоким уважением и лишен всякой церемонности. Они обсуждали расстановку сил в противостоянии Востока и Запада, рассказывали анекдоты, анализировали значение экономической конкуренции, хвалили друг друга за энергию, открыто осудили жестокости войны и твердо заявили о необходимости применения силы для поддержания стабильности, для защиты достоинства и традиций.

Хрущев, заявивший, что ненавидит коварных нацистов, похвалил технические достижения американского капитализма. Фрост, сказавший, что китайцы и африканцы не играют никакой роли в мировой политике, восхитился достижениями русского социализма. Они были единодушны в том, что Россия и Соединенные Штаты должны покончить с мелочными придирками, должны проявить благородство.

Суть этой встречи, как и всей поездки Фроста в Россию, в ярком противостоянии двух уверенных в себе, высокоуважаемых людей, каждый из которых произвел на другого более сильное впечатление, чем можно было бы предположить. Мощь умения, мощь таланта — вот чем люди добиваются уважения к себе.

Суббота

Мы прилетели обратно в Москву в субботний полдень. В пути мы все, кроме Фроста, который в основном дремал, болтали о том о сем. Сурков говорил о русской литературе, в частности, о некоторых произведениях, которые вскоре должны были увидеть свет; о том, что должен возродиться интерес к творчеству Демьяна Бедного и что в середине следующего года в серии "Библиотека поэта" выйдет том стихов Пастернака, больший по объему, чем тот, что вышел в 1961 году под редакцией Суркова. Я понял с его слов — то же самое многие из нас слышали от других людей, — что Хрущев лично играл не просто решающую, но и жизненно важную роль в процессе возрождения русской литературы. Публикация мемуаров Эренбурга должна была продолжаться, потому что, хотя всякая биография грешит передержками и приукрашиванием фактов, мемуары, по словам Хрущева, — "увлекательное и полезное чтение", существенное свидетельство об эпохе, которую никто не зна-

ет так хорошо, как Эренбург. Зимой следующего года была предпринята резкая атака на интеллигенцию, но к концу лета 1963 года Хрущев снова начал сдерживать реакционеров и благоволить к либералам – тем писателям, которые хотели поддерживать контакты с Западом и правдиво писать о жизни в стране. Некрасова не исключили из партии, Эренбург продолжал находиться на переднем крае идейной борьбы; выдающиеся заслуги, авторитет и принципиальность Твардовского были вознаграждены долгожданной публикацией его сатирической поэмы "Теркин на том свете". В поэме русский солдат Василий Теркин попадает на тот свет – в царство бюрократии советского образца. Мне хочется думать, что разговор Фроста с Хрущевым и обещание Хрущева покончить с грубой пропагандой способствовали улучшению обстановки в мире.

Фроста встретили в московском аэропорту с распростертыми объятиями. Евтушенко и Симонов накануне вечером заменили Фроста на запланированном поэтическом чтении. В актовом зале Педагогического института имени Ленина собралось свыше тысячи человек. Они слушали, как Евтушенко и Симонов читали стихи самого Фроста и стихи, посвященные ему, и говорили о его поэзии. До последней минуты никто не знал, что мы опоздали на самолет и что следующий рейс будет только в девять утра. По возвращении в Москву Фрост даже сандвич съесть не успел, как налетела толпа журналистов.

На пресс-конференции в гостиничном номере Фроста присутствовали примерно шестьдесят-семьдесят корреспондентов. Были установлены микрофоны, работали камеры телевизионщиков и кинохроникеров. Фрост говорил членораздельно, но его не всегда легко было понять. Часть вопросов он вообще прослушал и во многих случаях не столько отвечал на заданный вопрос, сколько высказывал то, что, как ему показалось в этой напряженной обстановке, должен был высказать. Кроме того, воображение поэта создает для нас подлинные миры там, где без

Выступление в Библиотеке иностранной литературы

его участия мы увидели бы только пустыни и тюрьмы. Фрост назвал Хрущева "разбойником", и это слово перешло из подлинного поэтического мира в мир публичных заявлений; в общей неразберихе Фрост не услышал, а может, не захотел услышать вопрос журналиста, действительно ли он имел в виду то, что сказал, — и люди поняли это слово по-своему, буквально. Журналисты оказали Фросту плохую услугу. Точно так же, я думаю, те люди, которые превратно поняли восхищение Фроста Хрущевым и Россией, должны сейчас признать, что проявили обывательскую ограниченность. Как заявил Фрост в октябре после своего возвращения из России на Национальном поэтическом фестивале в библиотеке Конгресса, "Я жизнью своей прекрасной готов биться об заклад"[1] — самое замечательное из всех жаргонных выражений. Если ты не готов биться об заклад своей жизнью, как бы прекрасна она ни была, ты не игрок". Впоследствии Фрост, чтобы не оставалось никаких сомнений в его теплом отношении к новым русским друзьям, скажет: "Я хочу послать подарки русским поэтам. Чудесные ребята. Я хочу послать им кое-какие серебряные вещи времен революции. Нашей американской революции. Я так им и напишу". Какие общие выводы о политической ситуации он сделал? "Мы занимаемся великими мировыми вопросами, и у нас это неплохо получается," — сказал он. На пресс-конференции в гостиничном номере на вопрос о культурных обменах он ответил так: "Хорошо, когда они двусторонние. Они должны быть двусторонними. Но очень много, — добавил он, — значит великодушие, наши страны — соперницы в великодушии". Эти слова можно сделать эпиграфом ко всей поездке Фроста.

Днем в ту субботу он выступил со своими стихами перед сотрудниками американского посольства и их детьми. Он обратился к ним: "Привет, чертовы янки", — и дальше продолжал в том же духе. Крайне немногочисленная избранная публика была особенно отзывчива. Даже те, кто не интересовался поэзией, почувствовали, что прикоснулись к лучшей части Америки.

Визит подходил к концу. Несколько раз за эту поездку в минуты подавленности и уныния, когда ему казалось, что его встреча с Хрущевым не состоится и сам он будет отвергнут публикой, Фрост размышлял и говорил о близких ему людях, оставшихся в Бостоне, о том, каким дураком они должны его считать: отправился за границу на казенный счет без всякого смысла и толка. Но после столь очевидного успеха он думал о них с торжеством: теперь ему действительно было что предъявить. Он полностью сознавал, что его поездка удалась. Поэтому он с еще большим нетерпением рвался назад, в привычный ему мир, где чувствовал себя непринужденно и снова мог приняться за работу.

Но мы улетали из Москвы только на следующее утро. На этот последний вечер был запланирован ужин у Твардовских — своеобразное символическое прощание, обещавшее скорую встречу. Хотя эта встреча так никогда и не состоялась, сам вечер, проникнутый русской сердечностью, может свидетельствовать об успехе посланнической миссии Фроста. Были Твардовские, Сурков и его жена, Дементьев (член редколлегии "Нового мира") и его жена, кинорежиссер Козинцев, с которым мы познакомились в Ленинграде, и редактор журнала "Искусство". Хозяева предложили щедрое угощение и приняли Фроста по-семейному,

1. Буквальный перевод американской идиомы, которая значит "Ты совершенно прав".

проявив горячее русское гостеприимство. Жена Твардовского даже подарила Фросту баночку маринованных грибов.

В разгар вечера в квартире Твардовского на набережной Москвы-реки, когда все сидели за длинным столом, хозяева включили телевизор. За закусками и супом мы какое-то время смотрели "Бориса Годунова". Потом на экране вдруг появился Фрост. Двадцатиминутный отрывок из часовой телепередачи был специально подготовлен для показа по телевидению в этот вечер по окончании первого акта, чтобы Фрост мог увидеть себя. Это была отличная запись; Фрост, Сурков и Евтушенко производили прекрасное впечатление. Все были очень довольны. Впоследствии эту передачу несколько раз показывали полностью, и она имела, насколько я знаю, огромный успех. Фрост читал стихи сотням, достигал сознания тысяч благодаря газетным репортажам, и миллионы видели его по телевизору. Его поездка не только прошла на высоком художественном уровне, но и имела успех в широких кругах. Он добился в России того, чего давно добился у себя на родине. Следующим утром в аэропорту, отвечая русскому журналисту, который попросил его на прощание поделиться своими впечатлениями о пребывании в России, он сказал: "Союз писателей сделал эту поездку одним из самых значительных событий в моей жизни. Я получил возможность выразить свое восхищение вашей могущественной страной, которой суждено еще долгие годы быть нашим соперником. Я глубоко признателен вам за щедрое гостеприимство. — Он сделал паузу. — Я много раз говорил об этих впечатлениях — в Москве, в Ленинграде и в Гагре". Улыбнувшись и помахав на прощанье Мэтлоку, Суркову и Твардовскому, Зенкевичу и Кашкину, распорядительницам и журналистам, он со Стюартом Юдаллом, задержавшимся на день в Москве, чтобы лететь домой вместе с Фростом, поднялся по трапу в советский самолет, который должен был доставить нас в Париж.

На следующий день "Правда" опубликовала фотографию Фроста, четыре новых перевода его стихотворений и длинную статью Суркова, которая подводила итоги визита Фроста и заканчивалась следующим пассажем:

"И у меня... сложилось впечатление, что мы проводили на родину честного и искреннего друга, во многом по-иному, чем мы, понимающего решение важнейших проблем времени, но искренне стремящегося очистить взаимоотношения народов США и СССР от всего наносного и предвзятого, работать в пользу дружбы, взаимного понимания и доверия.

Пожелаем Роберту Фросту защищать его идеалы мирного соревнования двух систем с такой же молодой энергией, с какой звучат его стихи, какую проявил он, встречаясь с советскими людьми!"

В воскресенье в пять часов вечера мы снова были в Нью-Йорке. На обратном пути Фрост повторил то, что уже неоднократно говорил: "Мы и Россия... может пройти двести лет, прежде чем этот конфликт разрешится. Вот вам одна из неприятностей, связанных со смертью: приходится уходить, так и не узнав, чем все закончится". На пресс-конференции в аэропорту "Айдлуайлд" на вопрос журналиста, не планирует ли он вновь посетить Россию, он ответил шуткой: "Да, когда стану старше и мудрее".

Гюнтер Грасс

Продолжение следует...

Речь по случаю присуждения Нобелевской премии, произнесенная 7 декабря 1999 года в Стокгольме

Уважаемые члены Шведской академии, дамы и господа!

"Продолжение следует..." Таким уведомлением журналы и еженедельники в девятнадцатом столетии растягивали публикацию прозаических произведений. Роман с продолжением процветал. В то время как черным по белому в быстрой череде печатались глава за главой, срединная часть повествования еще только заносилась от руки на бумагу, а заключительная часть и придумана-то не была. Но читателя захватывали не только тривиальные страшные истории. Некоторые романы Диккенса так и появлялись частями. Толстовская "Анна Каренина" была романом с продолжением. Время Бальзака как усердного поставщика поточного массового товара, возможно, и обучило его, еще безымянного, технике достижения высокого накала перед самым окончанием полосы. Почти все романы Фонтане, например, "Пути и перепутья", тоже сперва публиковались в газетах и журналах с продолжением, в связи с чем владелец "Фоссише цайтунг" возмущенно восклицал: "Да закончится ли когда-нибудь эта история потаскухи!"

Но прежде чем таким вот образом продолжать прясть волокно моей речи или распутывать его на побочные нити, следует упомянуть, что этот зал и пригласившая меня Шведская академия мне не чужие. В романе "Крысиха", который появился почти четырнадцать лет назад и о катастрофическом течении которого по наклонной повествовательной плоскости, может быть, еще помнит тот или иной читатель, в Стокгольме перед примерно таким же смешанным обществом звучал панегирик в честь крысы, точнее говоря, лабораторной крысы.

Она получила Нобелевскую пре-

© Steidl Verlag, Göttingen, 1999
© The Nobel Foundation, 1999
© Н. Тишкова. Перевод, 2000

мию. Наконец-то, следует сказать. Ибо в списках предложений она давно уже стояла. Ее даже считали фавориткой. Она, беловолосая, красноглазая лабораторная крыса, чествовалась как представительница миллионов подопытных животных — от морских свинок до резус-макак. Она, в первую очередь она — так утверждает рассказчик в моем романе — дала возможность осуществить все эти нобелевские исследования и изобретения в области медицины, в частности, благодаря ей и были сделаны открытия нобелевских лауреатов Ватсона и Крикка на прямо-таки безграничном опытном поле генных манипуляций. С тех пор можно более или менее легально клонировать, скажем, кукурузу, овощи, да и всякое разное зверье. Потому-то в конце упомянутого романа, то есть уже в постчеловеческую эру, захватывающие все большую власть человекокрысы носят название "ватсонкрикков". В них объединено все лучшее из обоих видов. Крысиное начало в человеке и наоборот. Разводя эту породу, мир, кажется, хочет излечиться. После Великого Взрыва, когда выжили одни лишь крысы, тараканы и навозные мухи, рыбьи и лягушачьи икринки, пришла наконец пора упорядочить хаос, причем с помощью ватсонкрикков, поразительнейшим образом спасшихся.

Но поскольку эта словесная нить завершалась предупреждением "Продолжение следует..." и речь по поводу присуждения Нобелевской премии лабораторной крысе не была некой забавной концовкой романа, я могу теперь основательно заняться повествованием как формой выживания и формой искусства.

Повествовать люди стали с самого начала. Еще задолго до того, как род человеческий стал упражняться в письме и постепенно обзаводиться алфавитом, каждый что-то рассказывал другому, и каждый слушал, что другой ему рассказывает. Вскоре среди еще не научившихся писать появились люди, которые умели больше и лучше других рассказывать или правдоподобнее врать. А среди них опять-таки те, кто спокойному течению повествования искуснее ставил заруду, после чего позволял накопившейся массе выйти из берегов, разлиться по разветвленным рукавам и, не иссякнув, вдруг неожиданно обрести широкое речное ложе — там оказывалось и множество прихваченного по пути дрейфующего добра, из которого строились побочные сюжетные линии. Эти самые ранние рассказчики не зависели от света дня или лампы и дело свое вполне могли делать и в темноте, более того, сумерки и темь усиливали напряжение, их не пугали ни безводные пустыни, ни грохочущие водопады, а при надобности — скажем, по причине всеобщей усталости — они прерывали повествование обещанием "Продолжение следует...", и потому вокруг них собиралось много слушателей, которые хотя тоже умели рассказывать, но не так неистощимо.

О чем же рассказывалось, когда никто еще не умел писать, записывать? Поначалу, со времен Каина и Авеля, много, видимо, говорилось о смертоубийстве. Материал давала и месть, в особенности кровная месть. Расхожей темой издавна стало уничтожение народов. Могли рассказ вести о наводнениях и засухах, о тучных и тощих годах. Не избегали и долгих перечислений имущества в виде скота и людей. Рассказ, чтобы звучать правдоподобно, не должен был чураться длинных семейных списков — кто после кого и кто от кого появился на свет божий. По подобному же принципу строились и рассказы о героях. В спросе были и поныне популярные, многажды рассказываемые истории о любовных треугольниках, а также о чудищах — помеси человека и зверя, что хозяйничали в лабиринтах или подстерегали добычу в прибрежных камышах. Не говоря уж о легендах о богах и идолах, равно как и о полных приключений морских путешествиях, — легендах, которые, переходя из уст в уста, оттачивались, дополнялись, варьировались, меняли смысл на противоположный и в конце концов записывались одним рассказчиком, которого будто бы звали Гомером, или целым коллективом рассказчиков — как в случае с Библией. С тех

пор существует литература. В Китае, Персии, Индии, на Перуанском нагорье и в других местах, где возникала письменность, были рассказчики, которые в одиночку или коллективно сделали себе имя как литераторы или оставались анонимными.

У нас, столь прочно освоивших письменность, сохранилось воспоминание о рассказанных вслух историях, об устном происхождении литературы. Если же мы забудем, что изначально все рассказываемое сходило с губ, порой спотыкаясь, запинаясь, затем, будто подгоняемое страхом, торопливо или же, словно оберегая выдаваемую тайну от чересчур уж многочисленных посвященных, шепотом, который опять-таки сменялся громким голосом, перекрывающим хвастливые восклицания или вопросы тех, кто во все времена с высоко поднятым хоботом вынюхивал, что откуда пошло, — если мы все это, кичась письменностью, забудем, тогда наше повествование станет насквозь бумажным, лишенным влажного дыхания.

Хорошо, что в нашем распоряжении много книг, которые прошли испытание временем, как их ни читай — хоть тихо, хоть громко. Они-то и служили мне примером. Когда я был молод и поддавался обучению, такие мастера, как Мелвилл или Дёблин, но и Библия на лютеровском немецком, толкнули меня к тому, чтобы писать, произнося слова вслух, мешая чернила со слюной. Так и продолжалось. И на пятом десятке моего с удовольствием носимого писательского ярма я разжевываю свои волокнистые, тягучие фразы в податливую кашу, в прекрасном одиночестве проборматываю их про себя и только то выпускаю на бумагу, что нашло свою переливчатую тональность, обрело звук и отзвук.

Да, я люблю свою профессию. Благодаря ей я обзавожусь обществом, которое хочет многоголосо заявить о себе и по возможности точно запечатлеться в рукописи. Когда я читаю вслух перед публикой свои давно сбежавшие от меня или присвоенные читателем книги, где написанное и выраженное обрело нанец покой, — именно тогда я охотнее всего встречаюсь с ними. Тогда перед молодой, рано отлученной от языка, перед седоголовой, но все еще не насытившейся публикой написанное и выраженное слово опять становится устным. И из раза в раз эти чары действуют. Так писатель шаманством зарабатывает себе на хлеб с маслом. И хотя пишет он вопреки протекающему времени, хотя навирает с три короба склáдных правд, ему верят, верят его непроизнесенному обещанию "Продолжение следует..."

Но каким образом я стал писателем, стихотворцем, рисовальщиком — все сразу на пугающе белой бумаге? Какое доморощенное зазнайство сумело подстрекнуть ребенка на подобную наглость? Чуть ли не в двенадцать лет я твердо решил, что хочу стать художником. Это было тогда, когда у нас дома, неподалеку от предместья Данциг-Лангфур, разразилась вторая мировая война. Профессиональная специализация в поэтической области началась лишь в следующем, военном году, когда журнал гитлерюгенд "Хильф мит!" сделал мне заманчивое предложение участвовать в литературном конкурсе. Были обещаны премии. И я тотчас начал писать в черновой тетради свой первый роман. Под влиянием семейной истории моей матери я назвал его "Кашубы", но действие происходило не в среде ныне исчезающей маленькой кашубской народности, а в тринадцатом столетии, во времена междуцарствия, в страшные времена безвластия, когда грабители, рыцари-разбойники хозяйничали на дорогах и мостах и крестьяне могли спасаться только по собственным законам — самосудом.

Насколько помню, после краткого изложения экономического положения в кашубских землях, я сразу же вывел на сцену разбойников с их грабежами и резней. Там настолько яростно душили, кололи, пронзали и с помощью виселицы или меча чинили самосуд, что к концу первой главы все основные герои и добрая часть второстепенных были убиты, зарыты или брошены на скорм воронью. Поскольку чувство стиля не позволя-

ло мне дать возможность мертвецам выступать в виде призраков и превратить роман в "ужастик", моя попытка оказалась несостоятельной, и "Продолжению следует..." весьма скоро был положен конец; не навсегда и не насовсем, однако начинающий автор получил четкое предостережение в будущих повествованиях обходиться с вымышленными персонажами осмотрительнее и экономнее.

Но сперва я вчитывался в книги. Читал я особым способом: заткнув указательными пальцами уши. Тут надо пояснить, что мы с младшей сестрой росли в стесненных условиях — в двухкомнатной квартире, где у нас не было ни собственной каморки, ни хотя бы своего уголка. Теперь-то я понимаю, что это имело свои преимущества, ибо таким образом я рано научился концентрироваться, не обращая внимания на окружающих и на шумы. Словно закрытый под колпаком для сыра, я настолько погружался в книгу и изображенный там мир, что мать, склонная к шутке, чтобы показать соседке мою полную отрешенность, как-то заменила лежавший около моей книги бутерброд, от которого я время от времени откусывал, бруском мыла (кажется, "Пальмолив"), и обе женщины — мать даже с некоторой гордостью — стали свидетельницами того, как я, не отрывая глаз от книги, потянулся к мылу, откусил кусочек и добрую минуту жевал, прежде чем оторвался от описываемых событий.

Эта ранняя тренировка в умении концентрироваться еще и сегодня дает себя знать; но так одержимо я уже никогда больше не читал. Книги находились в шкафчике за голубыми занавесками. Моя мать была членом книжного клуба. Романы Достоевского и Толстого стояли там рядом с книгами Гамсуна, Раабе и Викки Баум. Под рукой была и "Сага о Иёсте Берлинге" Сельмы Лагерлёф. Позже я кормился в городской библиотеке. Но толчок, пожалуй, дали книжные сокровища моей матери. Владелица лавки колониальных товаров, расчетливая деловая женщина, обслуживавшая в долг своих ненадежных покупателей, любила прекрасное, наслаждалась передаваемыми по дешевому радиоприемнику мелодиями из опер и оперет, с удовольствием слушала мои многообещающие истории, часто ходила в городской театр, куда иной раз брала с собой и меня.

Но эти бегло набросанные эпизоды из пережитого мной в тесноте мелкобуржуазного быта, который я несколько десятилетий назад с эпическим размахом расписал в другом месте и с выдуманными персонажами, годятся лишь для того, чтобы помочь мне ответить на вопрос, как я стал писателем. Конечно, можно ссылаться на способность к долгим мечтаниям, на любовь к каламбурам и игре словами, на стремление врать безо всякой корысти для себя и только из-за того, что иначе изображение правды было бы слишком скучным, — короче говоря, на то, что достаточно расплывчато называют дарованием; но обрести добротную тяжесть легковесному таланту помогло стремительное вторжение политики в семейную идиллию.

Любимый кузен моей матери, кашубского, как и она, происхождения, служил на польской почте в Вольном городе Данциге. Он часто приходил к нам, всегда был желанным гостем. Когда в начале войны здание почты на площади Гевелиуса некоторое время приходилось защищать от атак доморощенных эсэсовцев, мой дядя был в числе капитулировавших, которых судили по законам военного положения и расстреляли. Вдруг этого дяди не стало. Вдруг о нем перестали говорить. Как будто и не было его. Но чем очевиднее было его отсутствие, тем прочнее сидел он в моей голове; и продолжалось это многие годы — и когда в пятнадцать лет я облачился в униформу, в шестнадцать научился страху, в семнадцать попал в американский плен, в восемнадцать обрел свободу и занялся торговлей на черном рынке, затем освоил профессию камнетеса и скульптора, упражнялся в художественных академиях, писал и рисовал, рисовал и писал легковесные стихи, гротескные одноактные пьесы. Так оно и шло до тех пор, пока для меня с моим словно врожденным

чувством эстетического удовольствия масса материала не стала слишком громоздкой. И под ее грудой лежал любимый кузен моей матери, расстрелянный служащий польской почты, закопанный, чтобы я — кто же еще? — его нашел, вырыл и под другим именем и в ином образе пробудил к жизни с помощью повествовательного дыхания; на сей раз, правда, я писал роман, чьи главные и второстепенные фигуры, бодрые и исполненные жажды жизни, прошествовали через многие главы, а иные даже выдержали до конца, так что постоянное авторское обещание "Продолжение следует..." было исполнено.

И так далее, и так далее. Опубликование обоих моих первых романов "Жестяной барабан" и "Собачьи годы" и промежуточной повести "Кошки-мышки"[1] рано научило меня, все еще относительно молодого автора, что книги могут вызвать возмущение, гнев, ненависть. Что порожденное любовью к своей стране может быть воспринято как осквернение собственного гнезда. С тех пор я считаюсь спорным писателем.

В этом смысле я нахожусь в хорошем обществе, если вспомнить изгнанных в Сибирь или еще куда-нибудь писателей. Поэтому не будем жаловаться. Скорее мы должны воспринимать состояние перманентной спорности как живительное и подобающее риску нашей профессии. Так уж получается, что те, кто творит события из одних только слов, охотно и намеренно плюют в суп тем властителям, которые постоянно отстаивают свое право на место на скамье победителей, — это заставляет историю литературы вести себя соответствующим образом по отношению к развитию и совершенствованию методов цензуры.

Господин Плохое Настроение заставил Сократа выпить чашу с ядом до дна, отправил Овидия в ссылку, заставил Сенеку вскрыть вены. Список запрещенных католической церковью книг веками украшали — и ныне еще пополняют — прекраснейшие литературные плоды, взращенные в западноевропейских садах культуры. Насколько цензурные меры, применявшиеся абсолютной властью княжеств, задержали европейское Просвещение? Сколько немецких, итальянских, испанских и португальских писателей фашизм изгнал из их стран, с их языкового пространства? Сколько писателей стали жертвами ленинско-сталинского террора? И каким насилиям подвергаются писатели еще сегодня, будь то в Китае, Кении или Хорватии?

Я происхожу из страны Книжных Костров. Мы знаем, что страсть к уничтожению — тем или иным способом — ненавистной книги все еще или уже опять согласуется с духом времени, а порой находит и телегенное выражение, а значит — зрителей. Но гораздо хуже, что и сейчас во всем мире писателей преследуют, убивают или их жизни угрожают, и весь мир привык к этому продолжающемуся террору. Правда, та часть мира, которая называет себя свободной, возмущенно кричит, как то было, когда в Нигерии в 1995 году выступавший против варварского отношения к природе своей страны писатель Кен Саро-Вива был вместе с соратниками приговорен к смерти и казнен[1], но тут же она переходит к очередному пункту повестки дня, потому что экологически обоснованный протест может помешать бизнесу глобально господствующего нефтяного гиганта Шелла.

Почему же книги вместе с их авторами столь опасны, что государство и церковь, медиа-концерны и всякие политбюро считают необходимым прибегать к противодействию? Ведь лишь в редких случаях речь идет о прямых выпадах против господствующей в данный момент идеологии, вслед за которыми следует приказ молчать или что-либо похуже. Зачастую достаточно литературного свидетельства, что правда плюралистична — так же, как существует

1. В "ИЛ" "Кошка и мышь".

1. Кен Саро-Вива (1941—1995) — нигерийский писатель, правозащитник; стоял во главе движения против нефтяной империи Шелла, по вине которой в стране разразилась экологическая катастрофа; в 1994 г. был приговорен к смерти и, несмотря на широкую волну протеста, казнен в 1995 г.

не одна действительность, а множество действительностей, — чтобы истолковать это свидетельство как нечто опасное, нечто убийственное для тех или иных стражей одной и единственной правды. Подозрительным, наказуемым делает писателя самая сущность его профессии — то, что он не может оставить в покое прошлое, вскрывает слишком быстро зарубцевавшиеся раны, раскапывает в запертых погребах трупы, заходит в запретные комнаты, поедает священных коров, как это сделал Джонатан Свифт, рекомендует барской английской кухне разделать на ростбиф ирландских детей, что для него вообще ничто не свято, даже капитализм. Но наихудшее прегрешение писателя состоит в том, что он не хочет со своими книгами шествовать вместе с победителем, а скорее предпочитает вертеться там, где на обочине исторических процессов стоят проигравшие, которые многое могут рассказать, но не получают слова. Тот, кто наделяет их голосом, ставит победу под сомнение. Кто окружает себя проигравшими, принадлежит к их числу.

Конечно, властители, облаченные в одежды тех или иных времен, вообще-то ничего не имеют против литературы. Они даже хотели бы иметь ее в качестве комнатного украшения и готовы поддерживать. Ныне она должна быть занимательной, быть частью культуры развлечений, то есть видеть не только негативное, а скорее давать обделенному человеку лучик надежды. В сущности, всегда есть потребность в "положительном герое", хотя и не в столь нормативной форме, как во времена коммунизма. В нынешних бескрайних джунглях свободного рынка какой-нибудь Рэмбо вполне может появиться откуда угодно и со смехом мостить трупами свой путь к успеху; какой-нибудь проказник, готовый быстро трахнуться между двумя выстрелами, победитель, оставляющий за собой кучу облапошенных, — короче говоря, герой, предъявляющий нашему глобализированному миру свою пахучую метку. И этой потребности в крутом молодце соответствуют и услужливые масс-медиа: Джеймс Бонд породил множество подобных себе типов, совсем как клонированная Долли. Как и у него — хладнокровного супермена, — добро и впредь должно побеждать зло.

Значит ли, что его противоположность или противник — отрицательный герой? Вовсе не обязательно. Как вы могли заметить по моим книгам, я вышел из мавританско-испанской школы плутовского (пикарескного) романа. Сквозь века она сохранила как традиционную модель борьбу с ветряными мельницами. Пикаро живет за счет комичности неудачи. Он мочится на столпы власти, расшатывает их, но вместе с тем знает, что ни разрушить святилище, ни опрокинуть трон он не в силах. Но стоит моему пикаро проплестись мимо, как возвышенное обнаруживает свой довольно-таки жалкий вид, а трон начинает немножко качаться. Свой юмор плут извлекает из отчаяния. В то время как в Байройте перед высокопробной публикой бесконечно тянутся "Сумерки богов", он только подсмеивается, ибо в его театре рука об руку идут комедия и трагедия. Он издевается над уверенно шествующими победителями, заставляя их то и дело спотыкаться. И хотя это вызывает у нас смех, смех этот особого свойства: он застревает в горле; даже самый остроумный циник скроен здесь на трагический лад. К тому же, с точки зрения окрашенных в красные или черные цвета критиканов, он формалист, более того, первостатейный маньерист: он держит бинокль перевернутым. Время пребывает у него на маневренном пути. Он повсюду расставляет зеркала. Никогда не знаешь, чей он в тот или иной момент глашатай. Ради заманчивой перспективы на арене у пикаро даже лилипуты справляются с великанами. Так Рабле всю свою деятельную жизнь скрывался от нечестивой полиции и святой инквизиции, потому что его исполины Гаргантюа и Пантагрюэль поставили вверх ногами выстроенную по схоластическим законам жизнь. Какой гомерический хохот вызывала эта парочка! А когда Гаргантюа всей своей широченной

задницей расселся на башнях Нотр-Дам и, мочась оттуда, затопил Париж, успевший увернуться от струй люд смеялся. Или — еще раз призовем в свидетели Свифта: его приправленный специями план уменьшить голод в Ирландии можно было бы и сейчас применить на практике — скажем, на ближайшей встрече в верхах по вопросам мировой экономики подать на стол для глав государств изысканно приготовленных детей, но не ирландских, а бразильских, или же южносуданских уличных мальчишек. Эта художественная форма называется сатирой. Как известно, щекотать нерв смеха ей дозволено чем угодно, пусть даже ужасами.

Когда 2 мая 1973 года Генрих Бёлль читал свою Нобелевскую лекцию, в которой он говорил о противостоянии вызывающих столь разные чувства понятий, как разум и поэзия, он в последней фразе речи пожаловался на то, что из-за недостатка времени ему "пришлось опустить юмор, который тоже не является классовой привилегией и в котором не замечают ни поэзии, ни таящегося в нем сопротивления". Нет, Генрих Бёлль знал, что отодвинутый на обочину и едва читаемый сегодня Жан Поль имеет свое место в паноптикуме немецких светил, что к литературному творчеству Томаса Манна с тогдашней как правой, так и левой точки зрения относились с иронической подозрительностью; от себя добавлю: и сегодня еще так относятся. Бёлль имел в виду, конечно, не ходячий хохмаческий юмор, а скорее неслышный смех меж строк, хронические приступы грусти у его клоуна, комизм отчаяния коллекционера, собирающего молчание! Кстати, подобные приемы — в виде возвещений типа "Продолжение следует..." — зачастую используют авторитетные масс-медиа, и они в качестве "добровольного самоконтроля" на свободном Западе и являются благовидной маскировкой цензуры.

К началу пятидесятых годов, когда я осознанно начал писать, Генрих Бёлль был уже известным, хотя и непризнанным писателем. Вместе с Вольфгангом Кёппеном, Гюнтером Айхом и Арно Шмидтом он стоял в стороне от реставрируемого тогда культурного движения. Молодая послевоенная литература туго справлялась с немецким языком, развращенным под властью национал-социализма. К тому же путь поколению Бёлля, а также более молодых писателей, к числу которых принадлежал и я, преграждал запретительный знак в виде фразы Теодора Адорно. Цитирую: "Писать после Освенцима стихи — это варварство, оно подтачивает и понимание того, почему сегодня невозможно писать стихи..."

Значит, никакого больше "Продолжения следует..." Тем не менее мы писали. Воспринимая, разумеется — подобно Адорно в его книге "Minima Moralia. Размышления об искалеченной жизни" (1951), — Освенцим как цезуру и незаживающую трещину в истории цивилизации. Только так можно было обойти этот запретительный знак. И все же сделанное Теодором Адорно зловещее предупреждение имеет силу еще и сегодня. Его открыто игнорировали писатели моего поколения. Молчать не хотел, не мог никто. Речь ведь шла о том, чтобы вызволить немецкий язык из маршевого порядка, вырвать его из идиллий и голубой душевности. Для нас, обжегшихся детей, было важно отречься от незыблемых авторитетов, от идеологических штампов "белое" или "черное". Сомнение и скепсис шли рука об руку; словно подарком, они наделяли нас множеством серых ценностей. Я, во всяком случае, наложил на себя эту эпитимью, чтобы лишь потом открыть богатство объявленного полностью виновным языка, его соблазнительную мягкость, его мечтательную склонность к глубокомыслию, его гибкую твердость, его диалектные переливы, его простоту и многозначность, его чудачества и расцветающую в конъюнктивах красоту. И это вновь обретенное богатство надо было пустить в ход — вопреки Адорно или же воодушевляясь вердиктом Адорно. Только так можно было продолжать писать после Освенцима — будь то стихи или проза. Только так, став памятью и не отринув прошлого, немецкоязычная

послевоенная литература могла оправдать перед собой и перед позднее родившимися общепринятый литературный обычай – "Продолжение следует..." И только так удалось сохранить рану открытой и отменить желанное или предписанное забвение посредством эпического зачина "Жил-был когда-то..."

В чьих бы интересах ни требовалось подвести черту, каким бы обвинениям ни подвергался возврат к нормальности и как бы ни пытались выдать позорное прошлое за далекую историю – литература не поддавалась этому сколь понятному, столь и безрассудному соблазну. И это правильно! Ибо всякий раз, когда в Германии провозглашался Час Ноль, конец послевоенного времени, – в последний раз это было десять лет назад, когда пала Берлинская стена и единство Германии зафиксировали на бумаге, – всякий раз нас снова настигало прошлое.

В то время, в феврале 1990 года, я читал во Франкфурте-на-Майне студентам лекцию под названием "Послание в Освенцим". Я подводил итог, давал отчет – книгу за книгой. Так я дошел до изданной в 1972 году книги "Из дневника улитки", в которой колеи прошлого и настоящего то скрещивались, то пролегали параллельно, а то и сталкивались. Поскольку сыновья мои требовали определения моей профессии, я написал в книге: "Писатель, дети мои, – это человек, пишущий против уходящего времени". А студентам сказал: "Такая позиция предопределяет, что автор не отрывается от земли, не замыкается вне времени, он глядит на мир как современник, более того, не бежит от переменчивых коллизий уходящего времени, а вмешивается и принимает чью-то сторону. Опасности такого вмешательства и принятия чьей-то стороны известны: писатель рискует утратить надлежащую дистанцию; его язык может поддаться искушению довольствоваться малым; стесненность сиюминутных обстоятельств может стеснить и его тренированное на свободный полет воображение, ему грозит опасность удушья".

Проявившейся когда-то склонности к риску я сохраняю верность в течение десятилетий. Но чем была бы наша профессия без риска? Ладно, подобно литературному чиновнику, писатель мог бы обеспечить себе безбедное существование. Однако по отношению к действительности он был бы пленником своей боязни соприкосновения с нею. Из страха потерять дистанцию он сам потерялся бы в дальних далях, где мерцают мифы и славит себя величие. Нет, современность, постоянно становящаяся прошлым, догонит его и учинит допрос. Ибо каждый писатель вписан в свое время, как бы пламенно он ни заверял, что родился слишком рано или слишком поздно. Не он самовластно выбирает тему, скорее она предопределена ему. Я, во всяком случае, не мог свободно решать. Будь дело только в моем влечении, я попробовал бы себя в чисто эстетических играх и беззаботно, равно как и безобидно, предавался бы шутовству.

Но так не получалось. Возникало сопротивление. Вышвырнутые из чрева немецкой истории, кругом лежали груды обломков и падали. И стоило только зажмуриться, как эта масса материала увеличивалась в объеме. К тому же я происхожу из семьи беженцев. И сознание того, что потеря родины безвозвратна, явилось дополнительным стимулом, прибавилось ко всему тому, что движет писателем от книги к книге, – обычному честолюбию, боязни скуки, эгоцентризму. В процессе повествования я хотел не вернуть – нет! – разрушенный, потерянный город Данциг, а присягнуть ему. Я упрямо хотел доказать себе и своим читателям, что потерянное не должно бесследно кануть в забвение, благодаря литературному искусству оно должно снова обрести плоть – во всем своем величии и жалком ничтожестве, с церквами и кладбищами, шумом верфей и запахом усталого прибоя Балтийского моря, с давно заглохшим языком, этой конюшенно-теплой жвачкой, с прегрешениями, подходящими для исповеди, и безнаказанными преступлениями, от которых никакой исповедью не очиститься.

Потери подобного рода стали

питательной почвой и для других одержимых навязчивой идеей писателей. Во всяком случае, несколько лет назад мы в разговоре с Сальманом Рушди согласились, что для него, как для меня мой потерянный Данциг, его потерянный Бомбей оказался разом источником и помойкой, началом начал и центром мироздания. Такая самоуверенность, такая экзальтация свойственны литературе. Они — предпосылка для повествования, способного нажимать на все педали. Филигранная искусность, тонкий психологизм или реализм, неправильно понимаемый как точная копия оригинала, непригодны для того, чтобы освоить огромную массу материала такого рода. Сколь многим ни обязаны мы по просветительской традиции разуму, абсурдный ход истории глумится над всякими разумными объяснениями.

Подобно тому как Нобелевская премия, если отвлечься от всякой ее торжественности, покоится на открытии динамита, который, как и другие порождения человеческого мозга — будь то расщепление атома или также удостоенная премии расшифровка генов, — принес миру радости и горести, так и литература несет в себе взрывчатую силу, даже если вызванные ею взрывы становятся событием не сразу, а, так сказать, под лупой времени и изменяют мир, воспринимаясь и как благодеяние, и как повод для причитаний, — и все во имя рода человеческого. Сколько времени потребовалось процессу европейского Просвещения от Монтеня до Вольтера, Дидро, Канта, Лессинга и Лихтенберга, чтобы донести коптилку разума до темнейших уголков схоластического мрака! И как часто этот лучик гас. Иллюминирование разумом замедляла цензура. Когда же свет иллюминации разливался во всю ширь, это был уже остывший, ограничивающийся технически возможным, сосредоточенный лишь на экономическом и социальном прогрессе разум, который выдавал себя за Просвещение и любыми средствами вдалбливал своим рассорившимся с самого начала детям — капитализму и социализму — псевдонаучный жаргон и указывал правильный на данный момент путь к прогрессу.

Сегодня мы видим, куда привели мир гениально неудавшиеся Просвещению дети. Мы можем судить, сколь опасно положение, в которое нас бросил вызванный словами и приведший лишь к потере времени взрыв. Разумеется, мы пытаемся средствами Просвещения — других у нас и нету — уменьшить ущерб. Мы с ужасом видим, что с тех пор как брат капитализма социализм объявлен умершим, капитализм обуяла мания величия и он стал вовсю бесноваться. Он повторяет ошибки своего объявленного умершим брата, догматизируется, выдает за единственную истину рыночную экономику, он опьянен своими прямо-таки безграничными возможностями и делает сумасшедшие ставки, занимаясь всякого рода слияниями в мировом масштабе. Неудивительно, что капитализм, как и сам в себе задохнувшийся социализм, оказывается не способным к реформированию. Его диктат называется глобализацией. И снова с высокомерием непогрешимости утверждается, что этому нет альтернативы.

Следовательно, конец истории. Незачем нетерпеливо ждать "Продолжения следует..." Или же можно надеяться, что раз уж политике, и без того передавшей экономике все права на принятие решений, не приходит в голову какая-либо возможность пошатнуть новый догматизм, то хоть литература что-нибудь придумает?

Но может ли такое взрывчатое повествование — динамит ведь! — обладать высоким литературным качеством? Достанет ли времени, чтобы дождаться запоздалой реакции? Можно ли представить себе книгу, в конце которой предлагается такой дефицитный товар, как будущее? Не таково ли сейчас положение, что литературе предписывается удалиться на покой, а молодым авторам в качестве игровой площадки выделяют разве что Интернет? Широко распространилось деятельное бездействие, известную ауру которому создает обманное слово "коммуникация". Время распланировано до коллапса человеческих возможностей. Западный

мир отдался во власть культурно-суетной тщеты. Что делать?

При моей безбожности остается только преклонить колена перед тем святым, который до сих пор все еще помогает мне сдвигать самые тяжелые обломки. Я заклинаю: святой угодник Сизиф, удостоенный милости Камю, прошу тебя, позаботься о том, чтобы камень не остался лежать наверху, чтобы мы и впредь могли катить его, чтобы мы, как и ты, были счастливы с нашим камнем и чтобы не обрывалась рассказываемая история о тяготах нашего существования.

Будет ли услышана моя молитва? Или же о продолжении человеческой истории суждено позаботиться, согласно новейшим веяниям, искусственно выведенному – клонированному – созданию?

Таким образом, я снова оказываюсь у начала своей речи и опять раскрываю роман "Крысиха", в пятой главе которого в сослагательном наклонении рассматривается вопрос о присуждении Нобелевской премии лабораторной крысе как представительнице миллионов других подопытных животных на службе исследовательской науки. И мне тут же становится ясно, как мало пригодны сегодня все увенчанные премиями изобретения для уничтожения бича человечества – голода. Правда, каждого, кто в состоянии платить, удается обеспечить новыми почками. Можно пересаживать сердце. Без провода звонить по телефону в любую точку Земли. Заботливо кружат вокруг нас спутники и космические станции. Благодаря хваленым достижениям науки придуманы и внедрены системы оружия, с помощью которых владельцы их могут многократно защитить себя от смерти. Что бы ни породила голова человеческая, все нашло свое поразительное воплощение. Вот только с голодом никак не справиться. Он даже увеличивается. Там, где бедность исконна, она оборачивается обнищанием. По всему миру растекаются потоки беженцев; сопровождает их голод. И никакая политическая воля, спаренная с научной искусностью, не исполнилась решимости положить конец буйно разрастающейся нищете.

В 1973 году, когда в Чили при активной благосклонности США начался террор, Вилли Брандт первым из немецких канцлеров произнес в ООН свою речь по случаю вступления в должность. Он заговорил о всемирном обнищании. Его восклицание "Голод – это тоже война!" прозвучало так убедительно, что разразилась буря аплодисментов.

Я присутствовал при этой речи. В то время я работал над романом "Палтус", в котором речь шла о первенствующей основе человеческого существования – о питании, то есть о нехватке и изобилии, о больших обжорах и бесчисленных голодающих, о радостях нёба и хлебных корках со стола богачей.

Эта тема осталась насущной. Накоплению богатств бедность отвечает своим ускоренным разрастанием. Какими бы мерами безопасности ни отгораживались богатые Север и Запад от бедного Юга и как бы ни запирались они в своих крепостях, потоки беженцев все равно доберутся до них, никакие запоры не выдержат натиска голодающих.

В будущем об этом расскажут. В конце концов наш роман должен иметь продолжение. И даже если одним непрекрасным днем перестанут или запретят писать и печататься, если книг как средства выживания нельзя будет достать, найдутся повествователи, которые оживят нас своим дыханием, на новый лад прядя нити старых историй: громко и тихо, расчесывая и заплетая их, то смеясь, то плача.

Перевод с немецкого Наталии Тишковой

Что может литература?

Беседа Хуана Гойтисоло и Гюнтера Грасса[1]

Хуан Гойтисоло. Мне хотелось бы в начале процитировать статью Гюнтера Грасса: "Чему служит литература, если будущее предстает перед нами как катастрофа, уже объявленная и предрекаемая ужасающей статистикой? О чем еще можно писать, если каждый день приносит нам многочисленные примеры, подтверждающие готовность рода человеческого разрушить себя и все живое на земле, и способы для того имеются самые разные? После Освенцима можно измерить только одно — постоянную угрозу коллективного самоуничтожения с помощью ядерной энергии, отныне придающей "окончательному решению" мировой масштаб. Будущее предстает в значительной степени исчерпанным или, если угодно, разрушенным. Теперь это не более чем проект, у которого большие шансы быть попросту отброшенным".

Те, кто одержал победу в "холодной войне", теперь близки к успеху в неслыханном в истории деле — оболванивании рода людского посредством хитроумного сочетания технонауки и технорынка. Путями совершенно непредвиденными мы приближаемся к отрицательным утопиям. Вот почему первый вопрос может показаться нелепым: как же может литература защитить человечество от этой запрограммированной катастрофы?

Гюнтер Грасс. Я был молодым немецким писателем, когда столкнулся с этим проклятым вопросом. В конце второй мировой войны мне едва исполнилось семнадцать лет. У меня имелись собственные художественные замыслы, но я очень скоро почувствовал, что для моего поколения и для авторов, уже ставших частью немецкой литературы, которая тогда начала возрождаться, центральные темы были уже определены: развязанная Германией преступная война, полная капитуляция, преступления и их трагическая тень. В то же время, в начале 50-х годов, я ощутил в суверенной Западногерманской республике — и такой же была ситуация в Восточной Германии — цензуру относительно прошлого. Некоторые политические лидеры и даже некоторые интеллектуалы придумывали легенды. Они говорили о бедном обманутом народе, которым манипулировали "хамельнские флейтисты". Но я-то в то горькое время был ребенком, потом подростком, и я прекрасно помнил, что все происходило при ярком свете дня. Ложь была очевидной, но после 1945 года большинство немцев приняли за правило помалкивать, укрыть все покрывалом забвения и оставить как есть.

Молодая литература хотела откликнуться именно на эту ситуацию. С самого начала мы выступали против таких умолчаний, против такой забывчивости. И я отстаивал свою позицию, борясь с официальными попытками примиренчества, со статус-кво и историографией, которая упорно старалась спрятать, а иногда и исказить прошлое, утаивая правду от новых поколений. И одна из задач литературы — этому помешать.

Генрих Бёлль и я всегда возражали против того, чтобы нас называли "совестью нации". Какая глупость: быть совестью нации, чтобы облегчить ей груз обязанностей, дать почувствовать себя свободной от ответственности перед собственной совестью — для писателя такое невозможно. Несмотря ни на что немецкие писатели обнажили то, что таилось под слоем лжи или замалчивалось. Напомнить — вот необходимая работа, которую они проделали. Именно в этом состояла их историческая за-

© The New York Times Syndicate, 2000
© В. Иорданский. Перевод, 2000

1. Беседа состоялась в Мадриде в ноябре 1997 г.

дача, хотя у такого дела не может быть завершения.

Х.Г. Мы в Испании пережили такое же явление амнезии, забывчивости между 1975 и 1978 годами, об этом во время перехода к демократии договорились все политические силы. Но мне хотелось бы коснуться иной темы. С 1989 года, то есть с момента падения Берлинской стены, человечество испытало сильнейший откат назад. Налицо неуклонный распад государства-защитника, атомизация рабочего класса, обвальное снижение числа членов профсоюзов, разочарование в республиканских принципах. Под влиянием господствующих установок люди смиряются с произволом и властью силы, а также с победным шествием карикатурного, сведенного к набору формул либерализма: рынок, отказ от регулирования, конкуренция, гибкость, производительность, способность к перемещению и так далее. Если коротко: нас уверяют, что ради защиты национальных интересов следует выставить национальный рабочий класс за дверь. А Европейский союз, о котором так много говорят, ведет себя просто как союз банкиров. Но самое поразительное, что интеллигенция эпохи постмодернизма взирает на это безобразие в полном молчании.

Г.Г. Действительно, мы живем при разнузданном капитализме, который совершенно очевидно находится в состоянии саморазрушения. Но он разрушает и нас. И первыми страдают те, кто трудится, кто из-за нехватки работы рискует быть отторгнутым от системы. Мы переживаем странную метаморфозу общества. Раньше было абсолютно ясно, что такое асоциальный тип, маргинал. Это был человек, не желавший работать, вечно торчавший на углу улицы — руки в карманах. Сегодня же асоциальный тип разъезжает на "мерседесе", входит в административный совет "Даймлер-Бенца" или "Сименса" и перед своими акционерами похваляется тем, что его предприятие не платит налогов в Германии. Эти люди гордятся своей антиобщественной позицией и бахвалятся, как быстро им удалось перевести многочисленные заводы за границу и набрать там низкооплачиваемых рабочих...

Модный лозунг "Обогащайтесь" в особом ходу в новых восточных землях. Они не присоединились добровольно к Западной Германии, что было бы в духе принципов объединения, но были аннексированы путем экспроприации. Ныне Западной Германии принадлежит до девяноста процентов производительного капитала бывшей ГДР. И права, приобретенные в ходе этого гигантского предприятия по замене собственника, теперь будут передаваться из поколения в поколение. Вроде того, как графы фон Турн унд Таксис продолжают владеть на юге Германии огромными землями, приобретенными мошенническим путем еще в XIV веке.

Таково положение нашего общества: на наших глазах внезапно рассыпаются многие демократические ценности и республиканские завоевания — то, что было завоевано за долгие годы борьбы по очеловечиванию дикого капитализма.

Что делать? Прежде всего вернуть былую ценность старым и иной раз забытым идеалам века Просвещения, "европейской славы", солидарности, братства. Затем осознать, что дальше так продолжаться не может. Какое-то движение уже начинает ощущаться. Во многих европейских странах избиратели отвергают эксплуататорский капитализм и требуют социальной защиты, не отказываясь при этом от рыночной экономики.

То же касается Европейского союза. Европа должна стать чем-то иным, а не просто союзом экономических сил, если хочет быть достойна своего названия. Она испытывает потребность в подлинной "социальной хартии", в подлинной европейской культуре. Недостаточно каждый год называть новую "европейскую культурную столицу" и выделять ей финансовую помощь. Это чистой воды показуха. Нет, Европа — это нечто большее, чем способны вообразить предприниматели и деловые люди. Тем надо только одно — больше рынка. Все захватывающий,

все захлестывающий рынок подавляет личность. Это неверное решение.

Относительно молчания интеллектуалов в Германии мне хотелось бы заметить, что многие из моих товарищей — людей моего поколения, — считавшие себя в 60-е и 70-е годы много левее меня и с презрением критиковавшие мою позицию как "социал-демократическую", сегодня так поправели, что, если бы я захотел к ним обратиться, мне пришлось бы выворачивать шею, пока не хрустнут позвонки. Не правда ли, любопытная перемена?

Х.Г. К несчастью, очень распространенная. То же самое можно сказать о многих испанских писателях, интеллектуалах. Проблема в следующем: как подступиться к этому разрушительному капитализму? Мы убеждаемся, что, как в Европе, так и в Америке, он выпихивает на обочину целые классы. Путешествуя по Соединенным Штатам, видишь, что количество отторгнутых с каждым днем растет — растет с ужасающей скоростью. А какое будущее ожидает в этом контексте Африку, если известно, что предоставляемые ей займы — лишь ничтожная часть того, что у нее крадут, недоплачивая за сырье и сельскохозяйственные продукты?

Все это, будучи плодом "единой мысли", благоприятствует тому, что мексиканский писатель Октавио Пас назвал "возмездием сепаратизма". Как и наступлению всех разновидностей религиозного фундаментализма. В средствах массовой информации много говорят об исламском фундаментализме, который, конечно же, существует и совершил немало гнусных преступлений, среди прочего и в Алжире после 1992 года. Но имеются и иные формы фундаментализма: преследующий мусульманское и христианское меньшинства индуистский интегризм, о котором говорят меньше; свирепствующий в израильских поселениях на оккупированных территориях еврейский фундаментализм; католический фундаментализм в Хорватии; и худший из всех, в любом случае самый смертоносный в последние годы — сербский национализм, без колебаний назвавший творца геноцида в бывшей Югославии Слободана Милошевича "сыном Иисуса Христа".

Параллельно возникают националистические формы фундаментализма с их мифологизацией прошлого. Основываясь на абсолютно ложных предпосылках, они не перестают проповедовать призрачный возврат к Золотому веку. Мадридская газета "Паис" недавно опубликовала пугающие заявления отца баскского национализма Сабино Араны. Их жесткий расизм живо напомнил мне фашистский жаргон фаланги в 1936 году. И тот же стиль, те же самые выражения мы обнаруживаем у виновных за геноцид в Боснии.

Все эти националисты — люди, одержимые одной мыслью: о вычитании. А ведь самое важное в культуре — сложение. В действительности культура — это сумма всех испытанных ею внешних влияний. Претенциозный поиск единого корня, единого духа приводит не только к разрушению данной культуры, но к наихудшим крайностям — к экстремистским действиям националистов. И мне хотелось бы знать, как восприняли в Германии это возвращение национализма и фундаментализма.

Г.Г. В Германии положение остается неясным. За исключением нескольких группок не существует сколько-нибудь сильного националистического движения. К тому же налицо неспособность немцев определить себя как нацию, поскольку опыт национал-социализма дискредитировал это слово. Среди молодежи царит такая растерянность, что временами она подталкивает их к экстремистским позициям.

Другое дело — официальная политика. Когда на Балканах началась гражданская война, население и под его нажимом правительство были вполне расположены приютить беженцев. Германия приняла из Боснии больше беженцев, чем любая из европейских стран. Но однажды тогдашний министр внутренних дел г-н Манфред Кантер решил все это прекратить. Вот почему на сегодняшний день у нас сложилась скандальная

ситуация, ибо около четырех тысяч беженцев, не совершивших никакого проступка и вынужденных бежать из Нигерии, Турции или Алжира по политическим мотивам, оказываются в тюрьмах и ждут, что их передадут властям покинутых ими стран. Случается, что осведомленная немецкими коллегами нигерийская или алжирская полиция ожидает беглецов у трапа самолета, бросает в тюрьму и подвергает пыткам. Первоначально немецкая печать сообщала о подобных историях и протестовала, но повторение столь бесчеловечных акций, к несчастью, привело к тому, что средства массовой информации к этому притерпелись.

Сама капиталистическая система ведет себя как истинно фундаменталистская власть. Провозглашается заблуждением и осуждается все, что не является частью рынка (рынок же сам решает, что является, а что нет его частью). Этот принцип защищают с исключительным фанатизмом, хотя и более изощренными, чем у исламских фундаменталистов, методами. Нет никакой нужды прибегать к террору. Все решается на бирже, с помощью целого словаря новых терминов, таких, как глобализация, *мондъялизация*, словно речь идет о безотказном рецепте от всех болезней и наша судьба неотвратима. В своей роли крепости Европа – это скорее кошмар, чем надежда, и я все же полагаю, что до вероятного объединения, самым крупным символом которого стал евро, нам дозволят сформулировать несколько вопросов, не измеряемых на денежный аршин.

У нас в Германии право национальности сложилось в XIX веке. Это право не позволяет получить гражданство тысячам живущих среди нас молодых людей, говорящих по-немецки лучше, чем на языке своих родителей, прибывших из Турции и целого ряда других стран. Читая статьи этого закона, я наталкиваюсь на совершенно иррациональные выражения, вроде "Чтобы стать немцем, нужно иметь "немецкую кровь". Я умею отличить хорошее вино от плохого или разбавленного. Но выше моих сил измерить то, что есть немецкого в моей крови. Мои предки были izaschuben (славяне из Данцига). А наилучшие культурные достижения получаются путем смешения.

В одном моем романе речь идет о писателе Теодоре Фонтане. Семья Фонтане эмигрировала в Германию, в Бранденбург, потому что из Франции изгоняли гугенотов. В XIX веке эта иммиграция обогатила немецкую культуру – дала таких значительных писателей французского происхождения, как Шамиссо, Фуке, Фонтане. Ничего подобного не было бы возможно при нынешнем законе о гражданстве.

Х.Г. В Испании, стране эмигрантов, проблема второго поколения даже не возникает. Новые богатые и новые европейцы создают образ общества. А такое сочетание взрывоопасно. Недавно проведенный среди мадридской молодежи в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет опрос показал, что семь процентов среди них – сторонники изгнания цыган, общины, живущей среди нас с XV века. Еще двадцать шесть процентов приветствовали бы высылку арабов, а двенадцать процентов – евреев, чья община чрезвычайно мала и совершенно незаметна: в головах у этих молодых людей сложился некий фантастический образ еврея.

Другое обследование недавно обнаружило, что у пятидесяти семи процентов населения сложилось негативное отношение к Марокко, и они испытывают недоверие к уроженцам Северной Африки. И вот во что такое недоверие вылилось. В прессе можно было прочесть, что армия готовится к уничтожению арсенала в шестьсот тысяч противопехотных мин. И одна газета написала: "В армейских арсеналах и пороховых погребах имеется около шестисот тысяч противопехотных мин, разработанных для того, чтобы убивать и калечить... Если их разместить на границе между Мелильей и Марокко, на квадратный метр пришлось бы по тридцать штук. До сих пор главной целью этого запаса мин было обеспечение непроницаемости двадцатикилометровой границы между Мелиль-

ей и Марокко. Их установка в случае конфликта имела бы предупредительный характер и, по мнению военных, помогла бы переориентировать направление возможного нападения на более легкие для защиты районы".

Будь такое сообщение (оно датировалось 21 сентября 1997 года) распространено в любой другой стране, оно вызвало бы среди интеллигенции бурю протестов. Здесь же никто не возвысил голоса. Как только такое могло прийти в голову: "непроницаемая" граница из мин, которые убивали бы людей, спасающихся от бедности и нищеты?

А безразличие, с которым на юге Италии встречают корабли, нагруженные трупами албанских беженцев? В районе Гибралтарского пролива вскоре, по всей вероятности, будут устраивать туристические поездки для фотографирования тонущих плотов с нелегальными иммигрантами... Мы движемся к совершенно бесчеловечному обществу... Недостаточно проповедовать терпимость, следует менять законы, для чего нужно вести борьбу против целого ряда экономических и юридических решений, усугубляющих невыносимое положение, немыми свидетелями которого мы все являемся.

Г.Г. Та же нерешительность — а лучше сказать, та же невозмутимость — наблюдается и в Германии. Очень немногие протестовали, когда правительство предложило Турции оставшиеся от армии бывшей ГДР танки и бронетранспортеры. Протестовавшие знали, что турки применят эти танки и эти бронетранспортеры против курдов. Турецкое правительство опубликовало в связи с этим опровержение, и немецкое правительство приняло его доводы. Однако доклады Международной амнистии и других организаций показывают, что танки применяются именно против курдов.

Я протестовал многократно, но всегда наталкивался на давнюю ложь. Жив догматизм, напоминающий средневековое мышление. Сегодня Галилей столкнулся бы с теми же проблемами, что и тогда, потому что нам снова навязывают схоластическое правило: то, что не должно существовать, не существует. Нас хотели бы заставить поверить во многое: к примеру, во время войны в Заливе нас хотели заставить поверить, что в Кувейте Запад защищал демократию и свободу.

Х.Г. Я бы сказал, что пережитое Галилеем отчасти сравнимо с нынешней долей Ноама Хомского. Но надо кое-что добавить. Один немецкий писатель, которого я долгое время уважал, во время войны в Заливе написал поистине удручающую статью. Там, в частности, говорится: "С 1933-го по 1945-й мы, немцы, были иракцами". Это совершенная ложь, ибо немецкий народ демократическим путем выбрал Гитлера. И немецкий народ нес ответственность за то, что Гитлер делал. Несчастный иракский народ, напротив, лишен возможности выбирать своих лидеров. Ответственность за развязывание войны в Заливе целиком ложится на Саддама Хусейна...

В ходе той приснопамятной войны в Заливе 1991 года о чем только ни говорили, при этом избегали употреблять два ключевых слова — "нефть" и "кровь". Кровь невинных жертв и нефть, представляющая стратегический интерес для Запада, и прежде всего для Соединенных Штатов.

Мне хотелось бы упомянуть интервью, в ходе которого вы возлагали все свои надежды на вероятный союз в Германии между социал-демократической партией и партией "зеленых" с тем, чтобы покончить с правым правительством Гельмута Коля... Существуют ли в Германии предпосылки для реальных перемен? <...>

Г.Г. Как гражданин, не как писатель, я осознал, что в отношениях с политическими партиями следует научиться бережно тратить силы, которыми располагаешь. Другое дело — мечты.

Начиная с 80-х годов либералы прогнозировали кончину европейского рабочего движения. Подобные

высказывания поддерживались даже социал-демократами. Однако этого не произошло. Мы видим, как растет, в особенности среди молодежи, безработица, как становятся все более хрупкими наши системы пенсионного обеспечения, когда возникает угроза, что тем, кто всю жизнь трудился, не будет обеспечена спокойная старость. Одно за другим рушатся завоевания, ради которых рабочее движение сражалось более ста лет. Так что временами, мой дорогой Гойтисоло, мне кажется, что в наших собственных странах мы двое — динозавры, одиночные исключения.

Боюсь, что у самого молодого поколения — и даже у поколения промежуточного — больше нет воли, чтобы принять эстафету. Однако же только от них зависит, удастся ли выйти из этой накатившей из США или откуда-то еще леденящей летаргии. Они должны выразить свои человеческие чувства, сострадание, им пора начать избавляться от скуки и эгоизма, пора решиться наконец взглянуть в лицо действительности. Ведь вырасти можно только в противостоянии с противником. Я сожалею о времени прошлых битв, и отсюда мой скептицизм. Окажемся ли мы в состоянии передать наш опыт новым поколениям?

Надеюсь, в Испании ситуация иная и там формируется поколение новых писателей-бунтарей.

Х.Г. Интеллигента отличает поиск бескорыстного, не приносящего немедленной выгоды знания. Литературная требовательность проявляется в требовательности нравственной по отношению к политике и к обществу. Конечно, можно найти примеры, когда авторы проявляют требовательность в политике, но не в литературе. Их творчество — прекрасное доказательство a contrario, что оба подхода абсолютно взаимосвязаны. Многие авторы считают, что подниматься на защиту "не приносящих выгоды", не шумных дел, так сказать, нерентабельно. Красноречивыми примерами служат боснийский эпизод или уничтожение людей в географически столь близком к нам Алжире. Средства массовой информации хранят полное молчание. Сюда можно бы еще добавить то, что происходит в Руанде или Курдистане. Это очень горько. Ведь вычеркнуть из поля зрения все эти проблемы значит вообще выкинуть из головы проблему уважения к человеческой личности. И это тревожит меня. Как и вас, меня беспокоит, какой будет наша смена. На недавней конференции в Нью-Йоркском университете американская писательница Сьюзен Сонтаг блистательно выразила свою тревогу по поводу одиночества диссидентствующих интеллектуалов в американском обществе.

Европа несет всю ответственность за разрушение африканских культур и политических реальностей. Она самым непростительным образом защищает тех, кто богател, обирая и эксплуатируя собственные народы, мелких тиранов, иной раз превращающих свои страны в собственность, как это сделал в Заире Мобуту. Речи, правда, меняются, но методы остаются прежними. Огромная ответственность ложится также на Францию, которая в зоне распространения французского языка издавна поддерживала диктаторов подобного типа. Читая сообщения об этих бедствующих странах, наблюдая за циничным подходом к ним такого хамелеона, как президент Франсуа Миттеран, хотелось воскликнуть: "Французский язык, какие только преступления не совершаются от твоего имени!"

Расистские преступления совершаются и здесь, в Испании. Несколько лет назад вышвырнули обитателей бидонвиля в Сан-Бласе, на окраине Мадрида, потому что занятая им земля понадобилась для какого-то строительства. И вот, нецыганские семьи получают жилье от мэрии, а цыганские отселяются в очень далекий район, в Вальдемингомес, где находится свалка городских отходов — одна из самых ядовитых зон в Европе. Случилось это в начале 1994 года; а 10 октября 1997 года я прочитал в печати следующую новость: "Специалисты управления здравоохранения составили план работ по

изучению того, как воздействует на здоровье людей близость заводов по сжиганию мусора в Вальдемингомесе; они намерены исследовать кровь обитателей зоны".

Эти специалисты пытаются выяснить, как воздействует дым заводов на здоровье составляющих группу риска людей — цыган, разумеется. Таким образом, нет нужды отправляться в Боснию или Руанду, в Чечню или в Алжир, чтобы убедиться в существовании подлинных гетто, из которых невозможно вырваться. Положение действительно скандальное и сохраняется оно по одной-единственной причине: цыгане и иммигранты не голосуют; следовательно, в политическом отношении от них пользы мало, а потому они не интересуют политические партии.

Г.Г. В отличие от Испании и других стран, в Германии преследование цыган было частью политики геноцида, а поэтому для немцев это мучительная тема. Они истреблялись в Освенциме, Треблинке, Ораниенбурге, Берген-Бельзене и других местах. Точная цифра нам неизвестна, но от четырехсот до пятисот тысяч цыган были убиты в лагерях уничтожения или умерли от различных эпидемий. Кроме того, было стерилизовано много женщин-цыганок. Некоторые из них еще живы, и существуют ужасающие свидетельства того, что для них, для их семейных отношений и женской жизни, означало бесплодие.

Но если другим меньшинствам в Германии удалось заставить к себе прислушаться, то цыганам нет. Сейчас в Берлине их проживает шестнадцать тысяч; это беженцы из Югославии. Мы иногда забываем, что в югославских войнах в тот или иной момент жертвами жестокости и избиений становились мусульмане, хорваты, сербы или косовары, но одна община, община цыган, была мишенью для всех. Как только какой-то народ решал осуществить этническую чистку, цыган истребляли первыми. Бегство в Германию отнюдь не стало для них спасением. В Берлине они проживают совершенно нелегально, тайно и никто ими не занимается. Помимо двух созданных мною фондов, один из которых занимается литературой, а другой — искусством, недавно я образовал еще один — для помощи цыганам. Ведь разве существует более европейский народ, чем цыгане? Пересекая все границы, они идут из страны в страну. И в час, когда Европа поет хвалу подвижности и свободным перемещениям, они должны бы служить образцом...

Перевод с французского В. Иорданского

Иосиф Бродский

По ком звонит осыпающаяся колокольня

Доклад на юбилейном Нобелевском симпозиуме в Шведской академии 5–8 декабря 1991 года

ПОСКОЛЬКУ у времени, видимо, нет иной возможности, кроме как проходить, и поскольку люди, кажется, обречены измерять его ход, этот день, возможно, не хуже любого другого, чтобы окинуть взором двадцатое столетие, в особенности то, что произошло в литературе. У столетия, конечно, еще есть в запасе лет восемь, а наш мир населяется все гуще и гуще — так что, строго говоря, существует, по крайней мере, математическая вероятность, что за остаток века случится какое-нибудь экстраординарное литературное событие. Припишите тогда наше желание подвести черту сейчас пренебрежению к статистике или внезапно вспыхнувшему эсхатологическому страху, который в любом случае стоит за миллениаристскими ожиданиями; всегда приятнее поразмышлять над перспективой крушения мира, нежели над собственной кончиной.

Соответственно, этот обзор будет столь же личным и субъективным, сколь и преждевременным. Нет смысла открывать рот, чтобы огласить чужое мнение, если, конечно, это мнение не абсолютная истина. Но я не священник. При моем роде занятий субъективность и пристрастность — дело привычное, и единственное, что я могу в данных обстоятельствах, — это продемонстрировать их еще раз. В конце концов, те, о ком пойдет речь, обедали, так сказать, за тем же столом, хотя и пороскошнее. Однако, приступая к этому обзору, я ни в коей мере не собираюсь равнять себя с ними, но и не отделяю себя от них.

В этот зимний день в конце первого года последнего десятилетия двадцатого века я вглядываюсь в наше столетие и вижу шесть замечательных писателей, по которым, я думаю, его запомнят. Это Марсель Пруст, Франц Кафка, Роберт Музиль, Уильям Фолкнер, Андрей Платонов и Сэмюэл Беккет. Их легко различить с такого расстояния: они вершины в литературном пейзаже нашего столетия; среди Альп, Анд и Кавказских гор литературы нынешнего века они настоящие Гималаи. Более того, они не уступают ни дюйма литературным гигантам предыдущего века — века, установившего планку.

Нет, как раз наоборот. Эти писатели на самом деле больше, отчасти потому, что они начали там, где остановился роман девятнадцатого века, хотя главным образом потому, что им пришлось иметь дело с гораздо более неблагоприятными условиями, чем те, с которыми человек и литература сталкивались в своей истории. Литература в конечном счете есть хроника того, как накапливаются неприятности и как человек противостоит

© 1993 by Joseph Brodsky / © 2000 by the Estate of Joseph Brodsky
© Е. Касаткина. Перевод, 2000

им. И возможно, одной из граней величия вышеупомянутой шестерки явилось то, что они, кажется, были последними, кто пытался запечатлеть квантовый скачок человеческих неприятностей в точном и внятном слове. Потом пришли сюрреализм и социология.

Но это в скобках, поскольку провалившиеся попытки сказать правду о человеческом положении бесконечны в своем разнообразии. За скобками — мы сами, занятые не столько поиском истины, сколько обнаружением некоего общего знаменателя, связующего великолепную шестерку, — конечно, задним числом. Но появление эстетического критерия, не говоря уж о его применении, дело всегда запаздывающее. То, что мы нуждаемся в нем сейчас, совершенно очевидно, если мы не собираемся держать современную литературу, а также литературу будущего (по крайней мере, остатка нашего века) заложницей стандартов предыдущего столетия. Свидетельств нашей сыновней почтительности к этому отцу романа имеется в избытке, как мы могли здесь убедиться. Осмелюсь сказать, этот зал преисполнен ею.

Итак, вернемся к нашей великолепной шестерке. Что у них было общего, таких разных? Во-первых, они не были командными игроками; они были одиночками, своеобычными, часто до эксцентричности. По крайней мере, они никогда не подыгрывали ни речистым диктаторам, ни медоточивым епископам (всегда имевшимся в большом количестве, особенно в той части столетия). Конечно, мы не должны попадаться на романтическую удочку и ставить знак равенства между неумением вести себя в обществе и одаренностью. Первое — не говоря уж о просто дурных манерах — распространено довольно широко; хотя бывает и напускным. А вот что зачастую свидетельствует о таланте — так это словесная несовместимость его обладателя с какой бы то ни было устоявшейся идеологией.

Кроме того, все шестеро считались в свое время — а кое-где и ныне считаются — "трудными", первая реакция на их творчество колебалась между открытой враждебностью и полным безразличием. Спасение Максом Бродом рукописей Кафки, которые автор завещал сжечь; посмертное "открытие" Музиля в пятидесятые годы его немецким читателем и еще более посмертная публикация ошеломляющих романов Андрея Платонова — достаточно наглядные примеры, хотя их в разной степени можно приписать превратностям истории. Но даже удачливые среди них были не так уж благополучны, как показывает судьба "В сторону Свана": роман отклонил не кто иной, как Андре Жид, и книга была издана автором за свой счет. Все же Пруст мог себе это позволить.

Впечатлением трудности и последующей репутацией "сложных" они обязаны литературным вкусам общества, вскормленного парадоксальным образом, подобно самой великолепной шестерке, на пище девятнадцатого века. Все это легче увидеть сейчас, поскольку практически идентичные блюда подаются большинством издательств сегодняшней публике, хотя основная ответственность за них лежит на поварах, то есть на самих литераторах. В равной, если не в большей, мере парадоксально, что последние пятьдесят лет модернизм характеризуется как прошлое, будто наше настоящее приобрело некий внестилевой статус и впредь не требует особых способов для своего словесного воплощения. По-видимому, в издательских хоромах и на писательских чердаках пришли к такому же заключению: достаточно просто байки.

Но это опять же замечание в скобках (к которому я должен буду обратиться, поскольку вопрос настоятельный и им в первую очередь вызвано мое появление сегодня на этой трибуне). Вернемся к нашим вершинам. Действительно ли они были такими трудными, чтобы заслужить все эти ярлыки и наименования, включая "модернизм"? Как случилось, что шесть совершенно разных авторов, писавших примерно в одно время, оказались такими трудными? В чем вообще заключалась трудность и кто

ее измерил? Является ли трудность отличительным признаком гения, должны ли мы ориентироваться на нее, когда пытаемся отыскать значительные произведения в искусстве остатка века? Можно ли ее имитировать?

Ответ на последний вопрос: да. Это сделано и повсеместно делается ныне многими расцветающими и увядающими дарованиями. Начать с того, что само число "трудных" рукописей, предлагаемых сегодня издателям, показывает, что трудность эта не такая уж трудная. За всем этим кроется не столько коварство, сколько роман простака с понятием трудности, которая стала новой ортодоксальностью, а заодно и ходким товаром. Истина заключается прежде всего в том, что никакой трудности на самом деле не было. Ибо манера, которую избрал каждый из великолепной шестерки, не казалась трудной, по крайней мере, им самим и — поскольку они не были в полной изоляции — некоторым из их современников. Никто в здравом уме не возьмется писать то, что трудно понять, особенно неизвестный автор. Причина, по которой каждый из них продолжал в своем духе, была в осознанной или интуитивно угаданной необходимости вырваться из ограничивающих условностей современной прозы. Фактически то, что читателем, который довольствуется существующими условностями, было объявлено трудностью, означало для каждого из шестерых высвобождение их естества и, несомненно, рассматривалось ими как средство достижения большей ясности.

Если они не чувствовали этой трудности, то и мы не должны; иначе время, отделяющее нас от них, было потрачено впустую. Стилистические приемы, изобретенные этими шестью, позволили им выразить сложности человеческой души, для чего их родной девятнадцатый век, по-видимому, не имел ни средств, ни, что более вероятно, желания. Однако это явилось не заменой одного способа повествования другим, а дополнением или, точнее, развитием и врастанием романа девятнадцатого века в век двадцатый — процесс совершенно логический, органичный, не говоря уж о его терапевтичности. Так что все, что требуется от нас, — это принять стилистическую инициативу шести за норму и признак зрелости, а не за отклонение от старого доброго удобно-линейного, вызывающего доверие романа воспитания — поскольку человек не хозяин ни своего прошлого, ни настоящего, ни тем более своей судьбы.

Если мы примем способ, которым действовали вышеупомянутые шесть авторов, за норму (то есть способ их мышления, если не манеру поведения их героев, хотя неплохо бы принять и то и другое), мы немедленно получим как минимум два преимущества. Во-первых, это избавит нас от выискивания трудности и тем более не даст прельститься ею как необходимой предпосылкой великого современного произведения, поскольку сложность человеческой души, так же, как и выражение этой сложности, имеет естественные пределы, за которыми простирается либо безумие, либо претенциозность — то есть за которыми это выражение становится нечленораздельным. Во-вторых, это может избавить нас от потребления в больших количествах имеющейся продукции, интеллектуально и стилистически не затронутой достижениями модернистов. Короче, приняв эту норму, мы в наших литературных оценках будем исходить из минимальных требований уплотнения и сжатия модернистских приемов, а не их разжижения. Ибо именно так развивается культура в целом и литература в частности. Если вам нужна иллюстрация, подумайте об эволюции греческой драмы в Александрийскую пастораль. Или подумайте — ибо это великие дни южноафриканской литературы — о Дж. М. Кутзее, одном из немногих, если не единственном прозаике, пишущем по-английски, который целиком воспринял Беккета. Кроме него, кроме Томаса Бернхарда и горстки писателей новой волны, к норме — то есть к большой литературе нашего столетия — все относились как к аномалии, и сегодня мы обсуждаем последствия.

Мы не можем своим желанием вызвать большую литературу к жизни, но трудно не отвернуться с отвращением от склизской грязцы посредственности. Это трюизм, что без последней мы не получим первой, и этот трюизм, поддерживающий рынок на плаву, представляет собой оправдание среднего автора на Страшном суде. Однако пропорция, которая придает этому трюизму убедительность, по-видимому, давно уже нарушена, что явствует из посмертного восхваления всех подряд посредственностей и списания со счетов провозглашенных трудными модернистов (чья трудность, впрочем, на руку академическим толкователям). Я никак не могу взять в толк, почему столько писателей (возможно, кроме русских, ибо они на полвека были отрезаны от хода современной литературы) могут продолжать писать, как если бы Пруст, Кафка, Музиль, Фолкнер и Беккет никогда не существовали. Потому что они были в меньшинстве?

Это большая загадка, не правда ли? О, все эти романы с предпосланными им восторженными рецензиями и пересказами, вращающимися вокруг всеохватного предлога "о". О спорах отцов и детей, о супружеских разногласиях, о политических притеснениях, о расовых трениях, о кризисе личности, об опыте, раскрывающем глаза на жизнь, о сексуальных неопределенностях или неопределенных сексуальностях, о смутной ностальгии, о мифоманиакальной этнической специфике, о социальной несправедливости, о проблемах больших городов, о сельских добродетелях, о смертельных болезнях. Мастерски закрученные сюжеты, доскональное знание — часто из первых рук — реалий, хороший слух на просторечие, простой, ненавязчивый синтаксис. По мере того как общество погружается все глубже и глубже в невнятность, эти произведения всплывают на поверхность в виде его интеллектуальных буев, требуя, чтобы их возвели в ранг маяков.

Эти романы также взаимозаменяемы, как и изображаемые ими нравственные альтернативы (ибо речь непременно о нравственном выборе, да?); также одинаков и их смутный стоический мессэдж: нечто вроде "Несмотря на все это, человек должен..." — пропуск вы можете заполнить сами, ибо развязка или кумулятивный эффект всего этого атавистически возвращается к проповеди. (Жалкий остаток хороших манер — чем иначе мог бы я похвастать — удерживает меня от называния имен, но пропуск вы опять же можете заполнить самостоятельно; или, последовав моему примеру, сэкономить время.) И наоборот: почти каждый разговор о литературных достоинствах того или иного произведения вскоре вырождается в разговор об их моральной подоплеке.

Так происходит, поскольку в этой области все специалисты. А специалистами в этой области оказываются все, поскольку любая человеческая позиция сомнительна почти по определению. Кроме того, сомнительным это положение делает как раз моральная убежденность, уверенность, которая рождает у индивидуума или общества чувство морального превосходства. Осмелюсь сказать, что корнем всех бед является ощущение, что ты лучше другого. И если сводить произведение искусства — на стадии его создания или при разборе его достоинств — к этическому диагнозу, то это приводит к поискам такой уверенности, к некоему нравственному дарвинизму с очень неприятными последствиями для слабейшего. И не упакована ли уже наша этика в наши законы и/или общественные договоры?

Но вернемся к великолепной шестерке. Предполагаемая трудность, которой авторы эти столь знамениты, проистекает из описания ими совершенно другого свойства жизни — неуверенности. В их случае использование всеохватывающего предлога, о котором шла речь выше, вело бы к поражению. Что до свойств, неуверенность является наиважнейшим и вбирает все части речи, включая предлоги. Искусство этих шестерых, говоря словами поэта, начинается там, где умирает логика. Так же, как умирают сюжеты и система композиции девятнадцатого века. Их романы пи-

шутся согласно "логике" неуверенности и потому довольно часто остаются незаконченными. Подумайте о "Замке" Кафки, "Человеке без свойств" Музиля, платоновском "Чевенгуре". Но даже произведения Пруста и Фолкнера, строго говоря, нельзя рассматривать как завершенные, то же относится и к Беккету. Ибо эпос никогда не кончается, поскольку он центробежен, и такова же неуверенность.

Источником ее все расширяющегося движения, ее центробежной силы в произведениях великолепной шестерки является точность. Точность неуверенности — необычайный генератор для самой неуверенности или стиля ее выражения. Ее постоянно растущий радиус есть объяснение их стилистического новаторства. Что общего, по-видимому, было у всех шести — это преобладание стиля над сюжетной линией. Последняя очень часто оказывается заложницей стиля, который и является настоящим движителем повествования. Не вызывает ли эта практика каких-либо ассоциаций, не напоминает ли вам такой тип процесса что-то еще в литературе? Мне напоминает, поскольку такой же принцип действует в поэзии, где сюжетная линия управляется и определяется каденцией и благозвучием, ибо стихотворение движется силой их прирастания.

Другими словами, с модернистами литература завершила круг развития, вернувшись к господству языка над повествованием, поскольку прежде рассказа была песня, поскольку сам язык есть плод неуверенности. Именно она — если оставить в стороне неутолимую жажду метафизики — связывает великолепную шестерку модернистов и в некоторых случаях позволяет их прозе потеснить достижения современной им поэзии. Музиль, поглотивший всего Рильке, — лишь один из таких примеров. В некотором смысле этих шестерых можно объявить величайшими поэтами столетия, гораздо более значительными, чем их практиковавшие в сей области современники, с той же убывающей в конце концов аудиторией — как показывает сегодняшняя литературная практика — и по тем же причинам. Ибо поэзия — трудное дело для подражания. Именно это не позволяет поэзии стать явлением демографическим.

Терминология, навешивание ярлыков, классификация — все это как раз и вводит в литературу демографическую реальность, ибо, в конечном счете, я полагаю, что, говоря "модернисты", мы подразумеваем "лучшие писатели". Те, кого вел язык, кто подчинился его диктату, а не поставил его в зависимость от этических, исторических или общественных соглашений. Те, кто рассматривает себя как инструмент языка, а не наоборот. Ибо, если искусство что и создает, то новую эстетику; и этика в лучшем случае проистекает из нее. И так это не только потому, что искусство старше, чем любой общественный закон, но потому, что оно исходит из индивидуума, а не из общественной группы; потому что искусство от жизни отличается именно тем, что первое питает отвращение к клише, главному стилистическому приему последней, поскольку искусство всегда начинает с нуля.

Не слишком изящно цитировать себя, но в ходе этого разговора я все равно уже утратил какие бы то ни было притязания на изящество. Так что позвольте мне не отступать от этого рисунка, когда я собираюсь закругляться. Несколько лет назад по случаю, немногим менее торжественному, чем этот, я сказал, что эстетика — мать этики. Я сказал, что поскольку каждый в моей профессии знает, что стишок прежде всего дело вокальное, что начало свое он берет в звуке, а не в смысле, что выбор, сделанный пишущим, — неизменно эстетический и является выбором языка. Кроме того, все решающие выборы, вроде, к примеру, выбора возлюбленной, суть эстетические; опираясь в своем выборе на этику, мы можем отдать предпочтение собаке. Именно это, в сущности, и случилось с искусством прозы во второй половине нашего столетия.

Я не думаю, что имеет смысл говорить о сегодняшнем суровом культурном климате. Во-первых, у литерату-

ры никогда не было такого благоприятного климата, как в последние десятилетия. Ошарашивает само число ежегодно публикуемых новых названий.

Когда я рос, литература означала сотню или около того авторов. Сейчас поход в книжный магазин напоминает посещение магазина пластинок, со всеми этими альбомами групп и солистами, которых ты никогда не услышишь, потому что не хватит на это жизни. Еще и потому, что их главный стилистический прием — шум. То же относится и к современной литературе: ее дидактический шум разнится разве что громкостью.

Рынок ли тому виной? Отчасти да. Тот факт, что модернисты представляются делом прошлым, имеет некоторое отношение к существующей вероятности, что, выдвигая их одних — если все вдруг осознают их первостепенность, — критики и издатели могут остаться без работы. Никто не может себе это позволить, и никто себе этого не позволит. Ни одна книга не появилась в витрине с нашлепанным на обложке уведомлением: это третьесортный роман, до Музиля и Пруста ему, как до Луны. Однако трудно предъявлять все эти обвинения в мошенничестве одному рынку, поскольку в искусстве не спрос создает предложение, а наоборот.

Главный обвиняемый — сам современный автор, тот, кто стряпает свои романы так, как будто ни один из шести — а я упомянул только шестерых — никогда не существовал, как если бы он, писатель, пописывал в эстетическом вакууме. В каком-то смысле он в нем и пишет, по крайней мере, увеличивает его объем. Он — нет, *они* действуют, исходя из факта своего физического присутствия, своей очевидной, несомненной физической реальности, которая для них превыше всех прошлых достижений литературы и еще недавно — при жизни Беккета — нынешних. Они пишут с убеждением, что у них есть естественное право высказать свои переживания, восторги, умозаключения, фантазии. Никакая этика — особенно содержащаяся в наших законах и общественных договорах — не отказала бы им в этом праве; и возможно, поэтому они так налегают на этику. Однако эстетика не столь снисходительна. Но у эстетики нет никаких средств, чтобы внедрять свои законы, за исключением, возможно, времени. А последнему "сегодняшний суровый культурный климат" безразличен.

Тем не менее позвольте мне закончить на жизнеутверждающей ноте. Поскольку цель общества в том, чтобы сделать его безопасным для всех, не будет ничего плохого, если литература этому поспособствует. При нашей растущей численности мы все больше становимся членами общества, а не индивидуумами. Ощущение своей уникальности либо ослабевает, либо оказывается сомнительным. Наш эгоизм, равно как и наши оргазмы, принимает все более общественный характер: не потому, что за ними наблюдают извне, но из-за их контекстов и последствий.

Это не сулит ничего хорошего ни одной из форм человеческой автономии, человеческой неуверенности; следовательно, ни большой литературе, ни в конечном счете нашей эстетике. В протестантской культуре с ее упором на простой стиль, неукрашенную речь перемены такого рода быстрее и заметнее, чем в странах католической культуры. Единственно обнадеживающее в этом опережении то, что в протестантизме реакция отталкивания, принявшая форму большого искусства, возникнет скорее, чем в католичестве.

Понятно, что эту надежду высказывает человек, обитающий в протестантской культуре. Хотя мне кажется, что эта реакция отталкивания — то есть большая литература — неизбежна, я не думаю, что существуют какие-то указатели, позволяющие легко ее найти. Я могу сказать только, что исторические, политические, социальные обстоятельства того или иного места ничего не гарантируют. На самом деле они скорее произведут дидактический монохром, нежели новую эстетику, поскольку парадоксальным образом уникальность опыта — особенно

крайние притеснения и радость — порождает банальность стиля с философским нарядом в горошек.

Ибо в целом отношения между реальностью и произведением искусства далеко не такие близкие, как уверяют нас критики. Можно пережить бомбардировку Хиросимы или просидеть четверть века в лагере и ничего не произвести, тогда как одна бессонная ночь может дать жизнь бессмертному стихотворению. Будь взаимодействие между пережитым и искусством таким тесным, как нам вбивали в голову начиная с Аристотеля и дальше, у нас в наличии было бы сейчас гораздо больше — как в количественном, так и в качественном отношении — искусства, чем мы имеем. При всем многообразии и в особенности ужасах пережитого в двадцатом веке большая часть содержимого наших полок просится в макулатуру. Ибо литература нашего века, какой мы знаем ее сегодня, стремится не к автономии индивидуума, а к его и своему собственному членству в обществе. Это и делает ее необязательной; из-за этого отчасти за последнюю четверть века она и уступила свои позиции кино и телевидению.

С точки зрения общественной безопасности и моральной уверенности эти две индустрии, очевидно, лучше книги. В сущности, они возвращают к наскальной живописи. Другими словами, этот век оказался особенно жесток к миметическому искусству. Однако, хотя на многих широтах грамотность уже фактически вытеснена видеотизмом, несколько преждевременно, по-моему, оплакивать кончину литературы и требовать для нее тепличных условий. Во-первых, потому, что квантовый скачок в притязаниях современной реальности на внимание индивидуума рано или поздно породит реакцию, которая вполне может принять образ человека, прикорнувшего с книгой. Во-вторых, потому, что, как показывает история письменности, буква — средство более экономное, нежели идеограмма. Так что, возможно, этот тотальный электронный натиск визуальных средств объясняется просто временной реакцией сетчатки на массу печатного материала.

Если что-нибудь из того, о чем я здесь говорил, не совсем лишено смысла, то сводится он к тому, что будущее литературы — в экономии формы. В "Войне и мире" следующего века будет не больше двухсот страниц. А то и меньше — учитывая, сколько внимания читатель сможет уделить книге при разнообразии его досугов. Она будет длиной с беккетовский "Мэлоун умирает" или длиной в стихотворение. В сущности, я думаю, что будущее литературы принадлежит ее истокам, то есть поэзии. Вот почему человеку моей профессии "сегодняшний суровый культурный климат" представляется вполне благоприятным.

Перевод с английского Е. Касаткиной

Кристофер Коукер

Сумерки Запада

Главы из книги

Книга Кристофера Коукера "Сумерки Запада", отрывки из которой публикуются в этом номере журнала, явно выпадает из привычного для нас жанра исследований, посвященных международным отношениям. Рассматривая историю становления Атлантического союза и Европейского сообщества в послевоенное время, ее автор, помимо мемуарной и исторической литературы, постоянно обращается к произведениям известных философов, писателей, поэтов, что придает книге эмоциональную убедительность и помогает пониманию того, что участниками и творцами современной истории являются не только дипломаты и политики. Главная черта современности, по мнению Коукера, состоит в том, что общечеловеческие ценности больше не данность, поэтому их необходимо постоянно открывать и формировать заново.

Кристофер Коукер преподает в Лондонской школе экономики историю международных отношений и является экспертом Московской школы политических исследований. Его выступления на семинарах Школы о месте России в современном мире всегда вызывают большой интерес и острые дискуссии. Он автор книг "Войны XX века" ("War and the Twentieth Century") и "Размышления о внешней политике США" ("Reflections on American Foreign Policy").

Новое открытие Центральной Европы

РАССМАТРИВАЯ в 1904 году экономические и социальные различия между Восточной и Западной Европой, географ Халфорд Маккиндер, первый геополитик англоязычного мира, выделил те из них, которые считал самыми важными. В лекции, прочитанной в Королевском географическом обществе и озаглавленной "Геополитический стержень истории", он отметил, что в XVI веке, когда европейцы отправились на запад — в Новый Свет, Россия повернула на восток, неся свои мощь и культуру в просторы Сибири. К исходу XX века они наконец встретились на западном побережье Тихого океана.

Сам Маккиндер не был кабинетным ученым. Некоторое время он даже занимался политикой — был верховным комиссаром союзников на юге России в период гражданской войны. И когда год спустя союзники ушли из России, Восточная Европа оказалась во власти Германии и России, двух держав, с которыми Запад позже вступил в самые тесные отношения. Маккиндер — и это главное в его подходе — полностью игнорировал восточноевропейский мир. Такой взгляд на Восточную Европу сохранялся до самого конца "холодной войны". Жители Восточной Европы просто не попадали в поле зрения геополитиков, пошедших за Маккиндером.

К несчастью для Восточной Европы, она была исключена из европейского сознания на протяжении большей части своей истории. Она, несомненно, не входила в "западный мир" — не стала частью Запада, кото-

© 1998 by Westview Press, A Division of Harper Collins Publishers, Inc.
© А. Арзуманов. Перевод, 2000
Книга будет опубликована в издательстве "Московская школа политических исследований".

рый обязались защищать союзные державы, подписывая в 1949 году Атлантический договор. Так в учебнике по истории западной цивилизации, составленном в Чикаго в том же 1949 году вполне типичным автором-историком, были небольшие подразделы о "народах Западной Европы" и о некоторых – без уточнения, каких именно – индоевропейских племенах. Но там ни слова не говорилось ни об одном из восточноевропейских народов; и хотя встречались отдельные упоминания о славянах, нигде даже вскользь не было упомянуто, что они составили одну из крупнейших индоевропейских групп. И тогда как западному христианству было посвящено несколько глав, о восточном христианском мире вообще не говорилось. Эта книга – прекрасная иллюстрация того, что для большинства историков Восток как важный политический организм просто не существовал.

Падение коммунизма не только освободило Восточную и Центральную Европу от советского контроля, но и дало ряду стран право стать членами таких важных западных институтов, как НАТО. Ясно, почему Прага и Варшава так стремятся вступить в эти организации, – правда, их туда пока не пускают. Они хотят вновь стать частью западного сознания. Как красноречиво выразился в 1994 году чешский президент Вацлав Гавел, "если посткоммунистические страны просят Запад не закрывать перед нами дверь... то мы просим об этом не потому, что беспокоимся за свою безопасность и стабильность. Мы обеспокоены судьбой тех ценностей и принципов, которые были отвергнуты коммунизмом и во имя которых мы оказывали ему сопротивление и в конечном счете свергли его, – судьбой традиционных ценностей западной цивилизации".

Вопрос, который задают жители Восточной Европы, вполне историчен – это вопрос о том, какое место они занимают в сознании Запада. Европа всегда была плодом своего исторического сознания, а не только единым культурным, географическим или экономическим образованием. Как писал в своей основополагающей работе "Идея Европы" (1966) швейцарец Дени де Ружмон, "искать Европу – значит найти ее".

"Европейской" Европу делает то, что она осознает свое собственное существование. И наоборот, невозможно говорить об азиатских ценностях или даже об Азии как о едином культурном образовании в силу того, что Азия не обладает целостностью даже в собственном сознании. Европа – обладает, и именно это делает ее европейской.

Конечно, жители Западной Европы сначала говорили о христианстве, а не о Европе, до Утрехтского мира 1713 года речь в договорах часто шла о Европе как о "христианской республике". Безусловно, это было латинское, а не восточное толкование. Именно латинские христианские королевства воевали в крестовых походах и не испытывали никакого чувства вины за происшедшее в 1204 году разграбление Константинополя, который был центром восточного христианства.

Когда в середине XVII века слово "Европа" впервые стало употребляться вместо слова "христианство", это было отражением нового сознания. Европа отличалась от варваров (вроде турок) своей технологией. Теперь она могла защищаться от вторжений варваров так, как не могла в прошлом. Как много позже писал Эдвард Гиббон, для завоевания Европы варварам требовалась европейская технология. Но чтобы самим создать такую технологию, нужно было перестать быть варварами. Поражение турок под Веной в 1683 году завершило череду нападений неевропейской державы на крупные европейские города.

Знаменательно, однако, что по отношению к полякам, которые помогли освободить город, никто не испытывал никакой благодарности. Польша не смогла предотвратить тройной раздел своей территории в XVIII веке тремя соседями, среди которых была и Австрия, также не ощущавшая никакой благодарности за свое спасение веком раньше.

Гегель, сам того не ведая, санкционировал эти действия, исключив всю Восточную Европу из западного сознания. В книге "Философия истории" он утверждал, что лишь народ, который является существенной частью Истории, может считать себя исторически важным. Все другие лишены истории. Им нечего сказать миру. Их культуры имеют частное значение и существуют лишь внутри собственных географических границ.

Гегель счел возможным разделаться со славянами несколькими короткими фразами:

"Эти народы действительно основывали царства и вели активные войны с другими народами, которые они встречали на своем пути. Иногда они принимали участие в борьбе как авангард — как народ, занимающий промежуточное положение между христианской Европой и нехристианской Азией. Поляки даже освободили Вену от турок, и до определенной степени славяне были введены в сферу западного сознания. Тем не менее все эти народы исключаются из нашего рассмотрения, потому что до сих пор они не фигурировали как независимый элемент тех исторических этапов, которые Разум прошел в мире".

Не признавая события, имевшие место в Восточной Европе, частью Истории, Гегель тем не менее не отрицал, что время от времени там происходило нечто значительное. Он лишь утверждал — и это утверждение превратилось на Западе в idée réçue[1], — что все происходившее в данном регионе не внесло ничего существенного в тот грандиозный ход событий, в ту "кровавую диалектику" войн и революций, которой стала История. Важнее всего, что многие восточноевропейские мыслители соглашались с Гегелем и, подвергая анализу свою историю, испытывали порой глубочайшее уныние. Как говорит г-н Надь герою романа "Верь до смерти" (1921) Жигмонда Морица, "История всегда отбрасывала венгров в сторону, хотя они дважды спасали Запад от азиатского нашествия". Мадьярам потребовалось тысячелетие, чтобы выйти из глубин Азии, мигрировать в Европу и осесть в Карпатской долине. В начале второго тысячелетия (в 1241 году) на них обрушилось великое бедствие — вторжение монголов:

"Монголы не прошли дальше Венгрии. Такой всегда была наша судьба: именно на нашу долю выпадало останавливать орды, идущие с востока. Венгрия всегда оказывалась последним полем битвы. Это был бастион, задерживавший азиатские орды. Разве не удивительно, что венгры пришли с востока, чтобы защитить Запад от восточных народов... Иноземные и западные народы оставались нам чужды на протяжении тысячелетия и платили нам презрением".

Так было не только во время вторжения монголов, но и турок, которые нанесли решающее поражение венграм в Мохачской битве в 1526 году, вследствие чего следующие полтора века треть страны находилась под властью иностранных оккупантов. "Это ужасно, — замечает Надь, — что мы здесь, в середине Европы... и что нет ни одной другой нации... которая понимала бы наш язык. Мы обречены рассчитывать только на себя".

Есть своя ирония в том, что этот роман, исполненный горьких сетований на "иноземные западные народы... которые всегда презирали венгров", публиковался выпусками в журнале "Нюгат" ("Запад"), и это было не просто названием, но и политическим кредо самого значительного органа печати в период между войнами. Мориц выражал всеобщее желание венгров войти в историю мира, который, казалось, писал ее лишь на своих условиях, игнорируя всех остальных.

Конечно, поколению Морица, обреченному жить в тени восточных оккупантов после второй мировой войны: третьей волны "варваров", ломившихся в их ворота, — не повезло. "Азия начинается на Эльбе" — сделал вывод Конрад Аденауэр в конце

1. Общее мнение (*фр.*).

40-х годов. Даже американцы — "полуварвары", как называл их Томас Манн, — жившие в Пасифик-Палисейдс, не считались европейцами, хотя и принадлежали к Западу. Из-за раздела Европы и унижения, испытанного ею вследствие этого раздела, возник Общий рынок, который должен был внести "цивилизующее начало" и впервые дать Европе возможность жить в мире с собой.

Конечно, то был процесс, который высветил нецивилизованность того, что происходило за железным занавесом. Венгерский критик Иштван Бибо был абсолютно прав, когда в 1946 году высказал подозрение, что жители Западной Европы склонны отвергать своих восточных соседей как народы, отличающиеся "врожденным варварством", народы в равной степени опасные как для Западной Европы, так и для самих себя.

Вторая мировая война создала угрозу для идентичности Центральной Европы, но на какое-то время западное сознание обрело свою идентичность. Война не только разделила континент по политическому признаку на два противостоящих идеологических блока, но и разрушила культурный мост, существовавший в начале XX столетия. Когда, к примеру, Томас Манн в 1937 году посетил Будапешт, венгерский поэт Аттила Йожеф приветствовал его не только как немца, но и как европейца, что было утешительно для человека, который утратил гордость за свою страну. Когда двумя годами раньше Гуссерль читал серию лекций под общим названием "Кризис европейской гуманности", он выступал в защиту немецкой идеи Lebenswelt (жизни за пределами горизонта) перед слушателями, к которым испытывал наибольшую близость: перед входившими в немецкоязычный мир интеллектуальными кругами Праги и Вены. Мог ли он испытывать иные чувства, коль скоро то был мир, породивший Кафку, Музиля, Броха, Гомбровича и Фрейда, наложивших глубокий отпечаток на западную историю начала XX века?

Но то был мир, отрезанный после 1945 года от Запада. Геополитический раздел Европы отделил Вену от Западной Европы и придвинул Прагу и Будапешт к Москве, отдалив от Парижа. Исчезновение еврейских общин, которые придавали этому району дух космополитизма в межвоенные годы и которые подарили миру так много литературных произведений, также способствовало интеллектуальному бесплодию этого региона.

Раздел Европы вызвал троякую реакцию. Во-первых, упор стал делаться на отличия Восточной Европы от Запада. Воспользовавшись выражением "Восточная Европа", Бела Барток хотел подчеркнуть, что венгерская музыка, которая построена по принципам пентатоники и имеет азиатское происхождение, отличается от европейской и представляет собой самостоятельное явление и что у нее больше общего со славянским народным фольклором дунайских племен, чем с музыкальным наследием Западной Европы. Конечно, совсем других слов ожидали от него и его соотечественников, в особенности после советского вторжения 1956 года.

Во-вторых, раздел Востока и Запада отрицался, и дело изображалось так, будто Восточная Европа несмотря на политические различия остается частью западной культурной традиции. Это соответствовало настроениям таких хорватских интеллектуалов, как Мирослав Крлежа, который и раньше отмежевывался от Вены и всегда смотрел в сторону Парижа, а Фрейда и Кафку считал провинциальными писателями. Это была сомнительная тактика, лишавшая Центральную Европу самостоятельного интереса и собственного вклада в европейскую культуру, вклада, отличного от западного, но ничуть не менее европейского по своему характеру.

Наконец, в-третьих, в 70-е годы стало ясно, что восточноевропейская культура является европейской, а не советской. Творчество таких писателей, как Дёрдь Конрад (Венгрия) и Вацлав Гавел (Чехословакия), было естественным ответом на десятилетия советского соцреализма и борь-

бы с декадентством в искусстве, принявшим проевропейскую форму. Культура, которую нельзя было заставить замолчать даже тогда, когда писатели жили в изгнании, как Кундера, или подвергались гонениям, как Конрад, а то и пережили тюремное заключение, как Гавел, явила свою силу.

Лишенные возможности жить в Париже, Вене или Берлине, оторванные от культурных центров Западной Европы, такие писатели, как Дёрдь Михай Вайда, утверждали ценность венгерской литературы и европейский характер своей страны. Конечно, то была "виртуальная Европа", потому что реальное политическое угнетение разорвало все внешние связи Венгрии, кроме экономических.

Как писал в 1986 году сербский писатель Данило Киш, Восточная Европа оказалась "зажата" между двумя типами редукционизма: идеологического – проявившегося после 1945 года, и националистического – проявившегося ранее. На протяжении XX века и тот и другой весьма прельщали интеллектуалов Центральной Европы, но, хотя и поздно, они поняли, что идеал, состоящий в том, чтобы быть частью Европы, не связан ни с тем ни с другим и что обрести легитимность можно лишь в языке и культуре – "странном, мистическом утешении", как говорил Кафка. Малые нации склонны подчеркивать свою культурную самобытность. Если они выражают ее более горячо, чем, скажем, немцы и французы, то лишь потому, что опасность исчезновения или вымирания была для них в прошлом реальной угрозой. Большим культурам это неведомо.

Осознание своей принадлежности к культуре, известной как центральноевропейская, в конечном счете было следствием инакомыслия. У писателей, подчеркивавших тесные связи своих стран с Западом, в изгнании или в тюремном заключении не оставалось ничего, кроме языка. Он превращался в их отличительный знак. Язык был судьбой, добавлял Киш. После падения Берлинской стены стало очевидно, что Центральной Европе, имеющей свое уникальное наследие, на роду написано воссоединиться с Европой, также имеющей свое уникальное наследие.

Жители Восточной Европы – то есть те, на кого распространяется первая волна расширения НАТО, – начнут присоединяться к Европе в 1999 году. Их вступление в НАТО имеет для Европейского союза как нормативную, так и прагматическую ценность. Присоединение Польши, Чешской Республики и Венгрии к блоку вызвано теми же причинами, что и создание НАТО в 1949 году. Пятьдесят лет назад Сенатский комитет по иностранным делам США рекомендовал ратифицировать Атлантический договор как лучшее средство спасения Западной Европы от "восточной угрозы". Членство в НАТО, утверждал Комитет, позволит ей уверенно планировать свое будущее.

Такой же процесс идет в Восточной Европе. Изменения, начавшиеся в 1989 году, нет оснований считать необратимыми. В конце 40-х годов французские и итальянские избиратели поддались искушению поддержать на всеобщих выборах коммунистические партии. Но и сегодня подобная угроза на Востоке не так уж нереальна, хотя новый коммунизм может оказаться скорее популистским, чем идеологическим. Членство в НАТО для новых демократий – это способ самоутверждения в западном мире, а для Запада – это обретение исторической роли.

Однако нас скорее ожидает не расширение Западного альянса образца 1949 года, а, видимо, создание европейского сообщества безопасности, куда когда-нибудь может войти и Россия. Это будет гораздо более свободное объединение европейских государств, которое впоследствии, возможно, заменит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Берлинское коммюнике от июня 1996 года ускорило движение в сторону создания чисто европейской системы безопасности внутри НАТО, в рамках которой была

выдвинута концепция Объединенных сил специального назначения (ОССН). Намерение Франции присоединиться к ОССН весьма ускорит этот процесс. Вмешательство НАТО в Боснии показало, что блок готов действовать заодно со странами, не входящими в альянс, и в том числе — что знаменательно — с Россией. Эволюция пан-европейского сообщества безопасности значительно повлияет на реальную безопасность.

Процесс формирования двух разных, однако дополняющих друг друга организаций уже начался. Европейский союз, по-видимому, приобретает значение "твердого ядра" для западных стран, объединенных нерасторжимым валютным союзом, на периферии которого находятся Британия и другие государства. На востоке имеется аналогичное объединение — Содружество Независимых Государств (СНГ); у него есть свое "твердое ядро" — Россия и Беларусь, а другие бывшие советские республики хотя и находятся на периферии, тем не менее входят в сферу его влияния.

Многие страны, расположенные между этими двумя объединениями, вероятно, войдут в западные институты, но в связи с общим стремлением устранить Соединенные Штаты из Европы будут ограничены новыми договорами о безопасности между Германией и Россией. Не исключено, что в долгосрочной перспективе это будут приветствовать и сами американцы. Ведь Германия — страна, с которой Соединенные Штаты отлично могут сотрудничать (чего не было в 1914 — 1940 годах). Если мало что вышло из разных форм партнерства по безопасности, предложенных и Бушем, и Клинтоном в 1989 и 1994 годах, то произошло это отчасти из-за нежелания Германии участвовать в военных операциях. С 1991 года, однако, наблюдается серьезное стремление правительства Германии обрести равный с союзниками военный статус. Настоящее партнерство с Соединенными Штатами потребует, чтобы Германия играла более активную роль и преодолела свою историческую сдержанность. В дискуссиях по вопросу о том, должна ли Германия посылать свои войска, чтобы добиться подписания Дейтонских соглашений, канцлер Коль апеллировал к национальной чести. Страна может говорить решительно только тогда, когда она обладает ярко выраженной идентичностью и уверенностью в том, что может отстоять свою идентичность. В прошлом у Германии не было ни того ни другого. Некоторые признаки свидетельствуют о том, что положение вот-вот изменится. Германия опять держит ключ к будущему Европы.

Россия и историческое кредо Запада

Как говорит Октавио Пас, цивилизация — это перевод общих идей на язык практики. Для чего не требуется единого толкования: одно и то же можно сказать по-разному, и разное можно сказать одним и тем же способом. Конечно, для этого нужна единая среда. И в самом деле, начиная с эпохи Просвещения язык западной политики определялся философией, что обеспечивало взаимопонимание сторон. У Германии были свои претензии к Западу, связанные, видимо, с определенным кругом идей, но все же как общество она была укоренена в европейской традиции. В начале XX века в Англии господствовали неогегельянцы, тогда как в Германии на протяжении всего XIX века ощущалась сильная либеральная традиция.

В отличие от Запада, Россию характеризовало отсутствие не только либеральной, но и философской традиции — одним из первых это заметил Бруно Бауэр, призывавший в 1850 году к созданию союза западных стран. Конечно, в России были глубокие философские сочинения, такие, как первое "Философическое письмо" Чаадаева, в котором он осуждает настоящее, прошлое и будущее России, но такие работы мало известны за пределами России. Как полагает Эрнст Неизвестный, один из видных

российских философов искусства, в центре русского сознания всегда находилась литература, а не философия, отчасти потому, что в России никогда не делалось различия между искусством и философией.

Как первым отметил маркиз де Кюстин, один из суровейших критиков России, в русской литературе больше всего поражает осуждение всего русского. Свое назначение русская мысль видит не в философии, а в критическом изображении российской действительности: провинции – в "Мертвых душах" Гоголя; чиновничества – в романах Салтыкова-Щедрина; крестьянского быта – в рассказах и пьесах Максима Горького; русского быта 20-х годов XX века – в сатирических произведениях Замятина.

Суть в том, что Россия гордится одной своей очень важной особенностью: российское общество – общество не универсалистское, а ситуативное. Русская мысль всегда была сосредоточена не столько на общественном положении человека, сколько на положении России как таковой, что отчасти отразилось и на русском языке. Так, например, имеющее широкое хождение русское слово "правда" непереводимо на другие языки, так как оно не имеет общепринятых коннотаций. В значении этого глубоко уходящего в русскую традицию слова сочетаются два совершенно разных понятия: *истина* и *справедливость*. Для западноевропейской традиции это два разных понятия: для позитивистов справедливость – это моральный императив, тогда как правда – чисто объективное понятие. Несомненно, понимание правды как справедливости – главный источник русского философского максимализма. По мнению Неизвестного, "именно этим объясняется увлечение русских экстремизмом, революцией, контрреволюцией, инакомыслием и репрессиями".

С точки зрения западного сознания очень существенно и то, что Россия была первым в истории обществом, попытавшимся подвергнуть сознательной переоценке собственные ценности: в XVIII веке она старалась "вестернизироваться". Как писал Шпенглер, то был наглядный пример того, что он называл "псевдоморфизмом" (а теперь антропологи называют ложно-культурным образованием). Понятие это отчасти помогает проинтерпретировать неясные отношения между обществом-сателлитом и другим обществом, в чье силовое поле оно втянуто.

Суть этой идеи Шпенглера понятна. Когда взаимодействуют две цивилизации, одна неизбежно оказывается более сильной, а другая – более творческой. И эта вторая вынуждена принять внешнюю культурную конфигурацию более сильной цивилизации, чьи идеи, однако, никогда в ней не укореняются.

"Не верьте этому Невскому проспекту... все это сон, все это обман, все это не то, чем кажется", – писал Гоголь весной 1835 года. Россия, вестернизированная лишь отчасти, никогда, даже в XIX веке, не была в ладах с собой. Но ее западные гости принимали все за чистую монету. В Санкт-Петербурге с его однообразными великолепными фасадами и малооживленными улицами они видели символ современной вестернизированной России. Впрочем, "подпольный человек" Достоевского определил его точнее: "самый умышленный и отвлеченный город на свете", что быстро превратилось в крылатую фразу.

Бросит ли вновь Россия вызов Западу, зависит от того, станет ли ее общество в процессе модернизации "умышленным и отвлеченным" – как раньше. Она не сможет модернизироваться, если принизит себя и попытается стать такой, какой ее хочет видеть Запад. Русская культура уникальна. Истинная цель модернизации – способствовать сохранению, а не усреднению неповторимой культуры.

Россия никогда не станет частью западного политического сообщества и западного мира как такового. Чтобы понять – почему, достаточно взглянуть на ее писателей-эмигрантов, устремившихся на Запад и обнаруживших, как сильно они отличают-

ся от своего нового окружения. Решительный отказ от вестернизации мы встречаем уже в открытом письме первого русского эмигранта — Александра Герцена, уехавшего из России в 1847 году. Бóльшую часть жизни — в общей сложности двадцать лет — Герцен провел в изгнании в Париже. Как широко образованный человек, он прекрасно знал идеи таких философов, как Людвиг Фейербах, и французских философов конца XVIII века. Однако с годами он все чаще обращал свой взор к России, в которой находил источник вдохновения.

В открытом письме к Жюлю Мишле, выступившему с критикой России, Герцен писал, что Западу не стоит ждать от России любви, равно как уважения и благодарности русского народа за то, что его приняли в западный мир. "Осудили ли бы вы подкидыша за то, что он не питает уважения к своим родителям? — спрашивал он. — История Запада подает нам кое-какие примеры, но не более того... Мы не считаем себя законными исполнителями вашего исторического завета".

Мишле одним из первых призвал Европу объединиться против общей угрозы: российского империализма — и создать западный союз. Одним из первых увидел он также главную опасность в "коммунистическом духе" России — духе деревенской общины и общинных взглядах, на которых было основано русское общество. В свою очередь Герцен именно общинность считал спасением для русского крестьянина. В конце жизни он много писал о русском крестьянстве и выше всего ценил непосредственность русской натуры, не тронутой разъедающими сомнениями и моралью Запада, который, как казалось, был близок к упадку.

Герцен внушил себе, что русское крестьянство, "социалистические" настроения которого были очевидны, сумеет сочетать, в отличие от Запада, требования личной свободы с условиями индустриализации. Короче говоря, создаст модель индустриального общества, в котором сохранится традиционная жизнь личности, то есть модель мира, не отчужденного от своей истории.

Возвращаясь мысленно к герценовской системе оценок, мы видим, что за прошедший век существо спора почти не изменилось. Россия и сегодня страна в основном не западного типа и, скорее всего, пребудет таковой и в XXI веке. Перед ней по-прежнему стоит, по выражению Герцена, "величайшая проблема нашего времени": из чувства самоуважения она и сейчас не желает видеть в Соединенных Штатах образец для подражания, но не потому, что она для Америки пугало, а потому чтоАмерика слишком ее мало уважает.

В свете вышесказанного, суждения недавних русских эмигрантов о себе и о будущем России приобретают не меньший интерес, чем выводы Герцена столетней давности. Никто не высказывался по этому поводу более решительно, чем Иосиф Бродский в конце своих дней. Как и Герцен, Запад он знал не понаслышке. Последние двадцать лет жизни он провел в Соединенных Штатах и не испытывал дискомфорта ни в Нью-Йорке, который избрал местом жительства, ни в различных университетах, где преподавал и выступал; он изысканно писал по-английски, в том числе и стихи. Однако все более и более скептически относился к попыткам Запада перекроить Россию на свой лад.

Случившееся в России, считал он, во многом объясняется уверенностью Америки в том, что она способна служить примером для других стран и что ее ценности универсальны и пригодны для всех. В конце XX века Западу, несомненно, пора признать: сколь ни универсальны его ценности, каждое общество должно найти их в собственных традициях.

Бродский пришел к мысли, что американская назидательность так же опасна для России, как в свое время марксизм. Язык американской политики, по сути призывающий к американизации всего и вся, пожалуй, немногим лучше, предостерегал он, чем марксистская пропаганда. В 1994 году он писал в письме к Вацла-

ву Гавелу, что американцы склонны обращаться с русскими так же, как некогда с индейцами:

"Разве не в таком же положении мы оказались? ... Следует ли "индейцам" изображать из себя "ковбоев", или им лучше спросить совета у духов по поводу других путей? Не может ли быть так, что обрушившаяся на них трагедия сама по себе есть гарантия того, что это больше не повторится? Может ли их печаль и память о том, что произошло в прошлом, породить более глубокие и равноправные отношения, чем свободное предпринимательство и двухпалатный законодательный орган? И если им все равно придется сочинять конституцию, то, может быть, им следует начать признание самих себя и своей истории... с напоминания о первородном грехе?"

Как и Герцен, Бродский не согласился с тем, что претензии Запада на всеобщность его исторического кредо оправданны и справедливы. Поэт не принял "сторону ковбоев", которые "верят в закон и сводят демократию к равенству людей перед законом: то есть к прерии, но такой, где поддерживается строгий порядок", а отстаивал "равенство перед культурой". Поэтому споры в Вашингтоне о том, что Россия проиграна или вот-вот будет проиграна, лишены смысла: Запад никогда и не мог ее выиграть.

В конце XX века адекватная оценка русской культуры не менее важна для безопасности Запада, чем раньше. Не в его интересах, чтобы русские отказались от своего культурного своеобразия ради наивной и восторженной веры в преимущества модернизации. Впрочем, приостановленная модернизация не менее опасна. И все же главный урок, который следовало извлечь в обоих случаях из семидесятилетнего господства коммунизма, — это осознание того, что русский человек не подлежит "переделке".

Не стоит удивляться тому, что многие американцы мыслят о России в "завоевательном" духе, словно Россия — это стратегический приз, который надо получить с помощью разумной дипломатии: дескать, разве Россия — это не еще одна потерпевшая поражение страна, которая хотя и не подверглась в 1945 году оккупации, как Германия или Япония, но все же может быть присоединена к западному миру? В конце жизни Ричард Никсон ожесточенно критиковал свое правительство за то, что оно не умеет "воспользоваться моментом и определить историю на полвека вперед", интегрировав Россию в западный мир. Другой критик осуждал правительство Буша за то, что оно упускает уникальную возможность сделать XXI век более счастливым, чем XX, и "перетянуть" Россию на сторону Запада.

Когда обсуждаются отношения Запада с Россией, вопрос о безопасности стоит, конечно, более остро, чем в других случаях. Джеймс Бейкер надеялся, что Западу удастся воспользоваться "историческим шансом" и "вовлечь Россию в ... Евро-Атлантическое сообщество". Однако это было бы нежелательно ни для Запада, ни для России.

Такой вывод не следует считать пессимистическим и только. Если верно, что происходит переоценка и Запад больше не считает реализм и универсализм целью в себе, отчуждение двух миров, возможно, станет не столь критическим, как раньше.

Как учит Ницше, мы сами выбираем себе ценности. И важнейшей является чужое уважение. Но уважения надо добиваться. Россия никогда по-настоящему не пользовалась уважением в мире, если не считать того краткого (и по иронии судьбы, самого тяжелого) периода ее истории, когда западные интеллигенты приезжали в Москву, чтобы воочию увидеть будущее, или когда восхищались ее подвигом во второй мировой войне. В какой-то степени она и сегодня живет за счет этих воспоминаний. История бросает России небывалый вызов: впервые стать страной, уважающей самое себя, а не озабоченной тем, уважают ли ее другие. Не стараться стать новой великой державой, а строить великое общество, которое удостоится уважения других.

Следует признать, что на это надежды мало. Но даже если этого и не произойдет, трудно предположить, что Россия снова превратится в "казачью сотню", какой она представлялась Западу после 1870 года. Границы западного мира передвигаются на восток. Славянофильство как идеология практически исчезло. В качестве "Третьего Рима" Россия существует лишь в воспаленном воображении горстки писателей и политиков. Скорей всего, она станет второстепенной державой, которая вынуждена обратить свой взор внутрь — на собственное спасение, а не на освобождение других.

Еще некоторое время она, несомненно, будет внушать тревогу соседям. Она лежит в дрейфе: не став на якорь в западном мире, она потеряла устойчивость в собственном. Но на сей раз в ней будут видеть не угрозу западным ценностям, как после 1870 года, ибо не станет Запада, которому она могла бы угрожать, а, как немцы до 1870 года, — великую державу, которую можно подкупить, сдержать, интегрировать или умиротворить — в зависимости от обстоятельств.

Перевод с английского А. Арзуманова

ON-LINE ALL TIME

- Подключение к сети Интернет
- Электронная Почта
- Хостинг

RiNet

1-й Хвостов переулок, 11а
метро "Полянка", "Октябрьская"

232-1730
238-3922

admin@rinet.ru
WWW.RINET.RU

Частицы бытия

Ив Бонфуа. *Невероятное: избранные эссе.* Перевод с французского и комментарии М. Гринберга и Б. Дубина. М., Carte blanche, 1998

Филипп Жакотѐ. *Стихи, проза, записные книжки.* Перевод с французского, составление и примечания М. Гринберга и Б. Дубина. М., Carte blanche, 1998

Авторов этих двух книг сближает многое. Оба они — признанные мастера французской поэзии XX века (Ив Бонфуа — француз, Филипп Жакоте — швейцарец, много лет живущий во Франции). Оба — люди одного поколения (родились соответственно в 1923 и 1925 гг.) и давние друзья. Оба вступили в литературу в 40—50-е годы и сделали своей задачей преодоление сюрреалистической эстетики, приучившей поэзию к игре произвольными знаками и образами — игре смелой и вольной, но именно постольку, поскольку она отвлекалась от материального присутствия вещей, обозначаемых словами. Бонфуа и Жакоте попытались вернуть поэзию к этому их бытийному присутствию — вернуться не напрямик, в духе какого-либо наивного "реализма", а через освоение и переосмысление многовековой художественно-философской традиции; недаром они оба пишут, перемежая свободный стих и эссеистический дискурс.

Абсолютная полнота бытия издавна приписывалась *сакральным* объектам; по словам Бонфуа, мы "чувствуем их приближающееся присутствие, благодатное или гибельное, но всегда смешанное с тем "ужасом", который осознаешь, подступая к сакральному". Но традиционные институты сакрального — религия, вера в богов — сегодня в упадке, а потому и задача поэзии, стремящейся воскресить чувство самодостаточности вещей, усложняется: "Когда тебя окружают боги, быть поэтом легко. Но с нами дело обстоит иначе: мы приходим в мир, где богов уже нет", — пишет Бонфуа; и ему вторит Жакоте: "Бог сегодня воистину дух и совершенно недоступен образам, разве что негативным. Бог сегодня даже не вправе именоваться Богом. Его больше не считают царем мира. Это не значит, что форм и пределов, видимого и завершенного не существует. Просто приходится быть как никогда внимательным к словам".

"Быть внимательным к словам" — это значит распознавать такие их потенции, благодаря которым "пространство становится веществом" (Бонфуа), а "негативные образы" божества, о которых говорилось в приведенных словах Жакоте, выстраиваются в "отрицательное богословие" по мысли Бонфуа, — важнейшее ныне содержание поэзии: "По-моему, это единственный путь, каким всеобщее может входить в поэзию". С другой стороны, это означает строгую критику языка как абстрактно-понятийной системы, особенно такого рационалистического языка, как французский, который тщится ухватить сверхчувственную сущность бытия с помощью логического "принципа тождества", "основополагающих *словесных удостоверений тождества,* превращенных едва ли не в клятву, призыв или приказ", — таких, как формулы "Король умер — да здравствует король" или же "Республика едина и неделима" (Бонфуа). Благодаря словесной аскезе или жертвенному саморазрушению личности поэта (по первому пути во французской литературе шел Малларме, по второму — Бод-

За перевод рецензируемых книг М. Гринберг и Б. Дубин были удостоены премии им. Мориса Ваксмахера (1999).

лер) появляется надежда достигнуть не-рационалистического, не-понятийного состояния языка, которое Бонфуа, профессионально изучающий историю изобразительного искусства, сравнивает с итальянской живописью, пока в ней еще не утвердилось рассудочно-"понятийное" представление о перспективе. Перспектива формирует собою пустое, абстрактное пространство, тогда как итальянские живописцы кватроченто, *еще не до конца усвоившие ее*, в самих своих отклонениях от строгой оптической геометрии воссоздают пространство, сущностно заполненное, неотделимое от "вещества", и имя ему уже не "пространство", а *место,* сакральное "место истины", по выражению Бонфуа, пригодное для жертвоприношения. И то же у Жакоте: место — это "средоточье, связанное со всем целым. Это уже не отдельный, затерянный, никчемный клочок земли. В подобных точках прежде воздвигали алтари, ставили священные камни".

Подобная концепция — одновременно и древняя и новая: своими корнями она уходит в платоновский и неоплатонический познавательный проект, а в современной культуре заставляет вспомнить не только Мартина Хайдеггера и его мысли о языке как о "доме бытия" (ср. "дом живописи" в заголовке одного из эссе Бонфуа), но и — несколько парадоксально, учитывая недоверие того же Бонфуа к структурно-системным теориям, — критику социального языка у Ролана Барта или Жана Бодрийара, например, в таком пункте, как тавтологичность, в которую вырождается "принцип тождества". И все же как бы значительно ни звучала концепция на уровне общих рассуждений и деклараций, гораздо значительнее ее интуитивная, аффективная основа, или, что то же самое, ее практическая реализация: каким же образом поэт, озабоченный восстановлением потерянной бытийности, сакральности мира, непосредственно ее видит, в каких "местах" переживаемого им мира он ее улавливает?

Ив Бонфуа в своих поисках опирается на материал мировой культуры. Его эссе полны воспоминаниями о средневековых монастырях Италии, о византийской иконе Христа, затерянной в горах Сербии, о барочном храме святого Ива (авторского патрона) в пьемонтском городке Алье. Он чувствителен к *месту* пребывания искусства, к "дому живописи", к уникальному пространству храма или музея, куда волею судьбы попала старинная картина. Ему даже сны снятся в художественной, историко-культурной обстановке — скажем, в Мантуе, куда он приехал на выставку Мантеньи (один из двух его сборников, включенных в нынешнее русское издание, так и называется "Сон, приснившийся в Мантуе"); да и города, которые он видит во сне, — это не только его родной Тур, но и манящая античными сокровищами Равенна или какая-то фантастическая, перенесенная сновидением в Южную Америку Венеция... В одном из таких постсюрреалистических "рассказов во сне" (автор уверяет, что это реальный случай, но в окружении других сновидений он тоже выглядит как фантазм) происходит патетический контакт поэта с *присутствием* живописи — со старинной алтарной картиной, увиденной в полутемной испанской церкви, причем увиденной из-за полумрака *по частям,* что на миг позволило отвлечься от навязчивого рационализма архитектурной перспективы и ощутить картину как подлинное "место" бытия. Бытие не позволяет спокойно созерцать себя — его можно лишь подглядеть украдкой в быстротечных благоприятных обстоятельствах.

Другой образ Бонфуа еще более красноречив. В своем эссе о французском языке и его "принципе тождества", с которым приходится бороться поэзии, поэт приводит пример разных взглядов на объект, и пример этот (взятый из стихов самого Бонфуа, тоже характерно фантазматический) вот какой: "Я захожу в полуразрушенный дом и вдруг замечаю на стене саламандру. Застигнутая врасплох, она пугается и застывает на месте. Разом очнувшись [характерно "сонное" переживание — ложное пробуждение, пробуждение во

сне. — *С.З.*], готов замереть и я. Смотрю на саламандру, узнаю ее, как принято говорить, отличительные черты: вижу эту тонкую шею, сизую головку, мягко бьющееся сердце".

Дальше следует философское рассуждение о том, что можно небрежно пройти мимо этого видения, отбросив его как "саламандру *какую-то*", можно подвести его под общее рациональное понятие "*некоей* саламандры", а можно, глубоко вглядевшись, пережить в ней бытийную явленность "*самой* саламандры". То есть видение раскладывается по категориям французской грамматики и философской онтологии, включается в игру общих понятий. Но — здесь поэтическое, а не просто философское качество этого фрагмента — с начала и до конца сохраняется первичное изумление-пробуждение при внезапной встрече с испуганно замершей юркой ящеркой, с ее пульсирующим тельцем, оторопь от ощущения ее отчужденной замкнутости в себе. Это как бы пограничный случай бытийности — не грандиозные памятники природы или искусства, а маленькая дикая тварь на заброшенной стене, среди развалин цивилизации; существо из числа тех, кому Сократ, пожалуй, даже отказал бы в причастности к Идеям, из числа тех, что наподобие "волос и прочего мусора" существуют вне всякой трансцендентности; и вот оно-то на миг под внимательным взглядом поэта вдруг предстает "мягко бьющимся сердцем земли" и "началом сущего". Частицей бытия.

У Филиппа Жакоте, поэта не менее интеллектуального и образованного, чем Ив Бонфуа (он, в частности, знаменит как переводчик со многих языков), встречи с бытием происходят обычно не в "культурной", а в "природной" обстановке. Толчком становится какое-нибудь переживание внешней среды, скажем, прозрачно-холодного осеннего дня: "Так и говорить с этой пустотой в груди, ей наперекор. Побеги акации в бело-голубом небе. Сжигать палую листву, выпалывать сорняки — может быть, ограничиться этим". "Сжигать" и "выпалывать" — это вполне можно понять как метафоры литературного языка, "внимательно"-критического отношения к собственным словам; но это еще и прямое обозначение сельских занятий, мысль о которых навевает осенний пейзаж.

В отличие от Ива Бонфуа, Филипп Жакоте почти всегда ищет эпифанию бытия во внешнем, открытом пространстве. Это касается переживания не только природы, но и культуры. Вот он посещает дом в Тюбингене, где доживал остаток жизни безумный Гёльдерлин — один из поэтов, которых он переводил на французский. В мемориальной комнате, отмечает он в записной книжке, не осталось ничего подлинного, ничего, что бы сохраняло прямую память о своем обитателе; "эти книги под стеклом, эти перекрашенные стены могли поймать разве что его тень, если она сюда еще забредала". Зато снаружи, на берегу реки, в спускающихся к ней садах, "плыла какая-то вечная одушевленность, какой-то аккорд, напоминающий те, что звучат время от времени в стихах Гёльдерлина".

Несколько прозаических/поэтических текстов Жакоте посвящены "встречам" с растениями — с черешневым деревом, с бело-желто-синими цветами на лугу. Поэт идет по краю эстетической пропасти: каково это — во второй-то половине XX столетия писать прочувствованные строки о "цветочках"! Но его поэзия успешно избегает сентиментальной нарочитости; она ближе скорее к традиционной описательной поэзии японцев с ее бережным вниманием к хрупким формам цветка или дерева, к еще более нестойкой атмосфере, которой они овеяны. И все-таки, даже цитируя в этих текстах японских поэтов, Жакоте сам остается поэтом европейским: толчком к восприятию природы становится у него сильное, иногда мучительное личное переживание. Так, "явление цветов" увидено им в дни агонии одного из своих друзей ("дальше мы с ним не пойдем", сказано в другом стихотворении на смерть друга); и, "разумеется, они [цветы. — *С.З.*] не спасли его и не утешили нас, они вообще никого не могут спасти и утешить"; и все же благодаря им бытию удалось одер-

жать эфемерную, печальную победу над небытием: "рассыпанные по лугу цветы противостояли моему отвращению, моему страху перед тем адом, куда может низвергнуться человек, они растворяли этот страх, как яркий солнечный свет иногда растворяет в себе горные вершины".

Растворение, просветление вещей — это эффект, казалось бы обратный той интуиции, что характерна для мироощущения Ива Бонфуа: тот озабочен скорее устранением пустот между вещами, через которые в их пространство вторгаются абстрактные лучи перспективы и понятийного мышления. На самом деле оба переживания родственны своей мгновенностью, неустойчивостью: предмет явлен нам в короткий момент своего исчезновения; и "поскольку он исчезает, постольку он упрочивает, возглашает свое присутствие" (Бонфуа), делается внутренне полным, живым и сакральным; так черешневое дерево, в мыслях глядящего на него поэта, предстает неопалимой купиной, обрамленной огненными языками красных плодов...

Бонфуа и Жакоте, каждый на свой лад, пытаются передать в поэзии современное мистическое чувство — просто сегодня мистика стала не трансцендентной, а имманентной, это не опыт таинственного познания потусторонних областей и сущностей, а опыт переживания сакральной энергии, наполняющей самые посюсторонние, порой даже "прозаические" вещи и происшествия. "Тот, кто решается пройти сквозь чувственное пространство, приходит к священной воде, струящейся внутри каждой вещи. И едва лишь он касается этой воды, как чувствует себя бессмертным", — говорит Ив Бонфуа. А Филипп Жакоте упоминает в записной книжке "ключевую воду мысли — слова, омывающие душу". Эта священная вода, вещественная и духовная одновременно, и есть не что иное, как субстанция сакрального.

Две книги Бонфуа и Жакоте, вышедшие на русском языке, имеют и еще кое-что общее. Во-первых, обе они выпущены одним и тем же издательством "Carte blanche", на сегодня одним из немногих в России, систематически публикующих высококлассные переводы зарубежной поэзии. Во-вторых, их сделали, написали по-русски одни и те же два человека — переводчики Марк Гринберг и Борис Дубин. Сделали с безупречным, профессиональным пониманием и самих текстов, и, разумеется, их культурного контекста, о чем свидетельствуют помимо прочего тщательные комментарии, особенно впечатляющие в книге Бонфуа. В упрек переводчикам я бы поставил разве что отказ от сколько-нибудь подробных сопроводительных статей — обоим сборникам предпосланы лишь краткие биографические справки об авторах, до сих пор не очень-то известных у нас[1]. Очевидно, отказ от полновесных предисловий был сознательным: предполагалось оставить читателю свободу восприятия и толкования, не навязывая ему готовых концепций. Автор данной рецензии пользуется этой предоставленной ему свободой, но уверен, что два переводчика могли бы и прямо заявить свое понимание двух французских поэтов (косвенно запечатлевшееся в самом переводе); их мысль прозвучала бы нелишним первым словом в том коллективном обсуждении и освоении, которое предстоит теперь текстам, донесенным ими до русского читателя.

С. Зенкин

1. Из профессиональной придирчивости отмечу также два мелких огреха в книге Жакоте. Упомянутая на с. 66 "ночь в Сен-Сильвестре на Капри" наверняка является на самом деле ночью *на Святого Сильвестра*, то есть на 1 января; а в комментарии о французском городке Эг-Морт на с. 71 стоило бы упоминать не "остатки старинного римского поселения" (если они там и есть, то автор имеет в виду не их), а скорее "странную красоту", регулярную планировку самой этой средневековой крепости.

“...мне хотелось, чтобы когда-нибудь меня назвали разумным человеком ...”

Czesław Miłosz. *Piesek przydrożny.* Krakow, Wydawnictwo Znak, 1998.

Чеслав Милош. *Пес у дороги.* 1998[1]

“Начиная с определенного писательского “ранга”, в собрания сочинений включается каждый клочок бумаги”. Эти слова польского критика Яна Блонского, сказанные вовсе не о Милоше, в какой-то момент чтения его новой книги невольно приходят на ум. Может быть, потому, что вышедшие одна за другой “Азбука Милоша” (1997), “Другая азбука” (1998) и, наконец, получивший самую престижную в Польше литературную премию Нике “Пес у дороги” (1998) составлены из записей, которые — буквально или фигурально — пишутся на таких “клочках”. Видимо, так действительно удобнее реализовать свою склонность к осмысливанию “совершенных за жизнь многочисленных глупостей” — ради чего, собственно, разрозненные “клочки” Милош и превратил в текст. Мысли о себе и времени, в котором делаются глупости, как известно, спонтанны, не слишком последовательны и чаще всего обрывочны. Так что, вытягивая на поверхность подобные осколки внутренней речи, смысл которых поначалу внятен лишь ему, пишущий сосредоточен на том, чтобы превратить их в *язык переживаний*, внятный другим.

Если верно, как заметил Бродский, что стареющий писатель имеет выбор — “писать мемуары или дневник”, то записи, из которых состоит “Пес у дороги” (мини-трактаты и мини-новеллы, короткие рефлексии, наброски, стихи — часто в одну строчку, — отдельные мысли, афоризмы), можно считать в какой-то степени “клочками” и не пишущихся специально воспоминаний, и не ведущегося систематически дневника. Во всяком случае, и то и другое — результат отношений человека со своей памятью (а именно эта проблема, как признается Милош, остро стоит в последнее время перед ним самим). И жанровое определение этих отношений “книга вместо”, предложенное им для “Другой азбуки”, применимо к “Псу”, который в еще большей степени оказывается “вместо романа, вместо эссе /.../, вместо дневника”.

В подобных книгах — книгах о внутренней жизни, то есть состоянии, когда человек остается наедине с памятью и языком, — принцип связи должен каким-то образом “реализовывать эмоциональность движущейся судьбы и обобщенность последнего творческого понимания” (Л. Гинзбург). В “Псе” нет явного структурообразующего признака — даже такого, как в “Годе охотника” или “Азбуках” (календарного или алфавитного), если только не считать им разбивку на главы. Но их характер и названия скорее ассоциируются с возможными стихотворными циклами. И все же стержень, не менее прочный, чем традиционный сюжет, в книге есть. Это “вместо” удерживается усиливающимся по мере чтения ощущением судьбы. Судьбы, разглядывающей и разгадывающей себя в отражениях памяти — сохраненных ею осколках опыта.

Память же до известной степени случайна. Как говорят психологи, ничто не забывается, но не все можно вспомнить. И состояние случайности — само его переживание — становится в “Псе” чем-то вроде сквозной внутренней “музыкальной” темы. Книга вся — на зыбкой границе случайного, странного и неизбежного, закономерного. “Случайно” ее название, всплывшее из предрассветного сна. И этот сон. И то, что он запомнился. И другие сны, которым в книге уделено много места. (Не потому ли, что ни в каком другом состоянии человек не оказывается *так* один на один со всей своей памятью?) И картины, неведомо почему вдруг возникающие из глубин подсоз-

1. По-русски книга должна выйти в переводе В. Кулагиной-Ярцевой под названием “Собачонка у дороги”. (*Прим. ред.*)

нания, тоже, в общем, случайны и странны. Да и пришедшие в голову мысли — почему об этом, а не о другом?.. Но неизбежна и закономерна привязанность всего этого ко времени — XX столетию, в котором вот уже более 80 лет живет писатель, и к месту — Польше, коль скоро он — польский писатель.

"Польский сюжет", естественно, занимает в книге немало места. Для поляков он полон аллюзий и смыслов, до конца, наверное, внятных лишь им, тем более в части неожиданно резких суждений Милоша о польской ментальности и ее "ограничивающем" влиянии на литературу. Но по-своему это интересно и нам. И не только потому, что переживания, связанные с польским мифом, низвергаемым сегодня Милошем, вчера были весомой частью нашей духовной жизни и культурной памяти. Просто рефлексии писателя такого масштаба проливают свет на общую типологию заблуждений, составляющих исторический и психологический опыт XX столетия. Единственная возможность противостоять хаотическому состоянию растерянности, страха, злобы, в которое погружает человека мысль о тщетности его усилий, — это, по Милошу, попытка осмыслить пережитое: "Мне всегда казалось, что сознание лечит. То есть предотвращает повторение того, что осознано, — предотвращает до такой степени, что может противостоять смерти, поскольку повторяемость смерти мы осознаем". Так что неизбежна и закономерна потребность дать всему этому язык, найти адекватную словесную формулу, потому что облеченные в слова "клочки" пережитого — это отобранный у небытия личный опыт чувства и мысли. Не отсюда ли мучительное в своей невозможности, но и иллюзорно-спасительное ощущение, что все-таки "должно быть сочетание слов, в котором заключена эссенция кошмара этого столетия"?

Избирательность памяти, переживаемая человеком как странная случайность, конечно же связана с фрагментарностью — жанрообразующим принципом, предполагающим тщательно выверенный отбор элементов текста, когда мерой точности — почти как в стихах — становится слово, а то и звук.

И здесь Милош не изобрел ничего нового. Мозаичность (по Милошу, чуть ли не "бесформенность") многих текстов, которую сам он связывает с избыточностью в современной прозе "повествования *о самом себе*", и не получающиеся романы *о других* (с "захватывающим, интригующим, трогающим" сюжетом, какими, по мнению тоскующего о них писателя, должны быть "настоящие" романы) — все это характерно в целом для стилистики сегодняшней польской прозы (той, во всяком случае, которую принято считать "серьезной"). И не только польской.

Но если сама периодически возникающая в истории литературы потребность в такой форме вызвана (в немалой степени) тем особым напряжением души, которое Л. Гинзбург как-то удачно назвала "повышенным самоощущением" (у писателя оно принимает форму повышенного языкового самоощущения), то новым в "Псе" бесспорно оказывается язык переживания жизни.

Книге предпослан эпиграф, взятый из статьи Льва Шестова "Предпоследние слова" (1911): "...Может быть, истина по своей природе такова, что по поводу нее общение между людьми невозможно, по крайней мере привычное общение при посредстве слова. Каждый может ее знать про себя, но для того, чтобы вступить в контакт с ближними, он должен отречься от истины и принять какую-нибудь условную ложь".

То, что Шестов — фигура для Милоша неслучайная, становится ясно даже при поверхностном чтении польского писателя. Русский философ упоминается и в "Азбуках" (где Милош, в частности, пишет: "Именно благодаря чтению его мы с И. Бродским смогли понять друг друга"), и в эссеистской книге "Поиск отчизны" (1996). А еще раньше, в "Годе охотника" (1990), мы находим эту же самую цитату, для Милоша, следовательно, выделенную из многих других чужих слов и "приращен-

ную" к своей речи именно потому, что она удачно называет то, что переживается на *своих* дорогах.

Эпиграф существует, в частности, для того, чтобы облегчить читателю извлечение из мозаики составляющих текст смыслов ключевого для писателя переживания. В данном случае — это переживание возможности понимания. И если полное понимание в процессе передачи и восприятия при помощи слов некоего "мыслительного содержания" (определение коммуникации) действительно иллюзорно, то чем тогда оправданы его, Милоша, личные усилия и самый смысл писательства?

В собственном противоборстве со словом Милош сталкивается и с мучительной недостижимостью адекватности переживания и выражающего его слова ("Стремление открыться людям, сказать о своей жизни все. Это невозможно. Разве что написать психологический роман, который, впрочем, дальше всего окажется от правды"), и со способностью языка создавать реальность, едва ли не более реальную, чем та, которую он описывает ("даже самая сильная личность в сравнении с удачным сочетанием нескольких слов /.../ не больше, чем тень"), и с превращением слова в фикцию ("и я дожил до того времени, когда слово относится не к предмету, например дереву, а лишь к тексту о дереве, возникшему из текста о дереве, и так без конца...").

Остро чувствуя недостижимость полного понимания — потому что всегда остаются участки сокровенных личных смыслов речи, до конца внятных лишь самому говорящему или пишущему, — Милош знает и то, что восприятие чужой речи способно продуцировать не менее истинные, хотя и другие смыслы, безмерно расширяющие общее пространство языка. И единственный выход из коммуникационного тупика Милош видит для себя в движении навстречу *другому,* то есть *другой* речи ("Думаю, что, если бы я начинал заново, каждое мое стихотворение было бы биографией или портретом какого-нибудь конкретного человека, точнее плачем о его пути").

Одна из частей "Пса" озаглавлена "Темы, которые я отдаю другим". "...Думаю, что /.../ замыкание в четырех стенах собственной личности вредно. В возрасте восьмидесяти с лишним лет есть, по крайней мере, одно преимущество: картина мира, хотя и страшная, предстает одновременно и в своем комизме... Благородно укреплять интерес человека к этому teatrum mundi и плохо — убеждать собеседника, что после нашей смерти все развеется в прах. Мои темы могут пригодиться людям, уставшим от исповедальности, нескончаемого "потока сознания", бесформенности повествования о самом себе". Собранные здесь микроновеллы и наброски и представляют собой те "предпоследние" формулы-сценарии, которые могут "пригодиться" другим — быть ими развернуты в пространстве другого опыта и, значит, другого языка, поскольку каждый думающий и пишущий ищет на дорогах свои слова — в том числе и для давно уже названного. И сама идея отдать часть своего переживания жизни, то есть часть собственной речи, вызвана потребностью поддержать в человеке, сколь возможно, единственно спасительный для него интерес к другим. Это, пожалуй, больше всего и сглаживает безнадежность и — неокончательность! — мысли Шестова. Кстати, в той статье, из которой взят эпиграф, есть и такая фраза: "Помни, что собеседник твой и хотел бы, да не может иначе проявить себя, как прибегая к готовым формам речи". Так вот, в доверии к тому, кому могут где-то когда-то пригодиться его "готовые формы", чтобы через них можно было увидеть и понять себя и сделать шаг навстречу другим, — особое обаяние терпимости и великодушия "предпоследних слов" самого Милоша.

И если ум человека, по Милошу, это не что иное, как выражение осознанного опыта, то есть "поиски мудрости", то "Пес у дороги" — действительно мудрая книга, написав которую автор вполне заслуживает, чтобы его не когда-нибудь, как он мечтает, а сегодня, сейчас назвали "разумным человеком".

Ирина Адельгейм

Орфей спускается в рок

SALMAN RUSHDIE. *The Ground Beneath Her Feet.* London, Jonathan Cape, 1999

САЛЬМАН РУШДИ. *Земля под ее ногами*

Через сорок пять лет после появления на свет рок-н-ролл таки удостоился своего первого "толстого" романа[1].

"Своего" — в том смысле, что в творении Рушди рок-н-ролл не только антураж, в котором разворачивается повествование, но и главное действующее лицо: в том примерно смысле, в котором Грааль — главное действующее лицо артуровского эпоса. Подвиги и приключения рыцарей, их победы, их безумства, их гибель имеют значение постольку, поскольку освещены светом этой мифотворящей абстракции, к которой они стремятся приблизиться, подобно ночным мотылькам, танцующим вокруг уличного фонаря.

Выбор рок-н-ролла на роль основополагающего мифа нашей эпохи, можно, конечно, оспаривать, особенно сейчас, когда лица рок-звезд, перемалываемые мельницей MTV, дегенерировали от уровня культурных икон (каковыми они бесспорно были тридцать и даже двадцать лет тому назад) до уровня потребительского товара одноразового использования. Кинозвезды, герои спорта и большой политики с не меньшим правом могут претендовать на то, чтобы называться живыми божествами виртуального иконостаса информационной цивилизации. И все же факт остается фактом: именно рок-н-ролл некогда вполне серьезно намеревался изменить мир. Уже этого более чем достаточно для мифа, даже если в результате мир всего лишь был слегка сотрясен децибелами. Поэтому в выборе Сальмана Рушди есть своя внутренняя убедительность — по крайней мере, для поколения, к которому принадлежит автор этих строк.

Впрочем, Рушди любит сталкивать в рамках одного произведения весьма разнородные мифологемы и поэтому не ограничивается одним рок-н-роллом. Равновелики ему в романе еще два мифа: вечная история Орфея и Эвридики и связанная с ней сейсмическая легенда о Тартаре, разверзающем свою пасть, чтобы поглотить грешный земной мир. Проще говоря, о землетрясениях как наказании за пороки и ошибки человечества.

В очерченном этими линиями пространстве и протекают рождение, жизнь и смерть героев: гитариста и композитора Ормуса Кама и его Эвридики — певицы Вины Апсары, поведанные устами фотографа Рая — вечного свидетеля из породы тех, кто не осмелится "потревожить мирозданье".

От бомбейского детства героев через их приключения в Англии "свингующих 60-х" и в Америке эпохи Вудстока и уорхоловской "Фэктори" движется сага потерь и обретений, любви и ненависти, верности и измены; движется к ключевому моменту — созданию супергруппы VTO, "популярность которой сделала ничтожным весь успех "Битлз". Историческая реальность романа "слегка альтернативна": Рушди вольно импровизирует на тему. В параллельной вселенной "Земли под ее ногами" все так и все немножко не так, как в нашем мире: Кеннеди и Уорхол выживают после покушений, Джон Леннон сочиняет "Satisfaction", а Ормус — "Yesterday", "Дон Кихота" действительно написал борхесовский Пьер Менар, а набоковский Джон Шейд — величайший англоязычный поэт XX века. И сами Ормус и Вина несмотря на рельефность их образов (гениальный музыкант, гуру-духовидец и, соответственно, "дрянная девчонка", фемина-бунтовщица) не имеют, в сущности, психологии, как и полагается героям мифологического эпоса. Психологию им заменяет заданность почерпнутых из рок-предания ситуаций и анекдотов. Кама и Апсара — творения синтетические, подобные франкенштейновскому, коллажи реальных биографий Леннона и Мадон-

1. Кое-что на эту тему, конечно, было и раньше: "High Fidelity" Ника Хорнби, "Great Jones Street" Дона Делилло, однако эти вещи, грешащие слишком близким родством с журналистикой, не могут идти в сравнение с эпическим размахом "Земли под ее ногами".

ны, Дилана и Патти Смит, Хендрикса и Джанис Джоплин (и, конечно, не следует забывать – в случае Ормуса Камы – про Фарруха Балсара, более известного как Фредди Меркьюри – тоже родом из бомбейских парсов). Но именно благодаря своей "переписанности" мир "Земли под ее ногами" восхитительно убедителен: если бы все было немножко не так, все равно случилось бы то же самое. Миф инвариантен, потому что отражает метафизическую суть событий, не зависящую от исторических фактов.

Расставшись с Ормусом на взлете карьеры, Вина – как и положено Эвридике – гибнет. Разверзшаяся почва Мексики поглощает ее во время катастрофического землетрясения. Орфей-Ормус ищет ее повсюду, сходит с ума, бросается в утешительные объятия героина, вырывается и вновь ищет. И пытается воскресить – в обличии Миры Селано, никому не известной певицы из ночного клуба. Он побеждает – и терпит поражение. Побеждает в пространстве "жизни" – поскольку VTO возрождается и Мира становится звездой для нового поколения. Терпит поражение в пространстве "мифа" – Селано отказывается стать в угоду своему продюсеру живым двойником погибшей Вины. Человек мертв – музыка продолжает жить. Орфею, для соблюдения верности своей участи, остается только одно – отдаться на растерзание менадам. В данном случае одной менаде, фанатичке, растерзавшей его тело револьверными пулями на пороге дома в сцене, пародирующей смерти Джона Леннона и Энди Уорхола.

В жизни Рушди есть своя, частная интрига с рок-н-роллом. Поэтому он знает, о чем пишет. В шестидесятые он сам скитался по лондонским сквотам, "клубился" в таких культовых местах, как "UFO", ночевал на втором этаже психоделического бутика "Granny Takes A Trip" (убедительно воспроизведенного в романе под именем "The Witch Flies High"), где его пути пересекались с путями Эрика Клаптона, Брайана Джонса и других "легенд британского рока". И совсем не случайно то, что убежище от фетвы он обрел в доме Боно из U2 (VTO – "we too", U2 – "you too": реверанс очевидно в чью сторону).

Боно ответил любезностью на любезность, создав музыку к тексту песни VTO, давшей название роману. "Ground Beneath Her Feet" сыграна, записана и выпущена в свет. Легенда о рок-н-ролле логическим образом сама стала частью легенды рок-н-ролла. Интересно, что миром рок-н-ролла книга встречена при этом, прямо скажем, в штыки. "Spin", "Q" и "Rolling Stone" откликнулись на роман рецензиями, выдержанными в духе от скептического до раздраженно-брюзгливого. Мадонна – демонстративно, на глазах у журналистов – выбросила присланный автором толстенный недочитанный том в мусорный бак. В чем тут дело? Позволим предположить, что в одной простой вещи: современному рок-н-роллу не совсем приятно, когда "большая" литература поднимает его до уровня философского мифа. Ведь его хозяева – давно уже не молодежные массы, а пять-шесть крупнейших ТНК, а подлинные герои – не Хендрикс и Моррисон, а Бивис и Батт-Хед. Эти же два "критика", осилив (допустим на миг невероятное) шесть сотен страниц "Земли под ее ногами", резюмировали бы прочитанное как "полный отстой". Впрочем, бог с ними, с двумя оболваненными "масскультом" мультперсонажами, да и с современным рок-н-роллом в целом. За историей Ормуса и Вины, не лишенной смысла и самой по себе, проступает нечто еще более важное для Рушди, чем мифология рок-н-рольной славы или даже диалектика любви и смерти.

Это – мир гибнущий, разделившийся сам в себе от напряжения ненависти, не просто вывихнутый, но обрушивающийся мир. Лейтмотив романов Сальмана Рушди. Горящее индо-пакистанское гетто в "Сатанинских стихах", взрывающийся город-сказка Бомбей в "Прощальном вздохе мавра", планета, разодранная по швам тектонических разломов в "Земле под ее ногами". Чувство невозвратной утраты, грозящей невиданными катастрофами.

И это хорошо понятно и тем, кому нет никакого дела до рок-н-ролла.

Илья Кормильцев

Великобритания

Переписка отца с сыном

У мистера Бисваса, знаменитого персонажа английского писателя тринидадского происхождения Видиа С. Найпола, был вполне реальный прототип: отец автора, Сиперсад Найпол. Разумеется, он не является полным аналогом литературного героя, однако многие черты его неординарной личности писатель позаимствовал для своего мистера Бисваса. Об этом среди прочего свидетельствует опубликованная в Великобритании издательством "Литтл, Браун" книга В. С. Найпола под названием "Переписка отца с сыном".

Старший и младший Найполы начали переписываться в 1950 году, когда 17-летний Видо, как звали его в семье, покинул Тринидад и через Нью-Йорк добрался до Англии, где поступил в Оксфорд. Но эта переписка оказалась недолгой, ибо уже в октябре 1953 года 47-летний отец Найпола скончался от сердечного приступа.

Даже за столь небольшой срок отец и сын Найполы успели обменяться множеством посланий, полных неподдельных чувств и взаимной заботы и любви. Молодой Найпол писал часто, так как скучал по дому и родным, по привычной природе (в Англии он впервые увидел снег); кроме того, он должен был как можно подробнее описать свою жизнь, о чем его постоянно просил отец, возлагавший на старшего из семи детей большие надежды, всячески ободрявший и поддерживавший новоиспеченного студента. Одна из основных тем этой переписки – литературное творчество, к которому оба стремились. Отец, работавший журналистом в местной тринидадской газете "Гардиан", сочинял рассказы, хотя работа в редакции вымотывала его настолько, что сил и времени на собственное творчество почти не оставалось. Сын, еще будучи в Оксфорде, активно писал и делал первые шаги на британской литературной сцене.

Не всегда эти шаги были успешными. Так, в письме от июля 1952 года отец утешает Видо, чей роман был отвергнут издательством: "Люди вроде нас похожи на пробку, брошенную в воду: мы только на миг потонем, но затем обязательно всплывем". Такое участие характерно для писем Найпола-старшего; как и многие родители, дети которых превзошли их еще в молодости, он проживал и переживал все удачи и неудачи вместе с сыном. Он желал знать все подробности, все новости из жизни Видо, старался дать совет, пусть и не всегда дельный, посылал деньги, сигареты, подарки. Все это, безусловно, помогало выжить Найполу-младшему, которому порой бывало весьма неуютно в далекой, чужой стране. Например, во время рождественских каникул 1951/52 годов у страдавшего от одиночества и ностальгии Найпола произошел нервный срыв, и тогда письма из дома стали особенно теплыми и заботливыми.

Переписка показывает и то, как Найпол-младший при всей любви и уважении к отцу постепенно начал смотреть на него глазами не только сына, но и писателя; эта более объективная оценка была необходимым шагом на литературном пути – из просто близкого человека отец превращался в персонаж книг. Сам всегда мечтавший о литературе, Найпол-старший предлагает сыну в июне 1953 года попытаться опубликовать в Лондоне его рассказы или даже выпустить совместный сборник рассказов под именами "Сиперсад и Видиа Найполы". За несколько месяцев до смерти Найпол-старший успел услышать, как Найпол-младший читал по радио один из отцовских рассказов.

Франция

Колетт "без грима"

Если судить по Габриель Сидони Колетт, то истинная француженка способна вскружить голову мужчинам и после ухода в мир иной. Вот уже более полувека знаменитой писательницы нет в живых, но она по-прежнему пользуется вниманием мужчин — и ветреных, и солидных, таких, например, как литераторы. Прошло меньше года после появления книги биографа Жана Шалона, как у Колетт появились новые "поклонники" в лице Клода Пишуа и Алена Брюне. Они также засвидетельствовали ей свое почтение, выпустив биографическое исследование, но стиль его совершенно отличался от предыдущего. Жан Шалон отказался от архивных раскопок и предпочел пользоваться воспоминаниями современников, сплетнями и легендами, так что в результате его книга скорее похожа не на научный труд, а на изящное посвящение даме. "Колетт" его соперников, вышедшая в издательстве "Фаллуа", можно сравнить с серьезным признанием в любви (на шестистах с лишним страницах).

Действительно, материалы для этой книги собирались десятилетия. Авторы переворошили газетные и журнальные архивы, вычертили величественное генеалогическое древо, подсчитали гонорары Колетт — артистки мюзик-холла и Колетт-писательницы, а затем поста-

Колетт – литературная звезда Франции

ралась вместить плоды своих изысканий в рамки одной книги. Неудивительно, что она изобилует фактами и напоминает не столько биографический рассказ, сколько научное исследование. Словом, труд авторов был без преувеличения громаден — но чего не сделаешь ради любви! Зато теперь и многие другие почитатели и почитательницы Колетт смогут узнать массу интереснейших, но ранее неизвестных подробностей о своем кумире.

А "кумир" этот, судя по отзывам современников, никого не оставил равнодушным к себе, особенно недоброжелателей. Поэт Франсис Карко назвал ее "старой коровой"; в глазах румынской княгини Бибеско она была "дрянью"; а писатель Поль Леото не мог простить Колетт ужасной жестокости в обращении с умершими котами: она спокойно выбрасывала своих бывших любимцев в сточную канаву. Впрочем, от прочитанного в этой книге создается впечатление, что Колетт избавлялась не только от домашних питомцев, но и от отслуживших свое мужей, любовников, любовниц, домов, садов...

С другой стороны, нельзя забывать, что часть таких свидетельств взята из прессы, а журналисты не всегда спрашивали у Колетт разрешения на публикацию и не уточняли у нее детали написанного. К тому же Колетт была натурой артистичной и эксцентричной, поэтому нельзя слепо верить даже ей самой. Ее надо разгадать: понять, шутит она и паясничает или говорит серьезно, и кто говорит в ней в данный момент — скандальная актриса, выступающая в полуобнаженном виде, или командор ордена Почетного легиона (считанные женщины удостаивались такого престижного звания).

Эта женщина обескураживала многих, в том числе и парижского префекта Лепина. В свое время он был известен как борец за соблюдение приличий и норм морали; в частности, преследуя лесбиянок, он запретил женщинам носить предметы мужского гардероба. Колетт же носила не только галстук, причем ярко-красный, но и собачий ошейник с надписью: "Я принадлежу мадам М.". Словом, разгадать Колетт непросто, но, к чести биографов, их знаний и опыта хватило, чтобы приблизиться к разгадке. Правда, при этом они невольно заставили свою героиню "снять грим" и раскрыть людям душу.

США

Во всех "преступлениях" ищите женщину

Благополучный — вот подходящий эпитет для Роберта Паркера как писателя. Пять миллионов экземпляров — таков общий тираж книг, которых у 67-летнего американского мастера детективного жанра издано уже 34. Понятно, что человек его ранга может с легкостью сказать "нет", если не хочет делать то, что ему предлагают. И на деловую встречу, которую назначила 36-летняя актриса Элен Хант, он согласился из простого любопытства. Но в ходе беседы он ответил и вторым, вполне серьезным "да" на ее дерзкую просьбу написать книгу, героиню которой она могла бы сыграть в кино. При этом Элен настаивала не на готовом сценарии, а именно на романе, по которому потом снимут фильм, где она сыграет роль женщины-сыщика.

Возможно, до получения премии "Оскар" актриса не решилась бы на такое. Но награда окрылила ее. Она почувствовала, что имеет право реализовать свою давнюю мечту. А выбор пал на Паркера потому, что ей нравится, как он пишет. Так Элен сделала Роберта "организатором" загадочного убийства и "свидетелем" по делу о девочке-беглянке, которую разыскивает частный детектив Санни. Творческое родство душ писателя и актрисы помогло им в работе над образом героини, которую оба хотели сделать необычной, но вместе с тем максимально правдоподобной. По их замыслу, Санни должна обладать дедуктивными способностями, прекрасно стрелять, владеть приемами карате, оставаясь при этом женственной и привлекательной; а главное, она должна быть очень чуткой, вдумчивой, чтобы стать наперсницей для юной подопечной.

Загоревшись этой творческой идеей, Роберт Паркер страстно взялся за работу. Его Санни получилась такой: это дочь отставного полицейского, она живет в Бостоне, готовить не умеет, зато любит рисовать и обожает своего бультерьера. С мужем она разведена, но он ей по-прежнему небезразличен, и она продолжает поддерживать с ним отношения, хотя и достаточно странные. Неко-

торые детали автор позаимствовал у самой Хелен: например, увлечение живописью и любовь к собакам (впрочем, Паркер и сам их очень любит). Эффект от написанного автор проверял на собственной жене, внося поправки, без которых — по его мнению — задуманный образ не получился бы.

Теперь, когда вышедший в издательстве "Путнам" роман "Семейная честь" стал бестселлером, обрадованный автор готов написать продолжение о Санни. Иное дело Элен: ведь теперь ее черед искать средства перевоплощения в "женщину, у которой творится беспорядок — не в доме, конечно, а в голове". По признанию актрисы, она и не подозревала, что "понять душу женщины трудно не только мужчинам, но и самим женщинам — до того она сложна". Но, похоже, она уверена: ее киногероиня получится не хуже литературной.

Элен Хант и Роберт Паркер: счастливый творческий союз актрисы и писателя

По материалам газет и журналов "Лондон ревью оф букс" [Великобритания], "Ньюсуик" [США], "Лир" [Франция].

Что читают в мире?

Романы, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров еженедельника "Паблишерс уикли" от 17 апреля 2000 г.

1 DANIELLE STEELE
The Wedding

2 JOHN GRISHAM
The Brethren

3 TAWNI O'DELL
Back Roads

4 ISABEL ALLENDE
Daughter Of Fortune

5 ROBERT B. PARKER
Hugger Mugger

6 NORA ROBERTS
Carolina Moon

7 SEAMUS HEANEY
Beowulf

8 HELEN FIELDING
Bridget Jones

9 AMANDA QUICK
Wicked Widow

10 ROBERT C. MORGAN
Gap Creek

Концерт № 2 для сводного хора читателей

Обзор ответов на анкету, опубликованную в № 12, 1999

О ЧИТАТЕЛЯХ

Два с половиной года прошло с того момента, когда мы подвели итоги и опубликовали результаты предыдущего опроса читателей ("ИЛ", 1997, № 12). На новую анкету ответов пришло несколько меньше, но тем дороже для нас каждый полученный отклик. Тем более что реально наша читательская аудитория если и сократилась, то ненамного: за минувшие три года тираж "ИЛ" уменьшился всего на тысячу экземпляров, что по нынешним временам совсем неплохо. Впрочем, значительная часть (почти 30 %) этого тиража выкупается и распространяется по региональным библиотекам Институтом "Открытое общество": и хотя мы за это ему весьма благодарны, но после того как программа поддержки толстых журналов будет закрыта (а произойдет это в самом ближайшем будущем), для "ИЛ" могут наступить нелегкие времена. Рассчитывать нам, пожалуй, остается лишь на вашу поддержку — на то, что постоянные подписчики журнала от него не отвернутся и к ним присоединятся новые читатели, которые захотят каждый месяц вынимать свежую "Иностранку" из своего почтового ящика. *"Мы Вас очень любим и с удовольствием читаем каждый номер. Нас много, поэтому каждый находит что-нибудь интересное для себя. С нетерпением ждем Вас каждый месяц, желаем долгой-долгой жизни и увеличения числа подписчиков"*, — пишет из маленького уральского городка Невьянска семья Онохиных, каждый из пяти членов которой имеет свои литературные пристрастия (у родителей — Хорхе Луис Борхес, Кшиштоф Кеслёвский и Горан Петрович, у детей — Дуглас Коупленд, Алессандро Барикко и Пол Остер).

Некоторые основания для оптимизма в этом отношении есть: судя по пришедшим письмам, наша аудитория серьезно обновляется и становится значительно моложе. В 1997 году больше половины писем пришло от тех, кому за 40; сейчас же таковых осталось всего 38 %, а наиболее активными респондентами стали читатели в возрасте 21-35 лет — их доля в общем числе писем составила 43 %. Впрочем, и старшая возрастная группа не сдает своих позиций: тех, кому за 60, оказалось, как и в прошлый раз, около 15 % — это самые преданнные поклонники "ИЛ", читающие журнал еще с 60-х (а 83-летний З. З. Розенбаум из Жуковского — и с 30-х). Но для основной части подписчиков журнал стал постоянным чтением с конца 80-х или начала 90-х: нынешний среднестатистический читатель, как можно предположить, обратил на "Иностранку" внимание в студенческие (пришедшиеся на перестройку) годы, и теперь, в свои 30-35, продолжает за ней внимательно следить.

Значительную часть аудитории составляют, как и прежде, те, кому журнал нужен для профессиональной деятельности: филологи, переводчики, учителя литературы и преподаватели иностранных языков, работники библиотек (*"Преподаю мировую литературу в Челябинском высшем музыкальном училище. Программу по литературе XX века выстраиваю на основе публикаций Вашего журнала"*, — пишет, например, Дарья Валерьевна Стрельцова). Гуманитарная интеллигенция (историки, философы, психологи, журналисты, юристы) традиционно является нашей "целевой" социальной группой; от нее, впрочем, по-прежнему не отстают и "технари" — физики, химики, инженеры-конструкторы, геологи, связисты, электрики, механики... Читают журнал врачи и экономисты, пенсионеры и безработные, аспиранты, студенты и школьники. Новая эпоха порождает и экзотические варианты сочетания специальности и рода занятий: филолог-маркетолог (Галина Николаевна Молева, Нижний Новгород), историк-предприниматель (В. Ю. Стеблянский,

35 лет, Ставрополь) и даже инженер-уборщица (Т. Г. Кузьменко, Самара: *"Работой довольна, она дает мне заряд бодрости и оптимизма. Прихожу — грязно, ухожу — чисто. Плюс аэробика"*).

Почти половина наших читателей живет в крупных городах: 15 % — в Москве, 10 % — в Санкт-Петербурге и 20 % — в других городах-миллионерах. Из городов с населением от полумиллиона до миллиона человек писем пришло относительно немного (менее 10 %), зато из городов "средних" (100—500 тыс.чел. — от Архангельска до Усть-Илимска) их оказалось вдвое больше. Самый же поразительный факт в том, что из самых небольших городов (до 50 тыс.чел) и сел мы получили писем больше, чем из Москвы.

Одно остается неизменным — среди наших читателей по-прежнему преобладают женщины; на этот раз их чуть более 60 %. Может, все дело в аэробике?

О ЖУРНАЛЕ

Лучше ли, хуже, содержательнее, скучнее ли стал журнал? — спросили мы у вас, попросив по возможности продолжить оценочный ряд. Около 40 % считают, что журнал стал *лучше* и *содержательнее*; 25 % читателей использовали свои формулировки оценок: *интереснее, разнообразнее, информативнее, современнее, оперативнее, интеллектуальнее, глубже, динамичнее, моднее* — или, по меньшей мере, *не хуже*. Впрочем, это вовсе не означает, что все прочие оценивают происходящие изменения негативно: отчетливо выраженных отрицательных оценок (журнал стал *хуже, скучнее, менее интересным, более серым*) оказалось около 10 %; остальные же либо считают, что журнал особенно не изменился, либо выразили свое отношение к журналу не в однословных формулировках, а в развернутых высказываниях.

"Несколько сократилось количество ярких произведений, но тематика журнала стала более разнообразной", — пишет Наталья Анатольевна Аникина, химик-технолог из города Оха, что на Сахалине; *"Журнал стал содержательнее, но и скучнее"*, — утверждает Вера Петровна Сербина, лаборант-рентгенолог из поселка Тульский (республика Адыгея); *"Журнал стал более современным, он пытается поймать сегодняшний день, и я не знаю, хорошо это или плохо, возможно, это ложный путь"*, — считает гидрогеолог из Саратова Светлана Лебедевская. *"Есть номера просто замечательные, есть откровенно скучные, но в целом вы держите марку"* — таково мнение студентки из Новоуральска Е. А. Семянниковой.

Для многих читателей журнал является своего рода *"окном в мир"* (Галина Владимировна Ильина, журналистка из Калуги). *"Единственный журнал, который связывает с мировой литературой, глоток воздуха. Начинаю ощущать себя гражданином мира. Спасибо, что вы есть"* (М. М. Акбашева, библиотекарь из Набережных Челнов); *"Для читателей провинции это часто единственная возможность приобщиться к мировому культурному процессу"* (Оксана Роальдовна Тучина, преподаватель философии из Краснодара); *"Единственный источник настоящей литературы"* (Л. М. Русакович, учительница истории из Амурска); *"Без вас — хоть вой от скуки"* (Ольга, город Дмитровск Орловской обл.) — подобные высказывания хотя и тешат самолюбие, но одновременно и удручают: плохо, если у журнала практически нет конкурентов. Впрочем, нас в этом отношении успокаивает географ из Москвы Анна Григорьевна Макаренко: *"Лет 8 назад журнал был как свет в окошке, потому что современную зарубежную литературу не издавали. Сейчас в хороших книжных магазинах выбор достаточный, но все равно журнал остается самым любимым изданием"*, а В. А. Пеньков (58 лет, "профессиональный читатель" из Таллина) и вовсе возвращает нас с облаков на землю: *"Книжный рынок сегодня идет, опережая на корпус ваш журнал"*. Однако такого рода мнения можно считать скорее исключением, и вполне объяснимым, ведь ситуация с книгами в российской провинции явно не в лучшую сторону отличается от московской или таллинской.

Некоторые читатели вступают друг с другом в невольный диалог. *"В последний год журнал стал просто потрясающим, все номера прочитываю от корки до корки"*, — пишет А. В. Галкина, студентка из Зеленограда. *"Содержание журнала за 1999 год значительно уступило содержанию двух предыдущих лет"*, — возражает ей С. Ю. Корнющенко, студент из Калининграда. *"Безусловно, журнал стал лучше. Тому доказательством 1999 год"*, — продолжает полемику Игорь Николаевич Фофанов, 38-летний инженер-механик из поселка Целина Ростовской области. *"В конце каждого года качество падает, а в канун 2000 года упало просто катастрофически!"* — восклицает в ответ Ю. Л. Цегельницкий, 40-летний инженер-программист из Сызрани.

Для кого делается журнал? *"ИЛ" стала полнее угождать — в хорошем смысле слова — вкусам разных категорий читателей"*, — пишет Рыспек Садыгалиев (51 год, безработный из Хавского района Воронежской обл.);

"Каждому журнал может дать столько, сколько читатель в состоянии взять: и традиционалист, и рафинированный эстет", — вторит ему Наиди Мурадбековна Абакарова (кандидат филологических наук из Махачкалы). *"Ваш журнал удовлетворяет очень узкий круг читателей"*, — возражает им 55-летний Юрий Алексеевич Агарев из Донецка. *"Очень много материалов, интересных для специалистов, литературоведов, а хочется больше хорошей литературы, печатаемой не "отрывками", а законченными произведениями"*, — подхватывает инженер из поселка Сиверский Ленинградской области Г. И. Алферова. *"Жалко, что вы редко переводите и печатаете добротное чтиво (наподобие "Святой Эвиты"). По-моему, высоколобые должны читать в подлиннике"*, — утверждает Ю. С. Карасева из села Михайловка Саратовской области. Нет, считает Г. Н. Молева из Нижнего Новгорода: *"Надо поднимать читателя до определенного уровня, и этим уровням не должно быть предела"*.

Так что же все-таки должен печатать журнал? Как строить редакционную политику? На этот счет тоже имеются самые разные мнения. С одной стороны, *"хочется видеть на страницах журнала произведения, анонсируемые в "Книжной витрине", то есть последних лет"* (М. А. Сеидова, муниципальная служащая из Махачкалы). С другой же — *"...желательно, чтобы "современные" романы печатались с определенной задержкой, чтобы произведение "отстоялось"* (Вадим Валерьевич Фадеев, 33 года, специалист по промышленному альпинизму из Тулы), *"...стоит больше обращать внимания на не самые свежие, но ранее не публиковавшиеся произведения"* (И. В. Нелюбин, 26 лет, г. Кедровый Томской обл.), *"...не зацикливаться на литературе текущей"* (Вячеслав Шадронов, 21 год, студент-филолог из Ульяновска). То, на что жалуется Алексей Игоревич Белов (26 лет, учитель математики из Зеленограда): *"Очень много проходных материалов, сильна ориентация на круг авторов, которых уже можно считать классиками"*, — у Виталия Геннадьевича Ананьева (18 лет, студент-историк из Санкт-Петербурга), напротив, вызывает одобрение: *"Вы чутко реагируете на современную литературную жизнь, однако не забываете и "уже классиков"*.

В некоторых письмах присутствует определенное разочарование в западной (прежде всего в американской) литературе: *"Многие произведения, публиковавшиеся ранее (до 1999 года), создавали впечатление какого-то одряхления Запада и интеллектуальной усталости"* (Инна Владимировна Драбкина, преподаватель из Самары); *"Слишком много убогой американской прозы"* (Ю. А. Аникутин, 29 лет, студент из Красноярска); *"Американцам чего-то не хватает"* (Елена Шевернева, студентка из Москвы); *"Чувствую духовное богатство индийцев и неразвитость американцев"* (Л. М. Труженникова, радиофизик из Нижнего Новгорода). *"Что-то не верится мне в бездуховность Америки. Великая страна — прекрасная литература"*, — пытается их переубедить филолог из Санкт-Петербурга К. К. Чекоданова. Большинство читателей, похоже, разделяют ее точку зрения — в двадцатку лучших авторов последних лет вошли сразу пять американцев:

Джозеф Хеллер, Норман Мейлер, Джон Барт, Кристофер Бакли и Майкл Каннингем.

"Избыточно много авторов бывшего социалистического блока..., "словенских братьев", — жалуется А. А. Порозов (37 лет, безработный из Лысьвы); *"Давно не было африканцев"*, — сетует пенсионерка из Перми Ирина Константиновна Андреева; *"Почему же больше не появляется на ваших страницах Маркес?"* — вопрошает Сергей Евгеньевич Тихонов (45 лет, режиссер народного театра из Осташкова). Что касается Гарсиа Маркеса, то дело здесь прежде всего в авторских правах (его литературный агент требует за разрешение на публикацию неподъемные для журнала суммы). А если говорить о литературной географии, то у нас давно уже нет региональных квот и разнарядок. Хотя мы по мере сил стремимся к тому, чтобы полнее представить мировой литературный процесс, главный критерий при отборе текста для публикации — насколько он интересен нам (редколлегии) и может быть интересен вам (читателям). И самое приятное, когда наш выбор оказывается точным: *"Каждый номер радует продуманностью подбора материала. Разнообразие без пестроты"* (Татьяна Тетеревлёва, преподаватель истории из Архангельска); *"Меня привлекает в вас содержательное разнообразие. За 10 лет знакомства я так же трепетно и с легким волнением жду новой встречи"* (Сергей Шашин, 43 года, сторож из Волгограда); *"Журнал по-прежнему мне интересен, и каким-то чудесным образом я нахожу на его страницах именно то, что нужно мне в данный момент"* (Вера Леонидовна Неклюдова, математик из Новосибирска).

В стихийно сложившемся рейтинге рубрик лидирует выходивший в 1999 году ежемесячно "Литературный гид". Среди прошлогодних выпусков больше всего положительных откликов получили гиды "персональные", посвященные жизни и творчеству значительных для культуры XX века личностей: Хорхе Луиса Борхеса, Гертруды Стайн, Мирчи Элиаде и Владимира Набокова; с не меньшим интересом были встречены оба выпуска на тему "Жизнь как роман". Гиды по другим темам оказались менее популярны: в прошлом году читатели обратили внимание прежде всего на выпуски "Книга и/или компьютер" и "XX век: стоп-кадр". Самым же интересным тематическим "литгидом" оказался выпуск двухлетней давности "Поколение Икс", который, похоже, стал одной из причин возрождения интереса к журналу со стороны молодой читательской аудитории. Из других рубрик в качестве лучших чаще других назывались "Вглубь стихотворения" и "Портрет в зеркалах".

Разные мнения высказываются об иллюстративном материале. *"Раньше репродукции с работ художников монтировались как вклейки, теперь печатаются на обложках, и это плохо"*, — утверждает Н. А. Лобов (69 лет, пенсионер из Воронежа); *"Хорошо, что внутри нет цветных иллюстраций — это было бы явным выпадением из стиля. Да и со вкусом у вас все в порядке"*, — защищает нас филолог из Владикавказа Дзерасса Казбековна Хетагурова. Неоднозначно встретили читатели и новый оригинал-макет. *"С каждым годом журнал становится все лучше и содержательнее. Его приятно не только читать, но в последнее время и просто держать в руках, особенно начиная с № 1 за 2000 год"*, — пишет 48-летний фотограф из Благовещенска Евгений Александрович Романовский. С ним не согласны Светлана Лебедевская из Саратова: *"Разочарована изменением внешнего вида в 2000 году. При такой внешности он кажется слишком сухим и лаконичным"*; В. Т. Маклаков (51 год, кандидат философских наук из Екатеринбурга): *"Озадачил новый формат журнала"*; Соня Данилова (менеджер рекламного агентства из Москвы): *"Большая часть изменений (шрифт, оформление, аппарат) — ужасны"*.

На изменение макета мы решились после многочисленных жалоб на то, что в последние годы журнал стало трудно читать: мелкий шрифт, длинная строка, большие, визуально плохо воспринимаемые массивы текста. Новый шрифт — с более широкими буквами — читается явно лучше; страницы меньшего (книжного) формата для чтения, согласитесь, также удобнее; сокращение же объема текста на каждой странице компенсируется увеличением их общего числа. Хотя мы, безус-

ловно, согласны, что новый облик журнала в каких-то частностях еще нуждается в совершенствовании.

ОБ АВТОРАХ

Вот как в обобщенном представлении читателей выглядит двадцатка лучших авторов "Иностранки" за период с мая 1997-го по декабрь 1999 года:

№ Автор	Произведение	Когда опубликовано
1. А. Барикко	"Море-океан"	1998, № 1
	"Шелк"	1999, № 6
2. П. Вайль	Рубрика "Гений места"	1997, № 6, 7, 11, 12
		1998, № 2, 4, 6, 8, 10, 12
3. Р. Гари	"Белая собака"	1998, № 6
Э. Ажар	"Страхи царя Соломона"	1997, № 9
4. Ж. Сарамаго	"Евангелие от Иисуса"	1998, № 5, 6
	"Каменный плот"	1999, № 9, 10
5. Дж. Хеллер	"Вообрази себе картину"	1998, № 2
6. У. Эко	"Остров Накануне"	1999, № 2, 3
7. А. Рой	"Бог Мелочей"	1999, № 7, 8
8. Э. Каррер	"Усы"	1999, № 4
9. Н. Мейлер	"Портрет Пикассо в юности"	1998, № 8
	"Евангелие от Сына Божия"	1998, № 5
10-11. Д. Коупленд	"Поколение Икс"	1998, № 3
Т. Фишер	"Коллекционная вещь"	1999, № 8
12. Дж. Барт	"Конец пути"	1999, № 5
13. О. Памук	"Черная книга"	1999, № 6
14-16. К. Бакли	"Здесь курят"	1999, № 11, 12
А. Кристоф	"Вчера"	1998, № 9
М. Павич	"Последняя любовь в Константинополе"	1997, № 7
	"Корсет"	1998, № 4
	"Дамаскин", "Стеклянная улитка"	1999, № 10
17. М. Кундера	"Подлинность"	1998, № 11
18-19. П. Акройд	"Процесс Элизабет Кри"	1997, № 5
М. Каннингем	"Дом на краю света"	1997, № 8, 9
20-21. И. Макьюэн	"Невинный, или Особые отношения"	1998, № 12
М. Сутер	"Small World"	1998, № 9

Шесть из этих двадцати авторов присутствовали и в прошлом списке. Бывший ранее безусловным лидером читательских предпочтений Умберто Эко скатился на шестое место, а Милан Кундера передвинулся вниз на двенадцать позиций: "Остров Накануне" и "Подлинность", по мнению читателей, значительно уступают прежним произведениям этих "культовых" авторов. Несколько иначе выглядит ситуация с Питером Акройдом: он опустился в списке на десять мест, но стал единственным автором, сохранившим место в двадцатке несмотря на отсутствие новых публикаций, — читатели просто хорошо запомнили "Процесс Элизабет Кри", роман, благодаря которому Акройд попал и в первый список. Два автора сохранили свои

прежние места: на девятом остался Норман Мейлер (в прошлый раз он получил его за первую часть "Портрета Пикассо в юности", а теперь — прежде всего за вторую половину той же книги), а на третьем — Ромен Гари (он же Эмиль Ажар). А вот Петр Вайль (единственный в списке эссеист и единственный пишущий по-русски) благодаря десяти выпускам авторской рубрики "Гений места" взлетел с десятого места на второе.

Безоговорочным же фаворитом оказался до сей поры неизвестный российским читателям 42-летний итальянец Алессандро Барикко, чье имя упомянуто почти в 40 % писем — это на 10 % больше, чем у Вайля и Гари. И главную роль в этом сыграла не первая его публикация в "ИЛ" ("Море-океан"), а вторая — лаконичный, прозрачный и изящный роман "Шелк", который (для нас во многом неожиданно) чаще других упоминался вами в числе наиболее удачных публикаций прошлого года. Еще одиннадцать авторов принадлежат к числу наших открытий последних двух лет: после первых же публикаций читательские симпатии завоевали Жозе Сарамаго, Арундати Рой, Эммануэль Каррер, Дуглас Коупленд, Тибор Фишер, Джон Барт, Орхан Памук, Кристофер Бакли, Майкл Каннингем, Иэн Макьюэн и Мартин Сутер. Что касается Джозефа Хеллера, Аготы Кристоф и Милорада Павича, то их популярность уже можно считать стабильной.

Впрочем, далеко не все из упомянутых авторов получили у читателей безусловное признание, о чем свидетельствует список, в котором обобщены суждения о наименее удачных публикациях (он вдвое короче первого, поскольку негативных оценок вообще оказалось относительно немного):

№	Автор	Произведение
1.	Ж. Сарамаго	"Каменный плот"
2.	У. Эко	"Остров Накануне"
3.	О. Памук	"Черная книга"
4-6.	К. Бакли	"Здесь курят"
	Э. Каррер	"Усы"
	А. Рой	"Бог Мелочей"
7.	Г. Торренте Бальестер	"Дон Хуан"
8-9.	Н. Мейлер	"Евангелие от Сына Божия"
	Э. Ф. Хансен	"Псалом в конце пути"
10.	П. Акройд	"Процесс Элизабет Кри"

В этом списке, в отличие от первого, Умберто Эко почти удалось сохранить "лидерство" (в прошлый раз самой неудачной публикацией был признан его предыдущий роман — "Маятник Фуко"). Многие читатели считают неудачным решение редакции публиковать журнальный, значительно сокращенный вариант "Острова Накануне": *"Либо весь, либо ничего, куски разрушают представление о целом"* (И. В. Драбкина из Самары); *"Честнее было бы не публиковать роман вовсе, чем в таком виде"* (В. Шадронов из Ульяновска).

Статус же самого противоречивого, получающего диаметрально противоположные читательские оценки автора перешел теперь от Умберто Эко к нобелевскому лауреату 1998 года Жозе Сарамаго. *"Из прозы главное событие полугодия для меня — роман "Каменный плот" Жозе Сарамаго. Великолепная вещь плюс великолепный перевод"*, — пишет Татьяна Александровна Щербакова (50 лет, журналистка из туркменского города Мары). *"К сожалению, "Каменный плот" Сарамаго не тянет на высочайший уровень "ИЛ"*, — возражают супруги Бажановы (32 и 33 года) из города Павлово Нижегородской области. *"Первая публикация "провокатора" Сарамаго мне активно не понравилась, но была интересной, следующую не дочитал"*, — сообщает все тот же "профессиональный читатель" В. А. Пеньков

из Таллина; и напрасно, считает Евгений Витальевич Войцеховский (37 лет, зам. директора школы из Томска): *"Каменный плот" стоит того, чтобы прочесть его и сейчас (а не 15 лет назад)"*.

О "Черной книге" 48-летнего турецкого писателя Орхана Памука, ставшей десять лет назад мировой литературной сенсацией, читатели тоже высказываются по-разному. *"Претенциозно, затянуто"*, — пишет, например, Т. Тетеревлёва из Архангельска. Чтение непростое, но роман достойный, считают другие: *"Черную книгу" прочла не сразу, но и она в конце концов увлекла"* (Елена Евгеньевна Шурупова, 33 года, учитель истории из Архангельска); *"Если у меня лично получился затор на "Черной книге" Памука, то в этом я роман не обвиняю. Стечение обстоятельств"* (И. К. Андреева из Самары). А есть и такое мнение: *"Если б я был Нобелевским комитетом, то, возможно, Орхан Памук..."*.

"Такие произведения, как "Черная книга" Орхана Памука и "Бог Мелочей" Арундати Рой, воспринимаются не как экзотика, а как опыт погружения в иную, но в чем-то сходную с привычной и понятную реальность. Я думаю, что русскоязычному читателю они покажутся более близкими, чем западному", — считает В. Л. Неклюдова из Новосибирска. И действительно, Ольгу Юрьевну Демидову (29 лет, инженер-геолог из Москвы) роман А. Рой привел в восторг: *"Самое пронзительное, тонкое, психологическое произведение, которое было напечатано в вашем журнале"*. Впрочем, не все разделяют ее эмоции: *"Не смогла дочитать"* (Валентина Ивановна Мурзинцева, 53 года, пенсионер из Новосибирска); *"Перевод явно неудачен"* (Лидия Павловна Лобанова, 43 года, учительница из Москвы).

Еще один автор, неожиданно попавший сразу и в первую десятку лучших, и в первую пятерку худших, — 42-летний француз Эммануэль Каррер. *"Роман Каррера угрожающ и изыскан, как ЛСД-шная галлюцинация"*, — считают одни; для других же *"все понятно из первых двух страниц"*. Много негативных оценок (наряду с позитивными) получил еще один новичок "ИЛ" — 48-летний американец Кристофер Бакли; по-разному продолжает восприниматься читателями Питер Акройд; критически были встречены романы испанца Гонсало Торренте Бальестера и датчанина Эрика Фоснеса Хансена, хотя и здесь положительных оценок оказалось все же больше, чем отрицательных.

"Сколько читателей, столько и мнений" — можно считать и так. А можно попытаться обобщить индивидуальные мнения, взяв за основу разные читательские характеристики. И тогда окажется, что женщины предпочитают Арундати Рой, Майкла Каннингема и Умберто Эко, а мужчины — Дугласа Коупленда, Джона Барта и Аготу Кристоф (!). Жители больших городов отдают предпочтение Норману Мейлеру, Джозефу Хеллеру и Умберто Эко, а провинциалы — Акройду, Каннингему и Кристоф. А самая любопытная (хотя и вполне очевидная, но подкрепленная вашими конкретными суждениями) зависимость выявилась между возрастом автора и возрастом читателя. Молодые читатели выше других оценили 30—40-летних — Каннингема, Коупленда и Рой; те же, кто постарше, выбрали 70—80-летних — Мейлера, Кундеру и Сарамаго. При этом главную роль здесь, похоже, играет возраст писателя не столько в настоящий момент, сколько в период работы над книгой: свидетельством тому успех у молодых Джона Барта, которому сейчас 70, но в год публикации "Конца пути" было всего 28.

Если продолжить подобный анализ, то почти для каждого писателя можно определить его оптимальную читательскую аудиторию. Джон Барт и Дуглас Коупленд — это авторы для 30-летних мужчин; а вот лидеров общего списка — Алессандро Барикко, Ромена Гари и Петра Вайля (а также Джозефа Хеллера) — предпочитают женщины слегка за 40. Умберто Эко пишет для жительниц больших городов, а Агота Кристоф и Питер Акройд — для жителей небольших населенных пунктов, где молодые женщины, в свою очередь, читают Майкла Каннингема. Жозе Сарамаго и Норман Мейлер получают признание у немолодых мужчин; провинциалы же оценивают этих авторов (равно как и Кристофера Бакли с Орханом Памуком) негативно.

Впрочем, для того чтобы выяснить, кому наши читатели на самом деле отдают предпочтение, мы задали в анкете отдельный вопрос: произведения каких зарубежных авторов вы хотели бы видеть в возобновленном "ИЛ" книжном приложении? Список получился весьма обширным (более 300 имен!), и вот кто оказался на его вершине (для сравнения мы приводим список, полученный по результатам прошлой анкеты):

№	2000 год	№	1997 год
1.	Ромен Гари (Эмиль Ажар)	1.	Умберто Эко
2.	Джон Фаулз	2.	Джон Фаулз
3.	Милорад Павич	3.	Патрик Зюскинд
4-5.	Алессандро Барикко	4.	Иосиф Бродский
	Милан Кундера	5.	Ромен Гари
6.	Умберто Эко	6.	Милан Кундера
7.	Джулиан Барнс	7.	Генри Миллер
8.	Сол Беллоу	8.	Питер Акройд
9-10.	Сальман Рушди	9.	Владимир Набоков
	Хорхе Луис Борхес	10.	Габриэль Гарсиа Маркес
11.	Джон Барт	11.	Фридрих Дюрренматт
12.	Жозе Сарамаго	12.	Милорад Павич
13.	Питер Акройд	13.	Айрис Мердок
14-17.	Борис Виан	14.	Японские авторы
	Агота Кристоф		
	Владимир Набоков		
	Том Стоппард		

Гари, Павич, Барикко, Кундера, Эко, Барт, Сарамаго, Акройд и Кристоф благополучно перекочевали сюда из списка лучших публикаций "ИЛ", что, впрочем, вполне естественно. Удивительно другое — отсутствие здесь таких имен из первого списка, как Хеллер, Рой, Каррер, Коупленд, Фишер... Неужели оказалось достаточно журнальной публикации, и в книжном издании их романы уже не нужны?

Любопытно, что почти все предпочтения 1997 года сохранились в силе и теперь, причем Гари, Павич и Кундера укрепили свой "культовый" статус. "Культовыми" можно считать также имена Фаулза, Рушди, Виана и Стоппарда: хотя со времени их самых заметных публикаций в "ИЛ" прошло не менее 4—5 лет, интерес к этим авторам остается стабильно высоким — равно как и интерес к японским авторам.

Что касается Джулиана Барнса, то он, несмотря на свое регулярное присутствие на страницах журнала, в первый список (лучшие публикации) не попал, зато оказался в верхней части списка "желаемых" авторов. Дело здесь, видимо, в том, что в последнее время мы печатали исключительно рассказы Барнса, а читатели, конечно же, хотят видеть отдельным изданием "Историю мира в 10 1/2 главах". Но об этом же думали и мы: пока в редакцию шли письма, "История мира..." уже готовилась к выходу в книжной серии "Иллюминатор" под номером 5. Мы будем и дальше стремиться (хотя, может быть, и не всегда столь оперативно) учитывать ваши пожелания.

О ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТАХ И ПОБЕДИТЕЛЯХ

В качестве игрового задания мы предложили вам разгадать специальный литературный чайнворд. Большинство вопросов не вызвали особых затруднений (хотя многие формулировки предполагали не прямой, а скорее ассоциативный путь к ответу), но заполнить все клетки до единой смогли лишь те, кто внимательно читал журнал на протяжении последних лет. Самым коварным стал вопрос но-

мер 3 — о путешественнике с томиком Страбона; мы имели в виду героя опубликованного еще три года назад (№ 12, 1996) романа голландца Сэйса Нотебоома "Следующая история". Но все же в *каждом третьем* (!) письме мы нашли правильные ответы на все без исключения вопросы. Настала пора сообщить их всем читателям.

1. *Роман, публикация которого в "ИЛ" вызвала такие читательские отклики: "Бред сумасшедшего", "Чтение заумных идиотов", "У вас надежный дебильный состав редакции"* — печатавшийся в течение всего 1990 года роман Джеймса Джойса "УЛИСС".

2. *Немного французского солнца* — Франсуаза САГАН, автор романа "Немного солнца в холодной воде" ("ИЛ", 1972, № 3).

3. *Путешественник с томиком Страбона* — Сэйс НОТЕБООМ.

4. *Автор романа, название которого состоит из двух местоимений и одного союза* — Альберто МОРАВИА, "Я и он" ("ИЛ", 1994, № 4).

5. *Ромен Гари (псевдоним)* — Эмиль АЖАР.

6. *Вообразите его картину* — РЕМБРАНДТ, о котором идет речь в романе Джозефа Хеллера "Вообрази себе картину".

7. *Русский писатель, герой рассказа английского писателя* — ТУРГЕНЕВ, рассказ Джулиана Барнса "Вспышка" ("ИЛ", 1999, № 1).

8. *Лауреат Нобелевской премии (имя)* — ВИСЛАВА Шимборская (премия 1996 года).

9. *Ферма. Кролики* — Джон АПДАЙК, автор романов "Ферма" ("ИЛ", 1967, № 4), "Кролик, беги", "Кролик исцелившийся", "Кролик разбогател" и "Кролик на отдыхе".

10. *Не Агата* — Агота КРИСТОФ.

11. *Английский писатель венгерского происхождения с немецкой фамилией* — Тибор ФИШЕР.

12. *Один из главных редакторов "ИЛ"* — Борис РЮРИКОВ, главный редактор в 1963—1969 гг.

13. *Вернон Салливен (настоящая фамилия)* — Борис ВИАН.

14. *Знаменитый энтомолог* — Владимир НАБОКОВ.

15. *Том, Томас, Тобиас...* — ВУЛФ (три американских писателя-однофамильца).

16. *Полвека в Исаакиевском соборе* — действующая модель маятника ФУКО была подвешена к куполу собора с 30-х по 90-е годы XX века.

17. *Лауреат Нобелевской премии (фамилия)* — Кэндзабуро ОЭ (премия 1994 года).

18. *Лучший (он же худший) автор "ИЛ" по итогам предыдущего читательского опроса* — Умберто ЭКО.

19. *Джойс, но не Джеймс* — Джойс Кэрол ОУТС.

20. *"Все вы — потерянное поколение" (автор высказывания)* — Гертруда СТАЙН (эпиграф к роману Э. Хемингуэя "Фиеста").

21. *Тринидадский писатель* — Видиа С. НАЙПОЛ.

22. *Французский литературный журнал* — "ЛИР" (представлен в рубрике "Литературная пресса мира", "ИЛ", 1996, № 11).

23. *Йозеф, Филип...* — РОТ (австрийский и американский писатели-однофамильцы).

24. *"Моя другая жизнь" (автор книги)* — Пол ТЕРУ ("ИЛ", 2000, № 3; публикация была анонсирована в № 9, 1999).

А вот имена тех разгадавших кроссворд счастливчиков, которым по результатам проведенного в редакции розыгрыша досталась бесплатная подписка на 2001 год:

1. Н. А. Аникина (химик-технолог, г. Оха, Сахалинская область).
2. Супруги Бажановы (г. Павлово, Нижегородская область).
3. И. И. Гошкина (врач, г. Москва).
4. И. В. Драбкина (преподаватель английского языка, г. Самара).

5. А. В. Зайцева (пенсионерка, г. Воронеж).
6. Г. А. Ильина (журналистка, г. Калуга).
7. А. Маркин (преподаватель-филолог, г. Екатеринбург).
8. Е. А. Романовский (48 лет, фотограф, г. Благовещенск).
9. Л. Г. Терскова (пенсионерка, пос. Подгорный, Красноярский край).
10. Аноним (служащая, р. п. Городище, Волгоградская область).

Книжные комплекты (Ромен Гари + Питер Акройд + Милан Кундера), разыгранные нами среди всех приславших свои ответы на анкету, мы высылаем по следующим адресам:

1. Т. П. Бердюгина (инженер-конструктор, г. Екатеринбург).
2. А. Губайдуллина (переводчица, г. Уфа).
3. С. В. Данилова (менеджер по рекламе, г. Москва).
4. В. П. Кулешов (57 лет, инженер-механик, г. Москва).
5. Г. Н. Молева (маркетолог, г. Нижний Новгород).
6. Л. А. Хисматулина (студентка-филолог, г. Уфа).
7. Е. Н. Чепига (33 года, начальник детского лагеря, Крым, Украина).
8. Е. П. Шевчук (27 лет, врач, г. Минск, Белоруссия).
9. В. А. Энговатов (55 лет, предприниматель, г. Самара).
10. Д. Якимчик (49 лет, горный инженер, г. Солигорск, Белоруссия).

Тем, кому не повезло в розыгрыше, желаем удачи в следующий раз. А вообще-то писать нам можно (и нужно) и безо всяких специальных анкет: ведь мы стремимся прислушиваться к каждому вашему мнению и пожеланию. Имеющим доступ к Интернету мы предлагаем пользоваться возможностями мгновенной связи, которые предоставляет электронная почта: пишите нам по адресам **inolit@adicom.ru** и **ino@rinet.ru**; советуем также заглядывать на нашу страничку — **www.infoart.ru/magazine/inostran**.

"Надеюсь оставаться вашим читателем до последнего вздоха", — пишет 44-летний московский безработный Андрей Васильевич Перчаткин. Мы также надеемся оставаться вашим журналом до *нашего* последнего вздоха; впрочем, надеемся также, что время его — благодаря опять же вашей поддержке — настанет еще нескоро.

Павел Хюлле
Paweł Huelle
[р.1957]. Польский писатель, лауреат нескольких литературных премий.

Автор прозаических сборников *Первая любовь* [*Pierwsza miłość*, 1996], *Другие истории* [*Inne historie*, 1999]. Рассказы из сборника *Рассказы на время переезда* [*Opowiadania na czas przeprowadzki*] были напечатаны в *ИЛ* [1994, № 11]. Роман *Вайзер Давидек* [*Weiser Dawidek*] издан в Польше в 1987 г. [Gdańsk, Wydawnictwo Morskie].

Чарльз Буковски
Charles Bukowski
[1920—1994]. Американский писатель, поэт.

Автор сборников рассказов *Заметки старого козла* [*Notes of a Dirty Old Man*, 1969], *Самая красивая женщина в городе* [*The Most Beautiful Woman in Town*, 1978], *Шекспир никогда не поступал так* [*Shakespeare Never Did This*, 1979] и др. Русский перевод романа Ч. Буковски *Голливуд* опубликован в журнале Искусство кино [1994, № 9—12; 1995, № 1—2]. В *ИЛ* были напечатаны роман *Макулатура* [1996, № 1], рассказы из разных сборников [1995, № 8].
Публикуемые стихи взяты из книг *И в воде горит, и в огне тонет* [*Burning in Water, Drowning in Flame*, 1974], *Любовь — это адский пес* [*Love Is a Dog from Hell*, 1977], *Мадригалы меблированных комнат* [*Roominghouse Madrigals*, 1988], *Танцы в мертвецкой* [*Bone Palace Ballet*, 1997].

Пьер Бост
Pierre Bost
[1901—1975]. Французский писатель, сценарист.

Автор романов *Скандал* [*Le scandale*, 1931; Prix Interallié], *Вестник несчастья* [*Porte-Malheur*, 1932] и др. В соавторстве с Ж. Ораншем написал сценарии ряда всемирно известных фильмов, в том числе *Красное и черное*, *Игрок* [по Ф.М. Достоевскому], *У стен Малапаги* и др. Повесть П. Боста *Господин Ладмираль скоро умрет* [*Monsieur Ladmiral va bientôt mourir*] была издана во Франции в 1945 г. [Paris, Gallimard].

Давор Мойаш
Davor Mojaš
[р.1952]. Хорватский поэт, прозаик, драматург, публицист, театральный режиссер.

Автор поэтического сборника *Дебильный месяц* [*Debilni mjesec*], прозаических сборников *Запах велюра* [*Miris veluta*, 1994] и *Состояние луны* [*Stanje lune*, 1999].
На русском языке публикуется впервые.
Публикуемый рассказ взят из антологии хорватского рассказа 90-х гг. *22 в тени* [*22 u hladu*], вышедшей в 1999 г. в загребском издательстве Celeber.

Миленко Ергович
Miljenko Ergović
[р. 1966] Хорватский поэт, прозаик, эссеист.

Автор поэтических сборников *Обсерватория Варшава* [*Opservatorija Varšava*, 1988], *Небесная команда* [*Himmel comando*, 1992], *По обледеневшему мосту* [*Preko zaledenog mosta*, 1996] и др., прозаических сборников *Сараевские "Мальборо"* [*Sarajevski Marlboro*, 1994], *Мама Леоне* [*Mama Leone*, 1999], сборника эссе *Наци бонтон* [*Naci bonton*, 1998].
На русском языке публикуется впервые.

Анте Томич
Ante Tomić
[р.1970]. Хорватский прозаик и журналист.

Автор сборника прозы *Я забыл, где припарковался* [*Zaboravio sam gdje sam parkirao*, 1997].
На русском языке публикуется впервые.

Станко Андрич
Stanko Andrić
[р. 1967]. Хорватский историк, прозаик и эссеист.

Автор двух сборников эссе *История Славонии в семи пожарах* [*Povijest Slavonije u sedam požara*, 1992] и *Энциклопедия ничтожного* [*Enciklopedija ništavila*, 1995].
На русском языке публикуется впервые.

Франклин Рив
Franklin Reeve
[р.1928]. Американский поэт и прозаик.

Автор более 20 книг, в том числе поэтических сборников *Красные машины* [*The Red Machines*, 1968], *Голубой кот* [*The Blue Cat*, 1972], *Брат* [*The Brother*, 1973], *Ночной обряд* [*Nightway*, 1987], *Конкретная музыка* [*Concrete Music*, 1992] и др., критических эссе, в том числе *Белый монах: этюд о Достоевском и Мелвилле* [*The White Monk: an Essay on Dostoevsky and Melville*, 1989].
В номере публикуются фрагменты книги *Роберт Фрост в России* [*Robert Frost in Russia*], изданной в 1963 г. в США [Boston, Toronto, Little, Brown and Company].

Гюнтер Грасс
Günter Grass
[р.1927]. Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии [1999], лауреат литературной премии Георга Бюхнера.

Автор романов *Жестяной барабан* [*Die Blechtrommel*, 1959; рус. пер. *ИЛ*, 1995, № 11; книга первая], *Собачьи годы* [*Hundejahre*, 1963; рус. пер. *ИЛ*, 1996, № 5–7], *Из дневника улитки* [*Aus dem Tagebuch einer Schnecke*, 1972], *Крысиха* [*Die Rättin*, 1986] и др. В *ИЛ* напечатаны также повести *Кошка и мышь* [*Katz und Maus*, 1968, № 5] и *Встреча в Тельгте* [*Das Treffen in Telgte*, 1983, № 5], стихи [1983, № 10], фрагменты книги *Мое столетие* [*Mein Jahrhundert*, 2000, №1]. В 1997 г. в харьковском издательстве Фолио вышло собрание сочинений Г. Грасса в 4-х томах.

Хуан Гойтисоло
Juan Goytisolo
[р. 1931]. Испанский писатель, лауреат ряда международных премий.

Автор романов *Печаль в раю* [*Duelo en el paraíso*, 1954], *Хуан Безземельный* [*Juan sin Tierra*, 1975], *Пейзажи после битвы* [*Paisajes después de la batalla*, 1985], *Сага о семействе Марксов* [*La saga de los Marx*, 1993] и др., нескольких сборников эссе, мемуарных книг, документальных репортажей. В *ИЛ* были опубликованы романы *Прибой* [*La resaca*, 1961, № 6], *Особые приметы* [*Señas de identidad*, 1967, № 8, 9], эссе *Выстоять* [*Resistir*, 1996, № 12].
Публикуемая беседа Х. Гойтисоло с Г. Грассом была напечатана в ежемесячнике Le monde diplomatique [1999, novembre].

Иосиф Александрович Бродский
[1940–1996]. Поэт, эссеист, переводчик, лауреат Нобелевской премии [1987]. С 1974 г. жил в США, писал на русском и английском языках.

Автор многих сборников стихов, в том числе *Конец прекрасной эпохи* [1977], *Часть речи* [1977], *В окрестностях Атлантиды* [1995], книг эссе *Меньше единицы* [*Less than One*, 1986; премия за лучшую литературно-критическую книгу года в Америке], *Набережная неисцелимых* [1992], *Скорбь и разум* [*On Grief and Reason*, 1995] . В *ИЛ* публиковались его эссе из этих книг [1992, № 10; 1995, № 7; 1996, № 1, 12; 1997, № 1], переводы стихов Дж. Донна [1988, № 9], пьес Т. Стоппарда *Розенкранц и Гильденстерн мертвы* [1990, № 4] и Б. Биэна *Говоря о веревке* [1995, № 2] и др.
Публикуемый доклад напечатан в сборнике материалов юбилейного Нобелевского симпозиума [Стокгольм, 1993].

Кристофер Коукер
Christopher Coker
[р.1953]. Специалист в области международных отношений, преподаватель Лондонской школы экономики, эксперт издательства Московской высшей школы экономики.

В номере публикуются главы из книги *Сумерки Запада* [*Twilight of the West*, Westview Press, London, 1998].

Вадим Львович Климовский
[р. 1931]. Режиссер, критик, переводчик с польского и иврита.

В его переводах публиковались произведения польских писателей В. Гомбровича, Т. Боровского, Я. Котта, С. Мрожека, С. Виткевича, израильского писателя Г. Шофмана. Автор книг *Мы идем за кулисы* [М., Детская литература, 1982] и *Один день из жизни. Проза 1977—1982* [Тель-Авив, Ринат, 1995]. В *ИЛ* [1989, № 10] напечатан его перевод пьесы И. Иредыньского *Террористы*.

Григорий Игоревич Агафонов
[р.1963]. Поэт, переводчик с английского.

В *ИЛ* были опубликованы его переводы текстов песен группы *Роллинг стоунз* [1993, № 5], фрагменты романа в стихах индийского писателя В. Сета [1993, № 9], стихи ирландского поэта П. Деркана [1998, № 1].

Кирилл Феликсович Медведев
[р.1975]. Студент Литературного института им. М. Горького (семинар художественного перевода, руководитель В. А. Харитонов).

Его переводы, стихи, проза и рецензии публиковались в Литературной газете, в журналах Вавилон, Арион, Пушкин, на литературных сайтах в Интернете.

Александр Владимирович Брагинский
[р. 1920]. Кинокритик, киновед, переводчик с французского.

В его переводе издавались романы С. Жапризо, Ж. Сименона, Ф. Жеру, Б. Блие и др. Автор книг, посвященных творчеству Р. Клера, Кристиан-Жака, Ж.-П. Бельмондо, Ж. Депардье. В *ИЛ* был напечатан его перевод повести Р. Клера *Китайская принцесса* [1999, № 3].

Лариса Александровна Савельева
Филолог-славист, переводчик с сербского и хорватского языков, лауреат премии *Библиотеки журнала «Иностранная литература»* за 1997 г.

Автор ряда публикаций по современной югославской литературе в периодических изданиях нашей страны и Югославии. В ее переводе публиковались произведения Д. Илича, Д. Угрешич, В. Драшковича и др. В *ИЛ* были напечатаны фрагменты романа М. Павича *Хазарский словарь* [1991, № 3; полное издание в *Библиотеке ИЛ* [Азбука, 1997], пьеса М. Павича *Вечность и еще один день* [1995, № 7, совместно с Н. Вагаповой], роман Г. Петровича *Атлас, составленный небом* [1997, № 6] и др.

Людмила Владимировна Мотылева
Переводчик с английского.

Ее переводы рассказов и эссе англоязычных авторов публиковались в периодических изданиях, в том числе в *ИЛ* [1995, № 2, 10; 1999, № 6].

Наталия Александровна Тишкова
Филолог, переводчик с немецкого.

В ее переводах публиковались произведения В. Беньямина, П. Вайса, М. Фриша, Г. Грасса и др.

Владимир Борисович Иорданский
[р. 1929]. Доктор исторических наук, журналист.

Автор ряда работ по вопросам африканской культуры, в том числе книг *Хаос и гармония* [М., Наука, Главная редакция восточной литературы, 1982], *Звери, люди, боги* [М., Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991]. Его статьи неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Елена Николаевна Касаткина
Филолог, переводчик с английского и итальянского языков.

Автор статей о творчестве А. Платонова. Эссе И. Бродского в ее переводе публиковались в журналах *Знамя, Звезда, ИЛ* [1995, № 7; 1996, № 10, 12; 1997, № 1, 10].

Александр Аванесович Арзуманов
[р. 1934]. Кандидат исторических наук, переводчик с английского.

Работал переводчиком в ТАСС и ООН.

Стипендии для 15 российских писателей от Альфа-Банка и Московского Литфонда

В 1999 году Альфа-Банк и Московский Литфонд объявили о создании постоянно действующего стипендиального фонда для поддержки авторов, работающих над новыми произведениями. Это первый в России проект, когда финансовый институт (в данном случае — Альфа-Банк) выделяет средства не на премирование уже изданных произведений, а на стимулирование творческого процесса. В конкурсе участвовали 302 российских литератора. Экспертная комиссия, состоящая из главных редакторов ведущих литературно-художественных журналов, приняла решение присудить 15 стипендий:

1. Бернштейн Инне Максимовне — перевод с английского романа П. Г. Вудхауса *"Не позвать ли нам Дживза?"*

2. Ванханен Наталье Юрьевне — перевод с испанского романа Сальвадора Дали *"Тайные Лики"*.

3. Варламову Алексею Николаевичу — роман *"Купавна"*.

4. Виноградову Игорю Ивановичу — монография *"Горнило сомнений" и "Осанна" Федора Достоевского"*.

5. Волгину Игорю Леонидовичу — документальная биография Ф. Достоевского *"Пропавший заговор"*.

6. Володарской Людмиле Иосифовне — перевод с английского романа Филипа Сидни *"Аркадия"*.

7. Евсееву Борису Тимофеевичу — роман-апокриф *"Отреченные гимны"*.

8. Климонтовичу Николаю Юрьевичу — документальный роман, стилизованный под мемуары, *"Далее везде"*.

9. Ковальджи Кириллу Владимировичу — книга миниатюр *"Моя мозаика"*.

10. Рогову Владимиру Владимировичу — перевод с английского трагедии неизвестного автора XVI века *"Арден из Февершема"*.

11. Рощину Михаилу Михайловичу — прозо-пьеса *"Застава"*.

12. Ситко Леониду Кузьмичу — книга воспоминаний *"Бутырская тюрьма 1948 года"*.

13. Суровцеву Юрию Ивановичу — публицистическое эссе *"Споры о "Русской идее"*.

14. Фрейлиху Семену Израилевичу — книга мемуаров *"Заколдованный круг"*.

15. Холмогорову Михаилу Константиновичу — роман *"Баловень судьбы. Эпизоды из жизни Георгия Андреевича Фелицианова (1890–1991 гг.)"*.

В 2000 году Альфа-Банк совместно с Московским Литфондом продолжает благотворительную программу поддержки московских писателей, работающих над новыми произведениями.

15 писателей, представивших наиболее интересные проекты будущих произведений, будут получать от Альфа-Банка ежемесячные стипендии в течение года — с 1 ноября 2000 года по 31 октября 2001 года. Их размер, по сравнению с прошлым годом, увеличен более чем в два раза.

Новый конкурс — анонимный, заявки подаются под девизами. Регистрацию заявок проводит до 15 июля 2000 года Московский Литфонд. Рассматривать заявки будет Экспертный совет, состоящий из главных редакторов ведущих литературно-художественных журналов.

Благотворительная акция Альфа-Банка при содействии Московского Литфонда, которая становится уже традицией, позволяет надеяться на рождение новых талантливых произведений и появление новых имен в литературе.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных
особняков Замоскворечья
разместились

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

«линия-арт»

Среди ведущих авторов Галереи
известные московские художники,
представители поколений
60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ
ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
ИГОРЬ КИСЛИЦЫН
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
ОЛЬГА БУЛГАКОВА
СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ
ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО
ОЛЕГ СЛЕПОВ
КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Тел./факс 953-3624, 201-2603

Галерея открыта для посетителей
по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

РУССКИЙ ЖУРНАЛ
www.russ.ru

ежедневное сетевое издание, посвященное наиболее актуальным проблемам политической, литературной и культурной жизни

ВЫХОДИТ В ИНТЕРНЕТЕ С ИЮНЯ 1997 ГОДА

ЕЖЕДНЕВНО НА СЕРВЕРЕ РУССКОГО ЖУРНАЛА:

- ☑ рецензии на новые книги, журналы и учебники
- ☑ новости электронных библиотек русского Интернета
- ☑ последние события политической и культурной жизни
- ☑ аналитические обзоры масс-медиа
- ☑ дискуссионные форумы
- ☑ экспертные оценки и мнения по широкому спектру гуманитарных проблем
- ☑ новости киберкультуры и анализ различных вопросов развития Интернета

Русский Журнал (http://www.russ.ru)
103009, Москва, Малый Гнездниковский пер., д.9, стр.3б
ТЕЛ./ФАКС: (095) 201-75-51 E-MAIL: journal@russ.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины Бальтюса (р. 1908) *Гора* (1935/1937)

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев

Компьютерная верстка Светлана Бейлезон

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
Тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@adicom.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
"Англия" —
Хлебный пер., д.2/3
"Графоман" —
ул. Бахрушина, д.28
"Летний сад" —
ул. Большая Никитская, д.46
"Мир печати" —
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 29.04.2000.
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 28,35.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,95.
Заказ №1208.
Тираж 13 900 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

До конца 2000 года на страницах *ИЛ* появятся:

"Часы" – отмеченный Пулицеровской премией 1999 года роман американского писателя МАЙКЛА КАННИНГЕМА, где причудливо переплетаются судьбы трех женщин, одна из которых Вирджиния Вулф.

"Мастер Джорджи" – роман знаменитой английской писательницы, букеровской финалистки 1998 года БЕРИЛ БЕЙНБРИДЖ, действие которого происходит в Англии середины прошлого столетия и завершается на полях Крымской войны.

"Элементарные частицы" – ставший причиной нескольких судебных процессов интеллектуальный бестселлер молодого французского писателя МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА о крахе европейской цивилизации.

"Травести" – пьеса ведущего английского драматурга современности ТОМА СТОППАРДА, герои которой – Джеймс Джойс, Владимир Ульянов и Тристан Тцара – встречаются в цюрихской библиотеке в феврале 1917 года.

"Пятая зима магнетизера" – роман крупнейшего шведского писателя ПЕРА УЛОВА ЭНКВИСТА; прототипом главного героя является здесь известный австрийский врач XVIII века Франц Месмер.

"Детство. Сцены из провинциальной жизни" – воспоминания южноафриканского писателя, лауреата Букеровской премии 1999 года ДЖОЗЕФА МАЙКЛА КУТЗЕЕ.

"Диего и Фрида" – документальный роман французского писателя ЖАНА-МАРИ ЛЕКЛЕЗИО, история жизни знаменитых мексиканских художников Диего Риверы и Фриды Калло.

"Черное дерево" – серия эссе об Африке из книги РЫШАРДА КАПУСЦИНСКОГО, ставшей сенсацией польского книжного рынка в 1999 году.

"Автобиография" выдающегося английского философа, математика, социолога БЕРТРАНА РАССЕЛА.

"Падаль" ШАРЛЯ БОДЛЕРА – в рубрике "Вглубь стихотворения".

Литературные гиды: "ДЖОЗЕФ КОНРАД", "ЛОРЕНС ДАРРЕЛЛ", "ПОЛЬСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ".

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи
по каталогам АПР (для регионов России, стран СНГ и Балтии), УФПС (для Московской области)
и Моспочтамта (для Москвы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: **70394 (на полгода); 72261 (на год)**

А НАДЕЖНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ ПОДПИСАТЬСЯ ПРЯМО У НАС, С ПОЛУЧЕНИЕМ НОМЕРОВ В РЕДАКЦИИ.

Наш адрес: 109[illegible]7, Москва, [illegible]**тницкая ул., 41** (метро "Новокузнецкая", "Третьяковская")
Тел. **953-5147.**

---

[6] 2000

В следующем номере:

РОМАН МИХАЛА ВИВЕГА "ЛЕТОПИСЦЫ ОТЦОВСКОЙ ЛЮБВИ" / РОМАН КАВАННА "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" / РАССКАЗЫ РИЧАРДА ФОРДА / СТИХИ ТЕДА ХЬЮЗА / ТРИ ЭССЕ ЕФИМА ЭТКИНДА / "ГОРОД БЕЗ ИМЕНИ" ЧЕСЛАВА МИЛОША

ИНДЕКС 70394

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ИЛЛЮМИНАТОР

В нашей новой книжной серии “**Иллюминатор**” читайте лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах

005. Джулиан Барнс “История мира в 10 $\frac{1}{2}$ главах”. **006.** Марек Хласко “Красивые, двадцатилетние”. **007.** Малькольм Брэдбери “Профессор Криминале”. **008.** Кадзуо Исигуро “Остаток дня”. **009.** Алан А.Милн “Двое”.

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала “Иностранная литература”
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inolit@adicom.ru

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2000, №5, 1-288